1 р. 80 к.

Индекс 73276



«Нева», 1991, № 1, 1—208

НЕВА 1/1991

1/1991

ISSN 0130—741X

Д. ЛИХАЧЕВ
Как мы остались живы

Ф. СВЕТОВ
Тюрьма
Роман

Нева

А. ЖИТИНСКИЙ
Два рассказа

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

В. УШАКОВ
Возвращение к реальности



Новогодняя ночь. Зимняя канавка
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

1/1991

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

О. ТАРУТИН. Стихи 3
Д. ЛИХАЧЕВ. Как мы остались живы . . . 5
Ф. СУХОВ. Стихи 32
Ф. СВЕТОВ. Тюрьма. *Роман* 34
М. ГОЛОВЕНЧИЦ. Стихи 98
А. ШУЛЬГИНА. Стихи 99
А. ЖИТИНСКИЙ. Два рассказа 100
В. НАСУЩЕНКО. ...Потерявшая своих сыновей. *Повесть* 117
Н. РАЧКОВ. Стихи 136

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

В. УШАКОВ. Возвращение к реальности . . 137
К. ЧАПЕК. «Точно голый в терновнике» . . 161

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. НЕВЗГЛЯДОВА. Слово — «Психея». *Наблюдения над метафорой у Мандельштама* 167
Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ. И вохровцы, и зэки 170

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

М. ЗОЛОТОНОСОВ. Юрий Борев. Сталиниада.— Л. НАЗАРОВА. Борис Зайцев. Зеленая печаль.— Ив. ТОЛСТОЙ. Гайто Газданов. Вечер у Клэр.— Е. ЩЕГЛОВА. Иванихин В. Почему у Ильина читают все? . . . 177

Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

Вспоминаем...

А. ГОРОДНИЦКИЙ. Давид Самойлов . . . 179

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Совсем недавно. Совсем давно:

В. ТОГО. Возрождайся, Инкермаа! 190

Мини-мемуары:

Н. КОЛПАКОВА. Студия 194

Библиофил:

А. РУБАШКИН. «От искренне любящего С. Есенина...» 200

И. ЭРЕНБУРГ. «...Становится богом» . . . 201

Вернисаж «СТ»:

А. ЗВЕРЕВ. Стихи. *Вступительное слово М. Фотиева* 202

М. ФОТИЕВ. Наночьглядя 204

По праву памяти:

С. ХЕНТОВА. Бесстрашие 206

Старший технический редактор **Г. И. Огородник**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Сдано в набор 27.09.90. Подписано к печати 03.12.90. Формат бумаги $70 \times 108^{1}/_{16}$. Бумага газетная. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,89 уч.-изд. л. Тираж 255 000 экз. Заказ № 754
Цена 1 р. 80 к. (по подписке 1 р. 60 к.).

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Олег ТАРУТИН

Ретропесни

Разомлевши от ретропесен,
на ладони скулу качну...
Снова их слепоты и спеси
не учую, не прокляну.
Что за тайна у этих песен?
Ведь — имперские,
из кино.
И — по всем городам и весям,
словно каждому — эскимо.
Словно счастливы все до гроба:
те, кто в ромбах, и те, кто в робах,
в море, в шахтах и на полях,
или даже — в яслях, в соплях...
Всюду солнечно и бескрайно,
и любовь — красивая тайна,
и глядит восхищенный мир
из своих угнетенных дыр.
Но такие видеоклипы
этим песенкам вперебой,
что какие уж ретровсхлипы
над всеобщею стыдобой!
Только все же —
ведь там мое же!
Там рожден я и там клеймен.
И свербит под одеждой кожа
вся в наколках былых времен.
Ах, наколочки вы, наколки,
выводить вас — напрасный труд,
это время клеймило с толком.
— Нет, послушайте, как поют!..

У картины Сурикова

Утро Стрелецкой казни.
Древних годов кровища.
В месиве плахи вязнут,
жутью на тыщи прыщет...
Воздух — и тот изрублен,
так и висит кусками,
в горло проходит с хрупом,
выдох теснит тисками.
...Я понимаю:
плаха,
мысли о смерти — варом...
Но ведь чиста рубаха,
свечка в ладонях яра.
Вот она — церковь Божья.
В голос стрельчиха воет.
Та, что во гроб уложит,
в памяти упокоит.
Что-то казнимый крикнет
вовсе уж без опаски.
Все же телега скрипнет,
все же вздохнет Савраска...
Все же — Красная площадь,
все же — с другими вместе,
все-таки губы сморщит
царь
на твое двуперстье.
Это ли — Куропаты?
Спешный лопатный скрежет.
Тяжких трехтонок скаты
грузом просели свежим.
Тьму прорезают фары.
Глаз у стрелка натружен:
даром патрон замаран —
Органам ты не нужен.
...Кто ты,
у рва стоящий,
ждущий в затылок пулю,
воющий кто, молчащий
в том феврале—июле?
Что ты,
в подвал сведенный,
видел в свой миг остатний,
кроме парши бетонной
в вечных наследных пятнах?
Толпы Стрелецкой Казни! —
общий масштаб грошовый.
Это ли спецзаказник
станции Левашово?
Ведь — ни единой бирки,
Господи ты мой, Боже!
Ну, а в затылках дырки —
все поголовно схожи.

Сверстникам

I

И хоть все мы — икринки Утопии,
хоть обрызганы общей молокой,
мы хвостами по-разному хлопали,
главным руслом плывя и протокой.
Поначалу — глубины акуловы,
но вода все мелела, стихая.
И теперь — только малые уловы,
а меж ними — реальность сухая...
Не прорваться уже перекатами,
грозный паводок нас не растащит.
Шевелим плавниками помятыми
и глаза друг на друга таращим.

Ах, Утопия! Зло первородное!
Что ты можешь и что ты подскажешь?
...А уж кто-то махнул в земноводные,
а иные — в рептилии даже.

II

Все мы угли одного костра,
бывшие поленья поколенья.
Для пыланья, для испепеленья
нам ночная выпала пора.
Мы на угли прежние легли,
занялись от скопленного жара,
а потом горели, как могли,
и дымя, и вспыхивая яро.
...Я представлю этот костерок.
И сидит на корточках Эпоха,
что-то варит,
а вскипает плохо,
а Эпоха — это тоже срок.
Вечность ей внушает:
— Не спеши...
Кто там сварит: ты или другая...
А она все пламя ворошит
и, слезясь от дыма, раздувает.
Вот она отходит от костра
и приносит новые поленья,
и в огонь бросает в нетерпенье,
а сидеть ей только до утра...

За оградой

Уцепивши деревце кривое,
с костыльком,
торчащим из плеча,
он мотает жуткой головою,
непонятным лепетом ввуча.
Он совсем как инопланетянин,
зачатый в чудовищной дали,
пролетавший звездными путями,
схваченный ловушками Земли.
Где его родная невесомость?
Звук привычный и привычный вдох?
Сплющены все гены-хромосомы
тяжестью, нагрянувшей врасплох.
И теперь,
навеки перекошен,
в мире,
что подмял и не добил,
что он хочет, что он просит,
Проша —
сестрорецкий ласковый дебил?
Неужели все-таки земное,
Господи,
вот это существо?
Это — мы
за ближней пелёною!
Это — мы
с бездумною слюною!
Это все мы в образе его!
Что ж мы понаделали, ребята,
что ж мы сотворили над собой,
на всеобщем гноище расплаты,
на планете, бывшей голубой?..

♦♦♦

Разонравились мне поезда,
разонравились мне самолеты,
незнакомые мне города
и заезжей судьбы повороты.
И не в том, понимаешь, беда,
что дороги совсем одичали,
что загажены все города,
те, что прежде гостей привечали.
И не это мне душу томит
под колес перестук обалделый...
Видно, я любопытства лимит
отоварил уже до предела.
Я видал уже этот квартал.
Эта свадьба уже грохотала.
Этот пьяный уже бормотал.
Эта стая уже пролетала.
...Мне знакомою гарью пахнул
полустанок, промокший и сонный.
И знакомо в беседу втянул
незнакомый шатун разведенный...
Он исчезнет потом навсегда
со своею смущенной икотой...
Вроде, понятый мной без труда,
непостижный, как житель Дакоты,
непостижный. Вот в том и беда.

Дмитрий
ЛИХАЧЕВ

КАК МЫ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ

...существует только то, чего уже нет. Будущее может не быть; настоящее может и должно перемениться; одно прошедшее не подвержено изменяемости: воспоминание бережет его...

Жуковский

Я верю, что ничто не исчезает, все остается, хотя и вне поля нашего сознания. Времени в наших формах его восприятия нет.

Эта тетрадь — для наших детей — моих.

В среду 26 июня 1957 года мы с мамой (моей женой) решили поехать из Зеленогорска в город не обычным путем (поездом или автобусом), а теплоходом с Золотого пляжа. Теплоходы из Зеленогорска только что начали ходить, и хотелось посмотреть на Финский залив с Финского залива. Я живу на берегу Финского залива с детства, но в море бывал только на лодке (и то очень редко) или на пароходе — из Ленинграда в Петергоф (раза два-три). Вот мы и отправились на Золотой пляж к пристани и прошли как раз мимо тех дач, в одной из которых ранней весной (или, вернее, поздней зимой, так как лежал еще снег) 1941 года во втором этаже мы собирались снять на лето комнату. Собирались, но не сняли... Сняла Ширяева. Мы с мамой и спросили друг друга: «А что, если бы мы эту дачу сняли,— остались ли бы мы живы?». Так возникла у нас мысль записать для наших детей по возможности все то, что сохранила нам память о событиях 1941—1942 годов.

Будем записывать — не претендуя ни на систематичность, ни на особую литературность. Если я что-нибудь забуду,— поправит мама. У нашей мамы память лучше и точнее моей — особенно на числа.

Суббота, 29 июня 1957 г.

* * *

Итак, в 1941 году мы не сняли дачи в Териоках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был И. А. Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами, в новом доме, не очень далеко от речки Оредеж. Говорят, дача сохранилась.

Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском доме и получал мало. Правда, мы брали еще в издательстве рукописи на монтировку и даже внесли в это дело кое-какие усовершенствования (вместо того, чтобы заклеивать маленькими кусочками бумажки вычеркнутые буквы и отрывки, мы стали их замазывать гуашью, что убыстрило работу), но заработок все же оставался очень маленьким. Помню, что в нашей дешевой даче была комната и балкон. В том же доме,

только что выстроенном, жили и еще какие-то дачники. 11 июня я защитил диссертацию, но в старшие научные сотрудники меня перевели только в августе — тогда резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова.

Я ездил на дачу часто и иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы.

Лето было хорошее. Мы ходили на реку и там, выбрав место с небольшим «пляжем», на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным «пляжем» проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали: не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 года, но их встревоженные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали: началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама (моя мать) и Юра (брат) услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побледнел. В городе меня поразили мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском доме, но с оглядкой. Говорил больше А. И. Грушкин: строил всякие фантастические предположения, но все «патриотические».

Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли «установки»: научные учреждения АН должны быть законсервированы, начались сокращения сотрудников, продолжавшиеся до весны 1942 года, сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский дом, менялись несколько раз в неделю.

Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались повсюду: в буфете, на улицах, но им плохо верили — слишком они были мрачны. Потом слухи оправдывались.

Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Пристраивались по преимуществу евреи. Им было особенно страшно. Что такое фашизм для евреев — это к тому времени было уже хорошо известно. Евреи выезжали всяческими путями, кто как мог. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И, действительно, позднее мы узнаем, что множество детей было отправлено под Новгород — навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали, и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 1945 году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов — в их числе и «отцов города».

«Эвакуация» была насильственная, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами в Вырице жил и М. П. Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации: мы дочерей, а он внуков.

Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал из Вырицы в поезде из одних мягких вагонов (состав откуда-то был пригнан). Стекла в поезде были выбиты: немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко пролетели над дачей немецкие «мессершмитты». Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и так же внезапно исчезали.

Однажды после ночного дежурства в Пушкинском доме я вернулся домой на Лахтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их перевез с дачи М. П. Барманский. Он решил, что жить в Вырице «хватит», перевез своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами: на даче остались только «ходики» (дешевые часы), корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. А В. Л. Комарович с семьей остались в Сиверской и уехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Но эти полторы недели были роковыми для Комаровичей: они не успели ничем запастись...

Ко времени нашего возвращения из Вырицы в Ленинграде существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше: исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал: ясно было, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии, зимой, мыши вымерли с голоду. В мороз, утром, в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подохла: ни одной крошки не могла она найти у нас в комнате. Пока же, в июле и августе, я твердил: будет голод, будет голод! И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля. Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Может быть, Зина вспомнит точнее, что мы успели запасти. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы! Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же: ведь вот, на полках магазинов еще были рыбные консервы — почему я не купил их! Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира и постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще три! Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С! Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе — с таким раскаянием, с таким отчаянием, точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления радио.

Передаю перо Зине.

К тому, что написал папа, я дополню. В тот год мы поздно выехали на дачу, так как папа 11 июня 1941 года защищал кандидатскую диссертацию. Мы на дачу поехали 19 июня. Мы наняли грузотакси и на нем перевезли все вещи. У нас была хорошая комната и веранда; все маленьких размеров, но квадратные. Тамара спала наверху, около чердака. Погода была прекрасная, и дети быстро стали поправляться. Мы благополучно прожили 9 дней: ходили купаться на речку, гуляли в лесу и лежали на траве в нашем дворе около нашей веранды. Когда мы купались, то девочки ложились мне на спину и я плавала. После объявления войны я осталась без Тамары, так как она поступила на завод, но жила в нашей квартире на Лахтинской улице (дом 9, квартира 12).

Мы жили в Вырице до 18 июля. К нам приехала на несколько дней бабушка. Нас перевез Михаил Петрович Барманский. Это было в воскресенье под вечер. Он помог мне собрать вещи, и мы приехали с детьми в город. Вот не помню, как мы все перевезли. Помню, что я как-то раньше привезла в город два тяжелых чемодана; возможно, что перевозила Тамара. На даче остались детские кровати, посуда, шезлонг. Всю блокаду девочки спали уже на кроватях взрослых. Одну кровать дала Нина Урвачева. В городе было трудно достать молоко. Я вставала очень рано и стояла в толпе перед воротами рынка. Наконец ворота открывались и все бросались к молочным ларькам. Сначала я доставала два литра, а потом все меньше и меньше. Часть этого молока я отдавала бабушке, которая оставалась с детьми. Мне приходилось стоять в очередях и с детьми. До введения карточек на них давали продукты: лишний

килограмм крупы. Карточки ввели, и мы стали сушить хлеб и булки в чудо-печке на керосинке. Только потому, что Митя советовал выкупать весь хлеб и булки, сушить их, так как впереди нас ждет голод, мы имели запас сухарей. Этот запас нас спас тогда, когда стали давать норму хлеба на человека в 250 и 125 г. Когда ввели карточки, то норма была 600 г для служащих и 400 г для иждивенцев и детей. Я помню, у нас был запас картошки и сливочного масла. Мы хранили картошку в кухне, а масло за дверью. Я стала замечать, что эти запасы стали понемногу уменьшаться, хотя мы их не трогали. Мы решили, что в этом виноваты наши соседи Кесаревы, и стали все продукты хранить у себя в комнате. У нас был запас в несколько бутылок рыбьего жира. Это было важно для детей.

Продолжаю писать. 11 стограммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке, угол Большого и Введенской ул.— тогда она помещалась в старом двухэтажном здании.

Жизнь постепенно приобретала фантастические формы.

Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близко, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги начинались только тогда, когда бомбы уже падали на город.

Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то заскрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровского и Рыбацкой — не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал Блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, прорвало водопровод, и людей, спасавшихся там, затопило. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно, во-вторых, хождение на пятый этаж и с пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка (мой папа). Он продолжал лежать в постели. Упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы (Кесаревы — это наши соседи по квартире — муж и жена). Но все же мы присмотрели комнату в первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее — одинокая женщина — служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Там нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли с детьми в Ботаническом саду. Сохранились снимки — мы с детьми в Ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пойти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали «проверять». Так было, например, с Михаилом Андреевичем Панченко (нашим ученым секретарем). Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки находились якобы в трубах домов (их было видно только сверху), на Марсовом поле и т. д. Какая-то доля истины в этих слухах, может быть, и была: немцы действительно знали все, что происходило в городе.

Однажды в августе мы шли из нашей поликлиники на Каменноостровском. Был вечер, и над городом поднялось замечательной красоты облако. Оно было белое-белое, поднималось густыми, какими-то особенно «крепкими» клубами, как хорошо взбитые сливки. Оно росло, постепенно розовело в лучах заката и,

наконец, приобрело гигантские, зловещие размеры. Впоследствии мы узнали: в один из первых же налетов немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады. Облако это было дымом горевшего масла. Немцы усиленно бомбили все продовольственные склады. Уже тогда немцы, по-видимому, готовились к блокаде. А между тем из Ленинграда ускоренно вывозилось продовольствие и не делалось никаких попыток его рассредоточить, как это сделали англичане в Лондоне. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги.

Ленинград готовили к сдаче и по-другому: жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда я в ясный осенний день шел из Пушкинского дома, на Большом меня осыпал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги: немцы разбомбили книжный склад «Печатного Двора». Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город между тем наполнялся людьми: бежали пригороды, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом: скот резали. К концу сорок первого года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь вымирали и те, которые подвергались «внутренней эвакуации» из южных районов города: они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было.

В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке, в квартире Колосовских, я расскажу после. Когда «фронт» стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы — собирать овощи с огородов под пулями немцев.

В. Л. Комарович[1] был единственный, кто заходил к нам в Ленинграде из знакомых. Тогда заходили только родные (отучил Сталин). Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еды — ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шуре Кудрявцеву и стал перед ним на колени, прося у него, хоть немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев — последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу.

Комарович все строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно, но не во всем был прав. Помню его еще до войны на Кронверкском проспекте (теперь проспекте Горького): он читал вывешенную газету с сообщениями о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит, но В. Л. перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный. Его не так-то легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я и сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и панически настроенный П.: он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам стал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся: ступеньки, падая, образовали над ним свод.

[1] В. Л. Комарович — мой друг, специалист по Достоевскому (автор ряда книг в исследовании, есть на немецком), специалист по древнерусской литературе.

Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а П. отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы, и вот как. П. «догадался»: он заявил властям, что у него при бомбежке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше.

Помню — я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить, но накормить их было нечем. Я спросил: что же с ними будет дальше? Мне ответили: «Они умрут».— «Но разве нельзя отвезти их в больницу?» — «Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения» Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню — один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное: лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп похолодеет, выползают вши. Город был заражен вшами: голодающим было не до гигиены.

То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте,— это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточек: бежавшие из пригородов и других городов. Они-то и умирали первыми, они жили вповалку на полах вокзалов и школ. Итак, одни с двумя карточками, другие без карточек. Этих беженцев без карточек было неисчислимое количество, но и людей с несколькими карточками было не мало.

Особенно много карточек оказывалось у дворников. Дворники забирали карточки у умирающих, получали их на эвакуированных, подбирали вещи в опустевших квартирах и меняли их, пока еще можно было, на еду. Мама меняла свои платья на дуранду. Дуранда (жмыхи) выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918—1920-х годах, когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить!

Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях — с юга Ленинграда на север: финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Териок в первый же день войны. Детей ей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшелоном в Тетюши — под Казань. Так же пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы мы сняли дачу в Териоках.

Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском доме. Там в августе и в сентябре работал буфет, работала и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и... переставали встречать.

В июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Всех поочередно приглашали в директорский кабинет, и там один из начальников с секретарем парторганизации А. И. Перепеч «наседали». Помню, М. А. Панченко вышел бледный, с дрожащими губами, из кабинета: он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит». Я это слышал. Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько недель его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области.

Нас, «белобилетчиков», зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи двустволки и заставили обучаться строю перед историческим факультетом. Помню среди маршировавших Б. П. Городецкого и В. В. Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед. И обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру В. В. Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А В. В. Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен...

Во дворе Физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки (впоследствии их съели, и они тем спасли жизнь многим физиологам). В Библиотечном институте срочно строили нары для нас всех, чтобы перевести нас на казарменное положение. Нам с В. В. Гиппиусом показали даже наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и... ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось: люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать «необученными». Часть сотрудников ездила под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаруживались таланты: В. Ф. Покровская лечила травами и спасла от смерти С. Д. Балухатого. М. О. Скрипиль был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли телку. Кто-то смог ее зарезать. Но за город ездили и для других целей. Т. П. Ден ездила с группой женщин срезать на полях, где перед тем росла капуста, кочерыжки. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах.

Самым страшным было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума АН по подсказке нашего директора — П. И. Лебедева-Полянского, жившего в Москве и не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило «сокращение штатов». Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении. В нашем секторе уволили В. Ф. Покровскую, затем М. О. Скрипиля. Уволили всех канцеляристок, и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору: увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. В. Ф. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипиль уехал в середине зимы.

Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы следующий рассказ. Одного из вице-президентов вызвал к себе В. М. Молотов и спросил: «Сколько научных сотрудников вы записали в добровольцы?» Вице-президент назвал. «А сколько докторов наук?» Вице-президент назвал. «А сколько членов-корреспондентов?» Вице-президент и тут назвал какую-то цифру. «Академиков?» Вице-президент смутился и сказал, что запись еще не успели произвести. «А вы сами намерены записаться?» Вице-президент побледнел и ответил утвердительно. Тут уж Молотов рассердился, обвинил вице-президента во вредительстве, и тот был снят со своего поста. Перестарался, но результаты были налицо: многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. На уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари, умерло много математиков — молодых и талантливых. Но зоологи сохранились: многие умели охотиться.

Но «на предлежащее возвратимся». В буфете собирались «пожарники», «связисты», вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листами (не кочанными, а верхними — жесткими) и без конца разговаривали. Особенно много говорил Г. А. Г. Тут выяснилось, что он по матери русский (из Новосадских), что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Г. был в панике. В панике был и Александр Израилевич Г. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой набекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что, когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина.

Университетскую поликлинику я помню хорошо: я получал там справки на белый хлеб. Это нас поддерживало. В сентябре у меня начались язвенные боли, но они быстро прошли. Окна в поликлинике были уже заложены, и врачи принимали при электрическом свете. Потом приемы прекратились, электричество перестало гореть. Заложены были окна и в академической столовой около Музея антропологии и этнографии АН. В этой столовой кормили по

специальным карточкам. Многие сотрудники карточек не получали и приходили... лизать тарелки. Лизал тарелки и милый старик, переводчик с французского и на французский Яков Максимович Каплан. Он официально нигде не работал, брал переводы в издательстве, и карточки ему не давали. Первое время добился карточки в академическую столовую В. Л. Комарович, но потом ему отказали (в октябре). Он уже опух от голода к тому времени. Помню, как он, получив отказ, подошел ко мне (я ел за столиком, где горела коптилка) и почти закричал на меня со страшным раздражением: «Дмитрий Сергеевич, дайте мне хлеба — я не дойду до дому!» Я дал свою порцию. Потом я к нему пришел на квартиру (на Кировском) и принес плитку глюкозы с порошком шиповника (удалось купить перед тем в аптеке). Дома он вел раздраженный разговор с женой. Жена (Евгения Константиновна) пришла из Литфонда, где им также отказали в столовой как не членам Союза писателей. Жена упрекала Василия Леонидовича, что он не смог раньше вступить в члены Союза писателей. Василий Леонидович надевал пальто, чтоб идти в столовую самому, но ослабевшие пальцы не слушались, и он не мог застегнуть пуговицы. Первыми отмирали те мускулы, которые не работали или работали меньше. Поэтому ноги переставали служить последними. Если же человек начинал лежать, то уже не мог встать. Я приходил к В. Л. Комаровичу и перед тем: помог ему пилить дрова. Надо ведь было думать и о топливе. Дрова же не были подвезены в город.

Хотя бомбежки и прекратились, люди к ним готовились. Готовили фанеру для окон, заклеивали окна бумагой крест-накрест. Несколько листов фанеры, вырезанной по размерам наших стекол, принес и я домой. Они нам пригодились в 1945 году. Стекла же я заклеил не бумагой, а бинтами: говорили, так лучше. Фотографический клей был такой прочный, что потом, в 1945 году, мы с трудом смогли его отмыть.

Мне часто приходилось ночевать в институте. Мы дежурили, спали одетыми на «мемориальных» диванах (помню, что я чаще всего спал на удобных больших зеленых плюшевых диванах И. С. Тургенева из Спасского-Лутовинова). Вместе с нами дежурили и «словарники» (картотека древнерусского словаря помещалась над нами в Пушкинском доме и была перенесена для сохранности к нам вниз). Помню Гейерманса, Лаврова, Филиппова и других. Однажды утром, войдя в комнату, где спал обычно Филиппов, я увидел, что он молится. Он страшно смутился и сделал вид, что упражняется в гимнастике.

Дежурить в Институте было особенно неприятно в те минуты, когда немцы бомбили Петроградскую сторону. Телефоны были выключены чуть ли не в июле 1941 года, и справиться — живы ли мои — было нельзя. Надо было ждать конца дежурства. Каждая же падавшая бомба, казалось, падала именно на наш дом. Только завернув на Лахтинскую улицу и увидев, что наш дом цел, я успокаивался, но надо было дойти до дому, подняться на пятый этаж и только тогда узнать, как прошли сутки, казавшиеся бесконечно длинными.

А ходить становилось все труднее. Я состоял «связистом». Мне иногда надо было идти на квартиру к служащим, чтобы вызвать их для какой-нибудь экстренной оборонной работы. У меня был ночной пропуск, который достал мне брат Юра, переехавший от нас с женой в комнату, которую он добыл на Кировском проспекте в квартире начальника «Скорой помощи» Месселя. Я видел город и днем, и ночью, и рано утром, и вечером, во время воздушной тревоги, в ночной темноте, почти без людей, стремившихся беречь силы и не выходить из своих квартир.

Отец еще продолжал ходить на службу. Он работал в типографии «Коминтерн» на Красной улице, дом 1. Он тушил пожар в соседнем архиве, дежурил, плохо ел. Дома все колол дрова на плите для наших «буржуек» (пригодился опыт первого петроградского голода 1918—1919 годов).

Однажды я встретил отца около Адмиралтейства. Мы с ним вместе пошли домой (трамваев не было). Когда мы переходили Дворцовый мост, начался обстрел. Снаряды рвались совсем близко с оглушительным треском. Отец шел, не оглядываясь и не ускоряя шага. Мы только крепче взяли друг друга под руку. Следы разрывов «тех» снарядов еще и сейчас есть на гранитной набережной около Дворцового моста. Я всегда знал, что отец не трус, но тут я убедился, каким выдержанным мог быть он — самый невыдержанный и самый раздражительный человек из всех, кого я только знал.

Передаю перо Зине.

Все домашние хозяйки дежурили на улице, сидя у парадной двери. Вечером нужно было следить, хорошо ли затемнены окна. Все в доме перезнакомились во время дежурств и всё разговаривали о том, где достать продуктов. На дежурстве я познакомилась с женщиной, которая мне предложила спать с детьми в комнате первого этажа, окнами во двор. Это было в конце сентября. Я помню этот страшный взрыв на Гейслеровской, о котором пишет папа. Я спала на складной кровати посредине комнаты. Когда пронеслась эта бомба, было такое чувство, что лежишь в воздухе и вокруг пустота. Мы не спускались в бомбоубежище, и за всю войну я там ни разу не была. Недели три спускались на первый этаж, а потом перестали делать и это. Помню, как я старалась отоварить карточки. Карточки выдавали, а продуктов было мало, вот и приходилось стоять часами, днями под бомбежкой, чтобы получить продукты. Я получала продукты для всей своей семьи и для бабушки с дедушкой. В конце октября я получила все продукты и счастливая вернулась домой. Вместо масла получила голландский сыр. Сергей Михайлович мне поцеловал руку, поблагодарил и сказал, что если бы не я, то он не получил бы продуктов. Так я отоваривала все карточки, кроме декабрьских. По ним мы не получили масла. Я вставала в два часа ночи, а все спали. Я ходила в папиных валенках и в большом платке (белом, он и сейчас цел, я его купил в Пятигорске.— *Д. Л.*), в рукавицах, которые кроил папа. Сукно, а внизу детское шерстяное платье. М. И. и О. С. Стеблины-Каменские обещали нам достать дуранду по большой цене, а у нас не было денег. Деньги я взяла у своего папы, но дуранду нам так и не достали. Мы меняли вещи. О том, что нужно непременно менять и ничего не жалеть, нам сказал Василий Леонидович Комарович. Он пришел к нам, мы его угощали чаем с хлебом. Он сказал: «Теперь хлеб, как пряник». Мы с папой были в тяжелом настроении. Он старался нас подбодрить и говорил: «Не унывайте, Дмитрий Сергеевич, мы еще с вами большие дела сделаем». А потом сам скоро заболел и в феврале умер. Вот он нам тогда и посоветовал менять вещи на продукты. Он сказал, что нужно менять женские вещи. Я пошла в Сытный рынок, где была барахолка. Взяла свои платья. Голубое крепдешиновое я обменяла на 1 килограмм хлеба. Это было плохо, а вот серое платье обменяла на 1 килограмм 200 г дуранды. Это было лучше. Дуранду мы мололи в мясорубке, а потом пекли лепешки.

Как мы варили суп? Получали 300 г мяса. Папа мелко нарезал это мясо, кости толкли в ступке и варили большую кастрюлю супа. Зима началась очень рано и была очень холодная. Дрова у нас были, благодаря стараниям Сергея Михайловича. Дворник отказался носить и посоветовал нам дрова перенести домой.

Продолжаю писать после Зины.

Я тоже помню, как Василий Леонидович посоветовал нам менять женские вещи. Он сказал: «Жура наконец поняла, какое положение: она разрешила променять свои модельные туфли». Жура — это его дочь, она училась уже в Театральном институте. Василий Леонидович иногда жаловался на ее эгоизм (помню его фразу: «Вы не знаете, что значит иметь в доме взрослую гимназистку!»). Модные женские вещи — единственное, что можно было обменять: продукты были только у подавальщиц, продавщиц, поварих.

А что такое дуранда — узнайте, зайдите как-нибудь в фуражный магазин, где продают корм для скота. Дуранда спасала ленинградцев в оба голода.

Впрочем, мы ели не только дуранду. Ели столярный клей. Варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. Дедушке (моему отцу) этот студень очень нравился. Столярный клей я достал в Институте — 8 плиток. Одну плитку я держал про запас: так мы ее и не съели. Пока варили клей, запах был ужасающий.

Передаю перо Зине.

В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить. Удивительно, я варила клей, как студень, и разливала

в блюдв, где он звстывал. Еще мы ели кашу из манной крупы. Этой манкой мы чистили детские шубки белого цвета. Манная крупа была с шерстинками от шубы, имела густо-серый цвет от грязи, но все были счастливы, что у нас оказалась такая крупа. В начале войны мы купили несколько бутылок уксуса и несколько пачек горчицы. Интересно, что когда мы эвакуировались и продавали вещи, то бутылки с уксусом продали по 125 рублей. Они ценились дороже, чем письменный прибор.

Как мы отапливались? Сергей Михайлович еще весной купил дрова, но распилить и расколоть не успел, а когда началась война, дворник отказался пилить и колоть дрова. Дрова стали растаскивать, поэтому мы решили их поднять на пятый этаж. Я помню, таскали их Сергей Михайлович, я, Юра и Тамара. Сложили их в кухне под окном. Потом мы в кухне их пилили, а Сергей Михайлович мелко колол для «буржуйки», на которой готовили пищу. Вначале мы топили в комнате изразцовую печку. На наше несчастье, она испортилась, и нам пришлось звать печника и платить ему вином, которое выдавали по карточкам и которое мы могли бы обменять на хлеб. Когда Юра с Ниночкой эвакуировались, они отдали нам свою замечательную «буржуйку». Мы ее поставили в комнату и уже готовили в комнате и обогревались. У Ниночкиного знакомого Роньки через Ниночку мы обменяли мои золотые часы на 750 г риса. Часы были золотые, заграничные, плоские, но не шли. Бабушка выменяла 3 кг сливочного масла на золотой браслет и один килограмм дала нам украдкой от дедушки (у дедушки начиналась патологическая жадность — следствие дистрофии).

Итак, начинаю писать я.

Наш рассказ похож на детскую игру: каждый следующий пишет продолжение, не зная, что написал предшествующий; получается ерунда, которую потом весело читать. Но в том, что мы пишем, веселого нет. Это был такой ужас, который сейчас трудно вспомнить, так как память, обороняясь, выбрасывает самое страшное.

Помню, как к нам пришли два спекулянта. Я лежал, дети тоже. В комнате было темно. Мы освещались электрическими батарейками с лампочками от карманного фонаря. Два молодых человека вошли и быстрой скороговоркой стали спрашивать: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?» Спрашивали и еще что-то. В конце концов что-то у нас купили. Это было уже в феврале или марте. Они были страшны, как могильные черви. Мы еще шевелились в нашем темном склепе, а они уже хотели нас жрать.

А перед тем — осенью — приходил Дмитрий Павлович Калистов. Шутя спрашивал, не продадим ли мы «собачку», нет ли у нас знакомых, которые хотели бы передать собачек «в надежные руки». Калистовы уже ели собак, солили их мясо впрок. Резал Дмитрий Павлович не сам — это ему делали в Физиологическом институте. Впрочем, к тому времени, когда он приходил к нам, в городе не оставалось ни собак, ни кошек, ни голубей, ни воробьев. На Лахтинской улице было раньше много голубей. Мы видели, как их ловили. Павловские собаки в Физиологическом институте были тоже все съедены. Доставал их мясо и Дмитрий Павлович. Помню, как я его встретил на улице около Большой Пушкарской; он шел с рюкзаком за плечами, нес «собачку» из Физиологического института. Шел быстро: собачье мясо, говорили, очень богато белками.

Одно время мне удалось добыть карточки в диетстоловую. Диетстоловая помещалась за Введенской, кажется — на Павловской улице, недалеко от Большого. В столовой была темнота: окна были зафанерены. На некоторых столах горели коптилки. К столу с коптилкой собирались «обедающие» и вырезали необходимые талоны. Развилась кража: коптилку внезапно тушили, и воры хватали со стола отрезанные талончики и карточки. Раз украли и у меня талончики. Сцены бывали ужасные. Некоторые голодающие буквально приползали к столовой, других втаскивали по лестнице на второй этаж, где помещалась столовая, так как они сами подняться уже не могли. Третьи не могли закрыть рта, и из открытого рта у них сбегала слюна на одежду. Лица были у одних опухшие, налитые какой-то синеватой водой, бледные, у других лица были страшно худые и темные. А одежды! Голодающих не столько мучил

голод, как холод,— холод, шедший откуда-то изнутри, непреодолимый, невероятно мучительный. Поэтому кутались как только могли. Женщины ходили в брюках своих умерших мужей, сыновей, братьев (мужчины умирали первыми), обвязывались платками поверх пальто. Еду женщины брали с собой — в столовой не ели. Несли ее детям или тем, кто уже не мог ходить. Через плечо на веревке вешали бидон и в этот бидон клали все: и первое, и второе. Ложки две каши, суп — одна вода. Считалось все же выгодным брать еду по продуктовым карточкам в столовой, так как «отоварить» их иным способом было почти невозможно.

Уходя из этой столовой, я видел однажды страшную картину. На углу Большого и Введенской помещалась спецшкола, военная, для молодежи. Учащиеся там голодали, как и всюду. И умирали. Наконец, школу решили распустить. И вот кто мог — уходил. Некоторых вели под руки матери и сестры, они шатались, путались в шинелях, которые висели на них как на вешалках, падали, их волокли матери и сестры. Лежал уже снег, который, конечно, никто не убирал, стоял страшный холод. А внизу, под спецшколой, был «Гастроном». Выдавали хлеб. Получавшие всегда просили «довесочки». Эти довесочки тут же съедали. Ревниво следили при свете коптилок за весами (в магазинах было особенно темно: перед витринами были воздвигнуты из досок и земли заслоны). Развилось и своеобразное блокадное воровство. Мальчишки, особенно страдавшие от голода (подросткам нужно больше пищи), бросались на хлеб и сразу начинали его есть. Они не пытались убежать: только бы съесть побольше, пока не отняли. Они заранее поднимали воротники, ожидая побоев, ложились на хлеб и ели, ели, ели. А на лестницах домов ожидали другие воры и у ослабевших отнимали продукты, карточки, паспорта. Особенно трудно было пожилым. Те, у которых были отняты карточки, не могли их восстановить. Достаточно было таким ослабевшим не поесть день или два, как они не могли ходить, а когда переставали действовать ноги — наступал конец. Обычно семьи вымирали не сразу. Пока в семье был хоть один, кто мог ходить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но достаточно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил в высоких этажах), как наступал конец всей семьи.

По улицам лежали трупы. Их никто не подбирал. Кто были умершие? Может быть, у той женщины еще жив ребенок, который ее ждет в пустой, холодной и темной квартире? Было очень много женщин, которые кормили своих детей, отнимая от себя необходимый им кусок. Матери эти умирали первыми, а ребенок оставался один. Так умерла наша сослуживица по издательству — О. Г. Давидович. Она все отдавала ребенку. Ее нашли мертвой в своей комнате. Она лежала на постели. Ребенок был с ней под одеялом, теребил мать за нос, пытаясь ее «разбудить». А через несколько дней в комнату Давидович пришли ее «богатые» родственники, чтобы взять... не ребенка, а несколько оставшихся от нее колец и брошек. Ребенок умер затем в детском саду.

У валявшихся на улицах трупов обрезали мягкие части. Началось людоедство. Сперва трупы раздевали, потом обрезали до костей. Мяса на них почти не было. Эти обрезанные и голые трупы были страшны.

Людоедство это нельзя осуждать огульно. По большей части оно не было сознательное. Тот, кто обрезал труп,— редко ел это мясо сам. Он либо продавал это мясо, обманывая покупателя, либо кормил им своих близких, чтобы сохранить их жизнь. Ведь самое важное в еде были белки. Добыть эти белки неоткуда. Когда умирает ребенок и знаешь, что его может спасти только мясо,— отрежешь это мясо и у трупа...

Но были и такие мерзавцы, которые убивали людей, чтобы добыть их мясо для продажи. В огромном красном доме бывшего Человеколюбивого общества — угол Зеленина и Гейслеровского — обнаружили следующее. Кто-то якобы торговал картошкой. Покупателю предлагали заглянуть под диван, где якобы лежала картошка, и, когда он наклонялся, следовал удар топором в затылок. Преступление было обнаружено каким-то покупателем, который заметил на полу несмытую кровь. Были найдены кости многих людей.

Так съели одну из служащих издательства АН СССР — Вавилову. Она пошла за мясом (ей сказали адрес, где можно было выменять вещи на мясо) и не вернулась. Погибла где-то около Сытного рынка. Она сравнительно хорошо выглядела. Мы боялись выводить детей на улицу даже днем.

Не было ни света, ни воды, ни газет (первая газета стала расклеиваться на заборах только весной — небольшой листок, кажется, раз в две недели), ни телефонов, ни радио! Но все-таки какое-то общение между людьми сохранялось. Люди ждали какого-то генерала Кулика, который якобы идет на выручку Ленинграда. С тайной надеждой все повторяли: «Кулик идет».

Улицы были завалены снегом; только посередине оставались тропки. Все были раздражительны до невероятия. Помню, раз я шел по середине Лахтинской улицы. Впереди меня идет по тропке характерная блокадная фигура: поверх пальто платок или одеяло, из-под пальто торчат брюки. Идет эта фигура (мужчина или женщина — не разберешь) медленно, волоча ноги (поднять их кверху трудно, а волочить еще можно). Я иду сзади в зеленых бурках, в овчинном «романовском» полушубке, оставшемся у меня еще от Соловков. Иду медленно, с палкой, которую мне добыл С. Д. Балухатый из коллекции А. С. Орлова (Орлов любил делать палки из можжевельника, а Балухатый по отъезде Орлова жил в его квартире и раздавал «нуждающимся» его палки). Вдруг фигура впереди меня останавливается, оборачивается и истошно кричит (но крик больше похож на сиплое шипение): «Да проходите же, наконец!». Фигуру раздражало, что я ее не обгоняю, а как ее обгонишь, когда тропка узка, а кругом сугробы?

Несмотря на отсутствие света, воды, радио, газет, государственная власть «наблюдала». Был арестован Г. А. Г. Он что-то много под арестом наболтал, струсив, и посадил Б. И. Коплана, А. И. Никифорова. Арестовали и В. М. Жирмунского. Жирмунского и Г. вскоре выпустили, и они вылетели на самолете. А Коплан умер в тюрьме от голода. Дома умерла его жена — дочь А. А. Шахматова. А. И. Никифорова выпустили, но он был так истощен, что умер вскоре дома (а был он богатырь, русский молодец, кровь с молоком, купался всегда и зимой в проруби против Биржи — на Стрелке). Умер В. В. Гиппиус. Умер Н. П. Андреев, З. В. Эвальд, Я. И. Ясинский (сын писателя), М. Г. Успенская (дочь писателя) — все это были сотрудники Пушкинского дома. Всех и не перечислишь.

Помню смерть Я. И. Ясинского. Это был высокий, худой и очень красивый старик, похожий на Дон Кихота. Он жил в библиотеке Пушкинского дома. За стеллажами книг у него стояла походная кровать — раскладушка. Дома у него никого не было, и домой идти он не мог. Он лежал за своими книгами и изредка выходил в вестибюль. Рот у него не закрывался, изо рта текла слюна, лицо было черное, волосы совсем поседели, отросли и создавали жуткий контраст к черному цвету лица. Кожа обтянула кости. Особенно страшна была эта кожа у рта. Она становилась тонкой-тонкой и не прикрывала зубов, которые торчали и придавали голове сходство с черепом. Раз он вышел из-за своих стеллажей с одеялом на плечах, волоча ноги, и спросил: «Который час?» Ему ответили. Он переспросил (голос у дистрофиков становится глухим, так как и мускулы голосовых связок атрофировались): «День или ночь?» Он спрашивал в вестибюле, но ведь стекол не было, окна были зафанерены, и ему не было видно: светло или темно на улице. Через день или два наш заместитель директора по хозяйственной части Канайлов выгнал его из Пушкинского дома. Канайлов (фамилия-то какая!) выгонял всех, кто пытался пристроиться и умереть в Пушкинском доме, чтобы не надо было выносить труп. У нас умирали некоторые рабочие, дворники и уборщицы, которых перевели на казарменное положение, оторвали от семьи, а теперь, когда многие и не могли дойти до дому, их вышвыривали умирать на тридцатиградусный мороз. Канайлов бдительно следил за всеми, кто ослабевал. Ни один человек не умер в Пушкинском доме.

Раз я присутствовал при такой сцене. Одна из уборщиц была еще довольно сильна, и она отнимала карточки у умирающих для себя и Канайлова. Я был в кабинете у Канайлова. Входит умирающий рабочий (Канайлов и уборщица думали, что он не сможет уже подняться с постели), вид у него был страшный (изо рта бежала слюна, глаза вылезли, вылезли и зубы). Он появился в дверях кабинета Канайлова как привидение, как полуразложившийся труп и глухо говорил только одно слово: «Карточки, карточки!». Канайлов не сразу разобрал, что тот говорит, но когда понял, что он просит отдать ему карточки, страшно рассвирепел, ругал его и толкнул. Тот упал. Что произошло дальше — не помню. Должно быть, и его вытолкали на улицу.

Фольклорист Н. П. Андреев умирал так. Сперва он дежурил в Институте и за себя, и за *N*. Эти двойные дежурства очень истощили Н. П. Андреева, а дочь его ушла в госпиталь работать сестрой (это тоже был один из способов выжить) и отцу не помогала. Однажды Н. П. Андреев пришел в Пушкинский дом по дороге домой из Герценовского института и попросил когонибудь проводить его: он не мог дойти до дому. Жил он на Введенской улице в доме, где когда-то жил Кустодиев. Проводить его пошла А. М. Астахова. Они шли бесконечно долго. По пути они два раза заходили в чужие квартиры отдохнуть. В одной квартире Н. П. Андреева накормили сахаром. Это дало ему силы дойти до дому. Были еще люди, способные отрывать от себя и от своей семьи куски сахару — куски жизни. Удивительное действие оказывала еда: стоило съесть маленький кусочек сахару, как ясно чувствовал в себе прилив сил. Еда пьянила и бодрила. Это было почти чудо! Через несколько дней я пошел к Н. П. Андрееву отнести ему билет на самолет. В Институте кто-то не полетел (из лиц, удостоенных благоволения начальства), и надо было доставить билет Андрееву за несколько часов до отлета самолета. Я пошел к нему ночью. Помню, шел по совершенно пустым улицам, посередине мостовой по тропке в своем романовском полушубке и с орловской палкой. На Большой Пушкарской я упал и очень расшиб колени, но поднялся (сильно истощенные подняться не могли — они могли только идти). Я дошел до него и даже достучался (это было трудно), но лететь он уже не мог. Через некоторое время он умер. А после смерти пришла к нему жена со Староневского (его молодая жена жила отдельно от него) и искала сберкнижку, на которой у него было довольно много денег...

Как-то мистически страшно умер литературовед Б. М. Энгельгардт. Помню, что я много раз рассказывал в Казани историю его смерти, но сейчас я уже ее забыл (память, как я уже сказал, выбрасывает, очищает сама себя от слишком ужасных воспоминаний).

Трупы на улице лежали против Института литературы — ближе к Биржевому мосту (месяца два лежал там труп женщины), в сгоревшем здании Мытнинского общежития Университета (помню, на первом этаже лежали трупы двух детей), на Кронверкском — против Народного дома, где весной был устроен морг и куда в начале марта мы свезли на детских саночках труп моего отца.

В Институте в это время я ел дрожжевой суп. Этого дрожжевого супа мы ждали более месяца. Слухи о нем подбадривали ленинградцев всю осень. Это было изобретение и в самом деле поддержавшее многих и многих. Делался он так: заставляли бродить массу воды с опилками. Получалась вонючая жидкость, но в ней были белки, спасительные для людей. Можно было съесть даже две тарелки этой вонючей жидкости. Две тарелки! Этой еды совсем не жалели. У нас еще оставались черные сухари. Помню, что я подарил коробку черных сухарей библиотекарше — Софье Емельяновне. У нее умер от истощения муж и умирали дети (двое).

Софья Емельяновна долгое время работала в Институте в библиотеке, а один из ее сыновей стал уже инженером.

Вскоре я перестал ходить. Приходил только за жалованием и за карточками. Однажды зашел за моими карточками отец. Он ходил пешком в свою типографию за карточками для себя и зашел за моими по пути. Как я раскаивался потом, что пустил его идти! Каждое такое «путешествие» отнимало очень много сил, приближало смерть.

Всю нашу семью спасала Зина. Она стояла с двух часов ночи в подъезде нашего дома, чтобы «отоварить» наши продуктовые карточки (только очень немногие могли получить в магазинах то, что им полагалось по карточкам); она ездила с санками за водой на Неву. Мы пробовали добывать воду из снега

с крыши, но надо было истратить слишком много топлива, чтобы получить совсем мало воды. Походы за водой были такие. На детские саночки ставили детскую ванну. В ванну клали палки. Эти палки нужны были для того, чтобы вода не очень плескалась. Палки плавали в ванне и не давали воде ходить волнами. Ездили за водой Зина и Тамара Михайлова (она жила у нас на кухне на антресолях). Воду брали у Крестовского моста. «Трасса», по которой ленинградцы ездили за водой, вся обледенела: расплескивавшаяся вода тотчас замерзала на тридцатиградусном морозе. Санки скатывались с середины дороги набок, и многие теряли всю воду. У всех были те же ванны и палки или ведра с палками: палки было изобретение тех лет! Но труднее всего было зачерпнуть воду и потом подняться от Невы на набережную. Люди карабкались на четвереньках, цеплялись за скользкий лед. Сил прорубить ступеньки ни у кого не было. В феврале, впрочем, появилось несколько пунктов, где можно было получить воду: на Большом проспекте у пожарной команды, например. Там открыли люк с водой. Вокруг люка тоже нарос лед. Люди плашмя ползли на ледяную гору и опускали ведра как в колодец. Потом скатывались вниз, держа ведро в обнимку.

В декабре (если не ошибаюсь) появились какие-то возможности эвакуации на машинах через Ладожское озеро. Эту ледовую дорогу называли дорогой смерти (а вовсе не «дорогой жизни», как сусально назвали ее наши писатели впоследствии). Немцы ее обстреливали, дорогу заносило снегом, машины часто проваливались в полыньи (ведь ехали ночью). Рассказывали, что одна мать сошла с ума: она ехала во второй машине, а в первой ехали ее дети, и эта первая машина на ее глазах провалилась под лед. Ее машина быстро объехала полынью, где дети корчились под водой, и помчалась дальше, не останавливаясь. Сколько людей умерло от истощения, было убито, провалилось под лед, замерзло или пропало без вести на этой дороге! один Бог ведает! У А. Н. Лозановой (фольклористки) погиб на этой дороге муж. Она везла его на детских саночках, так как он уже не мог ходить. По ту сторону Ладоги она оставила его на санках вместе с чемоданами и пошла получать хлеб. Когда она вернулась с хлебом, ни саней, ни мужа, ни чемоданов не было. Людей грабили, отнимали чемоданы у истощенных, а самих их спускали под лед. Грабежей было очень много. На каждом шагу — подлость и благородство, самопожертвование и крайний эгоизм, воровство и честность.

По этой дороге уехал и наш мерзавец Канайлов. Он принял в штат Института несколько еще здоровых мужчин и предложил им эвакуироваться вместе с ним, но поставил условие, чтобы они никаких вещей не брали, а везли его чемоданы. Чемоданы были, впрочем, не его, а онегинские — из онегинского имущества, которое поступило к нам по завещанию Онегина (незаконного сына Александра III — ценителя Пушкина и коллекционера). Онегинские чемоданы были кожаные, желтые. В эти чемоданы были погружены антикварные вещи Пушкинского дома, в тюки увязаны замечательные ковры (например, был у нас французский ковер конца XVIII века — голубой). Поехал Канайлов вместе со своим помощником Ехаловым. Это тоже первостепенный мерзавец. Был он сперва профсоюзным работником (профсоюзным «водолеем»), выступал на собраниях, призывал, говорил зажигательные речи. Потом был у нас завхозом и крал. Вся компания благополучно перевалила через Ладожское озеро. А там на каком-то железнодорожном перекрестке Ехалов, подговорив рабочих, сел вместе с ними и всеми коврами на другой поезд (не на тот, на котором собирался ехать Канайлов) и, помахав ручкой Канайлову, уехал. Тот ничего не мог сделать. Теперь (1957 г.— *Д. Л.*) Канайлов работает в Саратове, кажется, член горсовета, вообще — «занимает должность». Но в Ленинград не решается вернуться. Но Ехалов решился. Он даже решился сразу после войны предложить свои услуги в Пушкинском доме, но его вызвали в ЛАХУ и сказали, что его разыскивает уголовный розыск. Он исчез из Академии, но все-таки устроился раздавать квартиры, где-то на Васильевском острове. В качестве начальника по квартирам он получил себе несколько квартир, брал взятки и, в конце концов, был арестован. Явился он перед тем и в Казань: ходил в военной форме (в армии он никогда не служил), с палкой и изображал из себя инвалида войны.

После отъезда Канайлова Институтом стал ведать М. М. Калаушин. Увольнения прекратились. Напротив, было принято несколько человек — в том числе и наша Тамара Михайлова. М. М. Калаушин сам был уволен перед тем из Института одним из первых. Он работал санитаром, и когда он пришел перед отъездом Канайлова наниматься к нам на работу в Институт, я едва его узнал. Лицо его отекло, покрылось пятнами и было совершенно деформировано. В Институте он что-то организовал с карточками, принял В. М. Глинку, приблизил В. А. Мануйлова, а впоследствии взял и М. И. Стеблина-Каменского. Эти четыре человека спасали Институт до 1945 года. Впрочем, Калаушин уехал, оставив по себе главным В. А. Мануйлова.

Когда бы я ни заходил в кабинет Калаушина, он ел. Ел хлеб, обмакивая его в растительное масло. Очевидно, оставались карточки от тех, кто улетал или уезжал по дороге смерти.

Еще до отъезда Канайлова с Ехаловым в Институт были впущены моряки с подводных лодок, которые стояли на Малой Неве прямо против нашего Института. Дело в том, что остатки нашего флота, ледоколы, турбоэлектроход «Вячеслав Молотов» — все были введены в Неву и стояли у берега с левой стороны под защитой окружающих зданий. «Вячеслав Молотов» стоял под защитой Адмиралтейства, ледокол «Ермак» — под защитой Эрмитажа и т. д. Для ценнейших зданий города это соседство не было безопасным. Наши подводные лодки тоже не были из приятных соседей, но не только тем, что они могли приманивать к нам немецких бомбардировщиков...

Команды кораблей были пущены к нам в Музей и дали обещание давать нашему начальству по тарелке супа. Ради этого они были обставлены всей лучшей мебелью. Диван Тургенева, кресло Батюшкова, часы Чаадаева и пр., и пр.— все отдавалось морякам ради чечевичной похлебки. Чечевица была действительно тогда в ходу и казалась необыкновенно вкусной. Кроме того, морякам было разрешено пользоваться библиотекой. Моряки не остались в долгу. Они провели кабель с подводных лодок и дали себе и нашему начальству настоящий электрический свет! И вот началось... Ночами какие-то тени бродили по музею, взламывали шкафы, искали сокровища. Собрание дворянских альбомов очень пострадало. Пострадали и многие шкафы в библиотеке. А весной, когда вскрылась Нева, моряки без предупреждения в один прекрасный день ушли из Института, унеся с собой что только было можно. После их ухода я нашел на полу позолоченную дощечку: «Часы Чаадаева». Самих часов не было. На каком дне они лежат сейчас?

Дистрофия развивала клептоманию и у сотрудников Института. Канцелярская служащая (Валентина... отчество и фамилию я забыл) сняла в Институте даже стенные часы, суконную скатерть со стола заседаний и еще что-то. Она ушла потом работать в госпиталь, и больше я ее в Институте не видел. Это была канайловская знакомая.

Зимой одолевали пожары. Дома горели неделями. Их нечем было тушить. Обессиленные люди не могли уследить за своими «буржуйками». В каждом доме были истощенные, которые не могли двигаться, и они сгорали живыми. Ужасный случай был в большом новом доме на Суворовском (дом этот и сейчас стоит — против окон Ахматовой). В него попала бомба, а дом этот был превращен в госпиталь. Бомба была комбинированная — фугасно-зажигательная. Она пробила все этажи, уничтожив лестницу. Пожар начался снизу, и выйти из здания было нельзя. Раненые выбрасывались из окон: лучше разбиться насмерть, чем сгореть.

В Ботаническом саду вымерзли тысячелетние папоротники, вымерзли знаменитые пальмы (помните рассказ Гаршина о пальме, выдавившей стекла оранжереи, вырвавшейся на свободу и замерзшей?).

В нашем доме вымерли семьи путиловских рабочих. Наш дворник Трофим Кондратьевич получал на них карточки и ходил вначале здоровым. На одной с нами площадке, в квартире Колоссовских, как мы впоследствии узнали, произошел следующий случай. Женщина (Зина ее знала) забирала к себе в комнату детей умерших путиловских рабочих (я писал уже, что дети часто умирали позднее родителей, так как родители отдавали им свой хлеб), получала на них карточки, но... не кормила. Детей она запирала. Обессиленные дети

не могли встать с постелей: они лежали тихо и тихо умирали. Трупы их оставались тут же до начала следующего месяца, пока можно было на них получать еще карточки. Весной эта женщина уехала в Архангельск. Это была тоже форма людоедства, но людоедства самого страшного.

Трупы умерших от истощения почти не портились: они были такие сухие, что могли лежать долго. Семьи умерших не хоронили своих: они получали на них карточки. Страха перед трупами не было, родных не оплакивали — слез тоже не было. В квартирах не запирались двери: на порогах накапливался лед, как и по всей лестнице (ведь воду носили в ведрах, вода расплескивалась, ее часто проливали обессиленные люди, и вода тотчас замерзала). Холод гулял по квартирам. Так умер фольклорист Калецкий. Он жил где-то около Кировского проспекта. Когда к нему пришли, дверь его квартиры была полуоткрыта. Видно было, что последние жильцы пытались сколоть лед, чтобы ее закрыть, но не смогли. В холодных комнатах, под одеялами, шубами, коврами лежали трупы: сухие, не разложившиеся. Когда умерли эти люди?

На Большом проспекте около Гатчинской улицы разгромили хлебный магазин. Как это могли сделать? Ведь любая продавщица (среди них не было сильно истощенных) могла справиться с целой толпой истощенных людей. Но власть в городе приободрилась: вместо старых истощенных милиционеров по дороге смерти прислали здоровых. Говорили — из Вологодской области.

В очередях люди все надеялись: после Кулика ждали и еще кого-то, кто-то уже идет к Ленинграду. Что делалось вне Ленинграда, мы не знали. Знали только, что немцы не всюду. Есть Россия. Туда, в Россию, уходила дорога смерти, туда летели самолеты, но оттуда почти не поступало еды, во всяком случае для нас. Юра с Ниночкой (своей второй женой) уехали по дороге смерти в машине, которая специально была оборудована и как жилье. Перед отъездом Юра обещал прислать еды. Отец ждал этой еды со страшным нетерпением; все время думал о том, что Юра пришлет копченой колбасы. Он все время говорил о еде, вспоминал об обедах на волжских теплоходах, и когда ел суп (вернее то, что мы называли супом), то очень сопел. Меня, захваченного уже раздражительностью дистрофии, сердило и это сопение (я не понимал, что сердце у отца работало все хуже) и эта копченая колбаса, которую он так ждал.

Расскажу теперь о том, как мы жили в своей квартире на Лахтинской улице (дом 9, кв. 12).

Мы старались как можно больше лежать в постелях. Накидывали на себя как можно больше всего теплого. К счастью, у нас были целые стекла. Стекла были прикрыты фанерами (некоторые), заклеены крест-накрест бинтами. Но днем все же было светло. Ложились в постель часов в 6 вечера. Немного читали при свете электрических батареек и коптилок (я вспомнил, как делал коптилки в 1919 и 1920 году — тот опыт пригодился). Но спать было очень трудно. Холод был какой-то внутренний. Он пронизывал всего насквозь. Тело вырабатывало слишком мало тепла. Холод был ужаснее голода. Он вызывал внутреннее раздражение. Как будто бы тебя щекотали изнутри. Щекотка охватывала все тело, заставляла ворочаться с боку на бок. Думалось только о еде. Мысли были при этом самые глупые: вот если бы раньше я мог знать, что наступит голод! Вот если бы я запасся консервами, мукой, сахаром, копченой колбасой!

Мы подсчитали с Зиной, сколько дней еще сможем прожить на наших запасах. Если расходовать через день по плитке столярного клея, то хватит на столько-то дней, а если расходовать по плитке через два дня — то на столько-то. И тут же сетовали: почему я не доел своей порции тогда-то? Вот она бы пригодилась сейчас! Почему я не купил в июле в магазине печенья? Я ведь уже знал, что наступит голод. Почему купил всего 11 бутылок рыбьего жира? Надо было зайти в аптеку еще раз, послать Зину. И все в таком же роде, без конца, со страшным раздражением на самого себя. И опять внутренняя щекотка, и опять ворочаешься с боку на бок.

Утром растапливали «буржуйку». Топили книгами. В ход шли объемистые тома протоколов заседаний Государственной думы. Я сжег их все, кроме корректур последних заседаний: это было чрезвычайной редкостью. Книгу нельзя было запихнуть в печку: она бы не горела. Приходилось вырывать по листку и по листку подбрасывать в печурку. При этом надо было листок смять и время от времени выгребать золу: в бумаге было слишком много мела. Утром мы молились; дети тоже. С детьми мы разучивали стихи. Учили наизусть сон Татьяны, бал у Лариных, учили стихи Плещеева: «Из школы дети воротились, как разрумянил их мороз...». Учили стихи Ахматовой: «Мне от бабушки-татарки...» и др. Детям было четыре года, они уже много знали. Еды они не просили. Только когда садились за стол, ревниво следили, чтобы всем всего было поровну. Садились дети за стол за час, за полтора — как только мама начинала готовить. Я толок в ступке кости. Кости мы варили по многу раз. Кашу делали совсем жидкой, жиже нормального супа, и в нее для густоты подбалтывали картофельную муку, крахмал, найденный нами вместе с «отработанной» манной крупой, которой чистили беленькие кроличьи шубки детей. Дети сами накрывали на стол и молча усаживались. Сидели смирно и следили за тем, как готовилась «еда». Ни разу они не заплакали, ни разу не попросили еще: ведь все делилось поровну.

От разгоревшейся печурки в комнате сразу становилось тепло. Иногда печурка накалялась докрасна. Как было хорошо!

Все люди ходили грязные, но мы умывались, тратили на это стакана два воды и воду не выливали — мыли в ней руки до тех пор, пока вода не становилась черной. Уборная не действовала. Первое время можно было сливать, но потом где-то внизу замерзло. Мы ходили через кухню на чердак. Другие заворачивали сделанное в бумагу и выбрасывали на улицу. Поэтому около домов было опасно ходить. Но тропки все равно были протоптаны посередине мостовой. К счастью, по серьезным делам мы ходили раз в неделю, даже раз в десять дней. И это было понятно: тело переваривало все, да и перевариваемого было слишком мало. Хорошо все-таки, что у нас был пятый этаж и ход на чердак был такой удобный... Весной, когда потеплело, на потолке появились коричневые пятна — на потолке в коридоре (мы ходили в определенные места).

От топки бумагой засорилась печка. Об этом Зина уже писала. К счастью, мы нашли печника, который пробил кладку в печи, соединил каналы дымохода, и снова можно было топить.

* * *

В моем писании получился перерыв недели на три. Сейчас у нас на даче в Зеленогорске (Лиственная, 16, дача 132) наступила жара, отвлекшая от мыслей о блокаде. Солнце, купанье, счастливый воздух сытой жизни! И вдруг блокада сама напомнила о себе. Рядом с нами за тонкой перегородкой живет семья: ребенок месяцев трех-четырех, отец, мать и две бабушки. Одна из бабушек оказалась женой Кулика — того самого, о котором я писал уже и которого ждали миллионы умиравших ленинградцев, в холоде, в темноте, слухи о котором передавались в очередях: «Кулик идет! Кулик разворачивается!» Сам Кулик сейчас на кумысе (у него туберкулез). Он скоро приедет сюда, я его увижу. Его развеселая жена уверяет всех, что он дамский угодник, высок и красив собой. Господи! Понимает ли он сам — кто он такой, кем он был для ленинградцев?

Нет, голод не совместим ни с какой действительностью, ни с какой сытой жизнью. Они не могут существовать рядом. Одно из двух должно быть миражом: либо голод, либо сытая жизнь. Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всяческой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, мерзавцы, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее. Разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог. Его ясно видели хорошие. Совершались чудеса. Бог произнес: «Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих» (кажется, так в Апокалипсисе).

Человеческий мозг умирал последним. Когда переставали действовать руки и ноги, пальцы не застегивали пуговицы, не было сил закрыть рот, кожа темнела и обтягивала зубы и на лице ясно проступал череп с обнажающимися, смеющимися зубами,— мозг продолжал работать. Люди писали дневники, философские сочинения, научные работы, искренно, «от души» мыслили

и проявляли необыкновенную твердость, не уступая давлению ветра, не поддаваясь суете и тщеславию.

Художник Чупятов и его жена умерли от голода. Умирая, он рисовал, писал картины. Когда не хватило холста, он писал на фанере и на картоне. Он был «левый» художник, из старинной аристократической семьи, его знали Аничковы. Аничковы передали нам два его наброска, написанные перед смертью: красноликий апокалипсический ангел, полный спокойного гнева на мерзость злых, и Спаситель — в Его облике что-то от ленинградских большелобых дистрофиков. Лучшая его картина осталась у Аничковых: темный ленинградский двор колодцем, вниз уходят темные окна, ни одного огня в них нет: смерть там победила жизнь; хотя жизнь, возможно, и жива еще, но у нее нет силы зажечь коптилку. Над двором на фоне темного ночного неба — покров Богоматери. Богоматерь наклонила голову, с ужасом смотрит вниз, как бы видя все, что происходит в темных ленинградских квартирах, и распростерла ризы, на ризах — изображение древнерусского храма (может быть, это храм Покрова на Нерли — первого покровского храма).

Надо, чтобы эта картина не пропала. Душа блокады в ней отражена больше, чем где бы то ни было. Разверзлись небеса, и умирающие видели Бога.

Умер В. Л. Комарович. В его смерть трудно было поверить. В сентябре он приходил к нам такой бодрый и деятельный, учил нас менять вещи на провизию, делал утешительные прогнозы.

О смерти В. Л. Комаровича рассказывала мне Т. Н. Крюкова (его ученица по Нижегородскому университету) и И. Н. Томашевская. Вот как это было. В. Л. уже лежал, а Театральный институт решили эвакуировать. Решили ехать Жура (дочка Василия Леонидовича, которая училась в этом Театральном институте) и Евгения Константиновна (жена Василия Леонидовича). Отца они решили бросить: он бы не смог доехать. Его хотели оставить в вот-вот открывающемся стационаре для дистрофиков Союза писателей. В Ленинграде положение немного начинало улучшаться, и для писателей и ученых, умирающих от голода, начинали открываться «стационары», где их «в отрыве от семьи» (всех не накормишь!) немножко подкармливали. В Доме писателя готовили уже помещение для умиравших писателей. Диетической сестрой там должна была быть И. Н. Томашевская. Открытие стационара откладывалось, а эшелон должен был уже отправляться дорогой смерти. И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вынесли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских санок и повезли через Неву на улицу Воинова. В стационаре они встретили И. Н. Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она решительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь подбросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу — в полуподвале, где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на него, подглядывали за ним — брошенным на смерть. Что пережили они и что пережил он! Когда в открывшемся стационаре Василия Леонидовича навестила Таня Крюкова, он говорил ей: «Понимаешь, Таня, эти мерзавки подглядывали за мной, они прятались от меня!» Василия Леонидовича нашла Ирина Николаевна Томашевская. Она отрывала хлеб от своих мужа и сына, чтобы подкормить Василия Леонидовича, а когда в стационаре организовалось питание, делала все, чтобы спасти его жизнь, но у него уже была необратимая стадия дистрофии. Необратимая стадия — это та стадия голодания, когда человеку уже не хочется есть, он и не может есть: его организм ест самого себя, съедает себя. Человек умирает от истощения, сколько бы его ни кормили. Василий Леонидович умер, когда ему уже было что есть. Таня к нему заходила: он походил на глубокого старика, голос его был глух, он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он работал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Заразском) я напечатал потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (кажется, т. V или VI). Эта глава вполне «нормальная», никто не поверил бы, что она написана умирающим, у которого едва хватало сил держать в пальцах карандаш, умирающим от голода! Но он чувствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он считал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского дома. Я передал их туда после того, как их передала мне Т. Н. Крюкова и я извлек из них главу о Николе Заразском. Т. Н. Крюкова приносила ему два раза мясо — мясо, которого так не хватало и ей самой, и ее мужу. Муж ее тоже умер впоследствии. Но февраль, в который умер Василий Леонидович и ее муж, был еще месяцем, в котором умирали мужчины. Женщины стали больше всего умирать в марте. И в феврале она осталась жива, а в марте уехала.

Что стало затем с Журой и с Евгенией Константиновной? Могли ли они жить после всего этого? Сперва они приехали не то в Самару, не то в Саратов. Они были обе в театре и в театре встретили Б. М. Эйхенбаума, который успел выехать из Ленинграда позднее их на несколько недель. Они бросились к нему (в театре!) и спрашивали: «Что с Василием Леонидовичем?» Больше он их не видел, он не мог им ничего сказать. Говорят, они были на Северном Кавказе (не то в Пятигорске, не то в Кисловодске). Их захватили немцы, и с немцами они уехали. Я уверен, что их нет в живых.[1]

Таких случаев, как с Василием Леонидовичем, было много. М. уехали из Ленинграда, бросив умиравшую дочурку в больнице. Этим они спасли жизнь других своих детей. Э. кормили одну из дочек, а другую заморили голодом, так как иначе умерли бы обе. С. весной, уезжая из Ленинграда, оставили на перроне Финляндского вокзала свою мать, привязанную к саночкам, так как ее не пропустил санпадзор. Оставляли умирающих матерей, отцов, жен, детей; переставали кормить тех, кого «бесполезно» было кормить; выбирали, кого из детей спасти; покидали в стационарах, в больницах, на перроне, в промерзших квартирах, чтобы спастись самим; обирали умерших — искали у них золотые вещи; выдирали золотые зубы; отрезали пальцы, чтобы снять обручальные кольца у умерших — мужа или жены; раздевали трупы на улице, чтобы забрать у них теплые вещи для живых; отрезали остатки иссохшей кожи на трупах, чтобы сварить из нее суп для детей; покидаемые — оставались безмолвно, писали дневники и записки, чтобы после хоть кто-нибудь узнал о том, как умирали миллионы. Разве страшны были вновь начавшиеся обстрелы и налеты немецкой авиации? Кого они могли испугать? Сытых ведь не было. Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование, не боясь смерти. И мозг умирает последним: тогда, когда умерла совесть, страх, способность двигаться, чувствовать у одних и когда умер эгоизм, чувство самосохранения, трусость, боль — у других.

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленинградской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер — одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 г.). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»...

В феврале и марте смертность достигла апогея, хотя выдачи хлеба чуть-чуть увеличились. Я на работу не ходил, изредка выходил за хлебом. Продукты и хлеб приносила Зина, выстаивая страшные очереди. Хлеб был двух сортов: более черный и более белый. Я считал, что надо брать более белый. Мы так и делали, а он был с бумажной массой! Очень хотелось горбушек. Жадно смотрели на довесочки. Многие просили у продавцов сделать довески: их съедали по дороге. Отец, когда Зина приносила ему его порцию хлеба, ревниво следил, есть ли довески. Он боялся, не съела ли их Зина по дороге. Но, как всегда, Зина стремилась взять себе меньше всех. Стеблины-Каменские по дороге до дому съедали половину того, что получали. Люди сжевывали крупу, ели сырое мясо, так как не могли дотерпеть до дому. Каждую крошку ловили на столе пальцами. Появилось специфическое движение пальцев, по которому

[1] Нет, они оказались живы. Они живут в Нью-Йорке. Жура замужем за богачом, ездит по Европе, поет песни собственного сочинения под фамилией Комаро (русская фамилия Комарович ее стесняла). Угрызения совести, должно быть, незначительны. *(Примечание 1966 года.)*

ленинградцы узнавали друг друга в эвакуации: хлебные крошки на столе придавливали пальцами, чтобы они прилипли к ним, и отправляли эти частицы пищи в рот. Просто немыслимо было оставлять хлебные крошки. Тарелки вылизывались, хотя «суп», который из них ели, был совершенно жидкий и без жира: боялись, что останется жиринка («жиринка» — это ленинградское слово тех лет, как и «довесочек»). Тогда-то у нас на подоконнике и умирала от истощения мышь...

Папа в феврале уже лежал, опух и вставал только к еде. Его печурку топила Зина или я. В комнате его стало холодно — внизу не топили. От промерзших окон во время топки текли длинные лужи. Он думал о ресторанах на волжских пароходах (несколько раз он проводил свой отпуск один на Волге) и о колбасе, которую пришлет Юра. Сердце начало сдавать. В конце февраля в левом плече и в сердце у него появились страшные боли. Нам удалось уговорить прийти к нам старика-врача, жившего в доме напротив. Уговорили за продукты. Старик едва поднялся к нам на пятый этаж. Но отец отказался допустить себя осматривать (отец не любил лечиться, не любил врачей). Старик-врач ушел, не взяв хлеба, который мы ему совали в руки. Вскоре умер и этот врач, и его жена. Он посоветовал все же греть воду и опускать руки отца в горячую воду. Несколько раз мы так и делали. Лекарств не было: их некому было готовить, но аптеки (некоторые) все же были открыты, и в них была душистая туалетная вода (одеколон весь выпили). Мы ходили в аптеку на Гейслеровском против Лахтинской и купили несколько флаконов туалетной воды. А отец лежал и стонал от боли. Впрочем, стонал он мало, он был очень терпелив. Умер он 1 марта утром, около 8 часов. Он лежал на диване в маминой комнате (в последние дни он боялся оставаться один, боялся марта месяца), и ему было совсем плохо, когда я к нему пришел рано утром. Рядом с ним в темноте горел маленький электрический фонарик — горел от звонковых батарей. Отец время от времени поднимался, опускал руку на батареи, и огонь крохотной лампочки то тух, то вновь загорался. Потом я ушел допить свой кофе. Он постучал в стенку. Когда я вернулся, ему было совсем плохо. Тем не менее он поднялся, чтобы пойти в уборную, и я не мог уговорить его лежать. Он едва дошел и едва вернулся. Сходить в банку он не хотел. Он только повторял: «Царица Небесная!» Дети в соседней комнате не понимали, что дедушка их умирает. Он вздохнул в последний раз. Я закрыл ему глаза старыми большими рублями XVIII века — единственной памятью от его матери (Прасковии Алексеевны — она умерла, когда отцу было 5 лет). Из груди трупа вырвался вздох: это выходил воздух из легких.

Страшное продолжалось и потом. Как хоронить? Надо было отдать несколько буханок хлеба за могилу. Гробы не делали вообще, а могилами торговали. В промерзшей земле трудно было копать могилы для новых и новых трупов тысяч умиравших. И могильщики торговали могилами уже «использованными»: хоронили в могиле, потом вырывали из нее покойника и хоронили второго, потом третьего, четвертого и т. д., а первых выбрасывали в общую могилу. Так похоронили дядю Васю (брата моего отца), а весною не нашли и той ямы, в которой он на день или на два нашел себе «вечное успокоение». Отдать хлеб казалось нам страшным. Мы сделали так же, как и все. Омыли отца туалетной водой, зашили в простыни, обвязали белыми веревками (не пеньковые, а какие-то другие) и стали хлопотать о свидетельстве о смерти. В нашей поликлинике на углу Каменноостровского и реки Карповки внизу стояли столики, за ними сидели женщины, отбирали паспорта умерших и выдавали свидетельства о смерти. К столикам были длинные очереди. Диагноз «от голода» они не записывали, а придумывали что-нибудь другое. Таков был им приказ! Отцу тоже записали какую-то болезнь и, не видев его, выдали свидетельство. Очередь подвигалась быстро, тем не менее она не уменьшалась...

Я, Зина, Тамара вынесли труп отца с пятого этажа, положили на двое детских саночек, соединенных куском фанеры, привязали отца к санкам белыми веревками и повезли к Народному дому. Здесь, в саду Народного дома, на месте летней эстрады, где любил бывать летом отец, его положили среди тысяч других трупов, тоже зашитых в простыни или вовсе не зашитых, одетых

и голых. Это был морг. Отпевали мы отца перед тем во Владимирском соборе. Горсть земли всыпали в простыню — одну за него, другую по просьбе какой-то женщины, отпевавшей своего умершего неизвестно где сына. Так мы его предали земле. В морг время от времени приезжали машины, грузили трупы штабелями и везли на Новодеревенское кладбище. Там, в общей могиле, он и лежит; в какой — не знаем.

Свидетельство о смерти отца от 2 марта. «Хоронили» мы его числа 3—4 марта.

Помню, как подъехала к моргу машина в то время, когда мы привезли отца. Мы просили, чтобы отца погрузили на машину сразу же, но рабочие просили денег, которых у нас в этот момент не было. Мы боялись, что пока отец лежит, его разденут, простыни срежут, золотые зубы выломают. Машина не взяла отца...

Впоследствии я несколько раз видел, как проезжали по улицам машины с умершими. Эти машины и машины с хлебом и пайковыми продуктами были единственными машинами, которые ходили по нашему притихшему городу. Трупы грузили на машины «с верхом». Чтобы больше могло уместиться трупов, часть из них у бортов ставили стоймя: так грузили когда-то непиленные дрова. Машина, которую я запомнил, была нагружена трупами, оледеневшими в самых фантастических положениях. Они, казалось, застыли, когда ораторствовали, кричали, гримасничали, скакали. Поднятые руки, открытые стеклянные глаза. Некоторые из трупов голые. Мне запомнился труп женщины. Она была голая, коричневая, худая, стояла стояком в машине, поддерживая другие трупы, не давая им скатиться с машины. Машина неслась полным ходом, и волосы женщины развевались по ветру, а трупы за ее спиной скакали, подпрыгивали на ухабах. Женщина ораторствовала, призывала, размахивала руками: ужасный, оскверненный труп с остеклянневшими открытыми глазами!

Я не плакал об отце. Люди тогда вообще не плакали. Но пока был жив отец, как бы он слаб ни был, я всегда чувствовал в нем какую-то защиту. Он мне всегда был отец; даже когда я ссорился с ним, был на него сердит, я всегда чувствовал в нем человека более сильного. Со смертью отца я почувствовал страх перед жизнью. Что будет с нами? Хотя отец давно уже ничего не мог сделать, не мог даже придумать выхода из положения, я чувствовал себя всегда вторым после него. Теперь я почувствовал себя первым, ответственным за жизнь семьи в еще большей мере, чем раньше: Зины, детей, мамы. Комната отца стояла пустая, пуст был его маленький красный диван, на котором он спал. Осиротела мебель, которую он заботливо покупал когда-то для семьи.

Еще за два, за три года до смерти он отложил деньги на поминки для своих сослуживцев. Он говорил мне, чтобы непременно повеселились после его смерти его приятели и вспоминали веселые похороны кого-то из своих типографских друзей. Отца любили за его темпераментное веселье, за горячий нрав. О нем ходило много рассказов, многие из которых я услышал уже после войны. А здесь он умер — и никто не знал о его смерти, кроме нас да нескольких равнодушных измученных людей, отобравших его паспорт, выдавших свидетельство о смерти, и рабочих, отказавшихся поднять его труп в машину.

Потом уже, когда мы переехали в Казань, мне часто казалось, что я вижу спину отца или его фуражку на ком-либо из прохожих. Он и до сих пор часто снится мне, особенно перед неприятностями. Он меня жалеет, и мне до слез жаль его. Во сне я о нем плачу, обнимаю его и прижимаю к себе. В марте я еще имел обледенелое сердце, оно оттаяло в Казани, где я особенно часто думал об отце и понял его...

Снова перерыв в моих писаниях. Как-то тяжело приниматься за описание новых и новых смертей.

Умер Александр Алексеевич Макаров, Зинин отец. Раза два Зина добиралась до него пешком, когда он еще был жив. В последний раз она была у него, когда его уже не было в живых. Соседи сказали, что в последние дни он не хотел есть и перестал ходить. В буфете у него нашлась плитка шоколада и еще что-то из еды. Видно, берег для последнего...

Умер мой дядя Вася. В его семье все перессорились и ели по своим карточкам. Ему не хватало, ходить получать хлеб он уже не мог. Он умер в одной

комнате с дочерью и женой. Говорят, перед смертью он плохо понимал, что происходит, бранился. Могилы его нет, как нет и других могил.

В марте стал действовать стационар для дистрофиков в Доме ученых. Преимущество этого стационара было то, что туда брали без продуктовых карточек. Карточки оставались для семьи. Мне дали туда отношение из Института литературы Калаушин и Мануйлов. Зина провожала меня с санками. На санках была постель: подушки, одеяло. Уходить было страшно: начались обстрелы, бомбежки, очень усилились пожары, не было еще телефонов. Хотя уйти надо было только на две недели, но что могло случиться? Вдруг эта разлука навсегда? В Доме ученых комнаты для дистрофиков немного отапливались, но все равно холодно было очень. Комнаты помещались наверху, а ходить есть надо было вниз в столовую, и это движение вверх и вниз по темной лестнице очень утомляло. Ели в темной столовой при коптилках. Что было налито в тарелках,— мы не видели. Смутно видели только тарелки и что-то в них налитое или положенное. Еда была питательная. Только в Доме ученых я понял, что значит, когда хочется есть. Есть хотелось так, как никогда: это оживало тело! И особенно хотелось есть после еды. В перерыве между едой лежал в кровати под одеялами и мучительно ждал новой еды, шел, ел и снова начинал ждать еды.

Несколько раз были обстрелы. Снаряды рвались на Неве, на льду. Из окон стационара хорошо была видна Нева, так как зеркальные окна были целы. Удивительно, что большие цельные зеркальные стекла разбивались при обстреле не так легко, как простые.

Однажды мне пришлось переходить Неву, чтобы попасть зачем-то в Пушкинский дом. Я видел убитую при обстреле женщину. Она лежала тут же, у тропинки, полузанесенная снегом, с рассыпавшимися волосами. Лежала она уже несколько дней, и кровь ее была черная. Несколько человек в стационаре умирали: у них была необратимая стадия дистрофии. Они не хотели есть, лежали черные, губы тонкие, как бумага, обтягивали и обнажали зубы. Некоторые ученые крали или подделывали талончики, по которым нам отпускали завтрак, обед и ужин. Подделать эти талончики было не так уж трудно. На этом «деле» поймали доктора наук — кажется, астронома или химика.

Наконец короткий срок пребывания в стационаре кончился. Зина пришла за мной с санками. Мы везли их по лужам: наступала весна.

Дома я начал не только собирать материал по средневековой поэтике (тетради у меня сохранились), но и писать. Дело в том, что М. А. Тиханову вызывали в Смольный и предложили ей организовать бригаду для скорейшего написания книги об обороне русских городов. М. А. Тиханова предложила меня в компаньоны. С ней вместе мы отправились в Смольный (это путешествие было для меня нелегким). От площади Смольного до главного здания все было закрыто маскировочной сеткой. В Смольном густо пахло столовой. Люди имели сытый вид. Нас приняла женщина (я забыл ее фамилию). Она была полной, здоровой. А у меня дрожали ноги от подъема по лестнице. Книгу она заказала нам с каким-то феноменально быстрым сроком. Сказала, что писатели пишут на ту же тему, но у них работа идет медленно, а ей (!) хочется, чтобы она была сделана быстро. Мы согласились, и в мае наша книжка «Оборона древнерусских городов» была готова. Она вышла осенью 1942 года. Я писал в ней главы «Азов — город крепкий», «Псков» и еще что-то. Больше половины глав — мои. У М. А. Тихановой там написана глава о Троице-Сергиевой лавре, введение и заключение. Сдавали мы рукопись в Госполитиздат — Петерсону (впоследствии умер под арестом — по «ленинградскому делу»). Писалось, помню, хорошо — дистрофия на работе мозга еще не сказывалась.

Весной стала выходить газета (не каждый день) «Лен. правда» — в уменьшенном формате. Газеты добывались только случайно. Из газет я узнал о гибели Павловского дворца и Волотовской церкви. Гибель обоих памятников была описана, хотя сами они не были названы. Павловск был разбит нашей авиабомбой (там был немецкий штаб), а в Волотове находился наш артиллерийский наблюдательный пункт, и церковь снесла немецкая артиллерия. Впоследствии, когда я был в Новгороде, я заметил, что гибель церкви Николы Липного была такой же — там находились наши войска. В книге

«Памятники русской культуры, разрушенные фашистами» (эта книга есть у нас дома — она потом была почему-то запрещена) у Николы Липного ясно видны окопы: это наши. Гибель ленинградских дворцов (в частности, Каменноостровского, который сгорел на наших глазах от времянок квартировавших там частей), Новгорода, Пскова подействовала на меня угнетающе.

Дома стало заметно лучше. Мама (бабушка) и Зина ходили к спекулянту Роньке, у которого за золото получали масло, рис и еще что-то. Масло нас очень поддержало. Бабушка давала нам часть выменянных продуктов, подкармливала детей. Мы с детьми разучивали стихи — «Что пирует царь великий в Петербурге-городке» (Пушкина). Дети тараторили их с удовольствием, а мне в них очень нравилось прощение врагов Петром. И войны были другие, и государственные деятели были другие.

Дошли слухи (с большим опозданием), что немцы заняли Тихвин. Толпа на Большом проспекте разгромила хлебный магазин.

Я встретил Колю Гурьева [1]; он помогал доставлять хлеб в хлебный магазин, и за это ему давали хлеб сверх карточек. Вскоре он выехал из Ленинграда дорогой смерти и погиб с тысячами других. Говорят, он вышел из поезда и пропал. Когда умерла его мать, братья, жена — не знаю.

Тамара Михайлова отправилась на рытье окопов около местечка Пери. Она была там долго. По учреждениям стали выдавать семена для огородов. Помню, нам выдали капельку семян редиски. Мы устроили огород в квартире: перевернули обеденный стол вверх ножками, ножки отвинтили, насыпали земли из сквера на Лахтинской, поставили у окна и посадили редиску. Потом ели траву этой редиски как салат: для витаминов. В мае мы уже ели лебеду и удивлялись, какая это вкусная трава. Лебеду испокон веку ела русская голодающая деревня, но наше положение было значительно хуже. Потому, видно, и лебеда нам нравилась. Люди выкапывали в скверах корни одуванчиков, сдирали дубовую кору, чтобы остановить кровь из десен (сколько погибло дубов в Ленинграде!), ели почки деревьев, варили месиво из травы. Чего только не делали! Но удивительно — эпидемий весной не было.

Мне выдали талоны на усиленное питание. Это усиленное питание давалось в академической столовой (она была там же, где и сейчас — рядом с Институтом этнографии). Два раза надо было ходить есть. Многие так и не уходили, сидели тут же на набережной, в столовой, чтобы не тратить сил. Помню, что давали глюкозу в кусках. После того, как ее съешь, сил сразу прибывало. Это было удивительно, почти чудо. К тому времени стали ходить некоторые трамваи. Топливо для электростанций бралось из разбираемых деревянных домов (так была разобрана Новая Деревня). Трамвай ходил по Большому проспекту Петроградской стороны, по 1-й линии, по Университетской набережной, через Дворцовый мост и по Невскому. Другие линии еще не действовали. Однажды, садясь в трамвай, я страшно разбился. Я уже заносил ногу, чтобы стать на подножку, когда трамвай тронулся. Сесть мне было трудно, но так как трамваи ходили очень редко, то и хотелось. Я не выпускал из рук поручня, а трамвай набирал скорость. Наконец, я сделал попытку вскочить на ходу, но сил у меня не было, я упал, и трамвай меня поволочил. Сразу наступила страшная слабость, и я долго с трудом мог передвигать ноги.

В столовой я, встречая знакомые лица, каждый раз думал: «Этот жив». Люди в столовой встречались со словами: «Вы живы! Как я рад!» С тревогой узнавали друг у друга: такой-то умер, такой-то уехал. Люди пересчитывали друг друга, считали оставшихся, как на поверке в лагере.

Но тут случилось непредвиденное: меня вызвали в милицию, в военный стол, но не по военным делам. Начались допросы, требования: блокадный Ленинград перекликался с северными Соловками. Меня вызывали несколько раз на Староневский, туда, где когда-то помещался сиротский дом. Когда угрозы не помогали (а они были серьезные), меня вызвали в милицию на Петрозаводской улице, перечеркнули тушью ленинградскую прописку и предложили со всей семьей выехать в несколько дней. Следователь провожал меня на площадке милиции, смотрел, как я ухожу, и угрожающе кричал: «Так не

[1] Потомок графов Гурьевых.

согласны?» Не буду описывать всех этих допросов, угроз, «заманчивых» предложений и обещаний и пр.

Вряд ли кто-нибудь из читателей «Обороны древнерусских городов» предполагал, в каком положении находится их автор. И вряд ли думал о различии в положении осажденных. Мы были осажденными вдвойне: двойным кольцом — внутри и снаружи. А читали нашу книгу в окопах под Ленинградом. Об этом мне рассказывал мой друг Аркаша Селиванов, находившийся на «Ораниенбаумском плацдарме».

Помню особенно неприятное «посещение». Я выходил из квартиры со связкой книжек (книги можно было уже продавать в Доме книги: мы тогда стали продавать все, что могли) и встретил следователя; он вызвал меня на Староневский, так как по повесткам я не являлся. Добирался я до Староневского долго. Провел там целый день, и дома очень тревожились. Это был сильный, решительный нажим на меня. Тогда следователь разыграл сцену, будто я арестован: вызвал красноармейца, и тот повел меня в подвал. К счастью, я не верил угрозам и решения своего не менял. Тому, кто пережил ужасы блокады, ничего уже не было страшно. Запугать нас было трудно.

Мы начали спешно продавать все, что могли. Я решил: мы должны жить, а все остальное наживем. Мы прикрепляли объявления о продаже вещей к заборам. К нам беспрерывно ходили покупатели. Покупали за дешевку люстры, ковры, бронзовый письменный прибор, малахитовые шкатулки, кожаные кресла, диван, отцовское зимнее пальто и шапку, плохонькие картины, половую лампу со столешницей из оникса, книги, открытки с видами городов — все-все, что было накоплено еще до революции отцом и матерью. Только часть книг (полное собрание русских летописей — отдельные тома и еще некоторые) я отвез в Пушкинский дом на хранение. Наняли для этого дворника из дома напротив — «дядю Ваню». Он за буханку хлеба отвез книги на тележке.

Из-за кожаных кресел произошел даже скандал на парадной лестнице. Купила их за 600 рублей какая-то незнакомая партийная дама и оставила нам задаток, а потом пришел покупатель, который дал подороже. Мы продали второму покупателю, а партийной даме решили вернуть задаток. Но партийная дама пришла как раз тогда, когда кресло выносили. Она подняла такой крик и визг, что и новый покупатель, и мы отступились. Мы встречали эту партийную даму потом, когда вернулись в Ленинград. Мы могли бы отобрать у нее кресла, вернув деньги, так как тогда (в 1944—1945 гг.) вышел декрет, по которому купленное в блокаду по грабительским ценам должно было возвращаться. Но, зная ее визгливый характер, мы не стали требовать назад наших памятных кресел (в них очень любил сидеть мой отец).

Картину «Зима» итальянского художника, кажется, Массена, я видел затем в 1944 году в комиссионном магазине на Садовой около Публичной библиотеки. Рама была подновлена, сама картина подлакирована, и на ней выведена огромная размашистая подпись: «Кржицкий». Говорят, в блокаду существовала целая артель, которая подновляла старые картины, ставила на них подписи знаменитых художников и снова пускала в продажу. На пустых желудках ленинградцев составлялись целые состояния. Наш юрист и замдиректора в Институте Шаргородский советовал мне тогда забрать картину через суд, но и в этом случае я не стал этого делать. Хотя картина была мне памятна с детства, я устал, мне не хотелось судиться. На картине был изображен закат зимой. Санный путь уходит до синего горизонта, полузакрытого снежными тучами. На переднем плане изба с бочкой над дверью — это кабак. У кабака несколько саней со впряженными лошадями: ожидают мужиков, ушедших в кабак. В картине есть настроение, довольно пессимистическое... Передаю перо маме.

Когда мы решили ехать,— а без денег ехать нельзя,— стали продавать вещи. Было такое чувство, что мы в Ленинград уже никогда не вернемся и все пропадет, а поэтому нужно продать все, хоть бы за бесценок. Мы давали объявления (развешивали на заборах) о продаже вещей, и к нам ходили люди и покупали вещи, как в магазине. Если в городе был обстрел, то к нам никто не приходил. Как-то пришел молодой человек и купил у меня письменный бронзовый прибор за 150 рублей, и тут же стояли 2 бутылки уксуса, и он их купил тоже за 150 рублей. Так ценились продукты, даже уксус! Я купила несколько бутылок уксуса в начале блокады. Магазины были пустые, можно было купить только горчицу, уксус, соду — вот я и купила. Уксус и горчица нам помогли есть студень из столярного клея. Для вкуса при варке я в него клала траву сельдерей, которая у меня сушилась для зимы, так как коренья раньше зимой не продавали. Я помню некоторые цены, по которым продали наши вещи, или, вернее, отца и матери Мити. Шифоньер ореховый зеркальный — 1000 рублей. Туалет — тоже за столько же. Это очень хорошо, а остальные вещи гораздо хуже продали. У дедушки в комнате была хорошенькая ковровая кушетка. Ее продали за продукты, причем микроскопические: вроде 300 г конфет соевых, килограмм риса, полкило сахара и т. д. Два кабинетных кресла, вроде того, что у папы в кабинете (только лучше — мягче), мы продали за 600 рублей пара. Кушетку плюшевую мы продали за 450 рублей, а потом купили хуже за 1700 рублей. В общем, как будто мы выручили от продажи имущества тысяч девять — десять. Когда приехали в Казань, этих денег хватило месяца на три. Из этих денег мы купили картошку у знакомого Митиного брата Басевича. Он нам продал 6 мешков мелкой картошки, и мы заплатили 2000 рублей. Продали перед отъездом всю мебель, посуду, сервизы. Когда мы уезжали, то взяли только мягкие вещи, которые зашили в тюки и сверху в клеенку. Клеенку сняли со столов. Удивительно, как не пропали наши тюки. Их мы с Тамарой разыскивали среди других подобных тюков, которые свалили в поле на другом берегу Ладожского озера. Как мы их таскали и грузили в товарные вагоны, в которых мы отправлялись в Казань!

Оставил место для Зины и продолжаю писать.

Связь с «большой землей» постепенно возобновилась, возобновилась и связь друг с другом. Пришел запрос от Миши — живы ли мы. Он действовал через какое-то свое учреждение. Пришел оттуда человек и обещал дать машину для того, чтобы перевезти вещи на вокзал. Это было большое дело! Мише сообщили о смерти дедушки. В главном зале Академии наук шла запись на эвакуацию. Там встретился я с Дмитрием Павловичем Калистовым: он тоже собирался ехать. Мы записались все, записали и Тамару Сергеевну Михайлову (няню). Она тогда уже работала в Институте литературы (ее взял М. М. Калаушин препаратором). Вещей можно было брать ограниченное количество и только в мягкой таре, то есть в мешках. Людей отправляли с Финляндского вокзала до станции Борисова Грива, а оттуда Ладожским озером на пароходах и барках. Город постепенно пустел больше и больше. Милиция нас торопила, а эшелон откладывался. Подгоняемый милицией, я ходил к прокурору и доказывал незаконность высылки. Прокурор помещался на Пантелеймоновской. Все это взвинчивало нервы страшно. К тому же мы встретили на Большом проспекте «Любочку», жену моего двоюродного брата Шуры (Александра Петровича) Кудрявцева. Шура был уже доктором технических наук — специалист по какой-то редкой морской специальности (по образованию он был инженер-электрик). Блокаду они кое-как прожили (Шура был жаден, предусмотрителен и запаслив), а весной он стал ходить обедать в Дом ученых, а там в столовой «разговорился»: говорил о том, что ученые деквалифицируются. Его вызвали, как и меня, запугивали этим разговором о деквалификации и предложили «служить». Кажется, он смалодушничал, согласился, а затем явился в свою старую квартиру, поврежденную бомбой, в которой они уже не жили, и там повесился. Следователь, запугавший его, очень испугался сам, так как Шура был специалист военный и, следовательно, человек нужный, приходил к Любочке на дом, уговаривал ее не говорить и пр. Вот как ценилась жизнь защитников города.

Перед отъездом, в мае и в июне, очень усилились обстрелы. Однажды вся наша квартира сотряслась, а затем раздался грохот, и мы слышали, как на улице посыпались стекла. Звук падающих стекол — очень характерный звук ленинградских обстрелов. Улицы сплошь были засыпаны мелким стеклом, и в галошах ходить было совершенно невозможно: резались. В этот раз разрыв был очень сильный. Бабушка с криком собрала детей и бросилась с ними в коридор. Но было ясно, что раз разрыв был слышен, значит, в нас уже не

попало. Потом бабушка побежала вниз по лестнице. Второго разрыва не было, но этот единственный и тяжелый снаряд наделал-таки бед. Он попал на Большом проспекте в двухэтажный домик на углу улицы Ленина. Этого дома сейчас нет. Внизу была булочная. Снаряд прошиб весь дом сверху вниз и разорвался в булочной. Погибло несколько десятков людей. Все было залито кровью.

Когда мы ходили по улице, мы обычно выбирали ту сторону улицы, которая была со стороны обстрела — западную, но во время обстрела не прятались. Ясно был слышен немецкий выстрел, а затем на 11-м счете разрыв. Когда я слышал разрыв, я всегда считал и на 11-м счете молился за тех, кто погиб от разрыва. Жене заведующего столовой Сергейчука снесло голову: она ехала в трамвае. В трамваях ехать было особенно опасно. Ленинградские старые трамвайные вагоны были со скамейками вдоль окон. Разрывом выбивало стекла и обезглавливало сидящих. Когда я впоследствии вернулся в Ленинград (приехал из Казани в командировку в 1944 году), я много слышал рассказов о таких трамвайных трагедиях. А против Биржи труда еще в сорок пятом стоял трамвай с начисто выбитыми стеклами. Снаряд попал в рельсы под него. Рельсы вздыбились, трамвай покосился. Так он стоял довольно долго.

Ленинградские обстрелы хорошо описаны в воспоминаниях художницы О. А. Остроумовой-Лебедевой.

Ко времени отъезда мы почти все уже продали. Оставались непроданными некоторые книги и детские игрушки. Зина сшила черненькие заплечные мешки для девочек. В эти мешки мы должны были положить им их куклы (самые любимые), а остальные куклы мы должны были отдать в детский сад (открылся внизу нашего дома). Что за трагедия была, когда к нам пришла заведующая детским садом и стала выносить куклы! Дети плакали, бросались на колени, бежали по лестнице за этой женщиной и долго не могли успокоиться.

Приходил Вася Макаров (брат Зины), принес нам однажды черный творог из складов на Кушелевке. Эти склады сгорели еще в 1939 году во время финской кампании (говорят, их поджег финский самолет). Склады были продовольственные, и вот народ весной 1942 года стал раскапывать завалы и извлекать из-под угольев остатки провизии. Творог Вася купил за 200 рублей: это была черная лоснящаяся земля, пахнувшая землей и замазывавшая до боли горло. После нее болел желудок (единственный раз, когда у меня во время войны болел живот). Вася купил у нас кабинет (остатки — без мягких кресел) и еще что-то. Мы просили его продать остатки книг.

Броню на квартиру я сдал в жакт, но печати на квартиру наложить не удалось: не было времени. Нельзя было задерживать машину. Мягкие наши тюки мы отправили на машине на вокзал — принимали багаж на Московском вокзале. Затем мы переночевали в пустой квартире и на следующий день с самыми небольшими заплечными мешками отправились на Финляндский вокзал. Погода была хорошая. Это было 24 июня. Мы покидали нашу квартиру с таким чувством, точно никогда уже в нее не вернемся. Казалось невозможным вернуться в город, в котором мы видели кругом столько ужасов. Может быть, поэтому мы даже и не опечатали квартиру, не очень об этом заботились. Вася нас провожал. Дети шли в серепьких пальтишках (они сняты в них в Ботаническом саду осенью 1941 года) с заплечными мешками. Тамара, купившая перед тем швейную машину у бабушки Обновленской, несла ее, завернутую в одеяло, но без крышки (твердая тара!). Мы ехали в трамвае и в последний раз смотрели на многострадальный город.

На Финляндском вокзале нас в первый раз сытно кормили: дали пшенной каши с «большим» куском колбасы. Нас подкрепляли к дороге. Дорога предстояла тяжелая, и слабые ленинградцы погибали на ней тысячами. Мы поели на воздухе, затем нас стали сажать в дачные вагоны. Тесно было страшно. Вместе с нами очутился и Стратановский. Он потерял жену (она умерла сравнительно рано, зимой) и был один. С растерянным видом он упрашивал пустить его к нам в вагон. Поезд шел медленно, долго стоял на станциях. Часть людей сидела, часть стояла спрессованная, тамбуры были все забиты.

Ночью, в белую ночь, мы приехали в Борисову Гриву. Нам выдали похлебку: она была жирная, и ее было много. Мы жадно ели эту настоящую пищу. Нас кусали комары, как живых, мы видели природу. Это было прекрасно. Не спали. Я разговаривал с гебраистом Борисовым, умершим потом в дороге от дистрофического поноса. Дмитрий Павлович Калистов, Олимпиада Васильевна, сестра Олимпиады Васильевны — Ляля и Бобик оказались в том же поезде, что и мы. Дмитрий Павлович шутил: «Хотел бы я видеть того Бориса, у которого такая грива». Мы решили держаться все вместе.

В Борисову Гриву доставили наш багаж. Мы сами разыскивали по приметам наши тюки и складывали их вместе под открытым небом. Затем началась погрузка на пароход. На пароход пропускали только один раз, после проверки паспорта, но что можно было захватить за один раз нашими ослабевшими руками? Мы с Дмитрием Павловичем, Зина и Тамара едва уговорили стражников, проверявших наши документы, пропустить нас еще раз и ходили раза по три, таская наши тюки по молу до парохода. Когда мы вернулись к пароходу с последними тюками, пароход уже отходил, а на нем были дети, бабушка, Зина, Тамара. Мы с Дмитрием Павловичем прыгнули, рискуя упасть в воду, но благополучно оказались на борту перегруженного до крайности парохода. Если бы прошла еще минута, мы бы остались на берегу. Бог знает, когда бы тогда снова нашли друг друга! Как волновалась Зина — и передать не могу.

День был ясный, и мы плыли на самом виду у самолетов, если бы они появились, но, слава Богу, их не было. Только пристав к тому берегу, мы почувствовали себя в относительной безопасности, но тут началась воздушная тревога. Мигом опустела пристань, но это были только разведчики: немцы не бомбили.

Помню, как мы снова искали наши тюки. Весь багаж был сложен на песке плотно друг к другу. Мы все (сотни пассажиров) ходили вокруг этих сложенных вещей и разыскивали свои тюки с бирками, на которых были написаны наши фамилии и название учреждения. Мы искали очень долго, так как тюков у всех было много и народу было очень много, но ничего не пропало. Затем нас стали грузить в товарные вагоны с нарами, но досок для нар не хватало и надо было достать досок, чтобы можно было спать. Первая большая остановка была в Тихвине. Мы снова ели там кашу с большим количеством масла и успели даже сходить осмотреть город, в котором жили с Дмитрием Павловичем в 1932 году. Город пострадал отчаянно. В нем не было жителей, но странно, что статуя Ленина против гостиного двора на площади была немцами не тронута.

По дороге мы покупали у жителей дикий лук, на станциях ходили за кипятком, за пайком. Всюду нас обильно кормили, а мы ели, ели и не могли насытиться.

В пути было много трудного, о чем уж не стану рассказывать. И в Казани было нелегко. Но все это — другой рассказ и другая «эпоха». О ней следует рассказать особо.

Были ли ленинградцы героями? Нет, это не то: они были мучениками...

Я не собирался печатать своих записок. Они написаны для дочерей и носят вполне домашний характер.

Сколько погибло в Ленинграде от голода? Можно было бы приблизительно подсчитать число. Владислав Михайлович Глинка говорил мне, что он в конце лета 1942 года встретил возвращавшегося с заседания какой-то комиссии Ленгорздравотдела профессора онколога Николая Николаевича Петрова, и тот сказал ему: «Сейчас объявили, что число официально зарегистрированных смертей с начала блокады — один миллион двести тысяч. А сколько погибло беспаспортных беженцев!..» Следовательно, искать число «официально зарегистрированных» смертей надо в протоколах Ленгорздрава.

Федор
СУХОВ

Земляки

Их ссылали, их гнали на Соловки,
Знать, такая судьба, знать, планида такая.
Под дождем да под снегом они волоклись,
Уроженцы приволжского вольного края.

Земляки мои, односельчане
В арестантском понуром шагали строю,
В тягостном-тягостном стыли молчаньи,
Вспоминали калину, малину свою.

Подоконной рябины багряную кисть
Берегли вдалеке от родимого дома.
У какой-то воды долго-долго толклись,
Невеликого ждали парома.

А когда на паром усадили себя,
Ночь кромешная на воду пала...
Знать, такая планида, такая судьба,
Позабудь, как грустит луговая купава.

Позабудь, как звенит колокольчик лесной,—
Ночь кромешная хлещет стеклянной крупою.
Отоснился, забылся отжинночный сноп,
Осень поздняя ходит по полю.

А по весям, по градам слезятся огни,
Плачет осень по весям, по градам.
Земляки мои, мирно сидели они,
Пряча взгляд свой от дикого волчьего взгляда.

Отводили от глаз конвоира глаза,
Что полынью грустили да лебедою...
Моря белого белая стыла краса,
Над соленой восстала водою.

Высоко поднималось стеной крепостной
Беломорское древнее диво,
Что кромешною ночью, ее тишиной
Земляков моих огородило.

Упокоило их лебеду да полынь,
С потайными сроднила лугами...
Может быть, потому-то такая светлынь
Над морскими стоит берегами.

Голгофа

Где-то рядом Мезень, где-то рядом Печора,
И Онега, совсем-то она недалёко...
К милым северным пожням, к их травам, к их пчелам
Прикоснулось мое просветленное око.

К диву белому, к белым ночам прикоснулась
Неутихшая грусть василькового лета.
Не чужая — моя возвращается юность,
Потому-то так дивно все, все-то так лепо.

Катят воды свои величавые реки,
Много-много воды утекло, укатилось!
По лесам белоглазо взирают орехи
На небесную, шумно сошедшую милость.

Дождь пролился! Резвился на радость сорокам,
По Мезени скакал, по ее глухомани.
Припадая к оленьим размытым дорогам,
Близоруко плутал в непроглядном тумане.

К диву белому, к белым ночам приобщался,
Освежал, омывал эти белые ночи.
Буду помнить до самого смертного часа,
Как земля посошок свой высоко возносит.

Возвышает себя молодой подорожник,
Колокольчик и тот приподнялся высоко.
Василькового лета зеленые пожни
Кажут небу свое просветленное око.

Озерцо невеликое кажет урема
И не кажет небесные дивные страсти.
...Снами белыми, белою-белою дремой
Усыпляют себя соловецкие старцы.

Значит, ведают старцы, что сталось, случилось
Со святою обителью в некую зиму.
Показала свой норов нечистая сила,
Повалила стоящую смирно осину.

Все-то, все повалила. Осталась Голгофа.
На Голгофе белеют мужицкие кости,
Да заветные камушки, вроде гороха,
Долго-долго хранят беломорские гости.

◆◆◆

Еду к белым медведям. Не зрил,
Этих белых медведей не видел.
Восходящее диво зари
Пусть к моей прикоснется обиде.

Пусть обрадует, обвеселит
Мой тихонько приподнятый посох,
Моря Белого выбрезжит лик,
Отразит в захолонувших росах.

Отразятся и острова
Соловецкого архипелага,
Скажет жалостные слова
Давних-давних времен бедолага.

Мой земляк, что пошел супротив
Диктатуры рабочего класса,
Не воспринял ее директив,
В вечной верности не поклялся.

Сам себя с головой,
С потрохами со всеми выдал.
Над поваленною травой
Возвышается каменный идол.

Возвещает дланью своей
О еще одной пятилетке.
Не поет соловей,
Пребывает в железной клетке.

Никого-то не возвеселит
Полоненная птаха.
Моря белого белый лик
Притемняет черная плаха.

Наподобие головни
Эта птаха себя возносит.
Страха черного черные дни
Омрачают белые ночи.

Соловецкого монастыря
Сгибло дивное великолепие,—
Восходящая кажет заря
Бездыханного лебедя.

Феликс
СВЕТОВ

ТЮРЬМА

Роман

Я никогда не видел, как начинается горная река, кто-то рассказывал мне: скала потеет, где-то высоко-высоко подтаивает ледник, чем ниже, тем более влажным становится камень, скала сочится, у подножия, меж валунами, вскипают ручьи... Я видел горную реку в средине течения: черная, серая, голубая, бирюзовая, она неукротимо рвалась к востоку в междугорье, и казалось, на рассвете солнцу каждый раз случайно удается вырваться и оно на всякий случай начинает скользить в сторону, убегает от реки, спеша подняться, в еще сверкающих брызгах и пене. Под высоким берегом, где я обычно сидел, по-видимому, была глубокая яма, вода вскипала, бурлила, пенилась, открывая в глубине вымытые до блеска камни, и все, что попадало в нее — доски, палки, бревна, порой целые деревья, мелькнув, исчезали, появлялись снова — разломанные, разлохмаченные, их швыряло в сторону, снова закручивало, заглатывало и, наконец, они выпрыгивали далеко внизу исковерканными, изувеченными обломками. День сменялся ночью, улетали недели, проходили месяцы, годы (по всей вероятности, мелькали, улетали столетия и тысячелетия), а река все так же рвалась к востоку; солнцу, непонятно как, удавалось с рассветом вырваться, и оно скользило вбок, спеша подняться, а в яме под высоким бугром ревела не способная остановиться вода, уничтожая все, что в нее попадало, несла обломки меж зеленых, желтых, рыжих, бурых, черных, пепельных, совсем белых берегов, не утихала, не останавливалась и скованная льдом, ревела под ним, взламывала, двигала огромные торосы, расшвыривала льдины, а белые, черные, прозрачные берега снова зеленели, желтели, рыжели...

Нечто подобное происходило однажды ночью в большом здании (верней, в целом комплексе зданий), затерянном посреди тысяч и тысяч других зданий в многомиллионном городе, далеко от горной реки, за тысячи километров от всяких гор. Едва ли эта ночь была исключением, как мне теперь понятно, та ночь была обычная, рядовая, ординарная, каждый год их бывает столько же, сколько дней — 365 (или 366 раз в четыре года). Впрочем, подобие, о котором идет речь, приходящее в голову человеку с воображением, сидящему на бугре над горной рекой и с неким мистическим ужасом наблюдающему грохочущую, ревущую перед ним воду, такая, скажем, ассоциация вполне субъективна, а потому может быть оспорена, ибо не способна стать неким абсолютным, или, чтоб точней, единственным ключом к разгадке волнующей нас тайны. Как всякая ассоциация, или как всякая метафора. А потому я на ней не настаиваю, слишком она красива, слишком много в ней воли, ветра, воздуха,— красоты Божьей. Вполне может статься, что повозившись с «замком», я откажусь от надежды открыть его «ключом», подобранным вполне, как я понимаю, случайно. Но открыть «замок» мне необходимо, жизненно важно. Я поищу один, другой ключ, а нет — тогда попробую лом, не зря говорится: против лома нет приема. И тогда откажусь от случайно найденного подобия: горной реки, водоворота, воронки, ревущей воды, разламывающей в щепки доски и бревна. Откажусь безо всякого сожаления. Перечеркну или отрежу ножницами. И забуду о нем.

Феликс Григорьевич СВЕТОВ родился в 1927 г. в Москве. В 1951 г. окончил Московский государственный университет. Филолог. В 1960-е гг. в московских журналах и газетах было опубликовано более 100 его статей и рецензий (главным образом, в «Новом мире» у А. Т. Твардовского), 4 книги (литературная критика); в 1978 г. издательство YMCA-PRESS (Париж) опубликовало роман Ф. Светова «Отверзи ми двери» и в 1985 г.— книгу «Опыт биографии» (литературная премия им. В. Даля за 1985 г.). В январе 1985 г. Ф. Светов был арестован, год провел в заключении в тюрьме («Матросская тишина»), по статье 190^{1} приговорен к 5 годам ссылки. Освобожден в июне 1987 г.

Глава первая

СБОРКА

1

Скрежетнув еще раз тормозами и громыхнув обледенелым железным ящиком, встряхнув его так, что все содержимое ёкает, как одна огромная селезенка, машина вползает в шлюз; мотор продолжает работать, но ему не заглушить грохот задвинувшихся ворот. Впереди раздается новый скрежет; подвывая, раздвигаются, уползают в стены вторые ворота, железный ящик снова встряхивает, ёкает огромная селезенка, там что-то с шумом валится, падает друг на друга, машина выкатывается из шлюза и через несколько десятков метров останавливается. Гремит ключ, гремит дверь, гремит еще один замок, гремит решетка: «Выходи!». В клубах морозного пара на снег перед машиной вываливается содержимое железного ящика, в ранних зимних сумерках не разобрать лиц: бледные, грязные, обросшие — десять, двадцать, тридцать, сорок... Как они уместились в ящике? Машина отъезжает. Кучка людей на свету озирается: тесное пространство между темными, уходящими в небо корпусами, над головами арка — переход из одного корпуса в другой... Рядом лязгает дверь: «Заходи!». Придерживая сползающие штаны, шлепая, загребая ботинками без шнурков, они втягиваются в открывшийся перед ними проход, в дверь. Сейчас она лязгнет за ними, захлопнется. Надолго? За кем-то навсегда.

Большое темноватое помещение, трубка «дневного» света под высоким потолком не в состоянии его осветить... Что это? Комната? Нет, комната предполагает хозяина — его вкус, пристрастия, профессию, личность — да мало ли что, комната — это дом. Едва ли это вообще жилое помещение, нет ничего, что можно было б назвать мебелью,— ни стола, ни стульев, ни кроватей. Это и не присутственное место, в котором хоть что-то должно намекать на смысл *присутствия*. Некий «зал ожидания» — *ожидания чего?*.. Метров, пожалуй, тридцать, квадратных, потолок высокий, а потому кубатура большая, но первое, что ощущаешь, переступив порог,— духота, сырость, грязный пар, табачный дым, густой смрад... Может быть, потому яркий свет под высоким потолком и не способен пробиться, осветить *помещение?* Загаженный, хлюпающий бетонный пол; вдоль стен узкие железные лавки; против двери, под потолком, два «окна» — метра в полтора шириной и полметра высоты, они забраны толстой решеткой, а снаружи загорожены чем-то еще; в темноте, сгустившейся во дворе, в котором тебе больше никогда не бывать, в темноте уже не разберешь — что́ там, но у тебя будет время понять и это. Слева от двери, в углу — сооружение, некий знак цивилизации, примета века, единственная здесь черта «домашности», но глаз на нем не отдохнет, и ты в первое мгновение в ужасе отвернешься: загаженный до безобразия ватерклозет, вода, не переставая, бурлит, он забит, лужа растекается, растаптывается — вот откуда грязь, хлюпающая под ногами... (Впрочем, способен ли ты сразу, одним взглядом окинуть, но главное — *понять* «помещение»? Кто-то, наверно, способен, а кто-то едва ли.) А ног множество: ботинки без шнурков с вываливающимися «языками», сваливающиеся, шаркающие туфли, уверенные в себе (кажущиеся таковыми рядом с разоренными туфлями и ботинками) сапоги — они топчутся, шаркают, шлепают, сначала выбирают место посуше, осторожничают, потом привыкают, уже не замечают, куда ступить — да и нет в этом смысла...

Пожалуй, надо было начать не... «Помещение» забито людьми. Не забито — переполнено, пятьдесят-шестьдесят человек — много это или мало для тридцати квадратных метров с узкими железными лавками — половина стоит, топчется, потом начинают перемещаться. А железная дверь то и дело открывается с лязгом и с лязгом захлопывается, входит кто-то еще — один, двое, трое, сразу пятеро. Останавливается, топчется, озирается, приглядывается, потом ботинки без шнурков, сваливающиеся с ног туфли, сапоги начинают ступать, шлепать, шаркать, уже не осторожничая. Вот о чем речь: что *их* занимает раньше — тех, за кем с лязгом захлопывается еще одна (которая уже по счету?) железная дверь — странность, скажем, «помещения», в котором они оказались, или скопление людей, находящихся в том же положении? Важно это — что́ раньше?

Гул стоит в помещении. Как может быть иначе, если пятьдесят-шестьдесят человек собраны вместе — да что б там впереди у них ни было! — как в предбаннике, в приемной «присутствия», в зале ожидания — да что б там ни ожидалось!.. «Закурим, отец? — Закурим!» И вот ты уже сидишь, кто-то подвинулся, кто-то встал *пройтись*... Словно бы посветлело — или пригляделся? Кто-то привалился головой к стене, глаза закрыты; чей-то воспаленный взгляд прикован к лязгающей двери, встречает каждого, кто входит; кто-то рядом спрашивает, спрашивает соседа, о чем — не разобрать, а тот на полуслове встает и отходит; двое *фланируют*, ловко обходя бессмысленно топчущихся: один в распахнутом пальто, шляпа в руке на отлете, лицо мятое, заросшее, прихрамы-

вает, возит ботинками без шнурков под сползающими штапами, второй — в телогрейке, в кирзачах, заглядывает ему в лицо, суетится, быстро-быстро говорит, горохом сыплет, а «шляпа» *смеется* — раскатисто: «Да быть того не может!» И все движется, говорит, курит, приглядывается, озирается... *Живет!* Неужто живет — такой странной, еще непостижимой, уродлиаой — потусторонней? — может, и потусторонней, во всяком случае, ни на что не похожей, но *жизнью!*

Может, и верно, посветлело, едва ли, пригляделся — дым гуще, смрад тяжелее, дверь лязгает и кто-то еще, а за ним еще... «Здоров, земляк! Вон где встретились, или ты меня тут поджидал? — Погоди, не помню...— Ишь какой, а Пресню летом, 142-ю — забыл? — Конаковский! — Он самый, из Конакова.— Гляди, живой! Что ж ты опять валетел? — Я-то ладно, а ты, земляк, чего тут — или служишь?» И кто-то еще, и еще... И все гомонит, шлепает, топчется, перемещается...

— Ты где жил, браток?..— кто-то в углу.

Жил! — вот оно сказалось словцо, искомое, все объясняющая глагольная форма.

— Плюсквамперфектум...— бормочет очкарик.

— Чего?.. Ты чего говоришь? Я спрашиваю, где жил, в каком, мол, районе...

Нет, ие светлеет, показалось, ты опустился ниже, тьма гуще — вон как темно за решеткой, за загороженным чем-то снаружи окном, наверно, и двора того уже нет, все равно тебе его больше не видать. *Жил*, думаешь ты, *жил*, а теперь — *что это?*.. «Сборка» — прошелестело не слышанное никогда слово, прошелестело и... Но ты снова и снова вылавливаешь его в общем гуле, вслушиваешься в него, поворачиваешь так и эдак, пробуешь на вкус, и оно начинает обретать смысл, сначала внешний, ничего не говорящий, не объясняющий — нелепое название, технический термин, не способный ничего сказать тому, кто услышит его со стороны, как название, определение, техничеcкий термин... Да и тому, кто *попал на сборку* — сразу ли поймет, распознает, прочувствует вкус, запах, цвет, пока оно еще просочится внутрь и ты сможешь его разглядеть с разных сторон, ощутить, проникнуться неисчерпаемой емкостью слова... *Сборка.* И не пытайся вбить в формулу, подобрать сравнение, кому-то рассказать: «Привели, понимаешь, на сборку...— Куда?..» То-то и оно — *куда?* Но ты услышал, вырвал из общего гула, выхватил и впустил внутрь — оно само проникло, забралось, торчит гвоздем, стало *твоим*, вошло внутрь, пустило корни — и уже не вырвать, только с мясом, с нутром, если вывернут наизнанку... Нет, не сразу, потом поймешь. Но и когда дозреешь, не объяснишь, не суметь.

Гудит сборка, будто и не ночь, будто так и надо, будто ты и родился для того, чтоб узнать о ней не со стороны, чтоб не удивленно-недоверчиво пожать плечами, о ней услышав, чтоб она стала *своей, твоей*, чтоб ты понял, что мог и всю жизнь прожить до смертного часа, а ничего о жизни не понять, кабы не сподобилось попасть на *сборку*. Но ты все равно не объяснишь, не сможешь, и никто тебя со стороны не поймет, не услышит.

2

Сколько же прошло времени...— думает он. *Времени?* Нет его, кончилось время с тех самых пор, как за ним лязгнула первая дверь. Пусть так, другое, чему в нем нет еще названия, *проходит*, и он вдруг замечает — что-то меняется в общем постоянном движении, перемещении, шаркании, а казалось, всегда будет только так, какие могут быть тут... Дверь лязгает очередной раз, в общий гул врывается... Что? Будто ручей прорезает толпу... Сколько в ней — восемьдесят, сто человек? — думает он. Снова лязгает дверь, новый ручей течет, исчезает... И снова, и опять... Он вылавливает в общем гуле знакомое имя, его поднимает — *поднимает*, он не шевельнулся, не понял, его уже... Поднимает, и вместе с прорезавшим толпу ручьем, выносит...

Гулкий, темный коридор, переходы, один поворот, второй, сколько-то ступеней вниз, сколько-то вверх — и он в новом помещении.

На сей раз закуток метров в пять: яркая лампа, битком — человек пятнадцать; на пороге распахнутой двери *куда-то* некто в белом халате — врач? Глаза за очками холодно-спокойные, устало-внимательные, их не забыть... Неужто *видит* каждого? — думает он.

— Он тут уже лет тридцать, мне кореш рассказывал, через него миллионы *прокатились*...

Умывальник, горячая вода, так бы и не отпускал рук...

— Следующий!..

По двое в распахнутую дверь.

— Что там?

— Пальцы *катать*, не видишь!

Все он уже видит: лист, а на нем его знак, обозначение, паспорт в новой жизни, новое имя. А белый халат за древним деревянным ящиком накрылся черным фартуком:

— Анфас! Профиль!..

Дорого бы заплатил за это изображение, такого у него никогда не было — так ведь и ничего *такого* никогда не было... А что было, что у него было, пытается он вспомнить и не успевает...

Опять темный, гулкий коридор, переходы, повороты, вниз, вверх, лязгает дверь — и он снова там же, в смраде, табачном дыму, посреди шаркающих, перемещающихся, хлюпающих на бетонном полу... Его место занято — да нет у него *своего* места! И его уже нет — только обозначение, ветошьи следы на белом листе, а где-то на пластинке — чужое лицо под новым его знаком.

Светлеет? Темнеет? Не все ли равно! Его уже нет — понятно? Был, был когда-то Георгий Владимирович Тихомиров, Жора, Жорик, Жоринька, мальчик с пухлыми розовыми щечками, юноша с пробивающимися усиками, студент с жадными глазами, подающий надежды аспирант, преуспевающий доцент, муж, отец, любовник, собутыльник, болельщик, меломан, шутник, всеобщий любимец... Где он, откуда он его знает, где они познакомились... И его снова выносит за дверь: гулкий коридор, поворот, переход, вверх, вниз, опять... Нет, другие повороты, другие переходы...

— Хрен запомнишь...

— За-помнишь!

Теперь человек двадцать пять, присмотрелись — *свои!* Шутки, разговоры, да в жизни никогда б... Рядом шаркает, прихрамывает «шляпа», земляк из Конакова, очкарик-плюсквамперфектум... И шагают повеселей — застоялись!

— Куда нас?

— Медосмотр, вроде...

Вон как, хоть что-то нормальное, человеческое, из *той*, прежней жизни — может, была?.. Погоди, никогда теперь не торопись, забудь о своих нормах-представлениях...

Еще одно помещение, закрыли; темно, вплотную, шагу не ступишь, не отодвинуться, дыши вместе; в пальто, в шапках, а холодно...

— Рядом дверь во двор, дует, мы возле входа...

Не «выхода» — *входа!* Откуда-то пробивается свет... Еще одна дверь — *из-под нее.* Рядом с дверью — скамейка-не скамейка, прилавок, а больше ничего. Покурить бы... И будто подслушали, из коридора:

— Здесь — не курить!

— Холодно, командир!

— Счас печку затоплю, дай дров наколоть...

Шутник.

Долго стоим? Да ведь нет времени. Стоим и все.

Открывается: яркий свет, белый халат, женщина — *женщина!*

— Раздевайтесь, по одному, не задерживать.

— Как раздеваться?

— Тебе *показать?* Догола.

И свет ушел, темень.

— Да мы тут сдохнем! Холод!

— А ты попрыгай... Пре-кра-тить базар! — из коридора.

У двери уже раздеааются, белеют тела, вещи на прилавок, шлепают босые ноги... Раздеваться здесь, с *ними?*..

— Предбанник, мать вашу...

Опять свет, кто-то, сверкнув голой спиной, скрылся за дверью.

— Давай, мужики, однова живем, попаримся...

Снова блеснул свет:

— Следующий!

— Ну, что там, показал?

— Показал, у нас просто...

— Понравился?

— Им все сгодится...

Этот что-то долго...

— Ты чего там, земляк, иль не отпускала — угодил?

— Такой угодишь, я б ее...

— Давай, давай, следующий...

И вот он входит в слепящий после темени свет. Кабинет врача: письменный стол, весы, офтальмологическая таблица... Шагает к столу по бетонному полу; женщина в белом халате поднимает голову:

— Стань у двери.

Он поворачивается, у двери резиновый коврик. Она глядит на него... На него? Так на него еще никогда не смотрели. Ярко намазанный рот, модная стрижка, смазливая... Но глаза — *глаза!*

Она берет ручку:

— Фамилия...

Открывается другая дверь, из коридора. Высокий, в меховой куртке, в лохматой шапке, очки в золотой оправе, румяный с мороза, холеный... На кого-то похож... Садится возле стола, сбоку, расстегнул куртку, шапку не снимает, ногу на ногу.

— Жарко тут у тебя.

— Околеешь.

Он переминается на резиновом коврике: две пары — тех же глаз!

— Слушай! — высокий поворачивается к ней грузным телом.— Ты представляешь, вчера вечером купил... кроссовки!

— Да ты что! — роняет, ручка катится по столу.— Где?

— Рядом. Иду, народ возле универмага... Да рядом, где столовая — знаешь?

— Ну!

— И народу немного, на час, не больше. Встал, а денег мало, на две пары, думаю, хватит...

— Что ж ты мне...

— Где б я тебя нашел, не уйдешь, народу мало, а простоял три часа: занимают, уходят, в драку...

Жжет пятки, примерзают к резине, за спиной нарастает гул из *предбанника...*

— Подхожу к кассе и тут...

И тут он не выдерживает:

— Может, я вам мешаю,— говорит он со своего коврика,— я лучше там обожду, когда освободитесь...

Две пары глаз уставились на него... Не на него, в упор они его не видят, и юмор его впустую, ушел, впитался в резиновый коврик — *тебя нет,* до сих пор не понял? Не забывай об этом, вот что в глазах, что ударило, а разгадать не смог, да где ему понять!

Они уже не глядят на него:

— Подхожу к кассе, лезу в карман — трех рублей не хватает!

— Ой! И что ж ты?..

Дальше он не слышит, в нем выгорает последнее, что оставалось, что делало его тем, кем он когда-то был, но, значит, еще мало встряхивало в железном ящике, мало проторчал на сборке, не понял, когда катали пальцы, «анфас-профиль», мало раздеть, поставить босым на резиновом коврике под слепящим светом... Когда поймет, *как* они на него *смотрят...* Тогда, может, достаточно будет, чтоб выжечь, что еще бурлит под покрытой мурашками кожей... Может быть, достаточно — но кто знает?

— Фамилия. Статья. На что жалуешься. Повернись. Нагнись. Раздвинь... Следующий!

Что-то, чему нет еще в нем названия — мохнатое, темное, чему отдали его в полную власть — плотнит, прессует время или то, что он называл временем, его уже закрутило, он успевает с какой-то непостижимой теплотой взглянуть на *милую* сердцу сборку, вдохнуть ставший привычным смрад — ко всему человек привыкает, думает он, а он уже целую вечность здесь прожил! — только успел затянуться сигаретой, а его снова выносит и тащит по коридору, переходам — сколько их, не знает, не успел счесть, да он и считать разучился — и в *шкаф,* иначе не назвать, не шевельнешься, ни рукой, ни ногой, стиснуло, прижало к стене, к открытому окну, форточке, а там за столом — свежая, в ямочках, розовая мордашка, глазки, реснички, бровки...

— Не тяни, вон вас сколько — *что на тебе?*

— Где на...

— Что надето, спрашиваю — не поймешь?

— Шапка чер... Да, черная, кроличья,— говорит он, спотыкаясь,— куртка синяя с подстежкой, свитер шерстяной, серый, брюки серые, рубашка клетчатая, подштанники...

— Какие подштанники — деревня! Кальсоны, что ли?

— Кальсоны...

— Еще что? Есть еще что?

— Ботинки зимние, трусы, носки две пары...

— Трусы, носки *мне* не надо, у меня свои есть.

— Сигареты...

— Сигареты, продукты — не надо. Следующий!..

— Халтура,— шепчут рядом,— у меня *чай* — пронесем!

— А говорили *шмон...*

— Нормально, халтура! Им возиться неохота, ночь кончается...

Весело на сборке, победа, смеется сборка, потешается, курит...

— Сейчас бы баня — и до места!..

— Слышь, браток, у тебя, говоришь, чай, дай пожевать?

— Пожуем!.. Ишь, дура, моргает, так я тебе отдам, суке...

Никто уже не сидит, возбуждены — курят, галдят — уже *все вместе....* Как у них просто, думает он, им весело, хорошо: чай, сигареты — что *им* еще надо? А мне, думает он, что надо мне?.. Этого не может быть, думает он, этого нет на самом деле, я болен и мне снится, сейчас проснусь, открою глаза: «Что с тобой, Жорик?» — спросит она... Она?..

— Нормально! Перетопчемся!..

Лязгает, распахивается дверь.

— С вещами, на коридор!!

Половина, человек пятьдесят, а сзади уже гремит дверь — остальных *закрыли.*

— Куда?

— В баню, малый, куда еще, не робей, погреемся — нормально!

Коридор, вниз, вниз, поворот, еще один, еще — в настежь распахнутую дверь...

Яркий свет, перегородка, широкий прилавок — длинный стол, у стены проход в другую половину... Человек десять *встречают:* веселые, ражие...

— А ну быстрей! Не тянуть! Все скидавай — догола! Из карманов — на стол! Из сумок — на стол! Быстрей, быстрей!.. Ты что глядишь — обмер? Оставишь в карманах — запомнишь!.. Очки снимай — не слыхал, а то объясню! Живо, живо!..

Шмон. *Генеральный шмон!*

— Быстрей! Ботинки, носки — выворачивай! Карманы — выворачивай! На стол!

Свалка, давка, ничего не понять...

— Ты что — прятать? Я тебе счас спрячу, сука! Руки, руки — покажь! Выворачивай карман! А это что?.. Быстрей!.. Разделся — переходи!.. Присядь, присядь, сука... Открой рот!..

Один за другим, голые, босые, по бетонному полу — *перетекаем* за перегородку... В распахнувшейся над прилавком форточки *летят* штаны, шапки, трусы, рубашки, разломанные сигареты, ботинки, куртки, сухари, кальсоны...

— Разбирай барахло! Живо! Одевайсь! Быстрей!.. Ты что, тварь, спрятать вздумал, обмануть! Чья сумка? Зачем чай рассыпал — перехитрить? Еще раз замечу — я тебя запомнил! — сгною в карцере, ясно?.. Одевайсь! Живо! Быстрей, быстрей!..

3

Странное ощущение было таким *странным,* что я ему не поверил, вздрогнул и оглянулся. Это мне едва ли помогло, другого я, само собой, не увидел, да и надо ли было оглядываться — ничего я не упускал: «отстойник» — называлась наша новая хата. Поменьше сборки, а та же мерзость, вонь, сортира не видать, нет его — значит, не долго, но и людей поменьше, половину увели, выдернули, а я не успел, дверь закрыли, прошляпил, сидят где-то рядом в таком же отстойнике, отмокают после шмона, и у нас тишина, проглотили языки, а из тех никого больше не увижу, жалко не поговорил с интеллигентом, а сидели рядом, чем-то он мне показался: ужас глядел в нем — а может, болен? — он его сначала иронией сбивал, ужас, к себе ироней, вот что ценно, это я отметил, разглядел, тем он, пожалуй, удержится, если удержится... Что-то с ним произошло после медосмотра, я и это заметил, он там застрял, дольше всех его держали, тогда он и поплыл. И этот хромой, в шляпе, тоже выскочил раньше — зверюга, таких не видал...

Мысль летела, а я хотел ее остановить. Вот что я понял: важно — *остановить,* а она ускользала, ни на чем не мог задержаться... Но странность ощущения была в другом: я видел себя как бы со стороны — вот он я, а вот... И мне порой любопытно было наблюдать за собой — ну как ты себя тут окажешь? Всю их *игру* я сразу разгадал, расчет прост — да не было тут никакого расчета! То есть он, может быть, и был когда-то, давным-давно, а теперь всего лишь присутствовал в дикой канцелярщине, рутине, как нечто побочное, едва ли умышленное. Тут дьявол действовал, для своих целей пользовался простым домашним средством, приемом, хотя цели у них, выходит, общие — а как же иначе! Я и это, как мне показалось, усек, понял, а потому легче было — наблюдай себе со стороны, коль ухитрился и на себя *со...* Как еще *обработать* такое количество, а ведь ежедневно, из года в год, каждый вечер у них такое начинается и длится всю ночь, а может, и завтрашний день захватит, а что удобней, что *проще* — собрать вместе восемьдесят—сто человек и катать их всю ночь, а там... Ну, что будет *там,* я не очень себе представлял, хотя и наслушался — ох, чего-чего я уже не услышал! И это, кстати, продумано, берется в расчет, и если не в их расчеты, в *его* входит несомненно. С трех сторон идет обработка, сразу: формалистика — никак без нее нельзя! — заполняется карточка: пальцы, врач, вещи, шмон... Ломают тебя, корежат, перемалывают в суточной мясорубке — вот и второе *дело,* побочное. Но ведь ты не один — вон нас сколько, и все трутся друг о друга, пугают один другого — опытом или полным отсутствием оного, надеждами или полнейшей безнадегой — сколько мне уже порассказывали, и такого за всю жизнь не слышал. А сколько соображений!.. Вот к финалу я и буду готов, да разве «финал» — *начало!* Все только начнется!..

Я на себя смотрел и себе удивлялся: страха не было, ужаса — не было, порой... смешно становилось. А потому, когда тот «интеллигент» побелел — когда пальцы ему катали — эх, думаю, гордость в тебе выгорает, хоть бы скорей, а то сваришься! А после медосмотра... Что же с ним там случилось? И людей он боялся, сразу заметно, брезгливость была в нем — за что́ залетел, кто такой, что за статья?.. А не хитрю ли я с собой, подумал я, может, я в себе прячу, что так легко в других углядел? От себя прячу, знаю себя, стоит мне *туда* скользнуть...

— Слышь,— толкает меня в бок, он уже давно бубнит, бубнит, а я перестал слушать, хватит, наслушался...

— Слышь,— говорит пастырный,— ты, гляжу, простой мужик, здесь таких харчат. Они возле твоих сигарет пасутся, понял? Хватишься, а нету, пока-пока ларек подойдет, да и деньги, бывает, по полгода не дождешься, хотя и рядом, а этих шакалов не увидишь, все, счас по хатам...

Я лезу в карман и тащу две сигареты — себе и ему. Он берет, глядит на меня, глаза мутные, в себя глядит, как и я, не один я такой.

— А ты что тут оказался? — спрашиваю, чтоб отвязался: сейчас встанет и отойдет. Глядит на меня, мнет сигарету в пальцах — не *видит*.

— Да разве в том дело,— говорит,— ништяк, тронк схлопочу, больше не потянет, я и так с потягом, пусть до звонка. Мне, понимаешь, обидно, что они меня счас зарыли! Кабы месяца три мои, а дали бы полгода... Да я б сам — берите, чирик оттяну, да не было б чирика с такими... У меня, понимаешь, тысяч сто, считай, из кармана хапнули...

— Это как понять? — мне даже интересно стало.

— А вот так,— говорит.— Ты был когда в Таллинне?

— Был.

— Был-был, где ты там был! У них *сухой закон* — понял? Берешь двадцать бутылок, у меня чемодан — аккурат двадцать залазят, впритык, в мертвую, не брякнут, на поезд — и пошел!

— Погоди,— говорю,— нет там сухого, это у финнов, они в Ленинград ездят...

— Да ладно тебе — финны! Не финны — Таллинн! Ты когда там был?

— Когда...— вспоминаю я,— года два тому, но я б слыхал.

— Два года! а то счас, понял! Утром вылазишь из поезда, а на площади — таксеры, им сразу толкаешь, не мелочась, зачем зря в городе светиться — весь товар по полтора червонца, сечешь? Червонец с бутылки! Через два часа поезд — и ты дома, а на другой день... Да хоть через день, три раза в неделю, два куска в месяц, за три — шесть, а за полгода?!

— А ты там был? — спрашиваю.

— Да был — не был, знаю! Прихожу брать отпуск, месяц законный, у меня еще отгулы, а там увольняйте — зачем мне, я и без вас прокручусь далее везде, верно? А секретарши нет в приемной, а на столе шапка — ондатра, в сумку ее... Да пошутить я хотел со стервой, у меня с ней свои дела, а тут этот наш выходит, а я ему давно поперек того самого, а у меня ходка по малолетке — им только дай, псам! Да я б отсидел, пойми меня, мне три месяца, я б к деньгам вышел...

Ну что я ему скажу, если у него нелады с арифметикой — его б в третий заезд взяли, когда б в первый прошляпили, куда ему, если он с шапкой сразу влип — чему его на малолетке учили! — и с чемоданом сюда, тогда бы крепко сел, пусть благодарит «стерву», что ондатру подсунула!.. Дети, думаю я, кто ж они такие?..

Обрываю его на полслове, встаю пройтись. Тихо в отстойнике, шмон сбил спесь, поскучнели.

— Слышь, покурим?..

Лезу в сумку за сигаретами:

— У тебя, вроде, свои были?

— Были, были, у меня все было, они с меня образок материн сняли — зачем им, а мне *мать* — понял?

Как не понять, и я *сползаю*. Что-то держало меня, не давало скользнуть, знал — *нельзя*, еще днем, в «воронок» запихивали, сказал себе: «Ни за что!» — держался, не позволял, а тут...

Они пришли утром, в полвосьмого, нас двое было в квартире — я и зять, муж сестренки, она на десять лет помладше, как дочь, я и считал ее вместо дочери, так вышло, остались вдвоем, она еще в школу не ходила, а этот Митя как с неба свалился. «Я тебе говорила, Вадька, такого приведу, он тебе *братом* будет...». Ты приведешь, думал я, повидал ее дружков-подружек, один другого краше: лохматые, горластые, а в душе пусто, два пишут — три замечают, а этот, ну правда *свалился:* все мое у него, а все его — мое, а ни ему, ни мне ничего такого не надо. У меня в ту пору смутно было и на душе, и... То есть хорошо, все только начиналось, поздно начинать под сорок, ну

а коли так — не начинать, что ли? Я радикально начал, так мне казалось: все перечеркнул, со всем распростился, переехал к сестренке, начал писать... Тогда и дошло до меня — поздно; переехать просто, забыть где-то там барахло — и говорить нечего, да и работу, дело, все, о чем мечталось, друзей-приятелей... Потому и легко было, что ничего нет, пусто, но уже много прожил, чужое прожил, а оно так со своим срослось-перепуталось, а ума-навыка разобрать: где то, где это — всегда ли хватало? Я и сбивался, одно за другое принимал... Но — придешь утром, рано-ранешенько в церковь, пустой еще, холодный храм, вдохнешь грудью ни на что не похожий запах, гулко шаги отдаются, прилепишь свечечку — и не заметишь — *тепло* станет, не оборачиваешься, спиной чувствуешь — не один тут! И вот уже: «Благослови, владыко! — Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и...». Хорошо? Не знаю, что-то было не то, не так, не туда, я ни от чего не отказался, только приобрел, разве я хоть с чем-то расстался? Я стал богаче, вон у меня сколько — и то все мое, все, что у вас, а еще о чем вы и не знаете, никогда не слыхали: ни на что не похожий запах, гулкий камень, свечечка, тепло, которое чувствуешь спиной, «Благословен Бог наш...». Откуда вам, а мне — откуда? Меня сбивало, мучило, что мне и там, и там — хорошо, друзья — старые, новые, книги, о которых и слыхом раньше не слыхивал,— и все это мне, для меня, но разве хоть что-то я отдал, я только брал, брал... Я захлебнулся... И там, и там было мне плохо: те же проблемы, а я их не способен решить, та же моя беда, а я ничего не могу — зачем тогда запах, свечечка, зачем тепло, если мне от того... Разве я другим выходил тем утром из церкви — таким же... Друзья, если старые, я средь них, как петух индийский,— да ничего они не видят, не поймут! Все видят, *меня* видят. А если новые: благостность, умильность — убогость, думал я... Как мне это было связать, соединить, вычистить, не перепутать, впустить в себя — разве я мог в той моей жизни... Дня не хватало, ночи было мало, да разве я в лесу жил, в скиту, разве для того наш город предназначен — а для чего? Не знаю, за других — не могу, за миллионы — не возьмусь, а плотность вокруг я ощутил, а там гуляло, свистело, подбрасывало, ловило — да зачем меня ловить, подбрасывать... Мне иногда казалось, меня и не искушали, а каждый раз доказывали, что я ни на что не способен, нет у меня ни силы, ни воли — ничего во мне нет! И я шел мимо, мимо... Мимо своей вины, мимо своей беды... «Что ж это — просто игра?» — думал я.

И я сползаю дальше, глубже... Вот она, главная моя беда, ужас, от которого прячусь, потому знаю... Такой щемящий счастливый сон — как обещание, как надежда, но и как предупреждение, расплата, возмездие... Кому возмездие? Мне, думаю я, кому, как не мне, разве не за что?.. Я просыпаюсь в слезах оттого, что мне говорит кто-то, чей голос знаком, но я его не узнаю: «Она умерла!» Я просыпаюсь, знаю, что опоздал, ее хоронят, а я все еще сплю, хотя светло, поздно, и я выбегаю из дому, бегу по улице, а она чужая, я ее не узнаю, хотя знаю здесь каждый дом. Улица широкая, как шоссе, таких нет в Москве, а дома мне известны — скучные, безликие, один к одному. Людей мало, они шарахаются от меня, а я бегу, натыкаюсь на редких прохожих, спросить некого, слезы мешают видеть, но я не могу, не могу опоздать! И где-то далеко-далеко — вижу процессию... Похоронную процессию! Как в замедленном кино, она проплывает через перекресток и исчезает... Но я видел — вот она! Я добегаю до перекрестка — такое же пустое шоссе, убогие дома, редкие прохожие... Процессия проплывает а следующем перекрестке. Я бегу дальше, главное — не потерять их из виду, спросить не у кого. И так раз за разом: я знаю, куда бежать, но догнать не могу. Я плачу, размазываю слезы, очки запотели, я бегу, бегу... И вот оно — кладбище, успел! Все серо, нет цвета, редкие серые деревья, снег с серыми проталинами, кучка серых людей... Гроб закрыт, но меня ждут — *меня ждут*! Я подле гроба, все расступаются, я поднимаю крышку — *она*! «Господи,— говорю я,— этого не может быть!» И вижу: щеки у нее не белые, розовеют, веки у нее дрогнули, она открывает глаза — сонные, круглые, как у детей. Я наклоняюсь, она смотрит на меня удивленно, смущенно, я вынимаю ее из гроба, беру на руки, она — запеленутый младенец с яркими, проясняющимися с каждым мгновением глазами. «Прости, я заснула»,— говорит она... «Она жива! — кричу я.— Видите, она жива!» — «Ой,— говорит она,— как неловко, столько людей, а я заснула...» Я поднимаю ее на вытянутых руках, над нами голубое, бледное небо, и она улыбается ему... И тут я просыпаюсь, уже по-настоящему, просыпаюсь в слезах... Что это было, думаю я, как раз накануне того, что сейчас происходит,— обещание, надежда, расплата, предупреждение, возмездие?

Не знаю, что́, но по тому что мне этот сон был показан, до меня дошло сразу, как только услышал его крик из коридора: «Вадим, *шмон*!» Я только воду пустил, ополоснуться, мы накануне отвезли сестренку в роддом, крепко сидели с Митей, спирт был, и так нам хорошо сиделось, будто знали, тот вечер последний, о самом важном решали, как могли,— как бы я пожалел, кабы не было у меня того вечера!..

Выскочил в коридор, а он уперся в дверь, ноги скользят: «Помоги!» — хрипит. Я помог, закрыли. И сразу *звонки*... «Ты что?» — говорю, ничего не понять. «Да я открыл, спросонья, а они там...» — «Открывайте!» — женский голос. «Кто такие?» —

спрашиваю. «Прокуратура». Вон оно что! «Голый я,— говорю,— дайте штаны надеть, тем более, женщина...» *Звонки, звонки!* «Немедленно открывайте!» — «Ломайте дверь,— говорю,— а мы пока штаны наденем...» Тогда я и подумал: вон что мне нужно, чтоб *чужого* не осталось, чтоб ничего не осталось — а как бы я сам с этим справился, кабы с детства, с юности, а то в сорок лет, когда все окостенело! «Божья милость»,— говорю Мите. А он глядит на меня, глаза у него большие-большие, ясные, а в них... Жалко ему меня. «Ты чистый лев»,— говорю ему, а он никак не отдышится, их шестеро на площадке, столпились, мешали друг другу, никак не ждали отпору. Так ведь и мы их не ждали.

И я уже не могу остановиться... Разве я о том, что было, разве его глаза я сейчас вижу: себя я увидел *со стороны*, и так это странно — сон, в котором не только не убежишь — ногой не двинуть. Я спокоен, четок, даже усмешлив, меня Митя держит на поверхности, мне надо его *оставить*, сохранить для сестренки, а во мне уже гуляет *страх*, не тот приснившийся ужас — надежда ли, возмездие, а скользкий, липкий страх, что углядел давеча в соседе, побелевшем интеллигенте, растопырившем пальцы в черной краске, как в кошмарном сне из комикса. Рога, копыта, хвосты, глумливые ухмылки, мерзкие хари — спортивные, подтянутые, хорошенькие, в костюмчиках, белые рубашки, при галстуках, черная грязная прядь прикрывает плешь, гнилые зубы, тошнотворный запах чужого, чуждого, липкие пальцы на книгах, бумагах, письмах, фотографиях, и — *женщина* с застывшим, постно-распутным лицом, в потном, светлом джерси, деловито-скучающая, с брезгливым равнодушием в рыбьих глазах. И час, и два, и четыре, и шесть, и белые рубахи сереют от пыли — сколько ее скопилось на антресолях, в старых матрасах, в забытых, заплесневелых пакетах в буфете... А телефон *звонит:* первый раз — звонко, радостно, второй — капризно, потом настойчиво, потом с раздражением, с удивлением, с недоумением, с непониманием, тревогой, страхом, потом — с отчаянием, криком... «У вас дети есть? — спрашиваю *ее.*— Дайте снять трубку, у него жена рожает».— «Надо было раньше думать». И я прекращаю сражение за каждую книгу — не раскрытую, зачитанную, за каждую страницу — набросанную, не выправленную, завершенную, за каждое письмо, в котором выцветший почерк дороже слов — лезу на антресоли, ныряю в буфет, двигаю столы — скорей, скорей, хватит!

Мешки набиты. «Подпишите протокол».— «Ничего я подписывать не буду».— «Поехали!..» «Я давно придумал,— еще больше стали у Мити глаза, он расстегивает рубашку, снимает крест на *суровом шнурке*,— поменяемся?» Но и я давно придумал: у меня старый рублевый крестик на алюминиевой толстой цепочке, звенья мягкие, дернешь — распадаются. «Ты что,— гляжу ему в глаза,— у тебя золотой, все равно снимут».— «Пусть так,— говорит,— мы должны *поменяться*». Гляжу ему в глаза: не обманула, привела *брата*; шнурок крепкий — не порвешь, значит, и это *нужно*, чтоб врезался в шею, чтоб с кровью, чтоб...

— Да садись, настоишься, тебя *сидеть* привезли — садись!

С этим я в «воронке» оказался — как же! — и еще раньше, когда...

— Покурим?

— Покурим.

— Чего они тебя в кепезухе в одиночку засунули — особо опасный?

— Хрен их знает.

— А мы базарим: давай его сюда, чего он один хату занял! Сколько тебя продержали?

— Неделю.

— Вон как давят...

— Слушай, я тебя мог где-то видеть — личность знакомая?

— Само собой, меня те не видали, кто на трамвае за три копейки, а ты, небось, на тачке?

— Бывало.

— А я в пятом парке, за баранкой, может, возил. Ты не по книжной части?

— Вроде того.

— Тогда тебе Лёху в кенты — книголюб, за чистую любовь к книге страдает — верно, Леха?

И этого я с «воронка» помню — длинный, светлые волосы падают на лоб, румянец, как у девушки, глаза большие, ясные: Митя, думаю, только лет на десять помладше.

— Это как же — за книги?

— Говорю, любитель! У бабки-соседки книг много, она не читает, глаза слабые. Этот артист решил установить справедливость, выждал, когда бабка по надобности в лавочку — и в форточку... Как ты такой длинный пролез — или салом намазался?

— Ладно тебе...— у Лехи даже уши полыхают.

— Книголюб! А у бабки денежки, кольца-серьги — старорежимная бабка, а, Леха?

— Я не смотрел,— Леха злится.— Покурим?

— Да вон, возьми у человека.

— Кури, кури, Леха,— говорю я.

— Какие ж ты книги выбрал, Леха? — он не отстает.

— Хорошие. Гоголь, Достоевский,— смотрит на меня, улыбка — все отдашь.— У меня рюкзак маленький, если всего Достоевского — тома большие, старые, другие бы не влезли...

— Во какой! Ты б сообразил — коммерция! — комплект дороже, кому нужны разрозненные? Или ты брал, какие не читал?.. И представляешь, тем же манером в форточку — и по улице, а навстречу участковый: что, мол, тащишь — книги, куда — в магазин, сдавать, где взял, а он говорит — у бабки!..

Леха поднимается и отходит.

— Ему б титьку сосать,— говорит он, и я вспоминаю:

— Слушай, тебе говорили, на кого ты похож?

— За смену чего не услышишь.

— Крючков — чистый Крючков!

— Артист, что ли?.. Его б сюда, того артиста.

— А ты тоже книголюб?

— Я-то? Я, парень, крепко сел. Сто вторую шьют, а я хочу на сто восьмую перейти...

Вон оно что! Гляжу на него, молчу — ай да «Крючков»!

— У меня третья ходка, первая — малолетка, вторая — только права получил — наезд, *унюхали*, а тут... Давай еще сигарету...

Курим.

— Квартиру получил, однокомнатную, в парке — порядок, пять лет кручу баранку. Надоело одному, сам понимаешь, башли летят, привел бабу... Да нормальная баба, все, как говорится, при ней, зарегистрировались, прописал. А у нее до меня мужик. Был и ладно, у кого чего было, тоже намыкалась — лимитá. Я предупредил: если что — убью. В поликлинике, медсестрой, а там главврач — старый пес, лет пятьдесят, не знаю чего у них, может, она боялась — уволит. У меня смена ночная, а тут выхожу, напарник разбил машину, у нас получка, посидели с ребятами, иду домой, тортик прихватил, она у меня сладенькое любит. Открываю дверь — *сидят*! Коньяк, то-другое и постель разобрана. Они мне, видишь, *прямое* вешают, с умыслом, а на что он мне, я ей *обещал.* Он зеленый стал... Да не глядел я на него! Выпьем, говорит, разгонную, и мимо фужера льет на стол... Если б он смолчал, я б его пальцем не тронул — не надо мне! — а тут затрясло...

— Понятно,— говорю.

— Как не понятно! Я ж не знал, что у него сердце, еще что, я его раз ударил по шее, ребром, правда. Ногой добавил... Да он живой был, я видел, слыхал — захрипел. Еще три часа жил — она свидетель, я-то сразу ушел. От сердца умер. А теперь десять лет — мои, а вернусь — куда? Она десять раз замуж сходит в моей-то хате. А ты говоришь, Крючков...

— Тебе адвокат нужен хороший, тут психология,— говорю я.

— Это я сам знаю, но хорошему надо деньги хорошие, а где у меня? Теперь другое, я на черную пойду, понял? На строгач, лесоповал — не вытянуть, у меня одна надежда — туберкулез косить, был когда-то, я потому соскочил с малолетки. Врачу задолбил, теперь флюорографию пройти и... Вот и курю, не вынимаю — может, треснет чего надо... Ты говоришь, неделю сидел, а я четыре дня, хватило, все-все надумал...

Вот и мне *подарили* неделю на то же самое, *они* для своего — сразу задавить, а Он для Своего — подумать, *кто* я и зачем все...

«Раздевайся,— пожилой мент, в усах,— ремень, шнурки вынимай... Ишь снарядился, или знал, что у нас не баня?.. А это *что* — снимай!» Вот она, первая *сдача*, первая, она и другие потянет — *нельзя!* «Не я надевал, не мне снимать»,— и шеей чувствую Митин шнурок. Он внимательно глядит на меня, спокойный мужик, мы вдвоем. «Тогда очки». Снимаю очки. И он мне через голову, аккуратненько, не задел даже. «Распишись: часы, крест желтого металла... Что у тебя еще?» — «Двадцать пять рублей».— «Ну, если сказал, запишем...» Вон как, а надо б знать, пронес бы — мои, на шмоне отобрали б — и в карточку, два с половиной ларька — знать бы! «Сигареты, спички оставь, смотри, чтоб чисто, не сорить...»

Просторная моя первая *хата.* Узкое пространство возле двери и сплошные нары, вытертые до блеска, отлакированные — сколько тут перележало! Свет тусклый, не почитать — а что читать, и очки не отдал. На ощупь. На стенах корявая «шуба» — набросали известку, современный интерьер! Под потолком забитое окно, холодно, и первое, что делаю,— сооружаю крест из спичек, втискиваю в «шубу» у изголовья, пристраиваю. Ночь уже, помолиться — и спать! «Господи, благодарю Тебя, я один —

один!» И Он накрывает меня, и Она со мной — Матерь Божия, и такая *тихая* ночь опускается, такое умиление и благодать...

За всю жизнь не было такой недели, только Господь Бог и я, и вся жизнь передо мной, год за годом, и нет случайностей, как стройно все завязывалось, каждая встреча тянула следующую, всякое слово и всякий шаг отыгрывались, и в какое ничто тянули возможности, от которых что-то, но спасало...

День третий — прокурор, обвинение, набор знакомых нелепостей: «Подпишите»... Да я и думать забыл о прокуроре, в первый час все решил! «Ничего я подписывать не стану».— «Ваше право, теперь свободны, хотите — говорите, хотите — врите, хотите— молчите, но будет хуже».— «Это я и без вас знаю».— «Кто ж научил?».— «Вы и учили всю мою жизнь, не забыть, потому и свободен, верно говорите, а как вы станете ходить с моим обвинением в портфеле, в душе, жизнь у каждого одна...» Не вижу без очков, но какой-то он *тихий*, ненавязчивый — или мне и тут повезло? «У вас племянник родился два дня назад».— «В тот самый день?» — «Не знаю, мне сообщили».— «Спасибо,— говорю,— за это спасибо! Вы б сразу сказали, начали б с этого, я б все подписал!» — «Сейчас подпишите».— «Сейчас не стану, завязал, когда-то вернусь, верно? Мне в глаза племяннику глядеть, да ведь и он мне в глаза посмотрит».— «Ваше дело».

И еще четыре дня — один, *один*! Как хорошо, Господи, благодарю Тебя, Господи, благодарю за все... А за дверью — крики, бабий визг, топот... «Ты что меня руками трогаешь? Ты знаешь, я *кто?..*» — «Счас и ты узнаешь».— «Руку, руку сломаешь!..» Сопение, возня, хруст, с грохотом валится за стеной, гремит дверь... «Большевики не сдаются!.. Это есть наш последний, и...». Час, другой, голос тише, слабей... «Развяжи, сука!.. Руки испортишь, мне работать!.. Ноги, ноги свело!.. Ма-ма!..» А за другой стеной весь день *базар*, хохот, разговоры, крики: «Курить, командир!..»

Наконец — «Выходи!» За столом конвой — двое в тулупах. Мороз! И нас двое — еще один *мятый*. «А что у него с рукой, откуда повязка?» — «Не знаю»,— говорит мент. «Дома порезал»,— говорит мятый. «Справка,— говорит конвой.— Нет?» Встают — здоровые, в тулупах: «Без справки не повезем». Ушли. И нас обратно, по хатам. Еще один день — *мой*! И снова — «Выходи!» Из соседней камеры — толпа. «Очки отдайте!» — «И так хорош».— «Без очков — не поеду!» — «Да отдай ему...» Без очков было лучше, теперь все *вижу*: с ними ехать? Обросшие, корявые, грязные, из котла... Да ведь и я такой же — за неделю! «Воронок» вплотную к дверям, только вдохнул мороза со снежком, а там уже сидят, набили, двинулись — и по всему городу, по судам, по райотделам, и решетку не отодвинуть, а все набивают, набивают... «Есть закурить?» — «Есть...» На чьи-то колени, на мои еще кто-то... «Пожевать не найдешь, с утра в суде...» — Молодой, голова бритая, спокойный, один сидит, вольно, никто не претендует. «Картошка вареная».— «Картошка! Где ж ты ее сварил?» — «Из дома».— «Не откажусь». И еще один тянет грязную лапу. «Все»,— говорю... Сдавили, валимся туда-сюда. «Ты не из прокуратуры — очки?» — глаза злые, за картошку надулся, что не дал. «Пошел ты на...» — говорю. Тихо в «воронке», только встряхивает. Бритая голова глядит на меня, молчит. Потом берет за полу куртки: «Ты, мужик, видать, впервой, запомни и не забывай: здесь *такое* не полагается, попадешь в *непонятное*». Запомню. Не забуду...

— ...это первое, понял? Сперва осмотрись, торопиться нам теперь — куда? Это я тебе, Леха, а то у вас, у книголюбов, спешка, а *там* так влипнешь, не отмоешься. Это тебе не участковый. Ни к кому первый не лезь, в *их* дела не встревай, будет место — сами дадут, не проси, а нет — матрас на пол, сиди тихонько, приглядывайся — сечешь? Чай предложат или что — нет, мол, мотор барахлит — понял? Им только зацепить! Загонят под шконку — слух по всей тюрьме, хоть и не было ничего, не оправдаешься. А если особо настырный — бей первый, не жди, они это понимают, да у тебя другого хода нету...

Такая тоска у Лехи в глазах, а Крючков давит и давит.

— А ты,— это мне,— уши не развешивай, лапшегоны, ни одному слову не верь, здесь никто правды не скажет, слушай, а сам про себя мотай — он *выкупится*. Не сегодня-завтра выкупится, на вранье поймаешь — куда он денется? И учти, запомни: в каждой хате — кумовской, это точно, хорошо один, а на *общаке* их полно, да и на *спецу*, они один другого жрут — кумовские, им обязательно спровадить лишнего — он и на него стучит, а тут вся игра, а у тебя точно *свой* будет, я тебя вижу, понял, мне говорить не надо, кто ты такой — видать!..

Открылась дверь — еще одного втолкнули: здоровый, длинный, с мешком, ни на кого не глядит, а сразу усмотрел место, сел, мешок кинул в ноги.

— Птица,— говорит Крючков.— Слышь, земляк, покурим?

— Свои кури,— длинный и не посмотрел на него.

Молчим. Слинял Крючков, подходит к двери — ногой!

— Чего надо? — из коридора.

— Давай в баню, командир, заждались!

— Я тебя счас попарю!..

Ты ж сам говорил — не спеши, куда лезешь?.. Никого не надо слушать, никому нельзя верить, и себе — нельзя...

А вокруг *моего* — шакалы, слух напряжен, все напряжено, ловлю сквозь гул:

— Какая ходка?

— Шестая.

— У-у... Долго гулял?

— Неделю.

— Статья?

— Сто сорок шестая...

— Это что? — спрашиваю Крючкова.

— Разбой. Говорю — птица, а тут мелюзга: чердачники, за карман, бакланы, добрый вечер, да этот наш книголюб...

Глубокая ночь, а сна нет, или отоспался за неделю? Что тут сон, а что явь; дым, вонь — явь или *сон*? Разбой, карман, добрый вечер, сухой закон, комплект Достоевского, главврач льет коньяк мимо фужера — неужто явь, а где-то там племянник чмокает губами, Митя — возле сестренки или бродит тут за стеной... Нельзя, говорю я себе, ни за что *нельзя*, все *мое* только здесь, сон ли явь — теперь мое, там ничего нет и не было, потому что никогда больше не будет. Никогда. И все-таки *сон*: все вижу и ничего не могу понять, все слышу — и ни на что не...

Дверь распахивается, зашевелились, хлынули, а я ни рукой, ни ногой, а это чья рука берет мою сумку, кто надевает шапку, куртку?.. Коридор, Леха рядом, Крючкова не видать...

— Плотней, не растягивайся!

Коридор, длинный коридор, гремит — и будто стоим на месте, нет, идем: уклон, уклон, черные глухие двери — мимо, мимо, резкий поворот — назад, что ли? — те же двери, тот же коридор, под ногами захлюпало, узко, ступени, еще ниже и сразу — вверх... Впереди встали.

— Под-тянись!

Столпились, дышат, как запаренные...

— Пошел, пошел!..

«Господи!..» — слышу я свой хриплый голос. А мы идем все быстрей, почти бежим, все тот же бесконечный коридор, те же черные глухие двери, под ногами хлюпает, холодный сырой пар... Расплывается перед глазами, очки запотели, а сквозь них — веселые, бритые, холеные лица, нарядные женщины, звонкий смех, беззаботность, уверенность, равнодушие, видимость дела... А здесь меня не было, все эти дни, годы — не было, а каждый день, каждый вечер, каждую ночь...

— Леха, ты где?!

— Тут я...

— Давай вместе, не отставай! А Крючков где?

— Впереди...

«Господи, как *хорошо*, что я *здесь*, что я с *ними*, а не там, где был всю свою постыдную жизнь...». И мы почти бежим по нескончаемому коридору, мимо черных дверей, и я счастлив, ощущаю, вот-*вот* пойму... Счастливый *сон* поднимает меня, я только шевелю ногами... «Благодарю Тебя, Господи, я знаю, это Ты распорядился мной, привел сюда, вырвал — навсегда! — из той, теперь знаю, чужой, чуждой жизни, дал мне коснуться Любви, которая я есть Ты!..» А вокруг, рядом, впереди, сзади, с надсадом, хрипом бегут — корявые, заросшие, грязные, и я с ними *вместе*:

— Леха! Ты где?

4

— Приплыли! Теперь спать!..

Спать?.. Которое это по счету — седьмое?.. Верно, седьмое помещение, и опять *другое*, экая у них фантазия, каждое следующее — другое, думает он. Длинное помещение, у одной стены — от окна до двери, высокие, выше роста, в два яруса, черные металлические нары — шконки: полосы в два-три пальца шириной; толстые, в руку, стояки; между нарами и второй стеной — неширокий проход, у самой двери, как входишь, обязательно об него зацепишься, такой же запаношенный унитаз, окно низкое, стекло разбито — холод.

— Да как мы тут спать будем — сдохнем!..

Разве *они* сдохнут! Уже попрыгали наверх, расстелили куртки, пальто, торчат сапоги, ботинки... Экая выживаемость, думает он.

Внизу, у окна — никого. Он проходит, ложится, поднял воротник, шапку поглубже, сумку под голову, закрывает глаза — и все покатилось, замелькало: «воронок», коридоры, унитаз, белые халаты, летят ботинки, куртки, шапки, кальсоны, сигареты — «Быстрей!..». Он открывает глаза... Нет, лежать так я не смогу, думает он: холодно,

жестко на железе и сердце болит, печет, давит, а валидол остался на бетонном полу, растоптали, не собирать же было... Спасибо, меня не затоптали, думает он. Затопчут, не торопись... Как они смеют — так со мной?

От окна метнулась серая быстрая тень — кошка?..

— Глянь, крыса!..

— Тю!

— Га!

— Давай ее, гони!

— Вот она!..

— Держи!.. Сапогом ее!..

— Цыц, не тронь — нельзя! В тюрьме крысу — нельзя!

— А що нельзя?

— Примета...

Он садится на край шконки. Никто спать не собирается: сидят, курят, и наверху подобрали ноги — не улежишь: железо, дует из окна, изо рта пар... Что же ты наделала, дура!..— думает он.— О чем думала, чем, как ты могла, сволочь, почему не откусила себе язык — *кому* сказала!.. Она, она, думает он, как он мог забыть — кому доверился? Что доверил — все только так и живут!.. Шлюха, думает он, просто шлюха, а он рассопливился, разомлел — ночи, рестораны, ветер в опущенном стекле на загородном шоссе... Сладко было? — думает он.— Вот и сейчас *ей* сладко, или у них там почище? Ее б сюда, думает он, на железо, к крысам... И с какой-то мстительной радостью видит ее в неверном лунном свете: лицо бледное, зеленоватое, волосы, глаза, губы — черные, зеленовато посверкивают зубы, они оба под высоким берегом, по пояс в теплой, как парное молоко, попахивающей гнильцой воде, черные тени от повисших над ними ив хлещут их черные лица, воду, она закидывает голову, влажные черные волосы закрывают лицо, поднявшуюся грудь, втянутый живот, в узкой руке черная, квадратная бутылка — пьет из горла: «Держи, Жоринька!.. Как живем, а? Ой, упаду — лови!» Как тебе теперь, суке, думает он, о чем ты сейчас вспоминаешь — не о том ли самом?.. Что тебя дернуло, резали, что ли, жарили, всех дел, что муж поймал, неужто первый раз — зачем ты меня-то, за что! «Жоринька!..»

Сапоги пролетают мимо лица, едва успел отвернуть...

— Не задел? Тесно в нашем некурящем купе...

Ишь, вежливый... И он начинает вылавливать слова в общем гуле:

— ...хорошо, до бани, после бани тут караул...

— Тебе хорошо — больше двух лет не возьмешь, а мне?..

— Сразу место занимай — понял? Текучка, освободилось место — твое, ближе к окну, не как здесь, там дышать нечем, а возле окна какой-никакой воздух. А еще научу: подойдешь к стене, под окном, под решеткой, губами, зубами — в стену, по ней воздух — вниз, свежий, чистый, холодный — лови, отдышишься и пошел!

— Да ладно тебе, воздух — мне б согреться, тепла...

— Нагреют!..

— Сразу себя поставь, не спрашивай, не проси, дашь спуску — задавят мелочами, придирками или — велосипед, а то еще...

— Велосипед — это чего?

— Высунешь ночью ногу, в пальцы натолкают бумагу — и подожгут.

— Так это ж сгоришь?

— Сгореть — не сгоришь, а всем развлечение...

— Пересидим, месяца три, недолго, а там суд и...

— Ты что, малый — три месяца! Тебя за три месяца хорошо если раза два к следователю дернут, тут годами сидят!

— Так не по закону?

— Закона захотел — в тюрьме! Я два года назад был, один четыре отсидел, он и сейчас, говорят, здесь припухает, сколько — шесть выходит? И все суда нет!

— Болтают, так не бывает.

— Не бывает, а есть. Генеральный директор из Монина, мануфактурщики, их тут человек двадцать, еще в Бутырках, один помер — за шесть-то лет, один ослеп, а главный — директор, ты что — вся тюрьма его знает, вертухаи по имени-отчеству...

— Не сиди на железе, геморрой насидишь...— это мне.

А я и на мягком *насидел*. Верно, лучше походить, на ходу не слышно — да хоть бы замолчали!.. Темно за разбитым окном — неужто все та же ночь? Год не вытянуть — а полгода, а три месяца?.. Одна надежда, что времени нет... Одному не вытянуть, думает он, на кого-то опереться, хоть с кем-то... Этот, вроде, поприличней, бывалый, может, с ним?.. Если, верно, с ним, со «шляпой»? Еще «очкарик» был, был да сплыл, с ним бы поближе... Этому тоже, видно, одному тяжело, трется возле, не решается, скромный, а шустрых тут много... Рожа, конечно, жуткая, думает он, но разве в том дело, накушался красотой в лунном свете — или мало? Голова лысая, как бильярдный шар, глаза острые, не ухватить, в сторону — или нос мешает, загнулся сизым, угреватым крюком, цепляет щетину над верхней губой... Не приведи встретиться на узкой дорожке — неужто бывает уже? — а что-то в нем располагает, из одного профсоюза — все не один...

— Гонишь? — спрашивает «шляпа».

— Что — гоню? — не понимает он.

— Расстраиваешься, сразу видать. А чего расстраиваться, жизнь, она в полосочку, сегодня здесь, а завтра... Ты, к примеру, знаешь, где я вчера был?

Он пожимает плечами.

— А где ты был, мне известно — не понял? Соображать надо...

Чего привязался, сволочь, думает он.

— Где ты был, каждому дураку понятно,— не отстает «шляпа»,— в кепезухе, а я — в большом зале.

— В каком зале? — попался он.

— То-то — в каком. А по виду, как говорится, интеллигент. Консерватория имени Модеста Чайковского! Эту самую давали... Доцент?

— Доцент,— механически откликается он.

— Вижу, что доцент. В медицинском?

— Нет, не в медицинском.

— И статья твоя мне известна — сто семьдесят третья, так?

— Так,— он отвечает уже обреченно.

— Все вижу насквозь и глубже. И игра твоя понятная — от восьми до зеленки. Объяснили в кепезухе?.. Плохая у тебя игра, а ты все равно не гони, не будь лохом... Сумку не выставляй, раскурочат, охнуть не успеешь, я тут побывал, я везде побывал, знаю, народ, сам видишь, отпетый, так что держись за карман. Деньги есть?

Он глядит на «шляпу» с ужасом.

— Да откуда у тебя, у такого мышонка. Дай-ка мне ручку, записать, а то забуду, адвокату кой-чего задолбить. Он у меня тертый. Могу тебе устроить, башли берет большие — твоя баба найдет?..

Он, как завороженный, протягивает ручку.

— Импорт. Такую ручку надо чистыми руками, верно? У тебя мыло душистое, унюхал — давай, вместе с ручкой возверну в лучшем виде. У меня, как в банке...

Ручка сверкнула у него в рукаве — и исчезла.

— Ну-ка, молодые люди, дайте пройти инвалиду, фронтовику — на водные процедуры пробираюсь...

Какое-то время он стоит с вытаращенными глазами... Погиб, думает он, все теперь... С шипением выходит из него пар-не пар... Запахло кислым...

— Поберегись-ка, парень, зашибу! — еще один прыгает сверху.

Он возвращается на прежнее место, садится на край шконки, у окна, здесь никого нет, дует, холодно, дрожащими пальцами вытаскивает сигарету... Откуда-то *хлеб*... Откинулась в двери врезанная в нее дверца-кормушка, оттуда буханку за буханкой, как дрова, складывают на шконке...

— Разбирай, мужики, по полбулки!

Рядом с ним, он его давно приметил, самый грязный здесь — от липких волос до заляпанных рваных ботинок, берет буханку черными пальцами — и об колено:

— Держи.

Взял, держит. В кормушку передают миски — алюминиевые... Горячая, скорей на шконку. А ложки? Нет ложек. Хлебают из мисок, по-собачьи, *лакают*. Соленая, мутная жижа, рыбьи кости... Завтрак?.. Быть того не может! Пожую хлеб, думает он, сырой, липкий — глина. И хлеб не могу, думает он. Пить! Кран возле унитаза, все пьют... Да ведь та же вода, один водопровод в городе! Нет, не могу, думает он...

— Чай!..

Миски ополаскивают под краном, выливают в унитаз, забили рыбьими костями — и в кормушку, а там наливают чай — в те же миски! *Пьют*. Нет, я и чай — не могу, думает он.

На полу огрызки, хлеб... Вот откуда крысы — примета! Примета чего?.. — думает он.

Дверь опять лязгает, снова движение...

— Что там?

— Флюорография!

— Это зачем?

— Зачем-зачем, кому повезет — туберкулез, белый хлеб, молоко, другая зона...

Хорошо, не пил, не ел — из тех же мисок!

Коридор, поворот, сразу — спасибо, рядом. Пожилая, усталая:

— До пояса, становись, руки отведи...

Что она там увидит — или снимок?.. Обратно...

— Теперь все?

— Все! Бани — и пошел!

Он уже не *гонит*... «Конец»,— бормочет он.
— Выходи! С вещами!
И пошли считать повороты, ступени, переходы...
— Стой! К стене, мордой к стене!!
Из-за поворота — толпа: с большими мешками, красные, распаренные — из бани!.. Да это ж *наши*, те, что с нами на сборке, кто остался, не успел выскочить... Вон очкарик, зажал матрас под мышкой, рваный, торчит вата, в другой руке сумка с сигаретами, блестит глаза под очками, веселые — лучатся!.. Уже рядом...
— Плюсквамперфектум...— бормочет он.
— Держись, интеллигент, не поддавайся!..
— А ну мордой к стене — кому сказано!
Он поворачивается, а за спиной грохот шагов — и стихло.
— Пошел! Пошел!..
Они, выходит, раньше, обогнали нас...— отмечает он, не понимая зачем...
— Все, все снимай — а прожарку! Барахло — в прожарку! Сигареты, продукты — с собой!
Вешалки на колесах, с себя — на крюки — и в дверь. Старые бани: цветные изразцы, простор, лепной потолок...
— Кому стричь — заходи! — Еще одна дверь — парикмахерская!
Голые, волосатые, в наколках — да тут живопись...
— Держи ножницы — ну!
Тот же, он и без штанов самый грязный, отгрыз теми же ножницами когти на копытах. Нет, мне не надо, мне уже ничего не надо!
— Расписывайся!..
Белый халат, бумаги на лавке: матрас — подпись, подушка — подпись, матрасовка — подпись, наволочка — подпись, полотенце — подпись, кружка — подпись, ложка — под...
— Давай, давай — в баню! Бери мыло...
Обмылки на лавке. По одному в черную дверь...
— Вода холодная, командир! Давай горячую!..
Дверь сзади загремела, закрыли; холодно, сыро...
— Давай горячую!!
Пустили горячую — пар, ничего не видно, льет сверху — душ! Много сосков, а не подойдешь, нас в три раза больше. Кипяток. Пар гуще, обжигает, разрисованные тела, как тени в преисподней, гвалт, крики... Там лучше было, под ивами, в лунном свете,— мелькает у него,— похоже?..
Что-то мне лихо...— думает он, голова плывет, дурно, где тут окно, надо подойти к стене, губами, зубами, воздух из окна — вниз... Нет окна. Тогда на пол... Ложусь или падаю?..— думает он. На полу прохладней, можно вытянуть ноги... Кто-то наступил...
— Эй! Командир!
Долбят дверь...
— Тут один сомлел!.. Открывай! Помрет!..
Долбят, долбят дверь... Вода — и он чувствует, *всплывает*... Несут, что ли?..— успевает подумать он. И удивляется: какой яркий свет...
— Вроде крякнул...— слышит он.
И свет ушел.

5

Пожалуй, это первая реальная *странность*, все было до сего вполне обычно, рутинно, как у всех, а тут... Что тут? Вот и следует разгадать раньше, чем оно сыграет, а *им* надо, чтоб сыграло раньше, чем я соображу. А может, мнительность, как в анекдоте про зайца, который думал, что вся *охота* против него? И мнительность, несомненно, берется в расчет... Кем берется — ими или *им*? Они вместе... Попробую логику, хотя логики может не быть... Я был все время в толпе, со всеми, а сейчас выдернули, отделили — зачем? Что было после отстойника? Добили ночь в этой жуткой камере, никто не спал; флюорография, завтрак — «могила», сказал Крючков, а мне понравилась, люблю уху, хоть и такую — горячая и пахнет рыбой: «могила», потому как одни кости. Нет, не Крючков сказал, Крючков не вернулся после флюорографии, значит, удалось, закосил — белый хлеб, молоко. Ну и ладно, мне с ним стало тяжело, очень активен, а я не мог не глядеть на его *руку*, ребром которой он... Будет уходить, протянет, надо пожать... Исчез навсегда.
Значит, завтрак и баня. И баня была хорошей, согрелся после ночи на железе, правда, трудновато без очков, ничего не видать в пару, пекло — чистый ад; хорошо, Леха помог, водил за руку, как слепца,— эх, Леха, Леха! — где он теперь?.. Да, еще тот интеллигент, когда вели из бани — они навстречу, что с ним стало! Белый, глаза запали — что он пробурчал? «Плюсквам...». А! Мое слово — запомнил! Может, вытянет?.. И вот после бани...

Решетка поперек коридора, подогнали вплотную, сопят, запарились — с мешками, матрасами... И тут меня вытаскивают — меня и еще двух, остальных, в какую-то дверь. Леха, милый Леха! как он пролез через решетку...
— У него моя шапка осталась...— говорит вертухаю.
— Давай быстрей!
А он шепчет:
— Парочку сигарет, сунут в общак, чтоб сразу не просить, Крючков сказал — нельзя, особенно сразу...
— Конечно, милый,— достаю пачку, одна неразломанная.
— Всю мне? — смотрит большими глазами.
— Тебе, тебе, Митя.
— Я не Митя, Леша...
— Бери, бери, не *пропадай*.
— Счастливо вам...
Полез за решетку и вместе с толпой исчез. Навсегда.
И вот мы втроем, в боксе. Ондатра-Сухой закон и длинный — Разбой. Почему нас троих? Тусклая лампочка, скамья — кое-как уселись, матрасы, мешки на коленях.
— Выходит, нас вместе,— говорю.
Разбой поворачивается, в глазах тоска. Если уж у него тоска!.. Впрочем, как не понять — только неделю погулял!
— Тебе со мной никак — у меня шестая ходка, особняк.
Поворачиваюсь к Ондатре:
— А у тебя вторая?
Кивает, молчит... Вон оно что! К *ним* приравняли...
— У меня такая статья,— говорю,— могут и на особняк.
Разбой блеснул глазами, скривил губы с брезгливостью:
— Какая там у тебя статья, не мели...
Сидим, курим. Полчаса, час?.. Душновато в боксе и пить охота — после «могилы», после бани. Господи, думаю, что ж я все о них, о *нем*, разве они, *он* хоть что-то решают, разве и *он* не всего лишь инструмент в руке Того, Кем все это движется и мы живы, и разве хоть что-то может со мной произойти без воли Того, Кто... Господи, прости, помоги моему неверию!..
Дверь открывается...
— Выходи!
Коренастый, рыжий — старшина. Рядом дверь — и лестница: светлая, чистая, как в доходном доме; сетка между пролетами, каменные ступени — *стерты*! Рыжий впереди, бренчит ключами по железным перилам — Вергилий!
Второй этаж, третий... Открывает ключом дверь, кивает Ондатре, пропускает вперед, оборачивается к нам:
— Чтоб тихо, молчать!
Ушел.
— Тебя как зовут? — спрашиваю Разбоя.
— Володя.
— Ты меня поддержи, Володя, если что...
— Да я ж тебе говорю, тебя никогда со мной...
— Я что сказал?..— Рыжий на площадке.— Еще замечу!..
Ползем по лестнице, крутая, тяжело с матрасом, после бани. Четвертый этаж.
— Давай,— Разбою.
Не глянул на меня — напряжен, собран — как в прорубь.
Стою один на площадке. Эх, думаю, вот она — *странность*... Выходит Рыжий.
— Еще выше? — спрашиваю.
— Я тебе вот что скажу, запомни,— глаза у него бешеные, а зрачки прыгают, вздрагивают, что-то у него в глазах...— Ты тут первый день...
— Второй,— говорю.
— Второй, а и двадцать лет, понял?
Молчу.
— Если хочешь хорошо жить — со мной хорошо, понял?
— Как не понять.
— Давай вверх!
Лестница у́же, круче, один пролет, второй...
Пятый этаж. Открывает ключом дверь, поворачивается:
— Ты в Бога веруешь?
— А ты как догадался?
— Я тут много о чем догадываюсь. Моли своего Бога — понял? Не ошибись. Сразу не ошибись...
Мы в коридоре: широкий, длинный и — далеко, в конце — решетка поперек, дверь открыта, люди...

— Давай вперед.

Шагаю мимо черных глухих дверей, тишина — нежилой этаж?.. Оборачиваюсь спросить Вергилия — он кивает:

— Вперед, вперед...

И я подхожу к решетке.

Глава вторая

НА СПЕЦУ

1

Так бывает только во сне: слова складываются во фразы, слова знакомые, фразы построены — а смысла не уловить; голоса чужие, а с чем-то связаны, с чем, не понять; ничего не понятно, а интересно, хочется досмотреть, дослушать, просыпаться не хочется... Ему тепло, он лежит на мягком, плывет... *Всплывает!* Он осторожно шевелит рукой, она неловко подвернулась, затекла... И тут ему становится страшно — он голый! От ужаса он открывает глаза: белая, в потеках, стена... Он скашивает глаза: простыня, он укрыт с головой, только лицо перед стеной свободно...

— ...второго разговора не будет,— слышит он,— ты меня понял?

— Как врачи скажут, гражданин майор,— слышит он другой голос, слова растягивает, с усмешкой.— Я человек подневольный, пятнадцать уколов осталось, на две недели, тяжелый случай.

— Ты мне мозги не пачкай,— слышит он.— Завтра этап на Пресню, там тебя уколют.

— Не по закону, гражданин майор, больного человека...

— Повторять не стану. Завтра этап, документы на тебя готовы. Тридцать градусов на дворе, зима еще полгода — не забыл?

— Это где ж так — еще полгода?

— Где тебя ждут. Хочешь остаться на полгода, до тепла? Ларек, передачи, свидания...

— Личняк? — он явно смеется.

Гремит стул — кто-то встал?..

— Я тебе устрою личняк!

— Человек не дерево, гражданин майор, а тут молоко, мясо... Шутка. Договорились. Еще б две недели уколы, больше не надо, не потяну, хотя и молоко.

— Я разберусь, кто тебе назначил.

— Рентген посмотрите, я, может, до Пресни не доеду.

— А меня не колышет, куда ты доедешь.

— Гражданин майор, давайте через месяц опять на больничку?

— Через месяц и на тебя погляжу.

— Гражданин майор, можно хотя через день? Уколы — и сразу а хату. Какой я работник, от боли не соображаю.

— Наглец ты, Бедарев. Я разберусь, чем тебя мажут.

— Шутка, гражданин майор. В какую хату?

— В двести шестидесятую. Спец. Сейчас там... Увидишь. Если помешает, уберем. Этого приведут сразу. Успеешь оглядеться?

— Не велика премудрость.

— Вот смотри... Запомнишь?

— Где, не разберу?

— Тут читай.

— Понял.

— Дня через три пойдешь на вызов. Или тебя учить?

— Грамотный.

— Тогда у меня все.

— Еще бы часа два, один укол, попрощаться с... персоналом.

— Ты эти шутки брось. Старшина!

Слышно отворяется дверь.

— Этого с вещами в двести шестидесятую. И сразу на сборку, заберешь другого... Вот его дело. Сам заберешь.

— Тоже в двести шестидесятую? — новый голос, позвонче.

— Не понял? Старый кадр и тебя учить?

Гремят стулья, все встали.

— Мою просьбу не забудьте, гражданин майор, больному поблажка.

— Смотри у меня, если что, разговора не будет.

Гремят сапоги, шаркают туфли, дверь...

— Боюсь, Ольга Васильевна рассердится...— да он несомненно смеется! — Беда с бабами, верно, старшина!

— Что? Что ты сказал?!

— Шутка, гражданин майор, баба тоже человек, а человек — не дерево...

Он уже все вспомнил. Вот я где, думает он.

Снова стучит дверь, быстрые, легкие шаги.

— Николай Николаевич? Вы что здесь? — голос грудной, с хрипотцой, и запахло — духи! — Непорядок, товарищ майор, тут тяжелый больной.

— Мне сказали, покойник... Ты назначила уколы Бедареву?

Не отвечает, легкие шаги рядом, теплая мягкая рука на запястье, духи плывут над ним.

— Николай Николаевич, я должна вызвать врача.

— Так он живой? Что ж они мне!..

Только бы не открыть глаз,— думает он.

Дверь отлетает.

— Ну что, крякнул? — веселый, с мороза.

— Кома,— грудной, прокуренный.

Дверь туда-сюда, шаги, много шагов. Шепот, шепот — над ним:

— Это ты — ты забрал Бедарева? — рука не отпускает, мягкая, горячая.— Ты, ты...

— Я его тебе оставил, замолкни. Ты еще объяснишь про уколы.

— Это ты, ты, я тебе...

— Где тут покойник? — деловой, знает, зачем пришел.

Сдирают простыню.

— Да он жив!

Его переворачивают на спину, и он открывает глаза. Но мгновением прежде, чем они у него открылись, слышит все тот же свистящий шепот сквозь густой, терпкий запах духов:

— Я тебе этого никогда не прощу... товарищ майор!

2

Еще дверь за мной не грохнула, я только переступил порог, а уже понял — чудо! Меня оглушила тишина, до того все гремело... Во мне, что ль, гремело? Не знаю, гремело с первого шага, как только лязгнула за мной первая дверь, и когда было тихо, все равно, грохот, а тут — тишина, светло, чисто, блестит вымытая цветная плитка на полу, свет из двух окон сквозь толстую решетку, затянутую снаружи ржавыми ресничками-жалюзи, перебивает «дневной» свет потрескивающих под потолком трубок, вдоль стен двухэтажные железные шконки, между ними длинный стол — отскобленные белые доски. Четверо глядят на меня со шконок внизу, наверху — никого.

— Здорово, мужики,— говорю,— куда это я попал?

— Куда надо,— высокий, сидит на шконке поближе к окну, светлые легкие волосы падают на лоб, свежий шрам через щеку.

Сбрасываю ботинки, без шнурков сами слетают, шлепаю по чистому, мешок, матрас кинул у двери.

— Чего разулся,— говорит высокий,— тут такое не положено — или мусульманин?

— Так чисто! — говорю.

— Обуйся!

Эх, вспоминаю, рассказывали, читал, полотенце кидают у порога, ноги вытереть, а я... Прокол! От радости, что все не так, как ждал,— прокололся... Плыву, обо всем, что помнил,— забыл!

— Хорошо у вас как, ребята!

— Нравится? Откуда такой? — высокий ухмыляется.— С воли? Чего ж тебе там, хуже было?

— Какая воля,— я даже обиделся,— в КПЗ неделю.

— Все равно, с воли.

Шагаю по камере.

— Есть свободные шконки? — да они почти все — свободны!

— Чего? — высокий.— Не торопись, раздевайся.

Стаскиваю куртку, на вешалку у стены. Сажусь напротив высокого, сумку с сигаретами на стол. На нем шахматы, домино, карта-самоделка, разграфленная цветными шариками, фишки...

— Да у вас тут дом отдыха!

— Санаторий ВЦСПС,— усмехается высокий.

Шконки двойные, между ними проход, залезешь, как в пещеру, низко, не разогнуться; у изголовья полочка-самоделка: сигареты россыпью, коробка с табаком.

спички, над полочкой цветная картинка из «Огонька» или «Экрана» — девицы на мотоцикле в купальниках.

— Как в каюте,— говорю.

— А ты бывал — в каюте?

— Пришлось.

— У тебя что за статья? — рядом с высоким у окна чернявый, волосы до плеч, лежит в матрасовке, голой рукой подпер голову.

— Вы мою статью не знаете. Никто не знает.

— Мы все знаем,— говорит высокий.

— Сто девяностая прим,— говорю.

— Недоносительство? — говорит чернявый.

— Говорю, не знаете.

— Сто девяностая?.. Сопротивление властям,— опять чернявый.

— Промашка,— говорю.

С другой стороны под стол лезет лохматый, толстогубый, глазастый — мальчишка!

— Давай, Коля, УК — поглядим...

— У вас и УК есть? — удивляюсь я.

— У нас все есть,— встревает высокий.

Чернявый листает затрепанную книжку, толстогубый висит над ним.

— Ух ты! — вскрикивает толстогубый.

— Так ты диссидент, что ли? — чернявый поднимает голову от УК.— «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»... Сахарова знаешь?

— Ну вот,— говорю,— пошли вопросы.

— Кого привели — чудеса!.. Мы с тобой кореша, считай подельники!..— чернявый вылезает из матрасовки, он в купальных трусах с рыбкой на боку.

— На трусах у Коли рыбка,— говорит высокий,— а в трусах у Коли пипка...

— Ладно тебе, Боря,— отмахивается чернявый,— дело нешуточное.

— Спутать рыбку с пипкой было бы ошибкой...

Господи, помилуй! — где я? Я ничего не могу понять.

— А как тебя зовут, дружок? — чернявый садится на шконке, вытаскивает сигарету из коробки.— Смотри как встретились — тебя за что?

— Француженку шарахнул,— говорит высокий,— или американку. Не нашему брату он эти — измышления, короче, слухи?

— Правда,— говорит чернявый,— за бабу?

— За бабу у нас половой террорист Гриша,— через стол глядит на меня еще один: здоровый, плечи как у борца, в майке с картинкой, черные брови сошлись на переносице.

— Какая баба,— говорит высокий,— он бабы не нюхал. Чем баба пахнет, сосунок,— молочком?

— Чего пристал,— говорит толстогубый,— не тебя спрашивал?

— Чего?.. Меня спрашивать? У вас такие порядки в хате, в другой бы — головой в парашу и весь разговор...

— Ладно, Боря,— говорит чернявый,— дай с человеком познакомиться... Николай,— протягивает руку.

— Вадим,— говорю.

— Борис,— говорит высокий,— а этот щенок, половой террорист — Гриша, а вон Андрюха — угадай, кто по национальности?

Я пожал плечами.

— Фамилия — Менакер,— говорит Боря.

— Наверно, еврей,— говорю я.

— Слышь, что товарищ интеллигент утверждает? А ты нам мозги пачкаешь, как любит говорить один начальник...

— Это начальников колышет,— говорит Андрюха, – а тебе зачем?

— Для порядка,— говорит Боря,— я только пришел, хочу знать, кто у вас чем дышит.

— Так и ты первый день? — спрашиваю.

— Первые полгода, где я тут только не был.

— Он из карцера,— говорит Гриша,— видишь, как ему нарисовали.

— За что тебя? — спрашиваю.

— Другой раз, время будет. Ты за что влетел — не из-за бабы же?

— Написал кое-что,— говорю,— о жизни.

— Так ты писатель? — у Гриши горят глаза.

— Признали,— говорю.

— Ну и что? — говорит чернявый.— Я, может, тоже писатель, но меня... Погоди, меня за то же самое!

— Композитор,— кивает высокий,— оперу пишет.

— За такие слова, Борис...

— Шутка,— говорит высокий,— вы тут все скучные, как девки в санатории ВЦСПС.

— Погоди,— говорит чернявый.— Ну написал, а дальше что?

— На Западе напечатали, и еще кой-чего.

— Я говорил, американка! — смеется высокий.— Шерше ля фам.

— Так тебя за валюту? — Андрюха явно доволен.

— Все, мужики,— говорю,— я еще до следователя не доплыл, а вы мне такой разговор. У нас будет время, так, что ли, Боря?

— Пожалуй,— говорит Боря,— если я тут не заскучаю.

— Ты, правда, полгода? — спрашиваю.

— Я до лета присох,— говорит Боря.— Как-нибудь расскажу, запомнишь, продашь своей американке — башли пополам.

— Стоп,— говорю,— у вас, гляжу, и УПК, а там четко написано, сроки у следствия жесткие.

— Забудь,— говорит Боря,— тут тюрьма, а эта книжонка для дошколят, с раньи мозги пачкать. Ты, рыбка, сколько сидишь?

— Одиннадцать месяцев,— говорит Коля,— скоро юбилей. У меня особый случай. ГБ чуть не каждую неделю из Лефортова шастают.

— А чего к себе не заберут, охота им ездить?

— Теснота у них,— говорит Боря,— а тут, сам видишь, простор.

— Так вас четверо?

— Трое гуляют,— встрял Гриша.— А вы член Союза писателей?

— Еще и прогулка! А я забыл, что полагается! Жить можно! — меня распирает.— Чего вы не пошли?

— От кислорода кони дохнут,— говорит Коля.— Тут майор приходил, по режиму, кричал, как резаный, а я не пошел.

— Зачем еврею свежий воздух, так, Андрюха? — говорит Боря.

— Сегодня не пошел, первый раз за четыре месяца,— говорит Андрюха,— простыл. Прогулка — первое дело, если хочешь вытянуть.

— Так куда я попал? — спрашиваю.— Просветите, мужики.

— Ты на спецу,— говорит Боря.— Спец — три этажа, есть спецовские камеры внизу, где больничка. На спец пихают, у кого статья посолидней, если подельники, и еще кой-кого. Изоляция, короче. На общаке не удержать, ярмарка. Шестьдесят человек в хате, каждый день вызова, адвокаты, на суд, коней гоняют — большая утечка. А тут... Тут своя химия, у кого мозги крутятся.

Гляжу на камеру, вдыхаю тишину, светло, тепло, чисто...

— В такой тюрьме жить можно,— говорю.

— Ты тюрьмы не видел, браток,— говорит Боря,— наглядишься.

— Могут перевести?

— Здесь все могут.

— А ты давно, в этой камере? — спрашиваю чернявого.

— Два месяца. Хорошая хата, спокойная. Скучно, правда. Теперь повеселей будет, верно, Боря? — чернявый встает, захватил полотенце.— Пойти рожу сполоснуть, сегодня завтрак проспал.

— Кто-то тут у нас повеселится...— Боря помрачнел, ложится на шконку, вытянул ноги — и в петлю, кусок тряпки привязан к двум стоякам, качается.

И верно, как в каюте!

С грохотом распахивается дверь, вваливаются трое: один постарше, в ярком свитере, в тренировочных брюках, в кроссовках; двое в телогрейках; румяные, веселые.

— Пять километров пробежал, личный рекорд! — кричит спортсмен.

— Холодно? — спрашивает Андрюха.

— Нормально,— говорит одна телогрейка: длинный, нескладный, красные кулаки торчат из коротких рукавов.— Но мне того не надо. Больше не пойду, до суда хватит.

Третий молчит, раздевается: голова бритая, лицо круглое, чистое.

— Наглотались кислородом, охломоны? — спрашивает чернявый, он растирается полотенцем.— Подкосели? Давай, Вася, в покер...

Что-то не вяжется одно с другим, и с тем, что ждал, и с тем, что должно быть,— не пойму, куда я все-таки попал?

Спортсмен садится рядом, стаскивает свитер... Ага, его место.

— Не помешал? — спрашиваю.

— Новый пассажир? — осведомляется спортсмен.

– Вроде того,— говорю,— если у вас пароход.

— У нас Ноев ковчег, советский,— говорит Боря,— семеро одних нечистых, а пары никому нет.

Вон ты какой, думаю:

— А кто за Ноя?

— Поглядим,— говорит Боря,— разберемся.

— Разбирайтесь,— говорит спортсмен,— а я еще денек побегаю и на волю. Вас опять семеро.

— Как на волю?

— У меня суд через день, хватит, насиделся.

— Неужто отсюда уходят? — я потрясен.

— Уходить-то уходят,— говорит Боря,— только куда.

— Не каркай,— спортсмен встает.— Пойду сало резать...

— Он у нас зачпрод,— говорит Гриша, он все время крутится рядом,— а Боря теперь начкур. Давай сюда сигареты.

Даю ему сумку, потрошит, раскладывает на полочке...

И тут ржавый грохот врывается в камеру, я даже глаза закрыл от неожиданности — *радио!*

— Не нравится? — Боря глядит на меня.— Сейчас я его придавлю.

— Да мы пробовали,— говорит Гриша,— не залезешь. В шесть утра врубают и до десяти вечера...

— Одна попробовала, тебе интересно, чего у нее получилось? — Боря встает, в руке что-то блеснуло, забирается на рукомойник, тянется к сетке над дверью. А там ревет, булькает, трещит...

Оглядываю камеру: верхние шконки закрыты газетами, лежат книги, коробки-самоделки, тряпки; между окнами висит шкаф, сейчас открыт, там полки: хлеб, кружки, миски; под шкафом календарь с рисованной картинкой — голая баба под елкой; возле умывальника сортир, кусок матрасовки на завязках прикрывает вход — уют! За столом играют в покер, чернявый бросает кости, прыгает, кричит; бритая голова играет молча, улыбается, спокойный. Зимовка, думаю, так бывает на зимовках, читал в книжках тридцатых годов, и ребята такие...

Радио грохочет, ревет — и смолкло. Все повернулись к двери.

— А ты, глупенькая, плакала,— говорит Боря.

Радио снова взревело, он что-то крутит сквозь сетку, теперь слышен диктор, разборчиво, убавляет, прибавляет звук...

— Высший пилотаж!..— кричит спортсмен от шкафа.

Боря спрыгивает с умывальника, пролезает на свое место.

— Как они тут жили, фраера, смотреть противно,— он закуривает.— Ты вот что, два дня переспишь у параши, другого места нет, на верх не лезь, а этот уйдет — будем рядом.

— Нормально,— говорю.

— Я тут наведу порядок...

— Слушай,— говорю,— он, правда, уйдет на волю?

— Едва ли. Но всякое бывает.

— Как думаешь, можно с ним передать... письмо?

Боря вытаскивает ноги из петли, садится, глядит на меня.

— Ты что? С ним двух слов не сказал... Тебе надо передать?

Чернявый влезает к нам.

— Темная лошадка,— говорит он,— не торопись, передадим.

— А я думал, у вас братство? — я несколько ошарашен.

— Ты в тюрьме,— говорит Боря,— никому нельзя верить.

— У меня есть канал,— говорит чернявый.— Если б три дня назад, я а ООН отправил письмо.

— Куда? — спрашиваю.

— А что мне терять? Я уже отправлял Генеральному, в ПВС — все письма у следователя.

— Хороший у тебя канал,— говорит Боря.

— Так они и пересылают сюда, суки! Ты думаешь, здесь перехватывают? Не должны, канал верный.

— Чего и думаю, про то и думаю,— говорит Боря.

— Будешь играть?! — кричит Вася.— Или слинял?

Чернявый возвращается к столу:

— Сейчас я тебя заделаю, молокосос...

— Одно слово... композитор,— тихо говорит Боря,— больно шустрый. Ишь локаторы, услыхал.

Радио бубнит, не слушаю, чернявый прыгает, гогочет. Андрюха говорит о чем-то с длинным малым, спортсмен у шкафа в конце стола режет сало, хлеб, чем не понять, поблескивает сталь, что-то втолковывает Грише... Для меня многовато, не переварить.

— Ложись,— говорит Боря,— отдыхай. Сколько проторчал на сборке?

Ложусь, вытягиваю ноги, только тут доходит — еле живой.

— Сутки прокрутился,— говорю,— веселый аттракцион сборка.

— Один у вас крякнул,— говорит Боря,— слышал базар, когда сюда тащили.

— Нет, такого у нас не было.

— Так не одна ж сборка, или вас не разводили?

— Развели, перед шмоном.

— Там можно крякнуть, особенно без привычки, или нервишки сдадут.

— А ты не первый раз? — спрашиваю.

— Третий. Нагляделся. У меня шкура дубленая.

— За что сейчас?

— Расскажу, погоди. У меня пересуд, доследование. Сейчас начнут таскать через два дня на третий. Тогда и обделаем с письмом.

— Сила! — плыву от изумления.

— На каждую хитрую эту самую есть этот самый.

— Надо ж как повезло,— говорю,— и хата хорошая, и ты рядом.

— Кому везет — везет...

Гремит кормушка, откинулась.

— Бери ложку, бери хлеб! — румяная веселая рожа скалит зубы.

— Очистить дубок! — кричит спортсмен.

— Давай, давай шленки! — кричит из кормушки.

Пятеро выстраиваются у двери, спортсмен бежит со стопкой мисок. Я сажусь на шконке.

— Лежи,— говорит Боря,— без нас хватит.

В кормушку передают миски, из рук в руки — на стол.

— У нас пополнение,— говорит спортсмен,— давай еще...

Швыряет миски — хлоп, кормушка закрылась.

— Три закосил! — говорит спортсмен.— Он считать не умеет, теперь еще второе...

И вот мы сидим за столом — дубком, каждый спиной к своей шконке. Я на краю, возле сортира. Нарезанный крупными ломтями хлеб посреди стола. Гриша рядом, подвигает два куска сала.

— Вы что, ребята,— говорю,— у меня пусто! Будет передача...

— Ешь,— говорит чернявый, Коля, он на первом месте, у окна, рядом Боря,— будет-не будет, у нас пока на столе.

Я и не подумал — перекрестился. Беру ложку, выдали на сборке — держало с обломанным черенком. Поднимаю голову: тихо за столом, все смотрят на меня.

— Вон как,— говорит Боря,— и гляжу, вроде, светлей стало, и чем-то потянуло другим, не нашим...

Едим. Щи горячие, капуста, картошка... Хлеб тот же — глина.

— А мне подарок! — кричит Гриша.— Глядите, мясо!

Вытаскивает в ложке кусок волокна.

— Сегодня на сборке один крякнул,— говорит Боря.— Шустро управились: сварили и по котлам.

Н-да, юмор, думаю.

Быстрей, быстрей летит время: уже за окном темно, съели кашу — пшенную, покидали туда по куску сахара; каждый вымыл под краном свою шленку; Андрюха намертво прикрутил к моей ложке обломанную зубную щетку — удобно, лежит головой к столу, читает; длинный, Петька, завернулся с головой одеялом, спит; чернявый с Васей кидают кости. Сижу на Бориной шконке, спортсмен, зовут его Миша, вытянулся на своей, у него в ногах Гриша, лупит глаза.

— Так ты писатель,— говорит спортсмен,— прочитал, чего в библиотеках нету? Мы тут базарим: кто революцию сделал?

— Кто? — пожимаю плечами.

— Будто не знаешь! Евреи. Мы их тут благодарим с утра до утра. Каганович — кто? А Свердлов, Каменев-Зиновьев, Пельше...

— Зато теперь хорошо,— говорю,— Брежнев, Черненко...

— Я не про теперь, про то, с чего начали, а мы хлебаем.

— Слушай, Миша,— говорю,— меня посадили, что и, вроде, не то написал, а ты хочешь, чтоб я балаболил на эти темы?

— А при чем тут? — он поджимает ноги, курит.— Где поговорить, как не в тюрьме? И Ленин в тюрьме разговаривал...

— Не мели, сосед,— говорит Боря,— нам не надо, евреи-не евреи, мы тут все зэки.

— А кто еврей — один Менакер, и тот под сомнением?

— Смени пластинку,— говорит Боря,— сказано тебе.

— Круто взял,— говорит спортсмен,— не сорвался бы.

— Когда и сорвусь,— говорит Боря, ноги по-прежнему качаются в петле,— тебя ветром сдует, в кормушку пролетишь.

— Все, мужики,— кричит чернявый от стола,— брэк!

Верно, у него локаторы. Спортсмен поднимается, пролезает мимо меня, обошел стол, садится к Андрею.

— В море его б окунули разок-другой, сразу бы затих,— говорит Боря.— Ничего, он и тут утихнет.

— Так ты моряк? Не зря я говорю — каюта!

— Был моряк, а теперь сам видишь.

— На каком флоте?

— На сухогрузах ходил, стармехом.

— Далеко ходил?

— А по всему свету. Танкера́, вино возили. Большой каботаж.

— И в Америке был? — спрашивает Гриша.

— Земля круглая,— говорит Боря,— чего-чего не было. Это и когда второй раз залетел. Первый-то по контрабанде, и не судили — вчистую вышел до суда, а все равно считается — ходка. В Крестах полгода. Отдали — по пять сорок за день.

— Мне бы,— говорит Гриша,— и четыре месяца.

— Чего тебе платить, много получал?

— А говоришь, пять сорок.

— Ты ж студент, если не врешь, какие деньги... Да и зачем тебе — намажут зеленкой лоб и вся получка. И что тебя держат четыре месяца, кормят, я бы сам шлепнул без денег.

Гриша молчит, курит.

— Так вот,— продолжает Боря.— Привозят на зону, на Урал. Зима, наколодился в клетках — Киров, Пермь, и в барак. Ночь, они уже спать легли... Откуда, кто, базар. Из Питера, мол, моряк, то-се. С верхних нар сваливается, не видно в темноте. Ты, говорит, был на Кубе, мореход? Был. Помнишь, говорит, как мы уделали американов в Гаване, на ихнем празднике? Вадька! — кричу. Кент мой, ходил у нас штурманом на сухогрузе. Эх, мы тогда отделали американов, пряжками дрались.

— Какие пряжки у торговых моряков,— подает голос Вася от стола,— это у нас на военном пряжки.

— Медные,— говорит Боря.— Земля круглая, сказал мне тогда Вадька. Мы с ним три года отбухали, пока он не ушел по сроку...

Он говорит, говорит, Гриша в него вцепился, не отстает: порты, тропики, драки, женщины, а меня смаривает, больше суток не спал, а тут после бани, после щей, каши, после всего, что узнал, услышал: надо ж как повезло — хорошая хата, какой парень, другом будет... Японка на тихоокеанском берегу, а он ее раздевает, не может снять купальник: «У нее современные липучки, а я, русский медведь, не понимаю, кручу ее, пыхчу, а она смеется, смеется...».

— Да он спит,— слышу Гришу.

— Ты б потерпел,— говорит Боря,— ужин, подогрев...

— Я без ужина,— говорю,— мне поспать...

— Тогда ложись,— говорит Боря.— Раскатай ему матрас, Гриша, рядом с тобой, не лучшее место, а все место.

Ложусь на левый бок, спиной к сортиру, и накрыться не успеваю, проваливаюсь.

3

Просыпаюсь оттого, что меня дергают за ногу.

— Вы его тут не придавили?

— Вы б не придавили,— слышу Борю,— кто в тюрьме будит?

— Молчать! Адвокаты...

Сажусь на шконке. Дверь распахнута, надо мной старшина — здоровый, мордатый; в дверях маячит офицер, вроде, старлей...

— Живой,— говорит старшина.— Вставать надо к поверке, чтоб больше этого не было... Все нормально, мужики? Восемь человек...— он чиркает на бумаге.

И дверь грохнула.

— Тебе ужин оставили, писатель,— говорит Гриша,— рубай.

— Нет, ребята, спасибо, я дальше спать.

— Здесь не говорят спасибо, за спасибо...— Петька длинный.

— Оставь его,— это Боря.

— Смотри, кум приходил,— говорит Андрюха,— старший лейтенант. Точно кум, он к нам на общак ходил.

— Такого раньше не было,— говорит чернявый,— к чему бы...

— Поговорил бы, Вадим, с рабочим классом,— перебивает Боря,— хватит спать.

— Простите, мужики,— говорю,— в голове карусель...

Встаю, отцепляю завязки у входа в сортир...

— Телевизор открыт! — кричит Петька.— Не видишь?!

— Он не знает,— голос Гриши,— скажите ему...

Поворачиваюсь. Все глядят на меня, шкаф между окнами раскрыт, на столе миски с кашей.

— В тюрьме порядок,— говорит Андрюха,— когда кто ест или открыт телевизор, на дальняк нельзя. На общаке пришьют за это, а там не сразу увидишь, кто ест.

Выбираюсь из сортира.

— Ладно вам,— говорит Боря,— законники.

Радио едва слышно, голоса сливаются в общий гул, четверо за столом играют, гремят костями, кричат... Не могу отключиться.

— Не спишь?..— Гриша рядом, приладил петлю к стоякам на своей шконке, качает ногами.

— Надо бы и мне в мореходку, а у меня диспансер с детства.

— Какой диспансер?

— Псих. А какой я псих? И для суда буду здоров.

— У тебя экспертиза должна быть.

— Была. Тридцать пять дней на Серпах; сосиски, манная каша, каждую неделю передачи... Это у них и есть экспертиза. «Во время совершения преступления был вменяем». И опять сюда.

— Какая у тебя статья?

— Плохая моя статья. Сто семнадцатая.

— А что за «зеленка»,— спрашиваю,— чем он тебя пугает?

— У них легенда: когда расстреливают, лоб мажут зеленкой — номер пишут, чтоб мертвяков не путать.

— Почему расстрел? Вас что, много было?

— Их было много,— говорит Гриша,— а я один. Малолетки.

Закрываю глаза. Лежим бок о бок.

— Вмазал, вмазал!..— кричит чернявый.

— Я не боюсь,— говорит Гриша,— и этих подначек... Я люблю ходить по городу. Ты где жил?

— Ты в Бога веруешь? — спрашиваю.

— Нет,— говорит,— я в себя верю. Не боюсь, что б они со мной ни сделали. Я... глупо попался. Я их у лифта ждал: идут из школы, в фартучках. И в лифте. А тут... Тут ее мать в окно увидела, ждала. Я тогда девчонку не тронул. А на Петровке испугался, рассказал и чего не было. Тянуло что-то. Восемь картинок. А зачем рассказал? Один бы раз, других они не знали — ничего б не было!

— Ты не понимаешь, что ты делал? — у меня нет слов.

— Понимаю, а что теперь толку? Головой об стену? Пусть за меня решают.

— Они решат,— говорю,— а если б ты в Бога поверил, если б захотел узнать, кто тебя на это толкал, Кто остановил и Кто спасет, если вывернешь себя наизнанку, заплатишь кровавыми слезами...

— Брось, Вадим,— говорит Гриша и качает ногами в петле,— я не хочу слабость показать, затопчут. Ты лучше про свои книжки расскажи — про что писал?

— Ничего я тебе не буду рассказывать.

— Верно. Тут не просто, в этой хате. Я из Серпов вышел — не пойму, кто на кого стучит? Борис сильный человек, ему я завидую...

Распахивается дверь, вталкивают старика. Дверь не успевает закрыться, он снял шапку, телогрейку, кинул мешок с матрасом на пол, подходит к столу.

Здорово, урки!

— Хорошо, мне на волю,— говорит спортсмен,— богадельня...

— Отсюда на волю только крысы уходят,— говорит старик.— Уйдешь, место освободишь, а я пока на пол.

Он раскатывает матрас против меня, под волчком.

— Откуда, дед? — спрашивает чернявый.

— Курите много,— говорит старик,— а я человек больной, два инфаркта имею, мне воздух нужен.

— Тут вагон для курящих,— говорит чернявый,— какая ходка?

— Не знаю,— говорит старик,— я только деньги считаю. Сосчитай мои ходки, если грамотный. Сижу с сорок пятого, последний раз рекорд поставил — полтора года погулял, а залетел, как фраер.

— Так у тебя, дед, юбилей? — кричит Петька.— Сорок лет победы, твой праздник, тебе орден повесят!

— Я тебе не дед, щенок,— говорит старик,— меня зовут Зиновий Львович,— он уже сидит на шконке, смотрит игру. Надо ж, как залетел! Живу я, братцы, в Москве. Ну как живу, родился в Москве, а сорок лет отсутствую, причины уважительные — верно? Сестра у меня, Фанечка, между прочим, заведующая в магазине «Молоко» на Малой Дмитровке. Имею подружку, проживает в Медведкове, всегда ждет.

— Сколько годочков? — спрашивает спортсмен.

— Со школы не разлей вода, лет на пять помладше, а... как швейная машинка, не чета вашим писюшкам. Прописался я последний раз в Алексине, Калужская область, и дня не ночевал, некогда, заплатил хозяйке — и нет меня. Я в поездках, по два куска

привожу в Москву через месяц-полтора — и к Фанечке, на Пречистенку. Как она у вас называется — Пречистенка?

— Кропоткинская,— говорит Гриша.

— Верно, грамотный. Иду, понимаете, как фраер,— шляпа, клифт, котлы, задумался, те самые считаю, каких у вас сроду не было. А он свистит, пес, а мне не до него, сальдо-бульдо не сходится. Не там улицу перешел у бывшего Храма Христа Спасителя — большое преступление, а он — паспорт требует. Так я тебе показал, псу, там много нарисовано, а он прилип. Да возьми ты штраф, говорю псу, а он за мою личность глаза вылупил. У них розыск объявлен уже полгода. И что думаете? Зинка-червонец, судья в районе, всем без разбора до звонка вешает, у нее зло, девчонку изнасиловали... Я ей говорю, что ж ты, сука, делаешь, у меня три инфаркта, я трех месяцев не проживу. А мы, говорит, гуманисты, мы вам, Зиновий Львович, жизнь продлеваем, даем три года, живите на здоровье.

— Так два года дают за чердак? — встревает Петька.

— Давали. У меня надзор, три — к юбилею победы.

Голова у него лысая, блестит, зарос до глаз седой щетиной, уши торчат как у волка, острые, поросли серой шерстью, наверно, у Ламброзо описан, а лицо... коммивояжер.

— Чем же ты промышлял, Львович,— спрашивает чернявый,— из каждой поездки по два куска — большой специалист?

— Лохов на мою жизнь хватит,— говорит старик.— Покупаю мягкий вагон в курьерском, люблю, чтоб спокойно и не курили. Сижу, поглядываю, могу в картишки, хотя рискованно, руки видно, лучше поговорить, а я везде побывал, все видел, могу о чем хочешь...

— Побывал! Сорок лет известно где...— говорит Андрюха.

— Скажи, где я не был — и Сибирь, и Дальний Восток, и Средняя Азия, а уж Россия-матушка...

— Что ты видал — из столыпина, из зоны!

— Побольше твоего, щенок, хотя ты на мотоцикле... Едем, разговариваем, чайком балуемся. Гляжу. Человека сразу видно, и чего у него в чемодане — смотреть не обязательно. Ушли в ресторан, спят, поезд к станции, расписание в кармане, часы на руке. Беру чемодан, какой приглядел, и в тамбур, все ключи с собой, открываю двери, выкидываю чемодан под заметным деревом, а на станции выхожу, пирожков захотелось, горячих. И по шпалам, а лучше по насыпи...

— Да, дед,— говорит Боря,— ты, как теперь говорят, ретро, тебя в музее выставить, большие деньги дадут.

— А я не возражаю, договоримся. У меня четыре инфаркта, чтоб тихо и не курили. А в музее за сигарету — три рубля. Точно мне. Поверх...

Хочу спать, в глазах песок, а не могу. Я уже не понимаю, кто из них что говорит, кто отвечает, путаюсь — явь или сон, как вчера на сборке, и не могу понять — зачем я здесь, где я...

— Тихо! — вроде, чернявый, Коля.— Алла Борисовна! Вруби, Боря, сделай милость для общества...

— Писатель спит,— говорит Гриша.

— Его пушкой не поднять, видали, корпусной старался, чуть ногу ему не оторвал.

— Наглотался, у него таблетки...

Кто это про таблетки? Не пойму...

«Паромщик...» — заныла Пугачева.

— У нас тут сидел один, спал с Пугачихой.

— В каждой хате такие, пройдись по тюрьме...

— Во — баба!

— Как же ты, дед, если тебя осудили, попал на спец, в следственную камеру?

— У меня пять инфарктов — куда? Не в осужденку, там не продохнешь, я им не дался.

— В больничку.

— Там не держат, последний инфаркт три года назад.

— За что ж ты первый раз залетел — сорок лет назад?

— Замочил одного на Сивцевом Вражке, днем, как счас помню. Кишки выпустил псу, старый, а нас, сопливых, вложил.

— Сколько дали?

— Малолетка был, не много...

— Миш, а вдруг, правда, на волю через день?

— Погуляем, если бывшая теща-жидовка чего не придумает.

— А чего ей думать?

— Не знаю чего. Удумает. Переспал с собственной женой! Пять лет в разводе. Да она мне даром не нужна, жидовка!

— У меня второй срок был лагерный. Двух замочил. Пристали — еврей да жид. Я терпел, терпел, взял стамеску, в сапожном цеху работали... Ко мне в карцер приходит опер, капитан у нас был, тащит бутылку водки. Пей, говорит, Зиновий, последняя твоя бутылка. А я ему говорю: возьми, капитан, у меня деньги, знаешь где, тащи коньяк, за меня еврейский Бог хлопочет. Что думаешь? Допиваю коньяк в карцере, еще бутылку тащит. Верно, говорит, схимичил тебе твой Бог, их живыми довезли, когда вытащили из вертолета, оба крякнули. А раз не прямое — ушел из-под вышки. Шесть лет добавили...

— В порту, в Дакаре сидит на базаре баба, ничего на ней нету, черная, и ее прямо там, при народе... Но это дорого, а если в ларьке, дешевле кружки пива...

— Ты бы мне, дед, продиктовал феню, у меня тетрадка, пять листов записал, мало...

— Тебе, щенок, в комсомол вступать, там твоя феня.

— Не, дед, я не пойду на волю, хочу как ты, повидать...

— На «химию» везли, после зоны, трое суток в пульмане, столыпина не хватило, без пересылок, набили, как сельдей... Видал, как скот возят?.. Во-во. Выгрузили в Котласе, дальше пароходом, построили, конвой, собаки, стоим, качаемся. А тут мент подходит, ему конвой наши дела, он их в сумку. Конвой кричит: «Кругом!» Повернулись, стоим. Пять минут стоим, десять... Мент ходит вокруг, вы что, говорит, чумовые?.. Обернулись — никого, ни конвоя, ни собак. Десять минут на воле, а шагнуть боимся! Мент каждому по червонцу, не напивайтесь, говорит, берите билеты, ждите меня на пристани... Эх, думаю, пристань-порт, родная моряцкая жизнь!. Мы его так напоили, мента, на руках тащили на пароход...

Котлас, Дакар, японское побережье, Сивцев Вражек, девочки с ранцами, в фартучках, с бантами в легких волосах, голая черная баба на африканском базаре... Рядом бубнят едва слышно:

— Его, Боря, надо убрать, он кумовской, голову тебе даю...

— Ты за него не бойся, сам уйдет, а не уйдет, бедный будет. Я тебе, рыбка... Ты недельку поживи и рви когти из хаты, я твою игру понял.

— Ты что, Боря?

— Я один раз говорю...

— Видишь зарик, щенок? Что на нем?

— Ну три.

— А здесь — что?

— Пять.

— Смотри — три?

— Три.

— А тут?..

— Так вот ты чем зарабатываешь, дед! Зачем тебе чемоданы?

— Я много чем могу заработать...

— Еще, еще покажь, дед!..

— Я ему в бане написал, на общаке: если ты меня, гад, вложишь... А что думаешь, почему меня на спец — вложил!

— Ты его на суде придави.

— До суда встретимся, гад буду, не спрячется — тюрьма движется, я в отстойнике написал на стене: «Петров кум, сука!»

— Иду от Таганки — вниз, к бульвару, смотрю — Высоцкий!

— Заткнись — Высоцкий! Ну что ты балаболишь, губошлеп! Эх, на воле я тебя не встретил, своими бы руками задавил — и ничего б не было, за таких, как ты, только благодарность.

— Недолго осталось — намажут зеленкой и в штабеля...

Откуда-то сверху густо, как в мегафон:

— Один, четыре, два! Один, четыре, два!..

Еле слышно, издалека:

— Один четыре два слушает!

— Я два шесть ноль! Позови Ваню!

— Один четыре два, Ваня слушает.

— Здорово, Вань, это Петька!

— Здорово, Петь.

— Как дела, Вань?

— Нормально. А у тебя?

— И у меня нормально.

— Тогда расход...

Что ж это, Господи, научи меня... Мне повезло, посчастливилось, хорошая хата, этот мореход поддержит, поможет, я не один — это хорошо?.. «Различайте духов, от Бога ли они...» — вспоминаю я. Кто они — эти духи, бесы, мысленные демоны, что они хотят от меня, ищут, но у меня ничего нет, все забрали... Все? Все, кроме... Что же это? Искушения? Что они значат, сколько их было сегодня, начиная с той минуты, как вошел в камеру, ощутил тишину, покой, тепло... И передо мной внезапно возникает рыжий старшина, там, на лестнице, Вергилий. Что он хотел сказать, предупреждал — зачем?..

Глаза бешеные, а в них вздрагивает, прыгает — что?.. «Моли своего Бога.. Смотри не ошибись, сразу — не ошибись...» Зачем?

4

Больница — особое место в тюрьме. Всегда так было, сколько порассказывали, понаписали, не зря называют ласково — *больничка*. А те же камеры: железная дверь, кормушка, шконка, решетка на окнах... Те же, а не такие. Стены без «шубы», закрашены светлой масляной краской, белый потолок, простыни — ветхие, изодранные, а чистые, одну меняют после бани. И ресничек нет на окнах, сквозь которые, если не отогнуть, и неба не углядишь. А чем ты ее отогнешь, разве старая, проржавела... А тут намордник — железный лист сантиметрах в двадцати от окна, и если глянуть вбок, увидишь: двор между корпусами, деревья; громыхнул шлюз, от ворот въезжают машины: под вечер «воронки» везут на сборку новых пассажиров — до глубокой ночи, утром — с шести до девяти — развозят по судам, на этапы; днем гремят грузовики — везут на кухню картошку, капусту; прошелестит «Волга», «жигуль» — начальство пожаловало. Три раза на день баландеры тянут на тележках котлы — плещут щи, вышлепывает каша — видать какая; офицеры идут в столовую; в субботу вечером женщин из хозобслуги водят в кино, они собираются под окнами, ждут «воспитателей», пересмеиваются, поглядывают вверх, знают — вся больничка прилипла к окнам — живые бабы! «Здравствуйте, девочки-воровки! — кричат из окон.— Хотя бы чего показали!» — «Я тебе покажу — ослепнешь! — кричат снизу.— Решку прошибешь, если осталось чем!..» — «Верно! — кричат сверху.— Воровка никогда не будет прачкой!..»

Женщины — особая материя в тюрьме, а на больничке — сестры, венерическое отделение, мамочки... Глянешь из процедурной в окно, пока сестра готовит шприц; в прогулочных двориках мамочки толкают коляски, сидят на лавочках, запеленутый младенец на руке, курят, жмурятся на окна... Месяц-полтора погуляла с младенцем и на этап, увидит ли его когда?.. Что-то удивительное в женском голосе, смехе, в подведенных глазах, а если посчастливится подробней... И кажется из камеры, сбоку через намордник, в открывшуюся кормушку — какие-то они светлые, веселые, силы в них, что ли, больше?

И прогулка на больничке положена два часа, хотя и не соблюдают, а есть право базарить, требовать — отдай мои два часа! И гуляют не на постылой крыше, где ничего, кроме неба в клеточку сквозь ржавую сетку да обрыдшей высоченной трубы, гарь забивает глотку, подыши-ка на крыше... Больничка гуляет внизу, над стенами двори ков, с одной стороны обшарпанные корпуса — спец, за ним общак со слепыми, затянутыми ржавыми ресничками окнами, а с другой — деревья, психушка, не вольное здание, а все вольней, и покрашена в яркий зеленый цвет, и окна там посветлей, блестят стекла, решетку едва видно — весело глядят окна без ресничек, без намордников...

Но главное на больничке — пища. Вроде, и голода нет в тюрьме, какой голод, если хлеб остается, не управишься с глиной, да и зачем — передача из дома каждый месяц, а повезет, хата маленькая, у всех передачи, ларек... Нет голода. А попадешь на больничку, сразу поймешь, что потихоньку доходишь, доплываешь. Поставят в первый день на весы — мать моя, мамочка, куда ж твой вес делся? То-то штаны сваливались, через день пуговицы перешивал, свитер болтается, как с чужого дяди. А на больничке, каждое утро в пайке — белый хлеб по четверть батона, полкружки молока, а девки из хозобслуги наливают полную, масла кусочек, граммов двадцать пять, кружка компота, не сладкий, а сахар свой, добавляй по вкусу, каша — и забыл в камере, что бывает такая! — манная, рис, лапша, и накладывают с верхом. Но главное — мясо. Каждый день перед обедом гремит кормушка и является миска с мясом, по числу зэков, куски в пол-ломтя хлеба — день свинина, день говядина. Редко кто дождется обеда — мясо на хлеб, посолил погуще, а если луковица есть! Кто посолидней, не замечают миски с мясом — а дух идет по всей камере! — ждут обеда, и в горячие щи: шлеп мясо. И каши не надо, сыт. Простое дело, кусок мяса, едва ли в нем граммов сто, пятьдесят, не больше, а через месяц, если продержишься на больничке, встанешь на весы — три килограмма набрал, и ходишь веселей, и ноги-руки на месте.

Одна тягость на больничке, потому многие не хотят, хотя надо бы — курить нельзя. Как ведут из отстойника, обязательно разденут догола, переворошат все захоронки а все равно проносят, у каждого свои секреты... «Припес курить?» — первый вопрос в больничной камере. И сразу к окну, подымить.

Много возможностей добыть курево на больничке: из соседней камеры ночью подгонят «коня», поделятся; прогулочный вертухай распахнет дверь, холод, неохота ему гулять: «Ну что, мужики, гулять или курить?» — «А сколько дашь?» — «Три сигареты на всех».— «Давай, больным людям кислород вредный...» Или заведут в прогулочный дворик после малолеток, у них хорошо с куревом, папа-мама подгоняют, весь дворик заплеван окурками — собирай да суши на батарее, кури, радуйся. А бывает — у кого-то амуры с сестричкой, тогда вся хата с куревом, ждут — не дождутся, когда у него процедуры.

И главный страх — выкинут с больнички, отправят обратно, неделю-другую разнежишься, нахлебаешься молока с мясом, снял напряжение, спишь, читаешь книжки и такой чернотой вспоминается камера, хоть и спец, а если общак... Оттого и мясо другой раз не прожуешь, еще день, еще два — все равно отправят, сколько можно косить, да хотя бы ты был больным — кого это колышет: «Тюрьма не санаторий...» Что говорить, больничка — это больничка, еще бы телевизор, говорят зэки, весь бы срок с места не двинулся!

408-я — лучшая камера на больничке: одноэтажные шконки, не камера, а — *палата*. Это потом разглядишь решетки на окнах, намордники, кормушки, сортир... Потом, не сразу, а сначала, как втолкнут — где это я? Светло, просторно, а глаз уже привык к двухэтажной тесноте, большая камера, два окна, а всего шесть шконок, седьман — кровать с шишечками... И народ солидный, тяжелые статьи, да она и задумана, эта камера, для тяжелых — не статей, больных! Но едва ли главврач решает в больнице, кого куда предложить — предложит, выскажет медицинские соображения, может и положить, скажем, ночью, в экстренных случаях, когда нет поблизости начальства, до утра, а там все в руках у кума, за ним последнее слово. Тяжелый он больной, косит или просто ему надо поменять место по каким-то таинственным кумовским соображениям — тут высшая математика, и не пытайся хоть что-то понять в тюремных перемещениях... Бывает, конечно, забиты камеры на больничке, а с одного, другого корпуса, со сборки, с осужденки ведут и ведут, размякли фельдшера-лепилы, позабыли, где служат, или деваться некуда, болен человек, как бы не крякнул, а с лепилы спросит, не очень строго, но — зачем? Вот и определяют в 408-ю кого ни попадя, всех подряд, кладут на пол, под кровать с шишечками. Не надолго, день-два, и всех раскидают — и опять простор, чистота, отдохновение...

Пятеро лежат на шконках, шестой курит у окна.

— Ты бы, Гена, воздержался,— говорит старик, седая щетина, дышит с трудом,— сели на голодный паек, опухнем без курева.

— Я свои курю,— говорит Гена, здоровый лоб, под коротким серым халатом голые голенастые ноги.— А ты, Михалыч, и с куревом опух, тебе самая пора воздерживаться.

— Вон какой,— говорит старик,— то все было общим, когда было, а теперь, когда нету, у тебя свои оказались?

— Теперь за меня держитесь,— говорит Гена,— всех обеспечу.

— Что-то тебя не слышно было, тихий-тихий, а теперь, выходит, осмелел? — не отстает старик.

— Теперь по-моему будет,— говорит Гена.— Покури, осталось...

Старик жадно затягивается.

— Загадка,— говорит третий, он читал толстую растрепанную книжку, снимает очки, обращается ко всем,— на чем погорел наш морячок? Какие у общества имеются мнения?

— Не моряк он, никакой нет загадки, парашник, много болтал, складно, заслушаешься. Не надо ушами хлопать, не будет загадок,— старик докурил до пальцев, натягивает халат без пуговиц.— И мяса не везут...

— Сегодня будет тебе мясо,— говорит от окна Гена,— как повели на уколы, слышал, один крякнул на сборке.

— Пока еще разделают,— встревает еще один, лежит поверх одеяла в тренировочных брюках «адидас», глядит в потолок.— Сегодня едва ли попал в котлы, не успел.

— Кто попал?..— маленький, лопоухий, встряхивает седым хохолком.— Куда?

— Погоди, Ося, и до тебя дойдет черед,— говорит «адидас»,— толкнем, не опоздаешь.

— Стоп, балаболы,— говорит читатель растрепанной книжки, он опускает ноги со шконки, они у него, как бревна, красные, как у рака, в длинных синих носках,— ни одной темы не способны дотянуть. Неужто не разгадаем их нюю хитрость — ну-ка, пораскинем мозгами? Ему лечения оставалось две недели — курс уколов. Вы как, Дмитрий Иваныч, насчет этого?

Дмитрий Иванович тоже у окна, он белый, ссохшийся, рядом с ним шконка завалена папками, бумагами, он полулежит, оперся локтем о подушку, пишет в амбарной книге, очки на веревочке.

— Интрига,— говорит он,— не иначе у Ольги Васильевны любовное огорчение. Вот вам начало, Андрей Николаич, размышляйте.

— Это уже кое-что,— говорит читатель, Андрей Николаевич,— будем придерживаться гипотезы Дмитрия Иваныча. Красиво, ничего не скажешь, но неужто и на Ольгу Васильевну нашлась управа?

— Кто главней всех в тюрьме? — спрашивает «адидас».

— Известно кто,— говорит Гена,— Петерс.

— Голубые глазки,— говорит «адидас»,— начальник тюрьмы, как Господь Бог — кто его видел? Он такой ерундой не занимается. Майор, главный кум, вот где искать, если охота докопаться.

— Гроссмейстерский ход,— говорит Андрей Николаевич.— Что скажете, Дмитрий Иваныч? Вы у нас старожил, абориген здешних лесов — на чем держится власть Ольги Васильевны?

— На том, что кум ее тянет,— говорит Гена,— и на малолетке знают.

— Верно, голубые глазки,— говорит «адидас».— Что должен сделать майор, чтоб пресечь и восстановить свое мужское достоинство? Убрать обнаглевшего зэка. Что проще, он осужден — на этап его и пошел.

— Так его не на этап,— говорит Гена,— я слышал, рыжий старшина сказал, как уводил,— на корпус.

— Вот она,— интрига! — подхватывает Андрей Николаевич.— Конечно, нам не узнать, какой ход выбрал майор, но с Ольгой Васильевной должны разобраться, не зря каждый из нас ей на процедурах задницу подставляет... Он его не мог отправить на этап, Ольга Васильевна назначила лечение, удар по ней, майор бы не решился, себе дороже, ему с ней... А вот обратно в камеру — на общак, на спец...

— Только на осужденку,— говорит Дмитрий Иванович,— как его отправить на корпус — он осужден? Вот где разгадка, Андрей Николаич, причем не Ольги Васильевны, а майора...

Лязгает кормушка.

— Дорофеев, к врачу!

— Чего?.. Я уже был, у меня больше нет уколов...

Дверь распахивается. Гена побледнел, везет ногами по камере...

— Вот и неожиданность,— говорит Андрей Николаевич.— Так просто сегодня не кончится, еще что-то будет.

— А может, его на выписку,— говорит старик у окна, Михалыч.— Я не пойму, чего они его держат — здоров как бык.

— Его не выпишут,— говорит Андрей Николаевич,— скорей нас с тобой, хотя мы дальше сортира не дойдем. Этот тут крепко.

— Ольге Васильевне замена,— говорит «адидас»,— парень в соку.

— Не-ет,— тянет Андрей Николаевич,— ты, Шурик, плохо волокешь в женщине. Ольге Васильевне орел нужен. Уж если она решилась против майора... Нет, наш морячок был в самую точку.

— Не простой малый,— говорит Дмитрий Иванович,— я тут шесть лет, много кого повидал, морячок, пожалуй, из самых крупных.

— Интересно,— говорит Андрей Николаевич,— что все-таки в нем? Видный парень, умница, хитрый, битый — все так, но еще что-то, что нам, мужикам, не видать, а женщина сразу сечет...

— Когда без штанов, сразу видно,— говорит старик.

— Примитивно, Михалыч,— говорит Андрей Николаевич,— не для такой дамы, как Ольга Васильевна, этим наших барышень удивишь из хозобслуги. Нет, Ольге Васильевне полет нужен.

— Они тут полетали,— говорит «адидас»,— я однажды видел, как он ночью вернулся — ночная процедура. Еле тащил ножки.

— Вас всех на пошлость тянет,— говорит Андрей Николаевич,— вы бы лучше вспомнили, как он рассказывал?.. Кто из нас его не слушал? С каждым по-своему. А как Генке отрезал — тот две недели рта не раскрыл! Тут другое, это птица большого полета.

— Он кому-то и сядет на хвост, если его в камеру,— говорит «адидас»,— не позавидуешь.

— Ничего, выясним... Хотя зачем? — размышляет вслух Андрей Николаевич.— Но мало ли что, кого-то предупредить... Нет, пока сам не научится — не научишь, надо мордой об это самое...Так ли, нет, но... скучно без него, а, Дмитрий Иваныч? Такая сила в человеке, пусть дурная, скверная, все равно привлекательная, а ведь я не женщина?

— Мне скучать некогда,— говорит Дмитрий Иванович.

— Понятно,— соглашается Андрей Николаевич.— Хотя знаете, Дмитрий Иваныч, никто в вашу вышку не верит, не было б вас с нами на больничке — разве с таким приговором поместит?

— Это не приговор,— говорит Дмитрий Иванович,— запрос прокурора. Нелепость. Беззаконие. Я выйду из тюрьмы. Своими ногами. Докажу. Кой-кому не поздоровится,— он смотрит на папки на пустой шконке, такая печаль-тоска в глазах...

Слышно, как в замок вставляют ключ, скрежещет...

— Быстро разобрались,— говорит «адидас»,— Михалыч прав, выпишут несостоявшегося орла, голубые глазки...

Все глядят на дверь. Она распахивается...

5

Он шагнул через порог, дверь сзади грохнула... Стоит на подрагивающих ногах в рваных, на два номера больше, грязных ботинках, в желтоватых подштанниках с болтающимися завязками, в коротком, пахнущем карболкой халате без пуговиц; в руках матрас, простыни, подушка. Смотрит на *палату:* светло, чисто, с железных коек глядят на него спокойные, умытые...

— Здравствуйте,— говорит он, голос срывается.

— Здравия желаем, больной,— отвечает один, сидит на койке, расставил толстые, омерзительно красные ноги.

— Чего встал? — говорит от окна давно не бритый старик с опухшим, синим лицом.— Проходи. Не прогонят, обед, ужин твой, а там видно будет.

— Ты откуда? — спрашивает красные ноги.

— Я?..

Откуда он? Он и сам не знает — откуда.

— Я... из бани.

— Во как! — смеется красные ноги.— Ты не за пивом ли забежал?.. Прокофий Михалыч, не твой клиент? Познакомься, Прокофий Михайлович, директор главных московских бань — не встречал?

— Как же ты — из бани и сюда? Прихватило? — спрашивает третий, помоложе, вид приличный, в спортивном костюме.

— Сознание потерял,— говорит он,— не помню, что дальше.

— Дмитрий Иваныч,— говорит старик от окна,— придется убрать библиотеку — новый пассажир.

Ноги не слушаются, он с трудом переставляет их, подходит к столу, опускается на лавку.

— Испугался? — спрашивает красные ноги, глаза у него веселые, внимательные, словно бы участливые...

Нет, никому он больше не верит!

— Оставьте его, Андрей Николаич,— сухонький старичок легко поднимается с койки, ловко-привычно собирает папки, бумаги, громоздит на подоконнике.— Располагайтесь.

— Да, Михалыч,— говорит тот, что помоложе, в спортивном костюме,— пролетел ты с мясом, ожил покойник. Так это ты, говорят, крякнул на сборке?

— Как... крякнул? — спрашивает он.

— Желтенький,— констатирует тот, что помоложе,— как еще оклемался, мог врезать дуба, если все в новинку.

— Сто семьдесят третья? — спрашивает красные ноги.

— Сто семьдесят третья,— подтверждает он.

— Нашего полку прибыло, можем продолжать конференцию. Ты четвертый. Одного сегодня убрали... Устраивайся. Ося! — кричит красные ноги,— помоги человеку!

Тот, что лежит рядом с пустой койкой, вскакивает, прыгает седая прядь над большими красными ушами.

— Куда?.. Вызывают?..

— Глухой,— кивает красные ноги,— надо кричать в ухо. Милейший человек, повезло тебе с соседом. Да и вообще, считай, повезло, отсюда хорошо узнавать тюрьму: все видно, а вроде не тут. Подготовительный класс, чистилище. Не робей. Или виду не показывай. Здесь таких не любят. Не понимают.

Плохо соображая, он стелет на пустой койке, не только ноги и руки дрожат, не слушаются. Ложится поверх одеяла. Голова плывет.

— Ты с перепугу или, правда, сердце? — слышит за спиной того же, красные ноги.

— Не знаю,— говорит он,— пустили горячую воду, пар, упал на пол и... Ничего не помню.

— Они разберутся,— говорит все тот же,— ты бы намекнул, подсказал, соображать надо. Сколько лет?

— Сорок,— говорит он.

— Болел, небось?

— Было,— говорит он.

— Самое милое дело,— продолжает красные ноги,— если б у тебя давление, это они понимают и оставляют тут. Хотя бы дней на десять. Или язва, тоже хорошее дело, хотя у них рентген, могут поймать. Недели две продержаться, собрался бы с духом.

— Андрей Николаевич, вы верите, что у Бедарева была сто семьдесят третья? — спрашивает тот, что помоложе.

— Бедарев?..— вспоминает он,— где-то слышал эту фамилию...

— Может быть, он уверенно рассказывал, складно...

— То-то, что уверенно. И слишком складно. Нет, не похож.

— Мало ли кто на что похож,— говорит красные ноги.— Я, к примеру, похож на зав. сапожным объединением? Никто б не догадался. А почему? У меня другие интересы. А это для социальной принадлежности. Чтоб не вязались. Вписаться.

— Крепко вы вписались. И главное, надолго.

— Эх, Шура, знал бы ты мою жизнь!.. За мной она по пятам ходила, тюрьма, а я мимо, мимо. С детства. У нас во дворе, на Самотеке, каждый второй — или вернулся, или увели. Все дружки-приятели, кореша. А как возвращались — ко мне! Я тут не был, а все знаю в доскональности.

— В доскональности и знаю,— говорит Дмитрий Иваныч.— Едва ли есть камера, в которой я не был, и едва ли есть кто, кого б н... Я имею в виду — из администрации.

— Что ж вы отмалчивались, когда мы ломали голову над нашим морячком — вам карты в руки?

— Посидите с мое, научитесь молчать.

— Да, молчать не умею... Научат, всему научат... Послушай, баня, давай знакомиться, как тебя по имени-отчеству?

— Георгий Владимирович,— он бессмысленно глядит в потолок.

— Жора, значит. Это хорошо. Я, как уже говорилось, Андрей Николаевич, любитель поговорить и послушать...

Он переворачивается на живот, смотрит на говорящего.

— Этот спортсмен — Шура, близкий тебе по возрасту, а может, и по интересам. Прокофий Михайлович, у которого ты неоднократно бывал в гостях, в бане. Твой сосед Ося, с ним тебе, как уже сказано, крупно повезло — храпи, разговаривай, никаких претензий. И наш старейшина — Дмитрий Иваныч Баранов, шесть лет несет, так сказать, вахту в этих морях-океанах, на этих высоких широтах...

— Как шесть лет? Так это... он? Я слышал на сборке, думал... быть того не может...

— Дмитрий Иваныч, вон как приходит слава! Молодой человек не успел заглянуть в тюрьму, а про ваши подвиги ему известно!

Гремит дверь, он переворачивается на спину. Кто-то вошел.

— Уже привели? — молодой голос, напористый.

— Что там, Гена, почему задержка с мясом? — спрашивает старик.

— Пролетели вы с Геной,— говорит Шура,— мясо на своих ногах пожаловало.

Здоровенный малый в халате с длинными голыми ногами садится в ногах койки, смотрит на него.

— Ты и есть Тихомиров? — спрашивает он.

— Я...— он приподнимается на локте.

— Что ж ты комедию ломал, мертвяка косил — и в бане, и тут?

Он спускает ноги, садится на койке.

— А почему... вы решили...— начинает он.

— Я решил! За тебя решат, тебя тут так раскрутят!..

Он беспомощно оглядывается, шестеро глядят на него...

— Все рассказывай,— говорит вновь пришедший,— до конца, тогда поглядим, что с тобой...

— Ты, Гена, по чьей наводке базаришь? — спрашивает Андрей Николаевич.

— Я?.. По наводке? Да я тебя...

— Цыц,— говорит Андрей Николаевич, и берет костыль, он рядом с его койкой,— я тебя счас приделаю, паскуда... Чтоб не слышно было, понял?..

...Он ничего не был способен понять, не слышал, чем закончилась перепалка. Впрочем, ничего не произошло: Генка поиграл желваками на побелевшем лице и отошел.

Принесли обед, шестеро сидели за столом, Андрей Николаевич на своей койке, так и ел, не вставая.

Ему подвинули миску, кто-то шлепнул в щи кусок мяса; Дмитрий Иванович дал ложку, сам ел деревянной... Нет, он не мог есть, проглотил несколько ложек, пожевал мясо. От каши отказался.

— Не могу,— сказал он.

— Зря,—сказал Андрей Николаевич,— выкинут, пожалеешь.

Генка сидел с краю, мрачно молчал, ни на кого не глядел.

После обеда Ося сгреб миски, потащил мыть. Умывальник рядом с сортиром, вроде, и вода горячая.

Выкинут, прямо сейчас выкинут,— стучало у него в голове, а перед глазами кружилась последняя камера, из которой их повели в баню: черные ледяные шконки, грязный пар из разбитого окна, в него прыгает крыса...

Его затрясло, когда распахнулась дверь:

— Дорофеев — выходи!

Генка выскочил за дверь.

— Вот вам и ясность,— сказал Андрей Николаевич.

— Грубовато,— сказал Шура,— и не скрывают.

— С кадрами у них плохо,— сказал Андрей Николаевич,— если такое дерьмо идет в дело. Спешка. Что-то происходит...

— Ты, Жора, соберись,— сказал Шура,— они его точно под тебя готовят. Считай, и тут повезло — с таким дураком они каши не сварят. Сразу выкупается. Зачем он заорал? Эх, дурак...

— Жалко и его костылем не достал,— сказал Андрей Николаевич.

— Ему показать достаточно,— сказал Прокофий Михайлович.

— Чего ж они от тебя хотят, а, Жора? — Андрей Николаевич вытащил кисет, сыплет табачок на клочок газеты.— Тебя из бани куда притащили?

— В какую-то палату... Не понял. Койка, стол...

— А кто там был? — Андрей Николаевич глядит на него.

— Майор и... Бедарев, что ли? Так он его назвал.

— Вон как! — Андрей Николаевич зажег было спичку и забыл про нее.— Они при тебе разговаривали?

— Нет,— говорит он.— То есть, при мне, но я не слышал, очнулся, стал соображать, когда кто-то вошел, сестра, что ли? Высокая блондинка. Я не разглядел. У них конфликт с майором, ругались. Потом много набежало. А Бедарева увели, не видел. Майор крикнул старшину — и тот его увел.

— Понятно, Дмитрий Иваныч? — Андрей Николаевич уже курит.— Все в масть! Теперь им надо понять — слышал он чего или нет? Ай-яй-яй, такой прокол и для майора!.. А ты не будь лохом, не шутки, все забудь, и что нам сказал — забудь. Не слышал и все. Ничего не слышал. А то они от тебя не отстанут.

— Н-да,— Дмитрий Иванович отложил амбарную книгу, в которой писал, смотрит поверх очков,— кабы кто другой, не сам майор, пришлось бы принимать оргвыводы, а ему кто укажет? Замкнут.

— К нему это не имеет отношения, к Жоре,— говорит Андрей Николаевич,— случайность, накладка: притащили покойника, а он ожил. С Бедаревым игра.

— А ты один, Жора, или у тебя подельник? — спрашивает Шура.

Он вздрагивает, смотрит на него со страхом.

— Да ты не бойся, нас тебе нечего бояться! Мы хотим понять, во что ты влетел,— это Андрей Николаевич.

— Один,— говорит он.— То есть еще... одна. На Бутырке.

— Баба вложила,— говорит Андрей Николаевич.— Как же ты до сорока дожил и ничего не сечешь? В институте преподавал?

— В институте,— говорит он.— Я не могу понять, как это может быть?.. Сборка и... Не где-то там — в Москве.

— Где-то там — это где? В черной Африке, на Гаити? Чему ты студентов учил? Тебя гнать надо было из института!

— Не горячись, Андрей Николаич,— это Дмитрий Иванович.

— Зла не хватает!..— Андрей Николаевич поочередно закидывает багровые ноги на шконку.— Живет, понимаешь, чистенький, переходит из класса в класс, из десятого в институт, начинает сам учить уму-разуму... Небось, отличник был?

— Нет,— говорит,— не всегда.

— И тут ума не хватило... Что ж ты людей не видел, неужто у тебя никто не сидел?

— Нет,— говорит он,— не сидел.

— Ладно, не отец, не мать, не дядя-тетя, но из дружков-то, со двора, да в любой деревне каждый второй — или сидел, или вчера вернулся, а кто вернулся, завтра сядет. С луны свалился?

— Я в деревне не жил, я в Москве родился.

— Удивил! А мы, по-твоему — тамбовские?

— Что вы к нему пристали, Андрей Николаич?..— Дмитрий Иванович берется за амбарную книгу.

А потому, что глядеть стыдно! Здоровый мужик, в расцвете... Как ты в камеру входишь, чего ты боишься? Ничего у тебя не болит, нас не обманешь, да где тебе обмануть... Да я не видал таких лохов! И влетел, как фраер, можешь не рассказывать, видно. В институт принимал вместе с бабой, с той же кафедры, ясное дело, лаборантка-длинные ножки... Не поделили — да не деньги, кабы деньги, ладно, это дело серьезное, всяк за себя, а тут она кому-то подмахнула или сам схватил студенточку за эту самую — вот и трагедия! Она жене стукнула, та в партком, скандал на людях, услыхали — понесли... Все в наличности, и правильно, получите десятку каждый... Да не о том я хлопочу, чтоб за прием не брать, думаешь, взятки испугался или мне мораль не позволяет? Кто умеет — пусть берет, а у кого есть — пусть платят. Я о том, что такому, как ты, одна была возможность хоть что-то узнать, на сборке оказаться, понюхать, что она такое — да не на Гаити, у себя под носом! Как еще такого научишь?

Так закон существует? — говорит он.— Разве можно с людьми как со... скотом...

— Закон, говоришь?..— у Андрея Николаевича лицо становится багровым, как его ноги.— Ты где в Москве жил?

— На Лесной,— говорит он,— я и родился там.

— Вон где. Всю жизнь, выходит, с мальчишек ходил мимо тюрьмы, а как везли и везли — не видел? Для таких, как ты, и жилой дом поставили, магазин — закрыли, а тебе — не надо! Да с Лесной она вся на глазах — Бутырка, и новый корпус, где твоя краля тебя поминает!.. Что ты за человек после этого?

— Так ведь и различать надо,— говорит он.— Мы с вами, скажем, ну... совершили ошибку, что ж нас в общую кучу...

— Ты о двух ли головах, молодой человек?! «Нас с вами...» А Шуру с Генкой куда определишь? Ты знаешь, какая у Шуры статья — вот он перед тобой? Чем он тебя хуже?

— Перестаньте, Андрей Николаич,— говорит Шура,— охота вам нервы мотать, такому не объяснишь, пока здесь не научат.

Но Андрея Николаевича уже не остановить.

— Вон ты какой! — кричит он.— А я предупреждаю, соломку стелю!.. Ты взятки брал, а Шура жену уходил, жива на его счастье — ты хороший, он плохой? Ты с бабой не разобрался, а Генка старика искалечил — так он, думаешь, потому мразь, что искалечил? Он потому искалечил, что мразь,— не сечешь разницу? А среди тех, у кого галстучки, костюмчики, чистая анкета,— среди них? По-твоему, тот человек, кто с дипломом, в «Жигулях» с женой в Ригу, а с бабой в Сочи, кто курит «Мальборо» и участвует в круизах, а кто с малолетки с зоны на зону, мохом оброс, пальцем сморкается, бабу годами не нюхал, не ноги у нее видит, а чтоб она ему щи сварила да портки сняла — плохой он, в кучу его, в общую, так ему и надо! Загородили Бутырку магазином, чтоб вид не портила, травите их, как тараканов, они нам, коммунистам, запахом не подходят, смрад от них, а мы в партийный билет пять стольников со студента за прием и в ресторан с такой же лярвой, лишь бы чистенькая и в джинсах... Ничего, научат тебя, как попадешь на общак, там такие, как ты, с верхних шконок не слазят, там вас сразу раскручивают, и кум не поможет, хотя бы ты с поверки до поверки ему стучал...

— Андрей Николаич, да ты что?..— Дмитрий Иванович давно отложил амбарную книгу.— Горячитесь. Мораль существует или нет? Закон написан? Пусть и тут шесть лет, седьмой, пусть прокурор грозит вышкой — я не виновен, и я докажу, выйду, а те, кто...

— Не виновен?..— Андрей Николаевич приподнимается на шконке, ноги сваливаются на пол багровыми бревнами.— Это ты, старый пес, генеральный директор, коммунист, на которого миллион повесили — из того миллиона тысяч двести не хапнул? Ты шесть лет доказываешь, что они с нулями ошиблись, оговорили — вон сколько написал, никто читать не хочет! — а что на те нули себе построил и что у тебя с тех нулей осталось? Да как бы ты столько лет начальником удержался, кабы не хапал да с кем надо не делился, как бы в Мексику ездил, в Бразилию — сам рассказывал! Шестьдесят лет тюрьмы трещали, а тебе надо было?..

— Вы, Андрей Николаич, что-то... несообразное говорите...

— Несообразное?.. Да, я вор, знаю, что вор. И следователь знает, а я ему буду шесть лет голову морочить — так я от того чистым стану? Кабы я в Бога верил, да я б решетку целовал за то, что увидел! Думаешь, легко мне было всю жизнь воровать, а меня не берут, больно ловок... Мать хоронил, отпевал в церкви — да кто ж я такой, думаю? А тут... а тут...

Шура кидается к двери, жмет на кнопку звонка; Андрей Николаевич хрипит, заваливается головой. Сползает...

Дверь распахивается: вертухаи, белые халаты...

— Тихомиров!.. Выходи!..

6

В конце длинного коридора открытая дверь, вертухай кивает...

Он везет ботинками, в глазах туман...

Окно без решеток!.. Есть, есть решетка, без намордника, потому сразу не заметил: светло, снег лепит, и кажется...

Письменные столы один против другого... Она! Возвышается над столом, волосы желтой короной, лицо румяное, свежее, большие глаза сощурены на него, подперла подбородок, сверкает лак на пальцах, кольца...

— Проходите сюда, садитесь...

Он вздрагивает, поворачивается — за другим столом серая мышка.

— Тихомиров, Георгий Владимирович...— мышка близоруко наклоняется над бумагами, застиранный халат подвернут на морщинистых ручках...

— Что с вами случилось, Тихомиров?

— Н-не знаю, говорит он,— потерял сознание, не помню.

— С вами такое бывало?

— Н-нет... Бывало! — спохватывается он.— Сердце...

— Что сердце? Что у вас с сердцем?

— Болит,— говорит он.— Колет. Печет. Валидол не снимает.

— В больнице лежали?

— Н-нет, но врач говорил, что...

— Снимите рубашку.

Он сбрасывает халат, стягивает рубашку, халат падает со стула на пол, он поднимает...

— Не торопитесь... Руку на стол, посмотрим давление...

Глаза у нее неожиданно мягкие, внимательные... Помоги, помоги!..— дрожит в нем.

— Сорок лет,— говорит мышка безо всякого выражения,— а давление, как у двадцатилетнего... Встаньте, я вас послушаю... Так, так... Повернитесь спиной...

Теперь он стоит против *нее*, рука с кольцами под подбородком, глаза сощурены... Духи! Перед глазами замелькало...

— У вас всегда так частит? Тахикардия...

— Да...— говорит он.— Не знаю. Когда перегрузки...

— Одевайтесь... На что еще жалуетесь?

— У меня... геморрой,— говорит он,— кровь, не могу...

— Покажите.

Руки дрожат, не справляются с завязками...

Жарко...

Она не шевелится, те же глаза — да видел, видел он уже *такие* глаза!

— Хорошо,— говорит мышка,— я вам назначу уколы. Сердечное. Надо будет кардиограмму... Завтра...

Завтра!..

— Вы свечи употребляете?

— Д-да.

— Получите свечи... Дежурная!

— Я сама ему... сделаю,— говорит *она*...

— Да?..

В дверь заглядывает молоденькая в белом халате.

— Не нужно, Леночка, Ольга Васильевна сама сделает укол.

Вот оно, понимает он.

Она лениво встает — высокая, гибкая, белый халат на ней, как перчатка, сверкает... Она входит в дверь. Он оглядывается на мышку.

— Все,— говорит мышка и смотрит на него: «С сочувствием, с жалостью?..» — Идите. Сейчас вам сделают укол.

— Вы еще... посмотрите меня? — спрашивает он.

— Посмотрю. Сделаем кардиограмму, а там... Да вы успокойтесь, это бывает, все еще может обернуться...

— Где он там?! — *она*.

Что может обернуться, *чем* может...— думает он.

Напротив еще одна раскрытая дверь: большая комната, два окна без намордников, снег лепит и лепит...

— Дверь закрой!

Она бросает шприц, брякает о железо. Берет другой.

— Спусти штаны.

Он шагает к кушетке.

— Ты куда, привык?.. У нас с тобой будет другая игра, не захочешь. Или ты что слышал?

— Я ничего, *ничего* не слышал,— говорит он.

— Ни-че-го?.. Стань к окну. Не бойся, и не таких видала.

Без новокаина...— мелькает у него.

— Не нравится?.. Разборчив. А говорят, у меня рука легкая.

— Ле-легкая,— с трудом говорит он.

— Что-то ты легко соглашаешься. Ты всегда такой?.. Одевайся, я на тебя наглядελась...

Подрагивающими руками он завязывает подштанники, а она стоит перед ним, рука в кольцах держит шприц, как нож, глаза раскрыты — большие, яркие, и вся она, как сверкающая белая...

— ...Если ты сболтнешь в камере хоть слово из того, что услышал...— голос грудной, прокуренный и те же духи обволакивают его.— Я тебя поняла, я тебя еще там поняла, под простыней... Если ты скажешь хоть слово... Тебе зона курортом покажется, а ты ее еще не скоро увидишь. Сообразил, голубчик?.. И не бледней, со мной такие номера не проходят. Шагай.

7

Черный свод неба, твердь с подмигивающими мне звездами, сочный хруст травы, фырканье перебирающей спутанными ногами лошади, костер догорает, вылавливаю в золе обуглившуюся картошку, пахнет дымом, цветами, с реки потянуло свежим ветром, все у́же, у́же алая полоса заката... Было, не приснилось? А разве может присниться чего не было? Если кто-то рассказал, где-то прочел... И фырканье, и хруст, и запах дыма, и далеко-далеко алая полоса... Разве об этом расскажешь, прочтешь? Было! Неужто было? Когда, в какой жизни?.. И я вспоминаю о себе с удивлением, с недоумением, с любопытством... Белые раскаленные изразцы, улыбающиеся нежные мамины глаза, тяжелые отцовы руки, сестренку — смешную, розовую куклу, щебечущую в корыте, в мыльной пене... Какая длинная, путаная жизнь... Почему длинная — потому что путаная? Или потому путаная, что... Одна любовь — первая, вторая любовь — вторая и другая, следующая, не страсть, а горечь, не радость, а боль... Чья горечь, чья боль? Моя бы, ладно, не моя, чужая... *Чужая?* Может быть боль чужой, горечь — не своя, за другого?.. Только когда поймешь свою вину в чужой боли, свой грех в горечи другого... У меня радость — а там боль, у меня счастливая нежность — а там оскомина... Кто был соблазном, что стало соблазном, ввело в соблазн? Жена, которую Ты мне дал, сказал Адам. Первое предательство человека, первая измена Богу, совести, слом всего естества — нельзя миру без соблазна, сказано нам, но горе тому, через кого...

Я забрался в матрасовку, одеяло на голову, я пытаюсь уйти, исчезнуть из этого мира, который теперь моя новая жизнь. Единственная моя жизнь, потому что другой у меня нет и не было. Не было?.. Я твержу себе об этом все дни, начиная с первого, все ночи, когда не сплю, все эти месяцы... Месяцы? Да, уже два месяца я здесь. Неужто так долго? Долго? Два месяца это много? И я вспоминаю два месяца моей прежней жизни, любые, радостные или горькие, пустые, забитые, заполненные через край... Какой пустяк, они пролетели — и нет их. Почему же сейчас не оставляет ощущение, что вся моя жизнь уместилась, сошлась, расположилась в этих днях, неделях — в эти два месяца? Не было у меня другой жизни и меня не было. Я спал, а потом, два месяца назад проснулся для того, чтобы жить.

Какая странная мысль, думаю я, вытянув ноги в матрасовке, ворочаюсь — не улежишь! — сквозь худенький матрас, первую неделю зашивал и зашивал, запихивал, разравнивал вату, ребра пересчитывают железные полосы шконки. Горячие изразцы, мама, сестренка в корыте, отцовы руки, фырканье лошади, алая полоса заката — все это было сном, а все, что тут... Странная мысль, думаю я, добрая, верная мысль, спасительная. У меня ничего нет — и я свободен, у меня то, это, радость, беда, обиды, долги, грех — и я повязан, запутан, меня задушит — и я не выберусь. Разве я могу хоть чем-то помочь, отдать, что должен, зачем думать, разматывать, травить себя... Значит, нет долгов, нет греха: забыл, затер, отказался — и свободен?..

Я пытаюсь начать с другого конца, понять, откуда оно идет ко мне, всплывает, пролезает в щели, а я затыкал и затыкал их... Алая полоса заката, думаю я. Только что, перед ужином — блеснул луч сквозь решку, проскочил реснички, вспыхнул на куске стекла, которым Андрюха вытачивал мне крестик, и я... Луч, алая полоса, свод неба, а в нем подмигивающие мне звезды... Что ж, не было луча вчера, третьего дня? Был, а нашла тучка, один миг, чтоб так сошлось — луч, нет тучки, Андрюха, кусок стекла — все в тот самый миг. А если б не было, не сошлось?

Вчера было, думаю я. Дверь камеры изнутри обита корявым железом, скреплена болтами, шесть болтов в ряд, шесть рядов по всей поверхности двери. Почему именно болты вызывают во мне ярость? Тупые, вбитые, вмятые в черно-коричневое пористое железо, наглая, самодовольная геометрия, гляжу на болты, на дверь с закрытой кормушкой, не могу сдержаться — с размаху ногой, железо ухает. «Силен,— сказал Вася,— давай еще раз. Один, базарили, вышиб ногой с косяком, но он дурака косил или, правда, крыша текла, здоровый бугай...» Опоминаюсь, стыдно — болты виноваты! «Береги здоровье, Серый,— сказал Боря,— поговорил бы лучше с рабочим классом...». И я сник, что-то для меня в его голосе, целую жизнь прожили рядом. «Мы с тобой кентами будем»,— сказал он мне на третий день, укладывались спать, я рядом на шконке, через проход, спортсмен Миша ушел на суд: «Вернется, пусть наверх лезет, а не нравится, ты ему у параши освободил, перебьется...» То на третий день, а еще через месяц таким стал кентом... «Забудешь,— сказал он мне как-то, а я рта не закрывал, очень мне было хорошо,— столько людей повстречаешь, через такое тебя прокатят, я по себе знаю.— Нет,— сказал я ему,— первая камера, как первая любовь...» И вот вчера, после моего единоборства с дверью...

«Поговорил бы, Серый, с рабочим классом...» Лежим на шконках, отужинали, радио бурлит, отошла поверка, скоро подогрев — и в матрасовку, еще неделя пролетела, завтра баня... «Ты уж не спать ли собрался? — спросил Боря, читает меня, как раскрытую книгу.— Как это у тебя получается, я вчера на тебе выиграл пять сигарет,

до двадцати посчитал — и ты отключился, захрапел, а шпана на сорок-пятьдесят ставила...» — «Косишь таблетки, Серый?» — Это Васе мои таблетки не дают покоя, он теперь на моей шконке через проход с Борей, а я у самого окна, на месте чернявого, Коли. «Королевское место,— сказал Боря, когда чернявого вытащили из камеры — это другая история, мне о ней еще думать.— Перебирайся, тебе тут хорошо будет».— «А сам почему не хочешь?» — я удивился. «Привык, да ладно, о чем разговор...» Вот и вышло, что мы бок о бок, локтями, спинами, нос к носу. «Тогда покурим, если пять сигарет,— сказал я, у нас перед ларьком сурово стало с куревом,— ты бы предупредил, что на меня ставишь, вместе будем играть, вдвоем мы и Зиновия Львовича обштопаем».— «Нет, верно,— не отставал Боря,— как у тебя получается, а еще, говоришь, помолиться успеваешь?» — «У меня простая молитва»,— «Может, от нее, от молитвы?» А мне он вдруг надоел, кент, как родственник, я уже привык, считал — так и должно быть, начал распускаться. «Совесть чистая,— сказал я,— потому и сплю». Тихо стало в камере, даже Гриша с Андрюхой, только что шумевшие о чем-то, замолкли. «Вон как,— сказал Боря.— Кучеряво зажил, не сорвись. Может, и верно, но лучше б тебе помолчать».— «Да я пошутил»,— испугался я. «В каждой шутке,— сказал Боря,— есть... А если всерьез?» — «А всерьез, нет меж нами разницы».— «Это как понять?» — спросил Боря. «В Евангелии апостол Иаков говорит, если ты не убил, но прелюбодействовал, ты все равно преступник закона. А потому...» — «Так и сказал? — Боря перевернулся и уставился на меня.— Или ты опять шутишь?» — «Какие шутки в Евангелии — сказал я.— Тебя следователь прессует, прокурор, судья — это закон человеческий, сегодня он такой, завтра другой, сегодня пять лет, завтра за то же самое отрубят голову. Ты хитришь, они давят — кто кого. А тут закон абсолютный, он неизменен, он в нас самих, записан в сердце, он в тебе, когда ты о нем ничего не знаешь. Какая между нами разница — ты убил, а я... солгал, скажем. Это разница для прокурора, для него солгать, как два пальца... и в УК не обозначено — лги, не соврешь — не проживешь. У тебя другой Суд, Страшный...». Тихо было в камере, понял, все слушали, только Зиновий Львович, никогда не ложившийся ночью, досыпал свое. «А он будет, Суд?» — спросил Боря. «Он уже идет,— сказал я,— то, что с нами сейчас, разве не Суд?» — «Нет,— сказал Боря,— это цветочки, хотя у кого как...» — «У кого как, верно,— сказал я,— но лучше, если тут, там страшней... Понимаешь, ты все равно преступник закона, я все равно преступник закона, и не нам судить, чье преступление больше — перед Богом, не перед прокурором. Какая у меня может быть чистая совесть, шутка и не лучшего разбора, прости меня за нее».— «Силен,— сказал Андрюха,— так все верующие считают или ты один такой?» — «Только так,— сказал я,— иначе и быть не может. Ты пойми,— я обращался к Боре, мне было неловко, что сорвался,— прокурор лепит тебе срок, ему УК позволяет, определил точно, а что Господь нам назначит, мы не знаем, но нам сказано — нет разницы. Если ты не убил, но пожелал кому смерти — ты убийца, мысль выброшена в мир, улетела, во что она отольется, в ком и как откликнется, пусть не в тебе, в другом осуществится, реализуется, но она твоя, ты ее родил. А потому мы все и за другого виноваты. Для проку́рора и разговора нет, гуляй, думай, что хочешь, а ты пропал. Если не покаешься. А кто не пожелал кому смерти или еще чего, а кто не украл — в карман не залез, а бревно из леса унес, чужое бревно, не твое...» — «Ты серьезно так думаешь?» — спросил Боря. «Серьезно,— сказал я,— не я придумал, так оно есть... Для меня не цветочки. На поле времени не было про это думать, а тут...»

Вот о чем был вчера разговор — школьная тема, и повторять себе совестно, но ведь не за столом с книжными людьми, все про это прочитавшими и заговорившими так, что уже и боли нет, трагедии нет, остренькое умозрение... В камере был разговор. Вот отчего я плыву сейчас в своей матрасовке, считаю ребрами железные полосы шконки. Считаю, а понять не могу — есть у меня право отказаться от прежней жизни, забыть о ней и начать сначала? У меня ничего нет, и я свободен. Что ж, и долгов нет, греха нет, преступления — нет? Чистая совесть, а потому мне хорошо, только болты, вбитые, вмятые в железную дверь, только они мешают, и я сплю, а надо мной всю ночь в ярком свете плывет черный мат, сокамерники оглушают себя, чтоб не думать, не вспоминать, забить бранью грохочущий в них ужас? Каждый за себя, думаю я, вот и корпусной крикнул Боре: «Адвокаты!..» И перед Богом каждый за себя? А что я могу сказать Ему о другом, если о себе еще ничего не знаю, не понял,— но просить я могу, но молиться... Господи, шепчу я в своей матрасовке, просвети их Светом Разума Своего, Ты подарил мне — за что, ради немощи моей, чтоб научить, за мое покаяние? — новую жизнь, вырвал меня — навсегда! Зачем мне думать о тех, кого я оставил, я оставил их Тебе, Ты и только Ты решишь, что будет с ними. А моя беда, моя боль, мой грех? Тащить их всю жизнь, пока они меня не раздавят? Но разве Он пришел к нам, ко мне не затем, чтоб спасти?.. Я и здесь по Его воле... Различайте духов, думаю я, а как различать, только по плодам: стоит мне скользнуть, тропа накатана, один неверный шаг, а кто-то толкает, предлагает, подсказывает, один шаг, второй — и я... вижу, ощущаю, вспоминаю... Господи, чем только не переполнена, не забита моя жизнь, я могу кружиться в ней бесконечно, рассматривая, отбирая, а оно все быстрей, быстрей, уже не различишь,

а оно все ярче, ярче, глаза закрыл — не спрячешься, оно уже вихрь, голова кружится, ярче, жарче... Так будет в вечности, думаю я. Костер, запах травы, звезды, нежность, страсть, то, что не успел, а мог, то, что успел, а зачем оно мне — и я пропадаю, я пропал... «Будь великодушным, Вадя, сказала она, а глаз ее мне не забыть,— ты знаешь, я не могу и не смогу отказать тебе, но будь великодушным...» А был я хоть когда-то великодушным? В тот раз был, а в другой, а с кем-то еще?.. Будь великодушным!

Я отбрасываю одеяло и вылезаю из матрасовки.

— Что-то будет,— говорит Боря,— бессонница у Серого.

— Сглазили,— говорю.— Или таблетки кончились. Или я протяв тебя играю, Боря. Кто угостит сигаретой?

— Кури,— предлагает Пахом, недавно появился, Боря на него рыкнул раз-другой, а мне он сразу понравился и вошел хорошо: «Здравствуйте, будем знакомы, зовут Пахом, имя редкое...»

— Ишь ты, под меня копаешь? — не упустил Боря.— Давай сыграем на твою сигарету.

— Я тебе и так оставлю,— говорю.— Покурим. И сыграем...

Королевская игра — «мандавошка», поразительно бессмысленна, чистое везение, а время убиваешь — что еще в тюрьме надо? Две-три хитрости, я их на второй день понял, и только потом дошло — это и есть знаменитый «трик-трак», упрощенный тюремным примитивом: цветными шариками расчерчивается лист бумаги, картона или газета побольше, клею в камере достаточно, чуть не каждый день трут клей из хлеба, он, как нарочно, для поделок — глина; и фишки из хлеба — лепи любой формы; и зарики делают в камере: жгут целлофан, нарезают кубики — черные, блестят, раскрашивают зубным порошком — фирменные кости из магазина «Сувениры»! Серьезные люди брезгуют «мандавошкой» — пустая игра, а Боря любит, я долго не мог понять — почему, что для него? Шахматы, покер доминошный, домино, но «козлом» не назови проигравшего, смертельное оскорбление, убить могут. Только карт не было у нас в камере, сурово сейчас в тюрьме за карты, не каждый решится. А как увлечены — спорят, горячатся, всю ночь игра — и никакого «интереса». Какой «интерес» — едим вместе, курим вместе, больше для разговора, для подначки. Рассказывали, и в этой камере *играли*, раздевали друг друга, всякое было, уже при мне Гриша проиграл в покер тысячу приседаний, присел триста раз — и вырубился. А в тюрьме положено долг отдавать... «Все,— сказал Боря,— больше такого не будет».

Боря играл только в «мандавошку», просто так. Меня поразило, *как* он играет. Я начал шутя, мне было скучно, только для него, но он так по-детски радовался, так совсем не по-детски злорадно издевался над проигравшим, что меня стало задевать, потом завело, наконец, я обозлился и, поняв примитивную механику игры, выиграл две-три партии подряд. Боря замолчал, побледнел, а когда в четвертый раз, в почти выигранной партии, неудачно бросил — и проиграл, с ним что-то случилось: стал он серым, глаза нехорошие, шваркнул карту на пол, раздавил зарик ногой... «Ты что, Боря? — я был изумлен.— Тебе нельзя играть...» — «Я... тебя...» — начал он. И тут кормушка грохнула: «Бедарев, на вызов!..»

Повезло мне с камерой: «Два шесть ноль»,— бормочу я с нежностью. Сравнивать я не могу, но наслушался за два месяца, что и как бывает — и на спецу, а про общак и говорить нечего, очень пугают друг друга общаком. Сожители мои, кроме Пахома, для которого двести шестидесятая пока единственная камера, побывали много где. Редко кто задерживался на месте больше двух-трех месяцев: живет себе человек, обвык, успокоился — грохнет утром кормушка и нет его, увели.

Так было со спортсменом Мишей, потом с Колей чернявым... Нет, с ними другое, не просто так, неведомо почему грохнула кормушка... Они исчезли один за другим, каждый по-своему, но ведь и причины были — явные, и какая-то связь в том, *как* они оба ушли. Я только неделю был в камере, мало что понимал, но запомнил. Странный разговор сквозь сон — Боря говорит чернявому: спортсмен все равно уйдет, не твоя забота, а тебе, рыбка, мотать отсюда... Спортсмен ушел утром на суд, а поздно вечером, после отбоя, вернулся, увидел, место его занято, я было дернулся — освободить... Боря встал: «Ты зачем вернулся?..» — «Сам, что ли, у меня приговор завтра».— «Смотри,— сказал Боря,— завтра... Ложись у параши...» На другой вечер его опять втолкнули в камеру. Боря посмотрел на меня... «Почему на меня?» — подумал я тогда. «Значит так,— сказал Боря,— нет приговора?» — «Пять лет,— говорит спортсмен,— теща, сука...» — «Хватит,— сказал Боря,— куму объяснишь. Жми отсюда...» — «Куда я пойду, как? Что скажу?» — «Что хочешь, чтоб духу твоего здесь не было, мразь. Я один раз говорю...» Все молчали, чернявый зарылся в матрасовку. «Я повторять не стану»,— сказал Боря. Спортсмен потоптался, глянул на Зиновия Львовича, на меня, хотел что-то сказать, смолчал, и нажал на «клопа» — кнопка звонка у двери. Кормушка открылась: «Чего надо?» — «Открывай, ухожу...» Так он и стоял у двери минут двадцать, пока не открыли, видно было — в коридоре корпусной, еще кто-то. Шагнул за порог. «Воздух чище»,— сказал Боря.

Еще через день сам он ушел на вызов, и чернявый прилип ко мне. Гулять он не ходил, уговорил меня остаться в камере и долго нес околесицу. Я мало что понимал, всего неделя в тюрьме, не сообразишь, во мне еще гудела сборка, слушал вполуха, но даже мне было ясно — не сходятся у него концы с концами. Статья у него была — мошенничество, а ни в чем не виноват, ГБ якобы сводило с ним счеты за его связи с незарегистрированными баптистами, был он у них «курьером» — так и сказал! — возил материалы в их подпольную типографию, писал духовные стихи — и сразу в набор... «Они меня тянут, чтоб я открыл типографию, оперативка у них, а у меня все в голове — улица, дом, фамилии, канал на Запад...» — «Зачем ты мне это говоришь?» — сказал я. «Ты человек порядочный, я знаю, кому можно»,— глядит на меня цыганскими, шальными глазами, черный мат через слово. Духовные стихи, думаю я. «Готовь письмо,— говорит,— они меня через день-другой вытащат, и знаю, кому передать...» Тоска меня взяла, дурак он, что ли?.. Боря вернулся с вызова, прижал чернявого в углу, говорили они долго, а уже совсем поздно чернявый остановил меня у сортира: «Объявляю голодовку,— говорит,— сухую, до смерти».— «Зачем?» — «Надоело, пусть освобождают, скоро год — ни следователя, ни адвоката, замуровали. Подельника они, видишь, ищут, никак не найдут, я-то знаю, где он, не добьются... Давай утром письмо, я из карцера передам...» Утром, на поверке, он отдал заявление: «Голодовка до смерти или свобода...» «Останови его,— сказал я Боре,— что он дурака валяет?..» — «Не маленький,— сказал Боря,— не лезь, у него своя игра...» Часа через два распахнулась дверь: «Кто тут помирать собрался? Шмаков!.. Выходи!..» — «Давай лапу, Серый,— сказал чернявый,— что ж, не написал письмо? Ладно, мы еще повидаемся, я тебе сказать должен...» Сгинул.

Странное ощущение было у меня первое время: висит наша камера между небом и землей, внизу глухо ворочается тюрьма, горит, пылает, ее жаркое дыхание врывается с лязгом кормушки; уводят кого-то, приводят кого-то; два раза на день — утром и вечером, входит корпусной, глянет, просчитает про себя, чиркнет в книге — и грохнула дверь, а мы опять сами по себе. Даже прогулка не ломала это ощущение: выведут из камеры, несколько шагов до решетки, а там лестница вверх, еще два марша — и крыша, дворики в размер камеры с обледенелыми стенами в два роста высоты, над головой ржавая сетка, чадит труба, вертухай в тулупе гуляет по мосткам, поглядывает на нас; натолкаемся, намерзнемся — и назад, *домой*...

Земля близко. А небо?.. Высоко небо. Здоровенная труба над крышей спеца, черный дым в ясный день идет столбом, задерешь голову, шапка свалится, а что увидишь? Но разве в небо уходит дым? Мне подумалось однажды: в первый день, на сборке, небо было ближе, рядом, оставался шаг, я его не сделал, не успел — или не смог, а в эти два месяца, с тех пор как *повезло* — с камерой, с сожителями,— утратил, потерял...

«Серый» — моя кликуха, Вадимом зовет только Гриша. Петька назвал — глаза увидел. На третий день было залез на решку, кричит: «Я два шесть ноль, я два шесть ноль!..» Строго с этим, сразу дают карцер, а его не сгонишь с решки. «Чего надо, два шесть ноль?!» — кричат с общака. «Тюрьма-старуха,— орет Петька,— дай кликуху!..» — «Звонарь,— сказал я,— прыгай с решки, вертухай в волчке!..» Он бросился ко мне: «Все! — кричит.— „Звонарь“! Клевая кликуха! С меня тебе, Серый...»

Погибший малый Петька, никогда ему отсюда не выйти, да он и не хочет, станет кочевать с зоны на зону. Матери-отца нет, жил в Мытищах у бабки, читал я его обвинительное — чего там только нет: и грабеж, и хулиганка, и сто семнадцатая. Полгода сидит, месяц на малолетке, а как исполнилось восемнадцать, перевели «на взросло». Гордится Петька, три камеры поменял, никак карцер не получит, а рвется, для него карцер, как медаль. Как-то ночью разбудил меня: «У меня разговор, Серый, отойдем к дольняку». Вылез из матрасовки, иду за ним, вроде, все спят, тихо в камере. «Слышь, Серый,— говорит,— покажи твою тетрадку».— «Какую тетрадку?» — «Где ты феню записываешь, я никому не скажу, перепишу и отдам...» Спросонья и никак не пойму, что он от меня хочет. «Я знаю,— шепчет Петька,— зачем ты тут, не бойсь, от меня никто не узнает...» Вот оно что, думаю. «Давай завтра,— говорю,— спать охота, завтра покажу...» Не успел залезть в матрасовку, Гриша захлебнулся от смеха — гляжу, никто не спит, отбросили одеяла, на полночи развлечения. Зиновий Львович придумал, чтоб Петька от него отстал: «Попроси у писателя, он, думаешь, как сюда попал — в командировке, феню изучает, тихо спрашивай, скрывает...».

Зиновий Львович оказался скучнейшим существом, верно Боря определил — «ретро», отработанный человек, да и мудрено, если б не так: и истории одни и те же, и хохмы, проеденные молью... Все ночи он стоит у кормушки, стучит, жмет на «клопа», требует врача, лекарства, кричит, что умирает; все смены его знают, не торопятся, часа через два, когда он уже бьет ногой в дверь, высыпают ему в горсть таблетки; тогда он начинает требовать уколы... Боря пока молчит, а камера, чувствую, раздражена против старика. Но что-то он понимает... «Хорошая камера,— сказал я ему,— ты тут очухаешься, Львович, перед дорогой».— «Странная камера,— ответил он,— у тебя глаза не на том месте».

Гришу он особенно не любит и пользуется всяким случаем, чтоб его ущемить: и курит много, и ест не так, и балаболит не к месту — а спит они теперь рядом, Львович у параши. Гриша сдал, больше молчит, больной, конечно, спит целые дни, ночью читает, устал от придирок, а все, кому не лень, оттачивают на нем остроумие; Боря всех злобней... И вдруг Гриша говорит мне, гуляли вдвоем: «Меня из этой камеры не уберут. Я тут до конца, до этапа. В другой убили бы, а здесь, пока Боря, я себя спокойно чувствую — не даст в обиду...» Вон как, подумал я, странная камера, а глаза у меня, выходит, на самом деле, не на том месте.

С Андрюхой мне бывало легко, человек он явно умный, спокойный, говорит со мной охотно, много рассказывает о доме, о жене, очень за нее боится — молодая, красивая, а теща себе на уме, как бы не подыскала получше. Срок ему катит не меньше шести-восьми лет, дождется ли, а сыну три года — вот об чем его печаль. «Ты думаешь, я чего залетел? — говорил Андрюха.— Мне квартира нужна, а как ты ее купишь на мою зарплату, пусть я специалист с дипломом? Разве там деньги, а тут открылось... Вот тебе права человека,— сказал Андрюха,— где жить, где начать жить, если семья, а воровать не хочет? Уезжай, говорят, на стройку, на Север, а я не хочу на Север, и Верка не хочет, и сыну не обязательно. Я в Москве хочу. Сечешь проблему? А тут открылось...» Открылась Андрюхе золотая жила: голод на книги, уродливый, искусственный дефицит на пошлятину — а что читать, накушались глубокомыслием, подвигами-геройством, попроще бы, позабористей, клубничку... Сдашь пуд писательского дерьма, в котором ни слова правды, вот кого бы сажать — за ложь! — а им гонорары, премии, квартиры; отволочешь пуд — все равно читать не станешь и девать некуда, это у кого «стенка», но ведь «стенку» к стене поставить, а у всех ли *стена*? Бросишь им пуд на весы — а тебе абонемент, талончик, марку, а на марку ту самую «клубничку». Хотя, скажем прямо, не тонкий аромат — а разве есть выбор? Видел как-то в подворотне возле пункта приемки макулатуры — россыпью несколько десятков красных томов сочинения вождя революции, притащил бедолага в обмен на марку, а у него не взяли, неловко в макулатуру, но не тащить же назад, и место уже занято под что-то более современное... Я долго понять не мог, где тут «жила»? Оказалось, дело миллионное: мафия, десятки городов, сотни людей промышляют, пункты приемки повязаны — стряпают фальшивые талончики, марки, продают подороже, за деньги. У тех, кто покрупней, сотни тысяч дохода, а кто помельче — поменьше, тоже достаточно. Тех, кто помельче, позабирали, человек пятнадцать сидит в нашей тюрьме по разным камерам. Андрюха разъезжал — то в Киев, то в Ленинград, он не все рассказывал, только что следователю известно. «Нас бы еще долго не взяли, чистая была работа, не найдешь концов,— сказал он,— масштаб подвел, жадность, за границей стали печатать „марки", тут и раскрутили — ГБ. До больших денег все равно не доберутся, слишком большие, откупятся, а я, вроде, ничего не знаю, вернусь, получу...» Так что квартира Андрюхе все равно светит, хотя и через шесть-восемь лет, но кому в ней жить?.. Однажды он вернулся после допроса крепко расстроенным. «Купил меня следак,— говорит,— как дешевку, зачитал показание одного паренька, я подтвердил: было. Вроде, пустяк, а устроил очную ставку — тот в полном отказе, ни слова не говорит, крепкий малый, мне б глазами прочитать показание, а я поверил, дурак... Глянул на меня Костя — и отвернулся. На общаке сидит. Как маленького купил...» Андрюха побывал уже на общаке, много рассказывал. «Трудно, а ничего страшного. Теснота, вонь, шестьдесят человек и все курят, тяжело, но главное не распускаться, видел, как доходят — уже не моются, не бреются, еле ноги волочит, смотреть стыдно, за две недели скис, а вошел орлом... И в их дела не надо лезть, волчата держат камеру, сразу кидаются, если что. Бояться не надо, первых троих я всегда вырублю, остальные не сунутся, кому охота...» — «А лезли?» — спросил я. «Всякое было... Тут легче, но... Я раньше тебя пришел, мне сразу не показалась. Ты говоришь, как на зимовке, этим и не понравилось, какая зимовка — тюрьма».

Получалось, как ни обижайся, что я глупей всех — все понимают, а я хлопаю ушами.

Андрюха ближе других с Васей, современные ребята, я таких не знал: музыка, фильмы, свои разговоры. Васю вот-вот должны вытащить на суд, трибунал. Служил Вася на Дальневосточном флоте, месяц оставался: «Надоело,— рассказывал,— как подумаю, еще месяц — нет, хватит...» Дезертировал за месяц до демобилизации! Полгода ловили, да едва ли искали, еще бы протянул, когда б не попался. Ездил по стране, лечился от скуки, застрял в Крыму, а потом подался в Москву, девушки в Москве понравились, а девушки в столице дорогие, подворовывал. «Такую деваху встретил, поверишь, Серый, на всю жизнь!» Решили в Крым, там у него все схвачено, а билетов нет, сентябрь, сезон, а она ждет, обещал — вечером едем! Сам он всегда бы уехал, но тут хотелось нормальный вагон, а лучше «СВ»... Долго Вася не думал: в Москве в каждом дворе машины... «Мне на две недели,— говорит,— зачем она, я б ее на место поставил, а как бы красиво ехали...» Он успел только залезть в машину, выбирал, чтоб соответствовала предприятию, пошикарней, разглядывал — тут его и взяли, а на нем много чего повисло...

Боря за два месяца стал ближе некуда. Не за два месяца, в первые дни произошло, я и не заметил, в тюрьме сутки стоят месяца; каждое движение на глазах, не скроешь, не спрячешь и отвлекаться не на что. Мир сузился до размеров камеры, но остался миром, чего мне в нем недостает — свободы? Свободы передвижения в пространстве, думаю я. Но разве человек рожден для прогулок, для путешествий?.. А пространство — что такое?..

Боря с самого начала был ко мне открыто доброжелателен и так во мне, безо всякой искательности, искренне заинтересован — я тут же купился. А что во мне искать, зачем покупать, ничего у меня не было, пустой пришел в камеру. Передачу я, правда, получил через день — Митин почерк, его тщательность — такая радость! «Умная передача»,— сказал Боря с удивлением. Но ларька до сего не было, деньги, как и предупреждали на сборке, добираются месяцами. Митя передал табак, сигареты нельзя; хороший табак, заграничный, а Боря курил трубку, чубук из хлеба, обкуренная трубка... Ничего у меня не было и ничего я не знал из того, что положено. Как ребенку надо было учиться ходить, разговаривать, понять, что можно, а что нельзя. Тянуть с этим в тюрьме рискованно. Это я понимал.

Он и учил меня, как младенца, с усмешкой и с охотой. Не пугал, напротив, оборвал как-то Зиновия Львовича, тот завел длиннющую лагерную одиссею, кровь леденела в жилах, ребята напряглись... «Ладно тебе, Львович, каждый может рассказать, а на гражданке — не бывает? Не слушай его, Серый, живешь тут — и там будешь жить, тут нас восемь, а там сто человек отряд, найдешь себе, выберешь, с кентом ничего не страшно, будешь чаек пить, письма из дома, журналы выпишешь, телевизор, а надоело — вышел из барака, звезды близко. И работы не пугайся, деньги будут, жратва получше, не тридцать семь копеек, как тут...» — «Сорок семь, большая разница»,— сказал Зиновий Львович. «Пусть сорок семь, вертеться надо — все будет. Не так, что ли?» — «Так да не так...— не сдавался Зиновий Львович,— еще до зоны добраться, запихнут в столыпин двух-трех из особняка, полосатых, голым выйдет».— «Да ладно тебе, столыпин! — сказал Боря.— Ночь просидит на месте» — «Меня далеко повезут,— говорю,— в Сибирь».— «А ты почему знаешь?» — спросил Боря. «По статье и зона».— «А что Сибирь — не земля? Вон Зиновий Львович, старый сибиряк, сохранился. Куда ты из столыпина денешься? Доедешь».— «А пересылки,— не унимался Зиновий Львович,— транзит? В Свердловске, как сейчас помню: ба-льшая камера, дым, ничего не видно, в одном углу чай варят, в другом в карты режутся, в третьем петуха употребляют, а в четвертом...» — «Ты бы еще пятый угол поискал,— сказал Боря.— У него все будет нормально, у Серого, я человека вижу и как у него что будет знаю...»

Я удивился, помню, в первую неделю Борины рассказы о зоне, об этапе были в масть Зиновию Львовичу, или тогда он и факты, и случаи подбирал специально, с каким-то прицелом — пострашней, и на меня поглядывал: и столыпин загорелся, никого не выпустили, так и сгорели, и конвой посадил этап в грязь на платформе, один отказался, стоял, гордый малый, полоснул его конвой из автомата по ногам — и в машину, и еще, и еще... А я тогда не слушал, далеко до столыпина, долго, меня камера интересовала. И он перестал, а сейчас, выходит, наоборот?.. Нет, что-то с ним произошло, происходит, крутит его, ломает, ночью перестал спать, проснусь, вижу: глаза у него открыты, тянет потихоньку трубочку — и так до утра.

Первые дни я рта не закрывал, мне хотелось поговорить, намолчался в кепезухе — о чем только не говорил, а он хорошо слушал, внимательно, с тем самым доброжелательным интересом, который и купил меня. Не перебивал... Да знал я, что в камере лучше молчать, но камера какая — зимовка! Да и что мне скрывать, я всегда жил открыто: здоро́во, вот он я! А может, потому так легко говорилось — что не о себе, нет у меня прошлого, чужое, сам не смог отдать — забрали и не жалко. Пустое выбалтывал, лишнее, ни на что не годное, пуставшее. Отсеивалось в таком разговоре, всплывало, как шелуха, сдувает пустое такой треп — в никуда, и уже не вернется. Выболтал и ушло. Навсегда.

«Ну, а кто твой друг,— спросил как-то Боря,— самый главный, есть такой, которому ты... доверяешь, до конца?..» Чудак, подумал я, разве о *главном* болтают? Да не потому, что *здесь* нельзя, а потому — невозможно, как сказать о том, что держало, не давало свернуть, что и сейчас держит и не дает свернуть? Главное, что не дает погибнуть, что, и умирая во мне, воскреснет. Оно и спасет. Своей смертью во мне, своим воскресением спасет...

«А француженка, американка,— приставал Боря,— рассказал бы, Серый, я тебе сколько набалаболил — и про японку, и про кубинку, а то была англичанка в Кейптауне... Я вижу, чую тебя...» Но эта тема для меня закрыта, он понял, отстал.

«Мы за все платим,— сказал я ему как-то,— сначала не понять — успею, расплачусь, есть время, а может, спишут? А когда поднакопишь, начинает возвращаться, наступает момент — в горле комом, задавит...» Так я начал ему рассказывать о том, как пришел в Церковь, как меня *привело* в Церковь. «Пришел, а дальше что? — спросил он.— Я тоже бывал, мать посылала кулича святить да яйца».— «Кто как приходит,—

сказал я,— одни яйца святить, а другой...» — «Что другой?» — спросил Боря. «Жить,— сказал я.— Или умирать, чтобы жить».— «В тюрьму ты пришел, а не в церковь,— сказал Боря.— Одно дело яйца красить, хоть ящиком крась, никто слова не скажет, другое, когда ты...» — «Я пришел, потому что хочу жить,— сказал я.— Потому что должен платить по счетам, потому что не смог жить, как жил раньше».— «Закон возмездия,— сказал Боря,— верно, за все приходится платить. Только не пойму, чем ты-то заплатил, пока цветочки...»

После того разговора что-то с ним произошло, или мне показалось, но он и ко мне изменился, стал мрачен, раздражен, а может, устал, думал я, давно сидит, а конца не видно...

Борю вызывали часто, особенно первое время. Со следователем у него была тяжелая история: «Не сошлись»,— сказал Боря. Он рассказал мне об этом уже на второй день, утром, шрам был свежий. Вся Камера слушала, и чернявый на своем месте, лежал рядом.

Такой пес, рассказывал Боря, глядеть на него не могу, мало что у меня было, хотел еще повесить. Боря ему ляпнул, резко, надо думать, тот развернулся и кулаком промеж глаз. «Вдвоем сидим,— рассказывал Боря,— я кровь вытер, а он стоит надо мной, дал ему снизу, он в стену влип и за дверь. Жду. Вбегают пятеро. Зажали меня, а он стоит, следак, глаз запух, руки в карманах. Что ж ты, говорю, только в компании храбрый? Он руку из кармана и меня по скуле, что-то зажал в руке... Кровь хлещет, а мне весело. Как ты теперь отмоешься, сука, говорю, такое не спрячешь. Давай миром, говорит. За нападение на следователя строго, но и ему за кастет не сладко бы пришлось... Сошлись: мне в карцер — драка в камере, из карцера сюда, а следак ушел из дела. Теперь другой будет...»

На следующий день Боря пошел на вызов, чернявого увели, а вечером мы лежали рядом, я на новом «королевском» месте, у решетки. Боря говорит: «Решили твою проблему, можешь не письма писать, а хоть романы. Передам».— «Это как?» — спрашиваю. «Заводят утром в следственный корпус, в кабинет, где мы со следаком не поладили, а за столом Пашка... Ты чего тут делаешь, спрашиваю. Я-то ладно, говорит, а ты зачем?.. Дружок, в ГАИ работал, в Пушкине, теперь в областном управлении. Я его давно знаю, много раз выручал, и я его не обижал, пили вместе и он, собака, за моей сестрой мазал. Мы с ним как познакомились, у меня «Вольво», из последнего рейса привез, фургон, дизель, на Ярославке была неприятность, там и сошлись, это когда он в Пушкине служил. Хороший малый, свой».— «Так он теперь твой следователь?» — удивился я. «Нет,— сказал Боря,— моего подельника, Генки, такая мразь, я тебе расскажу, заслушаешься. Пашка его ведет, а ко мне пришел уточнить кой-что. Мы с ним пробалаболили два часа, он не знал, что я тут — Бедарев и Бедарев, не врубился. Сейчас, наверно, у нас дома, с моим отцом пьет водку, сказал зайдет вечером и свидание с сестрой обещал. Смотри, говорю ему, не балуй с Валькой, убью. Ты, говорит, теперь в моей власти. Я-то, мол, в твоей, а ты в ее. Шутка. Короче, передавай, что хочешь, я ему говорил о тебе, он удивился, что ты тут, слышал по радио...» — «По какому радио?» — вытаращил я глаза. «Эх ты,— говорит Боря,— простота, лежишь на шконке, играешь со мной в „мандавошку“, а про тебя весь мир базарит».— «Шутка?» — спрашиваю. «Какая шутка, Пашка своими ушами слыхал — Полухин да Полухин... Жалко, я твоего телефона не знал, он бы позвонил, успокоил».— «А он не побоится,— спрашиваю,— засекут в телефоне?» — «Пашка побоится?.. Не маленький, сообразит».— «А как ты из камеры вынесешь,— спрашиваю,— шмонают в коридоре».— «У меня не найдут...»

На другой вечер Боря рассказывал свое дело, тоже вся камера слушала, чистый детектив в нескольких сериях. После лагеря, а у него строгач был, вторая ходка по контрабанде, море ему закрыли, устроился механиком на рефрижератор. «Милое дело,— рассказывал Боря,— месяц дома, месяц рейс, гоняю вагон с мясом из Ростова в Москву. Хорошая работа, тихая, два помощника, работы, считай, никакой, купе, как каюта, приемник, жарю мясо от пуза, винишко с собой, девочки на каждой стоянке — хоть на перегон, хоть на два. Нормально. Мясо не простая арифметика: при одной температуре один вес, при другой — новый, а если его водичкой полить — еще один, третий. Соображать надо. Возле Рижского магазин, мясной, заведующий Каплан, неплохой мужик, выпивали, сидевший, давно, правда. А у него продавец, тот самый Генка, сразу видно, мразь, а прилип — возьми да возьми на рефрижератор, поездить захотелось. А мне как раз нужен человек на рейс. Давай, говорю, я тебя попробую. Съездили. Противный малый, но пес с ним, думаю, в случае чего придавлю, у меня не пошалит. Оформляйся, говорю, только учти, у нас работа денежная, полкуска такса, не мне, само собой. Согласен, половину отдал, а двести пятьдесят потом. Ладно. Приходит увольняться, а Каплан говорит: дурак ты, Генка, охота тебе месяцами мотаться неизвестно где, люди в Москву рвутся, а ты... Это Бедареву Москва не светит... Короче, отговаривает. Я ему деньги отдал, говорит Генка. Какие деньги? Двести пятьдесят и еще надо столько. Дурак ты, Генка, говорит Каплан, за такие деньги я б тебя старшим

продавцом поставил. Пиши заяву в прокуратуру — и деньги вернешь, и в Москве останешься... Пишет Генка заяву, а мы с ним уже договорились: у меня рейс, ждать я не могу, к следующему рейсу чтоб все оформил, встречаемся у метро, он передаст деньги. Иду с сумочкой, весна, солнце, хватил пивка, покуриваю, думаю, чего б подкупить в дорогу, подошел к метро, опаздывает, сука, на пять минут... Подходит. Здорово-здорово. Принес? Достает конверт, я в карман и считать не стал, а меня сзади за руки, а передо мной двое — фотографируют, и в машину. Деньги при мне, свидетели — чистая работа. Я только успел, когда стоял на площадке в прокуратуре, на третьем этаже, а Генка мимо, не глядит, достал его ногой, покатился по лестнице...» — «Где он сидит?» — спросил Андрюха. «В Бутырке, здесь я бы его достал. Да он не сразу сел — за что, у него заява, вскрыл преступление...»

«Думаешь, вся история,— продолжал Боря,— начало. Получаю я свою сто семьдесят четвертую — посредничество при взятке, лет пять мои. Первая часть. Что я успел первые двести пятьдесят взять, нигде не фиксировано, мало ли что он скажет, дурак Генка, не видать ему денег — зачем ему Каплан обещал, свои, что ль, хотел отдать? А если б и они всплыли, тогда вторая часть, многократное действие, восемь лет бы схватил. Я первый месяц в тюрьме голову не мог поднять, отвернусь к стене — так влетел, да быть того не может!.. Ладно. Через три месяца суд, простое дело: деньги, свидетели, покаяние, заява... Судья спрашивает Генку: где и когда познакомились с Бедаревым? Года два назад, говорит, у меня были неприятности с машиной, не моей, но я водитель, стукнулись, он помог отмазаться. Что значит „отмазаться“, спрашивает судья. Дело замять, объясняет Генка, у Бедарева друг в ГАИ, в Пушкине, а у меня происшествие в Мытищах, поблизости. Отмазал. Так, говорит судья, объявляется перерыв для выяснения новых обстоятельств. И меня обратно в тюрьму».— «Во дурак»,— сказал Вася. «Идиот,— поправил Боря.— Через два месяца новый суд. Ничего они в Пушкине не нашли, там тоже не лопухи, чисто сработали, никаких следов. А что все-таки было в Пушкине, спрашивает судья, объясните, свидетель. Да не в Пушкине, говорит Генка, под Мытищами. Загуляли с ребятами, разбили чужую машину, не оставаться же на ночь, замерзли, выпить надо, деньги кончились, а у меня в магазине, в сейфе, моя доля. Взяли мотор, подъехали к магазину, я знаю, где ключи, не первый год работаю, открыл сейф, взял свою долю — не много, семьдесят рублей в тот раз было, и мы уехали, а утром за машиной, там и вышла неприятность с ГАИ».— «Стоп, говорит судья, что такое ваша „доля“ в сейфе — это как понять?».— «А у нас каждый день, говорит, с выручки причитается, я в тот раз днем не успел, торопился, решил ночью».— «Суд объявляет перерыв на два часа, говорит судья, для выяснения новых обстоятельств...» — «Бывают же такие идиоты...» — Вася даже покраснел. «Это начало,— говорит Боря,— погоди, не то будет. Привозят на суд моего дружка Каплана — спокойный, важный, на меня не глядит. Расскажите нам, пожалуйста, говорит судья, что это за доля от выручки в вашем магазине — как понять, гражданин Каплан? Ничего не знаю, натурально удивляется Каплан, выручка — это выручка, сдаем ежедневно, как положено, можете проверить. Вызывают продавцов — одного, другого, третьего — пожимают плечами, первый раз слышат. Вызывают уборщицу, тетю Дашу. Получаете вы, гражданка, к вашей зарплате долю от выручки, спрашивает судья. А как же, говорит тетя Даша, небольшие деньги, но получаю, пятерочку подбрасывают каждый день, дай Бог здоровья товарищу Каплану, не обижает старуху, не знаю, говорит, сколько продавцы или заведующий получает, а мне пятерочка к сиротской зарплате не лишняя... Смотрю, Каплан зеленый стал... Суд принимает частное определение — и его прямо так, в зале суда, под стражу, в Бутырку...» — «Крепко»,— сказал я. «Вот и я говорю: закон возмездия,— сказал Боря.— Что ж ты, Каплан, кричу ему со скамьи подсудимых, забыл, что земля круглая?!»

«Но это не все,— продолжает Боря.— Суд объявляет новый перерыв, я сижу здесь, Каплан на Бутырке, наш разоблачитель гуляет по магазину. А следствию он покоя не дает, чуют — еще что-то есть. Делают у него обыск, вроде по другому делу. Чистая квартира, зря пришли. Откуда у тебя автомобильный насос, говорят, а машины нет. Нашел, на улице валялся, куплю машину, пригодится. А на насосе — номер, а хозяйка машины, чей номер, два года назад пропала — искали, не нашли. Машину обнаружили, а ни насоса, ни хозяйки. Берут Генку на Петровку... Куда ему на Петровку, если на суде, когда его никто не спрашивал... А тут прижали, выложил в подробностях. Угнали они с ребятами два года назад машину, покататься захотелось. Покатались и обратно в гараж, как Вася собирался. Загоняют машину, а в гараже — хозяйка, ах, мол, такие-сякие. Они ее этим самым насосом. И опять уехали, проветриться. Покатались. Куда машину девать — и гараж, а хозяйка шевелится. Они ее зарыли в гараже... Везут Генку с Петровки к тому гаражу, показывает, выкапывают хозяйку — что за два года осталось? Он и тех двоих, что с ним были, сдает. Ему еще одно дело, мокрое...»

Вася — человек эмоциональный, бегал по камере, звучно стучал кулаками по голове. Переживал...

Поздно вечером Боря сказал мне: «Пашка будет Генку допрашивать, он и его едва не вложил — это Пашка отмазал Генку в Пушкине. Мы, Пашка говорит, его на Петровку возьмем, там разговор простой... Да что теперь о нем — кончат Генку, сам захотел...»

Письма я Боре не дал. Не то, чтоб я ему не поверил, но... Мне не нужно, сказал я ему, если б мне для дела, кого предупредить, спрятать или еще что — а мне не надо, я ничего не прячу, как жил, так и буду жить. Понятно, сказал Боря, нет степени доверия. Нет, сказал я, для меня это роскошь, а я в тюрьме.

8

— ...Давай сыграем на твою сигарету,— говорит Боря.

— Я тебе и так оставлю. Покурим. И сыграем...

— Не успеете,— говорит Андрюха, он у нас за начпрода, сейчас подогрев, надо сало резать...

«Подогрев» — последняя еда в камере, после отбоя. Три раза в день едят казенное, а четвертый — свое, из собственных запасов: ларек, передачи, что удастся закосить от обеда и ужина. Особая еда — подогрев; тюрьма, вроде, не имеет к ней отношения: свое едим, не в кормушку швыряют — угощаем друг друга, собственным делимся.

Андрюха нарезал розовое сало, колбасу — по куску каждому, по конфете, по полсухаря; хлеб отдельно.

— Шикуем? — говорит Боря.

— У меня завтра передача, подогреют... Наливай, Григорий.

Гриша сидит возле бака с остывшим чаем, оставшимся от ужина, бак-фаныч, укрыт телогрейкой — теплая желтоватая вода.

— Как тебе, Пахом, не хуже, чем на воле?

— Мне как-то... не с руки,— говорит Пахом,— ваше есть.

— Разживешься,— говорит Боря,— мы все начинали с нуля.

— Ну, коли твк...

— Завхозом служил? — спрашивает Боря.

— Вроде того,— Пахом небольшого роста, толстячок, нос пуговкой, холодноватые голубые глаза за очечками в металлической оправе, движения уверенные, спокойный.

— Много нахапал? — спрашивает Боря.

— Я не по этому делу,— говорит Пахом.

— Ишь какой! Неужто по мокрому? — не отстает Боря.

— Я сухое предпочитаю,— говорит Пахом,— и если коньяк, чтоб посуше.

— Вон какой, да ты, выходит, серьезный человек?

— Стараюсь,— говорит Пахом,— не всегда получается, но...

— Сто семьдесят третья статья? — спрашивает Боря.

— Она.

— А говоришь, не хапал. За что ж тогда сел?

— Я об этом со следователем, если настроение будет.

— Вон ты какой, а я думал — чижик.

— Чижики на Птичьем рынке,— говорит Пахом.

— Понятно,— говорит Боря,— ты из тех, кто был ничем, а стал всем. Стих есть про вас: «И на развалинах старой тюрьмы — новые тюрьмы построим мы!..» Построили? Доволен?

— Тюрьма старая,— говорит Пахом,— но если кто...

— Если кто виноват! А ты не виновен? Отсюда никто не уходит. Запомни: попал — не выйдешь. А с твоей статьей точно зароют. Тут один со сто семьдесят третьей седьмой год сидит.

— Как седьмой? — спрашивает Пахом.

— Шесть отсидел, третий месяц ждет приговора. Генеральный директор из Монина.

— Баранов? — вскидывается Пахом.

— А ты его знаешь?

— Знать не знаю, но...

— Дмитрий Иваныч — правильно? И он из таких — ни в чем не виноват, шесть лет писал жалобы, следователей целая команда, считали пересчитывали... Вышку запросил прокурор Баранову.

— Не может быть!..— Пахом сжал кулаки.

— У нас все может. Такие, как ты — это вы здесь тихие, а когда там...

Дверь открывается, не слышали за шумом, как вставили ключ.

Спокойный вечер после подогрева, мелькает у меня, ничего уже не может произойти...

Здоровенный малый, длинные руки, носище свернут на сторону, медвежьи глазки... Бросил мешок, шагает к столу.

— Не в обиде, что задержался? Расписание подвело.

— Надо было билет заране,— Боря сощурился на него.

— А я с утра сплю, не хотели беспокоить.

— Есть будешь? — спрашивает Андрюха.

— Сытый. Или у вас мясо?

— Мясо на больничке,— говорит Гриша.

— Молодой, а соображаешь. Я оттуда,— задирает грязный свитер, хлопает по тяжелому, голому брюху,— па месяц зарядился.

— Из какой хаты? — спрашивает Боря.

— Из 407-й. Я бы там притормозился, да старшая сестра, сука...

Боря поднялся из-за стола, лезет на шконку, разделся — и в матрасовку. Что это с ним, думаю, всегда долго разговаривает с каждым, кто приходит, у нас одно время была чехарда: приводили-уводили... Такая была активность, с каждым по-своему — слушал, советовал, расспрашивал, рассказывал: Петьке о зоне, Андрюхе про семейную жизнь, Васе об этапе, с Зиновием Львовичем — о чем не поймешь, даже с Гришей, когда никого нет поблизости; со мной целые дни: шутки, рассказы, анекдоты, подначки — неистощимый человек. А сейчас... Ну что он привязался к Пахому?

— ...из вас никто на больничке не был?..— слышу новоприбывшего.— Цирк, братцы... С куревом хреново,— он протягивает длинную руку, спокойно вынимает сигарету изо рта у Гриши.

— Ты что?..— Гриша распустил губы.

— Тихо, птенчик,— говорит новоприбывший,— у меня недокур. Так вот...Старшая сестра, сука, сбесилась. Такая, мужики, история... Баба непростая, майор ее... главный кум, все перед ней на цырлах, крутят жопой — Олечка да Ольга Васильевна, короче, хозяйка. А нам бы покурить и колес поболе, мясо в кормушке, кантуемся. Подход надо иметь — и курево будет и колеса. А тут оборзела. Мужика у нее увели.

— Какого мужика? — спрашивает Вася.

— Был на больничке, я не застал, рассказывают, месяца два назад, артист, он ее сразу схватил за что такую положено хватать, а она, вроде, не врубилась или цену знает, никто, короче, не видел, но известно — скальпелем по скуле. Мужик не простой, он ее не выпустил из процедурной, а когда вышли, у нее, говорят, весь халат в кровище. Уговорил, короче. После того он не ночевал в хате, в 408-й, рядом с моей, она ночные дежурства отменила, сама взяла, ночью не вылезала из больнички. Жили мужики в 408-й, как короли, сигареты, водку приносил — малина. Вся больничка знала, а ей хоть что, лихая стерва. Стукнули майору, а этот артист осужден, тормозится на тюрьме, зимой на зону дураком быть.

— Отправил? — спрашивает Андрюха.

— Хрена! — говорит новоприбывший, он докурил и щелчком сигарету в угол.— Майор бабы испугался, отправил его на корпус, говорят, на спецу. Сговорились.

— Как фамилия? — спрашивает Андрюха.

— Вроде... как это... Безарев ли, Бедарев.

— Кто? — спрашивает Вася.

— Хрен его знает, вроде, Безарев. Артист, короче — и бабу схватил, и майора поимел, и с бабы тянет, и с майора. Закладывает, само собой, лохов по тюрьме много...

Я вздрагиваю, Боря стоит за моей спиной.

— Ты что балаболишь, падла? — тихо говорит он.

— Чего? Это ты мне?

— Ты что на хвосте принес? Я Бедарев.

— Ты?..— новоприбывший озадачен.— Не брехали — на спецу?

Жми отсюда,— тихо говорит Боря,— сразу, чтоб...

— Я — жми?..— медвежьи глазки окидывают камеру, щупают каждого: Зиновий Львович на шконке, у сортира, он не жалует подогрев, остальные за столом.— Вон оно что...— медленно говорит медвежьи глазки,— вас он, значит, ощипывает, а вы терпите? Ну хата...— он смачно сплевывает на пол и тяжело начинает подниматься из-за стола.— Терпите, как он на вас стучит, с майором за бабу расплачивается и никто из вас ему...

Договорить он не успевает, Боря точно выбрал момент, медвежьи глазки тяжелей килограммов на десять, здоровей, но он поднимается, ноги согнуты, нет опоры, Боря пролетает мимо меня и с размаху кулаком бьет в лицо. Медвежьи глазки поднимается в воздух, голова глухо брякает о кафельный борт сортира, он сползает на пол. Боря уже у двери, жмет на «клопа». Никто за столом не успел двинуться.

Лязгает кормушка.

- Убери кого привел,— говорит Боря.

— Чего?

— Убери, говорю, сдохнет, будешь отвечать.

Лохматая голова вертухая лезет в кормушку, он видит только ноги на полу, дальше не разглядеть. Кормушка захлопывается.

— Ну,— говорит Боря,— кто за ним?

Все молчат.

— Поразявили хлебала, вам каждый наговорит. Есть вопросы?..

Распахивается дверь. Входит корпусной.

— Что тут у вас?

— Споткнулся,— говорит Боря,— ножки слабые. Еще раз споткнется, уйдет на волю.

Корпусной наклоняется, берет лежащего за руку. Тот с трудом садится, крутит головой, лицо в крови.

— Вставай,— говорит корпусной.

Медвежьи глазки поднимается, вид у него страшный.

— Ну, гад... я тебя...— он отшвыривает корпусного.

Боря не двинулся. Корпусной успевает раньше: заламывает руки и вытаскивает грузное тело в коридор. Возвращается.

— Как твоя фамилия?

— Бедарев,— говорит Боря.

— Смотри, Бедарев... Где его вещи?..

Корпусной выбрасывает мешок в коридор. Дверь захлопывается.

Минут через двадцать все уже улеглись, снова гремит дверь — длинный белобрысый майор с лошадиным лицом, за ним корпусной, в дверях вертухаи.

— Встать!..

Поднимаемся; Боря лежит.

— А тебе отдельно?

Боря вылезает из матрасовки.

— Фамилия?

— Бедарев.

— Это ты?! — кажется, майор захлебнется от крика.— Беспредел устраиваешь в камере! Да я тебя...

— Не тыкайте,— говорит Боря, он белый, как плитка над умывальником.— И кричать не положено.

— Будешь учить меня, что положено?.. Я дежурный помощник начальника следственного изолятора. Как стоишь?!

— У вас права нет кричать,— говорит Боря.— И унижать достоинство — нет права. Я в следственной камере, не осужден. У вас и на преступника нет права кричать, а я...

— Вон из камеры!.. С вещами, с вещами!..

Боря начинает собирать вещи.

— Вы бы разобрались, гражданин майор...— говорю я.

— Что? А вы кто такой?.. Нет адвокатов в тюрьме! Быстрей *собирайтесь*!..

Боря явно не торопится, вижу — пихает в мешок один сапог, второй под шконку, шапку оставил, берет сигареты...

— Десять суток! — кричит майор.— Понюхаете карцер!..

— А я без обоняния,— говорит Боря.

— Разговоры!.. Это что такое?..— майор срывает петлю над Бориной шконкой, картинку со стены, календарь, топчет ногами коробки-пепельницы, хлебницы...

— Люди работали,— говорит Боря,— старались, хотя бы поглядели, что ломаете.

— Молчать. Чтоб ничего на стенах! Разгоню камеру!..

Боря выходит первым, майор, корпусной следом. Дверь грохнула.

— Часто у вас так? — спрашивает Пахом.

— Кто из них врет? — говорит Вася.

— Врет не врет, а с Борей хорошо жилось,— говорит Петька.— Раскидают хату. Ладно, мне на суд.

— И я не задержусь,— говорит Вася.

У меня все дрожит, не могу прикурить.

— В камере самое страшное тишина,— говорит Гриша,— когда тихо, спокойно — тут и начинается, из ничего.

— Давайте спать, мужики, завтра с утра потащут,— говорит Андрюха.— Эх, не успеем мою передачу схавать!

— Жалко Борю,— говорит Гриша.

— У нас на двадцать четверке, на Урале...— начинает Зиновий Львович.

— Заткнись, дед,— обрывает его Петька,— надоело.

Заползаю в матрасовку. Шконка рядом пустая, холодные черные полосы, на полу под ними валяется сапог, шапка, тетрадь с вылетевшим листом, скашиваю глаза — крупный, быстрый почерк: «Боречка! Любимый мой, радость моя ненаглядная...».

9

Боря вернулся утром, после завтрака, спокойный, веселый.

— Всю ночь прыгал,— говорит,— раздели, выдали кальсоны и майку без рукавов. Батареи отключены, из параши течет...

— А этого куда? — спросил Андрюха.

— Хрен его знает. Его из больнички за драку поперли, потому меня и отпустили. Вытаскивают утром: напрыгался, лейтенант спрашивает, другой раз не так попрыгаешь... А вы хороши: семьей живем, чтоб жрать вместе? Дошло до дела — попрятали языки в жопу...

Первым делом Боря застелил шконку, прикрепил на место сорванную майором картинку, приладил петлю, достал из-под шконки тетрадь и собрал разбросанные на полу листки.

Когда пошли на прогулку, он придержал меня за рукав:

— Останься, Серый, есть разговор.

Я остался. Зиновий Львович спал. Больше никого в камере.

— Напугался? — спросил Боря.

— За тебя испугался. Думал, не увидимся.

— Мы до лета вместе, раньше июня у меня суда не будет, Пашка сказал, а тебя еще ни разу не вызывали. Не веришь мне?

— Чему не верю? — спросил я.

Мы сидели на моей шконке лицом к решке, спиной к камере. Нет, он не спокоен, понял я, а что не весел...

— Веришь не веришь, не важно. Он правду сказал.

— Как... правду? — спрашиваю.

— Майор со мной счеты сводит, за Ольгу... Да разве в том дело! Слушай, Серый, я-то тебе верю, ты мне, как хочешь, сам тебя учил — в тюрьме никому не верь, кенту не верь, себе — только по праздникам. А я тебе верю. Ты меня сразу взял, когда перекрестился — помнишь? — за столом... Ладно. За все платим, ты верно сказал, а я... А если что доброе сделал — учтут, перевесит?

— Откуда мне знать,— говорю,— я не священник. Если без корысти, ради Христа — перевесит.

— Ради Христа?.. Не знаю, не понять. У меня дружок был, Колька, со школы... Я тебе рассказывал, мы с ним в мореходку убегали — помнишь?.. Я остался, а он слинял, геологом стал. Редко видались, я в море, жил в Ленинграде, а когда приезжал к матери в Москву, к нему обязательно, если дома, а он все больше в поле. А тут заболел, год не работал, стало получше, решили с женой на Кавказ, в альпинистский лагерь... Оба погибли в лавине. Остался сын, тоже Колька, пять лет было — и никого, тетка где-то. Взял к себе, увез в Ленинград, теперь ему двенадцать, правда, зовет — Боря, я не хотел, чтоб отцом, пусть своего помнит — верно?.. Как считаешь — учтется?

— Не знаю, Боря,— сказал я,— нам про это думать не положено, делай по сердцу — за вас решат.

— По сердцу... А тут как? Она — блядь, знаю, сука — знаю, но я, веришь, Серый, ни о чем думать не могу, на меня не похоже? Я сколько баб повидал, и тебе рассказывал, ты не хочешь слушать...

Он замолчал.

— Так что у тебя? — спросил я.

— Я сам не пойму... Он набрехал про скальпель, тюремная параша, на больничке придумали...

— Так ты был на больничке? — спросил я.

— Был. В тот раз на третий день вытащили из карцера. Два дня прыгал, на третий сморило, а спать на железе, ни матраса, ничего нет, отпирают на ночь шконку — ложись. Я на третий день вырубился, сковырнул шрам, свежий или зашили плохо, проснулся в крови, стал стучать, вытащили и на больничку. Ночь была, а у нас и днем нет хирурга, с Бутырок привозят. Она дежурила ночью, Ольга, стала зашивать... Тут я ее схватил, верно...

— А потом? — спрашиваю.

— А потом до сего дня. Я бы женился на ней, я таких баб не видел, не знал.

— У тебя жена,— говорю,— Колька?

— У меня две жены, и, кроме Кольки, двое. Я тебе рассказывал...

Рассказывал, думаю я, чего-чего он не рассказывал — сколько там правды? Сентиментальная лагерная повесть. Была у него жена в Питере, артистка, он — богатый мореход, дочь, квартира, «Вольво»... Приезжает к нему на зону: «личняк», три дня. На третий день говорит: «У меня, Боря, гастроли, в Америке, из-за тебя не пускают...» Если б она в первый день сказала, рассказывал Боря, нормально, жизнь есть жизнь,

а она на третий... «Боялась, духу набиралась?..» О чем разговор, сказал ей Боря, от меня заявление, пожалуйста... Развели, уехала, пишет, а он не отвечает. Через полгода опять свидание. Общее. Жду мать, рассказывал Боря, надо было кой-что передать. Выводят на свидание человек пятнадцать, а их еще больше — дети, родители... Нет матери. Все за столом, разговоры... Стоит девчушка в стороне, лет восемнадцать. А вы к кому, спрашивает ее Боря. А я, говорит, к вам. Кто такая? Соседка ваша, мы только переехали, мама ваша заболела, попросила съездить, а у меня время свободное, я говорила с начальником, разрешил... Понятно, что разрешил, рассказывал Боря, я на зоне жил, как король, считай, начальник производства. Не начальник, механик, начальником вольная баба, швейное производство, но я всем крутил, она и бесконвойку устроила, и чуланчик был, где мы с ней в жмурки играли,— короче, можно сидеть... Выходим с девчушкой на крылечко, садимся на бревнышки возле дома свиданий, весна, теплынь, о том, о сем — ни о чем. Как тебя звать — Варя. Варя так Варя. А можно, говорит, я к вам еще через полгода? Через полгода нельзя, говорю, личное свидание. А я на личное. Для этого, говорю, надо заявление. А я бы, говорит, написала... Поговорили. Пошли от нее письма, а через полгода — что думаешь? — приезжает: заявление, ей штамп в паспорт, тогда разрешали бутылку шампанского, я бутылку спирта со своего производства — три дня свидание и три на свадьбу. Через полгода приезжает на общее, а еще через три месяца телеграмма — дочь... «Лучшей жены не надо...» — сказал мне тогда Боря.

— ...У меня две жены и, кроме Кольки, двое. А мне того не надо. Ты писатель, должен понимать в бабах — что мне делать?

— А что тебе делать?

— Она с майором спит — сечешь? С мужем, говорит, не живу, а с майором — вся тюрьма знает. До мужа мне нет дела, а майора...

— Тот, что приходил?

— Нет, тот ДПНСИ, по режиму, припадочный. Другой майор, кум... Слушай, давай его уберем, суку?

— Кого? — спрашиваю.

— Кума. Нас двое, две головы — не придумаем?.. У меня с ним была встреча на больничке... Мне бы его на воле встретить...

— Выходит, он тебя сюда отправил? — спрашиваю.

— Ну, отправил. Я таких видел, они за мной всю жизнь ходят, еще на сухогрузе, а на зоне!.. Много они с меня взяли? Хрен им меня прижать, а этот слизняк... Давай его спровадим?

— Ты что, Боря,— говорю,— мы под замком!

— Анонимку прокурору: живет, мол, со старшей сестрой?

— Не знаю, как его, ее первую выкинут.

— Да, не годится... Слушай, там есть сестричка, Леночка, такая киска... Напиши, что он ее — тянет?..

— Ее еще проще выкинуть.

— Пес с ней, ей только польза, последнее дело здесь работать — что с ней через год будет, из нее тут такую сделают...

— Я, Боря, доносов писать не могу.

— Да?..

За спиной гремит дверь, вваливаются с мороза наши сожители.

— Глядя,— кричит Андрюха,— на месте, не тронули хату!

— Кому вы нужны, чижики,— говорит Боря,— чирикайте...

Он не отходил целый день, мне показалось — не в себе.

— Я тебе все расскажу,— говорит,— баба есть баба, им всем надо одно, и нам всем — одно. Но... Как бы тебе объяснить?.. Я две недели кантовался на больничке, а считай, целую жизнь прожил с ней, все ночи до утра... Муж у нее давно запился, где она его нашла — может, здесь подобрала, сколько тут мужиков, говорят, до десяти тысяч? Что я про нее знаю? Только что рассказывала и что сам увидел — а мне хватит! На всю жизнь. Да не надо на всю жизнь — она меня отсюда вытащит, понял? У нее кум, через него...

Тихо в камере... Какое тихо: радио бурлит, Андрюха с Васей играют, Пахом с ними, проходит курс, Петька прилип к Зиновию Львовичу, только Гриша молчит, читает, что ли? Тихо не бывает, по привык — *не слышу*...

— Я с ней вяжусь...— шепчет Боря, лежим рядом на шконке,— здесь, на корпусе. Лидка-врачиха, ее кентовка, ты знаешь, она тебя вызывала, врач — запомнил?

— Помню,— говорю,— красивая женщина.

— Что ты понимаешь, ты бы на Ольгу поглядел. Разве что оголодаешь, не на такую будешь смотреть: кольца, глазками моргает, интеллигенточка... Я, думаешь, куда на вызова хожу?

— Куда?

— К ней, к Лидке, в нашем корядоре. Пашка редко приезжает, и не его следственный, у него Генка, а тот на Бутырке, моему следаку я не нужен, он свое сделал, ждет суда, когда Генку оформят. Лидка вызывает, мне, вроде, продолжать курс лечения, недолежал на больничке, кум, как узнал, вытащил, а у Лидки две комнатки — видал?.. Она в первой принимает, дверь всегда открыта, чтоб вертухай видел, а вторую закрывает — там Ольга и ждет... Я ей говорю: уедем отсюда, машину заберу, остальное Варьке, все ей оставлю, а деньги есть, я не зря пять лет на рефрижераторе, хватит, у меня дружок в Сухуми, дом купим...

— А возмездие, Боря?

— Что?.. Потом, потом, Серый, расплачусь. Мне б отсюда выскочить, не могу я пять лет, не вытяну, а меньше не дадут, у них кампания, всех стригут по этим статьям, не открутишься, если не Ольга, не майор... Обманут, думаешь? Обманет, сука...

— Так что ж ты хочешь? — спрашиваю.

— Я ее жду, понял? Обманет, не обманет, а когда встречаемся... Ну как тебе сказать? У нее, понимаешь... халат белый, она его расстегивает... Как придумали — халат в кровище! Верно, когда зашивала ночью, я ей не дал, не успела зашить... Ты что, говорит, халат испачкаешь! И смеется, стерва... Баба есть баба, Серый, я когда ей рассказывал — Сухуми, дом у моря, машина, деньги — глаза загорелись. Что она видела, даром что заметная, отчаянная... Спившийся мужик, мусорный, тюремная больница, гроши, доходяги голые задницы подставляют,— да не положено ей уколы делать, старшая сестра, она из-за меня!.. И этот кум, слизняк, мразь... А я мужик, она понимает, она таких не знала... Я его заставлю, она говорит, он все может, на крайний случай — поселение, на худой конец, зону поближе, посытней... Понимаешь, Серый, через кума! Значит, ей за то платить?

— Ты сам говоришь, за все платим.

— Мы платим, а когда за нас?

— Так и платим,— говорю,— другими расплачиваемся.

— И у тебя так было? — спрашиваeт.

— У каждого свое,— говорю,— это и есть грех, когда других втягиваешь, сам бы ладно.

— Верно! А тут все на мне: она мне добром платит, она для меня всем рискует, она собой... жертвует — так?

— Хитер человек,— говорю,— а Бога не перехитришь.

— Так думаешь?

Я промолчал.

— Ладно, Серый,— говорит,— так ли, не так, разберусь. Ты мне вот что... От нее уже неделю — ничего, и Лидка, сука, не вызывает. Напиши ей письмо, за меня, а, Серый?..

— Я — за тебя?

— Я ей твой телефон передал,— говорит,— помнишь, ты давал, боялся, меня уведут, чтоб не потеряться? И Пашке передал, чтоб они моей сестре, Вальке, сказали, Ольга с ней видалась, с сестрой. Кто-нибудь передаст, да оба — и он, и она. А Валька позвонит тебе домой, зайдет — и возьмет письмо, сечешь? Я и жду, вызовут, может, для тебя уже письмо...

— Мне гонорар, что ли? — спрашиваю.

— Я тебе все не хотел говорить, ты мне не веришь, а как получишь... Ладно, зря сказал. Напиши, Серый, ты писатель, напиши так, чтоб она поплыла! Чтоб ей света в окошке без меня — не стало. Тогда она на уши встанет, придумает, кума за глотку, заставит...

— Как же я напишу,— говорю,— я ее в глаза не видел — что я про нее знаю?

— А я тебе письма, у меня — гляди...— он лезет под матрас, достает тетрадку.— Ты поймешь... Этот ублюдок балаболил, она, мол, скальпелем. Да не он придумал, у него одна извилина... Не было того, но... Пойми меня, у меня этих баб, как волос, у меня Варька — пять лет буду мотать на зоне, знаю — никому, ни с кем! А мне скучно дома — понял? А эта, Ольга... Могла, понимаешь — смогла бы! Если б что не так, если б... скальпель в руке — полоснула бы и ни о чем, что будет дальше, не подумала. Потому верю — она меня отсюда вытащит, не знаю как, чем кто заплатит, но...

— Хорошо,— сказал я,— попробую. Давай письма.

10

Попался, думаю я, неужто попался? Так просто, дешево, безо всякого сопротивления, сам, своими ногами, собственной охотой... А как еще бывает? Раскаленное железо, дыба, игла под ногтями... «Кому вы нужны, чижики, чирикайте себе...». Никому я не нужен, сам иду навстречу, сам хватаю, что подбрасывают, а *он* смеется, веселится, доволен — легкая добыча, простая работа, и мудрить не надо: размяк, рассоплился, душа играет, всем тягость, а мне хорошо, всем тюрьма, а мне — зимовка, скучно —

болты мешают, а так бы до конца срока, возьмите *меня*! А меня и брать не надо, сам отдался, мне и сулить не обязательно — я и так готов.

Как в черной вате, как в страшном липком сне — ни ногой, ни рукой, где я — разве это я? А ты думал — кто такой?

Висит камера меж небом и землей — светло, чисто, сухо, сытно, все неудобства, что вмяты в железную дверь болты — шесть на шесть, блажь у меня, глядеть не могу; изучил камеру, каждую щербину знаю, каждая плитка на полу — знакома, раз в неделю, в очередь, скребу шваброй, было время изучить. Целую жизнь здесь прожил, другой не надо, выдержим, не пугайте... А тебя никто пугать не собирается, зачем, без того растерян, раздражен, дергаешься... Отдал первородство, ни за что, ни за похлебку, по жалкой душевной слабости, чтоб кусок посочней — все дружки: Серый да Серый, а не насторожило — почему все, и те, кто готов сожрать друг друга — и они?..

Меж небом и землей... А задумался над тем — что́ оно, твое *небо*?.. Видимая сквозь решетку, сквозь ржавую железную сетку над мерзлым двориком лазуревая бездна воздуха, разве она — Небо, а не пристанище для низвергнутых с истинного Неба духов злобы поднебесных? Принял, сам впустил в себя, теперь опоминаешься, когда рвут когтями, когда стал задыхаться... Белый халат в крови, дом у моря, черная длинная машина — «иномарка», мерзкий донос, анонимка, шепот кума, липкая страсть за спиной вертухая, пальмы, цветы... Камин, камин не забудь, Серый, а в нем сандаловое дерево, пылают поленья, сечешь запах, было, будет, мраморная доска, а на ней коньяк, виски, слыхать, как бьет прибой у решетки сада, южные звезды над горами, над *своим* пляжем, а эту уберем, пес с ней, ее все перепробовали, а у этой в руке нож, скальпель, она у кого хочешь душу вынет, а девочка плачет, забыть не может общее свидание, личняк, а кум ухмыляется, висит рыбка на крючке, не сорвется, заглатывает, я ему покажу сытную зону-поселение, он у меня попадет куда надо, и ты мне за любовь заплатишь, за смех за моей спиной заплатишь, сапоги будешь лизать, а может, и письма — ему, куму: мне не забыть твоих рук, твоих глаз, у нас все впереди, еще не то будет, распустишь волосы, а сквозь них золотые звезды на черном небе, а под нами влажная галька пахнет морем, песок скрипит под волной, скрипят сосны, а на той сосне еще крючок — для писаки, вымажем чистенького в говнеце, чтоб запашок, не отмоется — зачем с ним мудрить, тепленький, сам приполз... «А то была история, шоферил в воинской части, гоню утречком по шоссе, голосует, садись, не жалко казенной машины, гляжу — поп, во, думаю, пассажир, то-се, мужик в норме, борода да крест на брюхе — балабол, как все, заедем, мол, в гости, стакан налью, с нашим удовольствием, а дома попадья, а на столе чего-чего нету, от печки к столу — щеки красные, сиськи прыгают, как футбольные мячи, не стакан, до темна гуляем, а у нас, говорю, сегодня фильм новый, отпустил бы, святой отец, матушку, не все ей время у печки, а мне что, говорит, если управится, уберет, вымоет, к утру пироги да пышки, управлюсь, уберу, напеку — и в машину, да недалеко, в лесочек, и с той поры до белых мух — он в церковь, а она в лесок...».

Кто виноват, кто принял духов злобы поднебесных, кишмя кишащих в чистой светлой хате — меж небом и землей? Незанятый, выметенный, убранный дом — тогда идет и берет с собой семь других, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого...

В чем была ошибка, думаю я, начало, шаг в сторону, где перепутана тропа, оступился, скользнул, а теперь — вниз, вниз, теперь вихрь, не выбраться, если Бог не поможет, сам — ни за что, куда мне — помоги, Господи, помоги!.. Отказался от прежней жизни, забыл, затер, вычистил, вымел дом — а чем заполнил, чем *заселил*? Отказался от того, что все равно забрали — но зачем забрали, ради чего? Чтоб впустить в пустой, выметенный дом — кого впустить?.. Помилуй меня, Господи, и спаси! Что ж и о том забыл, что умерло во мне, воскресая, слабый росток, а в нем воскресшая жизнь, что́ рядом с ней слепая, все сжигающая страсть, перепутано добро и зло, не отличишь — кровь, грязь, отчаяние, измена, предательство, сентиментальная корысть, душевная расслабленность, жажда урвать, не прогадать, не упустить сейчас, завтра — не надо... Вон они, рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне — надо мной, во мне! Нет злодеяния, чтоб они не зачинщики, преступления, чтоб не участвовали, так ли, сяк — разберемся!..

Я давно обратил внимание: стоит возле левого клироса, всегда на одном месте, черный платок до бровей, строгое лицо, ничего лишнего,— *своего* — чистая красота. Однажды столкнулись глазами... Нет, подумал я, еще не все *отдала*: переменчивые, глубокие, тают, плывут... И еще, и еще. И еще раз: подходит к священнику после службы, вынимает из сумки — этюдник! — завернутое в белую тряпицу — икона!.. Осенью, за три месяца до *того*, сошлись в дверях, на паперти, старушка поскользнулась, покатилась со ступеней, вместе подняли: «Куда вам, матушка?» — и голос живой, звонкий. Вместе шли, через два переулка, на пятый этаж... А потом вниз вместе,

а потом по улице вместе, а там — до утра. Нина. Я ничего не знал о ней, до сего дня — не знаю. Я ничего не хотел знать, мы больше молчали. Сколько раз видались — три, четыре... Пятый — последний. Сегодня я не могу гулять, мне за город, говорит, кой-что забрать.— Возьмете меня?.. Глубокая осень, ноябрь, мерзлая земля со снежком, заколоченные дачи, голые деревья, стылые комнаты... Стемнело, света не было, трещали дрова в печке, на столе свеча...

Что это — было, приснилось? Из какой жизни — из той, что была, что будет?.. Мне ничего здесь не нужно, сказала она, я вас обманула, вокруг никого, только печка, свеча и нас двое... Она развязала платок, на белой стене, над ее головой поднялось темное пушистое облако, глаза у нее по-детски круглые, в них дрожит пламя свечи. Я видела: ты меня ищешь, ждешь, а я здесь, я сама тебя ждала, но... будь великодушным, Вадя, я не могу, не смогу тебе отказать ни в чем, но прошу тебя, будь великодушным — хорошо? Так теперь не бывает, я знаю — смешно, нелепо, но давай... не так, как теперь? Пусть Бог решит за нас. Давай встретимся через... три месяца, если... Бог того захочет... «Огненного искушения, сказала она, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да...» Дальше я не помнил, а она проговорила до конца, до точки. «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да...». Нет, не могу вспомнить.

Три месяца кончились в тот день, когда мы с Митей повезли сестренку в родильный дом. В церковь я не пошел. Наше последнее свидание не состоялось. Не было его. И ничего не было?..

Мы гуляем в промерзшем дворике, нас трое: Пахом, я и Гриша. Зиновий Львович и Боря остались в камере, Андрюха на вызове, Петьки и Васи уже нет. Петька не вернулся: «Может, кого из вас на Пресне дождусь? Не забывайте Звонаря!..» — и сгинул. Вася пришел после первого дня трибунала, прокурор запросил три года — три года без месяца на Дальневосточном флоте, а теперь еще три сухопутной зоны. «Смотри, Вася, больше не заскучай»,— сказал я ему. «Теперь все,— говорит,— отстрелялся: и служба, и тюрьма, что осталось? Жениться осталось!..». «Я рад, что тебя увидел, Серый...— сказал он,— А ты поаккуратней, много говоришь, не верю я ему, болтал — на Кубе они пряжками дрались, откуда у них пряжки, нет их на торговом флоте...». Еще штрих к портрету, думаю.

И вот мы втроем во дворике, холодно, топчемся на пятачке, хозобслуга скалывала лед, развалили, забили дворик, не походишь. Гриша забрался на кучу, ухватился руками за ржавую сетку, глядит в небо — что он там видит в прозрачной бездне — духов злобы поднебесных?..

— У меня к тебе щекотливый вопрос, Вадим,— говорит Пахом...

Телогрейка, кирзовые сапоги, уши опущены, подвязаны, очочки запотели. Я таких не видел, и на воле не знал, не пришлось. А жаль, мне было бы на пользу. Думал, таких нет. Нормальный мужик, как теперь говорят, немолодой, под пятьдесят, хозяйственный руководитель; спокойный, видать, деловой, энергичный, сдержанный, несомненно знающий, с образованием — агроном; из глубинки, а работал в Москве, не великая должность, но все-таки — генеральный директор объединения, плодоовощные «точки» в нескольких московских районах. Среднее звено, как говорится. И не карьеру делал, как я понял, работал себе и работал: агрономом, директор совхоза, чиновник в управлении, в министерстве, потом генеральный директор. Он много говорил со мной, свободно, но я понимал, знает, о чем можно говорить в камере. Картина из его рассказов складывалась ужасающая: невообразимый, разболтанный, разваливающийся хаос, в котором никто уже ничего не мог понять и невозможно хоть что-то сделать. Хотя будешь честным, как князь Мышкин и самоотверженным, как Дон Кихот — да что там Мышкин с Дон Кихотом сделают в нашем хозяйстве, вконец его развалят. Пахом не наживался, в камере человека сразу видно: как держится, одет, какие передачи, что рассказывает о доме, по случайным словам — вырвалось бы, проговорился, как бы ни был хитер и сдержан, все *выкупаются* ... И жил где-то за чертой Москвы, хотя и генеральный, в тесной квартирке с женой и дочерью на выданье, и заботы-тревоги самые мизерные... Они говорят «взятка», рассказывал он, приходит, скажем, состав со свежими помидорами, сегодня не разгрузишь, завтра другой сорт, а они не хотят разгружать, стрелять их, что ли? Ставлю коньяк. Или мне ставят. Взятка? А два раза коньяк — вторая часть статьи, до расстрела, а работать надо, с меня шкуру снимут. Да разве я мог бы поверить — за это в тюрьму! Никто не верил, пока не стали брать десятками, а по Москве теперь тысячи, вся хозяйственная Москва сидит, тысячи коммунистов, как в тридцать седьмом году... А ты знаешь про тридцать седьмой год, спросил я. А как же, говорит, я с этим родился, у меня год рождения тридцать седьмой и в том же году отца убили. Трактористом был, мы воронежские. Идет из роддома, из райцентра, пьяный,

кренделя выписывает по дороге — сын родился! Навстречу милиция, из нашей деревни: ты что, говорят, такой-сякой, позоришь звание ударника труда, что, мол, Сталин сказал? А пошли вы, говорит, со своим Сталиным, надоели... Утром взяли и с концами. «Трантист», как у нас говорил один дед, его тоже в троцкизме обвиняли: какой, говорит, я трантист, это у нас Колька, он в метеесе работает, а я, мол, конюх, а его в зубы...

Есть люди, рассказывал Пахом, конечно есть, я хорошо знаю, нормальные мужики, работяги — поезда ходят, хлеб сеют, сталь и ту плавят, я на Урале работал, знаю. То и удивительно, что расписание существует, что сеют и плавят. Другое дело, как это все в натуре, но... Есть, есть нормальные мужики, они вместо того, чтоб бежать куда глаза глядят, сидят на своем месте, вкалывают, мозгами крутят, как бы и дело сделать и закон обойти, он им ничего делать не дает — а их сюда. Да разве нас надо брать, говорил Пахом, явно забывая где находится, но бывает, что и сдержанный человек не может остановиться, взяли меня — что у них изменилось? Я знаю, кого надо брать, но там закон не писан, до тех не доберешься. Ко мне один такой приезжал, хозяин Москвы, не второй, так пятый человек в государстве, всякое может случиться, он и первым будет... А меня мужики из управления предупредили за полчаса, едет, мол, навел марафет, въезжает, прошел по цехам, пожал руку, уехал. А к соседу нагрянул, тот ничего не знал, как снег на голову, а во дворе картошка, привезли, не успели убрать — он «чумовозом» по картошке, развернулся и в ворота. Что думаешь, не успел доехать до своей конторы, соседа сняли и из партии... А я теперь думаю, дурак я дурак, знать бы, я бы весь двор картошкой засыпал, пусть давит, сидел бы сейчас дома, в совхозе конюхом — не на нарах, не на зоне, расстрелять меня не расстреляют, вроде, не за что, а десять, как бы не двенадцать, мои. Ты что думаешь, те, кто на самом деле берут, да не коньяк, кто дворцы строит и на сафари ездит, кто развалил супердержаву — а ведь хлеб вывозили, ты подумай, весь мир кормила нищая Россия! Они и ездят в «чумовозах», вот кого брать, да руки коротки, кто их возьмет. Ладно, и говорить неохота, заканчивал Пахом свои социально-экономические рассказы.

И в камере он жил, как человек, приглядывался, покряхтывал, изучал УПК, играл в «мандавошку», а чаще в шахматы, научился «вертеть» ручки — любимое дело зэков в тюрьме: распускают нейлоновые тряпки, носки, рубашки, обвязывают цветными нитками стержень от шариковой ручки, завернутый в бумагу — любой узор: «Дорогой Наташе от Кости в день 8 марта не забывай помни...» Фирма.

Протирает очочки, глядит на меня холодноватыми глазами:

— У меня щекотливый вопрос.

— Давай,— говорю,— меня давно не щекотали.

— Ты веришь Бедареву?

Я вздрогнул, оглянулся на Гришу, он прилип к железной сетке.

— А почему ты меня спрашиваешь? — говорю.

— Ты с ним два месяца, спишь рядом, не разлей-вода.

— Все так, почему ж тогда меня?

— Тебе я верю,— говорит,— что-то про людей знаю.

— Если знаешь — зачем спрашивать?

— Экий ты уж,— говорит Пахом и улыбается, хорошая у него улыбка, морщинки у глаз,— с тобой надо проще. Как считаешь, можно через него передать письмо?

Вот оно что, думаю.

— Кому письмо,— спрашиваю,— коли ты мне веришь?

— Жене,— говорит,— мне край нужно.

— Это он тебе предложил? — спрашиваю.

— Нет, я сам попросил, вижу, бывалый, шустрый, все про всех, все ходы-выходы. Можно, говорит, есть канал.

— Если жене, чтоб успокоить, нормально, мол, жив-здоров...

— Нет,— говорит,— я не мальчик успокаивать, ее письмом не успокоишь. Мне *необходимо*, понимаешь?

— Я тебе вот что скажу, Пахом...— гляжу ему в очочки.— Мне Боря предлагал то же самое. Не я его просил, он предложил, мы кенты. Успокоить я бы хотел, но... Отказался.

— Почему?

— Я тоже не мальчик. Нет той самой необходимости.

— Понятно,— говорит,— а у меня... Ты тут два месяца и тебя ни разу не вызывали?

— Третий месяц. Ни разу.

— Странно. Что ж, для них УПК не существует?

— Я про них не думаю,— говорю,— не вызывают и слава Богу.

— А за меня сразу взялись, с первой недели. Следователь давит. Меня, как они говорят, шофер сдал, личный шофер, казенная машина. Парень влип, я его особо не стеснял, он делишки свои обделывал на машине, конечно, я виноват. А когда его взяли в оборот, покатил на меня. Личный шофер все знает, сидишь рядом, куда, с кем, а он такое наговорил, правда, с враньем так перепутано — я бы сам не разобрался. Знает он, что я от жены скрывал, а больше ничего, а они такой суп сварили — что ты! И это бы не страшно, отмоюсь, но они от меня требуют показаний на других, на нашего зампреда, в Бутырке сидит, на председателя исполкома — пока на свободе...

— Зачем? — спрашиваю.

— Не знаю,— Пахом вздыхает,— я не могу понять смысла, это, как снежный ком, избиение кадров. Нормальные мужики — и зампред, и председатель. Тут ОБХСС, мафия, им дела нужны. Или свою шкуру спасают, чтоб до них не добрались, у них много могли б обнаружить. Он откровенен со мной, следователь: давайте, говорит, показании, Пахом Михайлович, я все, что ваш шофер наболтал, при вас уничтожу, а нет... Вот о чем надо написать, людей предупредить. И чтоб жена адвоката нашла через председателя, она у меня простая баба, ничего не сообразит. И денег у нее нет, не нахапал, как твой Боря считает. У меня заначка от нее, три сотни припрятал. Я ремонт затевал, сложил кафель в уборной — и между плитками. Они на обыске все расшвыряли, пустые бутылки, дочка собирала — заграничные, и те позабирали, взятки я, мол, брал бутылками. А кафель не тронули...

Да, думаю, большой ты хапуга со своими тремя сотнями.

— Не знаю, Пахом, что посоветовать. Если б ты написал так, чтоб никто, кроме жены, ничего не понял...

— Если я так напишу,— говорит Пахом,— она точно ничего не поймет, следователь сообразит, он на это науськан, а она — нет. Считаешь, может попасть к нему?

— Тогда я бы на твоем месте не писал.

— Понятно,— говорит Пахом,— но у меня нет выбора, я уже отдал ему письмо. Он ждет, вот-вот вызовут — не сегодня-завтра.

— Отдал? Что ж ты мне...

— Для проверки, себя успокоить. Считай, успокоился.

11

Утро в камере начинается гимном. Шесть часов. Ржавый, дребезжащий, булькающий хрип — замшелый, отживший свое старик прочищает глотку, отфыркивается, отплевывается, отхаркивается...

— Да заткни ему хайло, падле! Кто там ближе?..

Никто не хочет вылезать из матрасовки, всю ночь тусовались, можно б еще придавить полчаса, а победный грохот зрелого социализма уже наполняет камеру.

На верхней шконке новый пассажир — Серега Шамов, ему и кричать не надо, люто ненавидит радио, всегда вскакивает с первым всхлипом проснувшегося чудища, сегодня замешкался — или заснул под утро? Поднимается под яркими потрескивающими трубками «дневного» света: глаз он продрать не может, кальсоны под брюхом, румяные щеки, встрепанный, всклокоченная рыжая борода — старообрядец из Горького. Со шконки — на умывальник, длинные руки тянутся к зарешеченному оконцу, крутят — и тишина! Для верности Серега смачно плюет в оконце и лезет назад, накрылся с головой одеялом.

Распахивается дверь.

— Выноси мусор!.. Кто придавил соловья? Включить!

— У нас неделю не работает. Каждый день базарим — хрипит!

— Проверим — совсем заберем. Включить!

— Напугал! Да забирай ты его, нам не надо!

— Да что ты с ним толкуешь, с псом — нажрался ночью, дармоед! Он в жисть ничего не подымал тяжелее стакана!..

— Заходи, касатик, мы тебе споем!

— А я тебе спляшу — давай!..

Вертухай не может войти в камеру, не положено без корпусного, кричи что взбредет в голову, он только отбрехивается, это уж так надо обозлить человека, чтоб затеял жаловаться...

— Подойди поближе!.. Шагай смелей, комсомольское племя!..

Вертухай с грохотом швыряет дверью, гремит ключ.

Никто уже не спит: кряхтят, кашляют, выползают из матрасовок, в очередь к умывальнику; Андрюха начинает зарядку.

— Сон приснился, — говорит Пахом, — мясо на бойне. Висят туши, а по ним зеленые мухи...

С верхней шконки свешивается рыжая борода:

— К покойнику сон. Если мясо тухлое, мухи...

— Шаман, — говорит Боря. — Твоя очередь убирать.

— С нашим удовольствием, — Серега садится на шконке, свесил ноги с черными пятками. — У нас, братцы, такая была дома история, собрался я помирать...

Он как вошел в камеру, я понял — другой, ни на кого не похож: лицо открытое, спокойное, глаза веселые и борода до пупа. Не во внешности дело, я уже знал,

каждый по-своему входит в камеру, первое дело — войти, многое определяет, а потому так внимательно смотрят на нового пассажира: что за человек, откуда пришел, зачем его сюда кинули — случайность? — в тюрьме случайностей не бывает, накладка редко; кум ли для своих целей, под кого-то, проштрафился ли в другом месте, просто новоприбывший, определенный по режиму, или еще что. Надо понять в первые минуты, не ошибиться: можно ли давать ему место на шконке, принять в «семью», кушать вместе за дубком; возьмешь неведомо кого, а он кумовской, «ветух» — и пополз по тюрьме шопоток: «В такой-то хате взяли в семью...». И вся камера под подозрением. А потому каждый, кто входит, если не полный лох, знает, первые минуты решат его судьбу, а может, и не только здесь, и на зону потянется ниточка. Потому все так в первые минуты напряжены, собраны, особенно кому есть что скрывать... Не скроешь, как бы ни был хитер, слишком много глаз со всех сторон.

Серега Шамов сел за спекуляцию. Ехал он к себе в Горький из Ростова, взял на Казанском вокзале носильщика, а тот оттащил неподъемные чемоданы в ментовскую. «Килограммов сто, — рассказывал Серега, — носильщик сразу врубился. Икра».— «Черная?» — ахнул Андрюха. «Минтай»,— сказал Серега. «Кто ж у вас в Горьком минтая хавает?» — «В Горьком, сколько себя помню, да и до меня, мать говорила, всегда жрать нечего, — рассказывал Серега, — там чего хочешь возьмут, а за минтайской икрой по десять рублей поллитровая банка — в драку». «Я не первый раз езжу, — рассказывал Серега, — в Ростове у меня и магазин, и продавщица знакомая, сразу сто килограммов — и пошел. Сестру взял в помощь, а какой толк от бабы, только на билеты потратился, все равно надо носильщика, я ж не знал, что он не одной тележкой подрабатывает...» Развели Серегу с сестрой по разным «комнатам», оба доложили: и сколько раз ездили, и где в Ростове магазин, и как зовут-величают продавщицу, и почем в Горьком идет минтай на базаре. «Что ж ты сестру сдал?» — спросил Боря. «Так она сама наболтала, их там пять человек, со всех сторон, все знают, не отбрешешься. Да ладно, сестра, отпустили ее, у нее дети малые... Тут не сестра, куда вы, говорю, икру денете, протухнет, я вон как домой спешил... А то, мол, не твое дело. Я обозлился и прям из чемодана, руками — да разве сжуешь сто килограммов?..» — «Да,— сказал Боря,— коммерсант. Теперь они у тебя дома закусывают». — «Как они ко мне попадут, я не в Москве живу».— «А паспорт был с собой?» — «Что ж они, в Горький поедут?» — «Да,— сказал Боря,— с тобой не заскучаешь. А дома есть чего поискать?» — «Есть,— сказал Серега,— только им не найти, у меня под матрасом деньги...». Большое было веселие в камере от его рассказов.

Но на самом деле Серега был не так прост. Работал он сторожем на каком-то заводе и прислуживал в старообрядческой церкви — убирал, читал, алтарничал, хотел стать священником, но батюшка не благословил. «А икрой спекулировать благословил?» — спросил я. «А что икра, — сказал Серега, — в Ростове есть, а у нас нет, кто не хочет покупать, пусть сам едет, они мне спасибо говорят за десять рублей, только давай.» — «Так он знал, твой батюшка, куда ты едешь, — не отставал я,— каково ему теперь, когда ты в тюрьме?» — «А он тут при чем? Нормальный бизнес, — сказал Серега, — надо не в тюрьму сажать за это, а чтоб жрать было чего, надо хлеб сеять да не гноить, свиней держать и рыбу ловить. А у нас семьдесят лет за спекулянтами охота, будто оттого, что они план по спекулянтам выполнят, у них чего вырастет». — «Это называется политэкономия», — сказал Пахом и поглядел на меня. Я промолчал.

Нет, Серега совсем не прост. Не то чтобы его простодушие было маской, но он знал ему цену и пользовался им прямо артистично. Такая домашность была в его открытой улыбке, нижегородском говорке, в безотказной и неназойливой услужливости без тени заискивания. Первым делом Серега добела отскоблил стол — дубок, отдраил сортир и раковину, и все это, не переставая сыпать истории, в которых сам он неизменно оказывался в дураках. Полная неожиданность для камеры.

Мне было любопытно, как сложатся у него отношения с Борей. И тут я опять ошибся. Боря в него прямо вцепился, мне показалось, он даже про меня забыл, первые дни не отпускал Серегу гулять, учил как вести себя со следователем — отказаться от первых показаний: «Скажешь, заставили, запугали, запутали!» — «Так и было», — улыбался Серега. «И на суде вали на ментов, на следака, — говорил Боря, — они сами, мол, сочинили. А ездил в Ростов, потому в Горьком жрать нечего, семья большая, сто килограммов вам как раз на пост хватит, в церкви бесплатно раздаешь. И сестру отмазывай, она, говори, родных в Ростове навещала, к врачам ездила, придумаешь. Если вас двое — это группа, больше тянет, а у сестры дети, или ты ее посадить хочешь?..» Боря вдалбливал Сереге свою версию, и хотя была она шита белыми нитками, стоять надо было на ней и ни на какие уговоры-угрозы не поддаваться. «Другого выхода у тебя нет»,— говорил Боря.

Но меня Серега Шамов интересовал с другой стороны: я первый раз видел живого старообрядца — не из книжки, не по рассказам, современного парня да еще

в такой крайней ситуации. «Вот это верующий человек, — говорил Боря, явно в укор мне, — ему везде хорошо». Серега был совершенно спокоен, весел, ровен, будто и не занимало его, как у него сложится — как Бог даст, и это было настолько непохоже на остальных-прочих, стоило задуматься. Все, кого я видел до сих пор, *гнали* — кто откровенно, не пытаясь скрыть от окружающих, кто надрывно-беззаботно, пряча от себя ужас перед будущим. Серега ни о чем таком не говорил и, казалось, не думал, хотя явно не был человеком легкомысленным. Он крепко спал, с аппетитом съедал все, что ему давали, наводил чистоту в камере, не щадя себя, потешал нас байками, а перед сном, забравшись наверх, подолгу молился. Он внимательно глянул на меня, когда я перекрестился перед едой, перекрестился двумя перстами, но это был единственный раз, больше он на виду не крестился и всегда уединялся для молитвы. Мне показалось, он не хочет молиться вместе со мной. Однажды Боре удалось втравить нас в дискуссию — «како веруеши»: Серега был по-сектантски непримирим, говорил о Православии с презрением, насмешкой — «обливанцы», прочитал длинную поэму об Аввакуме, а на мои слова о Серафиме Саровском пожал плечами: «Нет такого». Меня поразило, что такой укорененный, церковный человек не знает Ветхого Завета, духовный смысл Евангелия для него как бы не существовал, хотя тексты он знал наизусть. Мертвая, замкнутая в себе безысходность веры, как бы изолированная от жизни и никак ее не оплодотворяющая. Вера сама по себе, а жизнь сама по себе. Голая традиция, обряд, буква. И одновременно такая органика внутреннего состояния, словно бы никак не зависящая от внешних обстоятельств. Было о чем подумать. Ко мне он приглядывался, думаю, не верил или не мог понять, хотя порой казалось, мы без слов понимаем друг друга и есть нечто внятное только нам двоим в камере. Я был очень рад его появлению, стены как бы раздвинулись, а у меня имелся к нему интерес и вполне корыстный: я надеялся, он запишет мне молитвы, псалмы,— кроме «Отче наш» и «Верую» я ничего не знал.

— ...Собрался я помирать,— начал Серега,— простыл на трудовой вахте, прохватило на проходной, сквозняк, комсомольцы шастают туда-сюда, хотел замок повесить, чтоб не ходили — недовольны, им надо план выполнять, а я стой на ветру.

— Тяжелая твоя болезнь, — говорит Боря.

— А как думаешь? Сорок температура, ни охнуть, ни вздохнуть и сон привиделся — поганое мясо, тухлое. Положили в больницу, а мне еще хуже. Пусть, говорю, сестра придет. Приходит. Ой, говорит, мой Феденька по тебе так скучает, переживает!.. А Феденька — племяш, стервец набалованный, пакости мне строит, себе на беду выучил его стрелять из рогатки, пусть, думаю, мальчик резвится. Я из дома, а он железками по моим иконам, всем глаза повышибал. Отодрал, конечно. Сестрин муж на меня с кулаками. Я ему говорю: если из вас кто еще хоть раз войдет ко мне в комнату, выкину из квартиры — с вещами. Я в квартире старший. Утихли.

— Большой ты христианин,— говорит Пахом.

— Без строгости нельзя, — Серега качает голыми пятками, — это первое дело. Повесил замок, а он, стервец, что придумал — из горшка под дверь льет.

— Талантливый ребенок, — говорит Боря, — любит тебя.

— Смекалистый. А тут скучает! Ишь, думаю, учуяли, чем пахнет. Я ей говорю: помираю, сестра, хочу оставить деньги, зачем они мне — гроб обклеивать, сгниют. Спасибо, говорит, мы их уже нашли. Где нашли? Федька, мол, под матрасом нашел. Я ж ему не велел в комнату заходить? Так ты, говорит, помирать собрался, все равно в комнату вносить. Ладно, думаю, вон вы как со мной, а сам говорю: ты эти деньги мне завтра принеси, они на текущие расходы, а настоящие деньги... И тут мне так стало денег жалко, в глазах потемнело. Она надо мной наклонилась, решила — конец: «Где, — спрашивает, — деньги?» Глаза у нее сонные-сонные, я другой раз толкну в бок — чего, мол, спишь? А тут из глаз огонь. Э, думаю, — а вдруг не помру? Ладно, говорю, приходи завтра, до утра продержусь. Может, помрешь, говорит, рассказывай сегодня, завтра мне некогда, на базар идти. Твоя печаль, говорю, найду кому отдать, а может и там деньги нужны — кто знает?.. На другой день просыпаюсь — ничего не болит, дышу, прошелся по палате, подошел к окну — бежит моя сеструха, торопится. Живой! — кричит, — успела, давай рассказывай — где? — и глаза горят, как вчера. А зачем я тебе буду рассказывать, если я живой, они, мол, мне самому пригодятся.

Что думаете? Плюнула — и в дверь. Очень на меня обозлилась.

— Где ж у тебя деньги? — говорит Боря.

— В деревне, у бабки. Сто лет будут искать, пусть из Москвы приезжают с собаками, хотя бы этого взяли, как его?..

— Штирлица, — говорит Гриша.

— Да хотя бы и Штирлица. Не видать им моих денег.

— А батюшка знает? — спрашивает Боря. — Не мог же ты от него скрыть — на исповеди?

— Я не перед батюшкой, перед Богом исповедуюсь, — говорит Серега. — Богу про это говорить лишнее. Он и без того знает.

— Хитер! — говорит Андрюха. — А из-под матраса отдала?..

— Что-то, мужики, хлеб запаздывает, — перебил Пахом, — рано встали? Включили б радио. Давай, Серега, у тебя получается.

Серега лезет на умывальник, крутит, забулькало — и хлынула музыка, густая, мрачная, за душу хватает.

— Что это они? А где «Зарядка», «Пионерская зорька»?..

— «Последние известия» должны быть...

А музыка гуще, страшней: Шуберт, Чайковский, Шопен...

— Братцы, — говорит Пахом, — не иначе, покойник...

Боря стучит кулаком в кормушку. Открывается.

— Чего хлеб не даете?

Кормушка захлопнулась.

— Может, наши в городе? — говорит Андрюха.— Лезь, Гриша, на решку, кто там на белой лошади?..

Сидим за дубком, глядим друг на друга.

— Точно помер, — говорит Пахом, — только кто?

— Хорошо б главный,— говорит Андрюха, амнистия должна быть...

— Амнистия была один раз, — говорит Зиновий Львович, — второго не будет. Мало нахапали.

— Неужто мало? — Пахом удивляется. — Забита тюрьма.

— Амнистия им! — Боря раздражен, — в тюрьме всегда — амнистия, к восьмому марта и то ждут.

— Я в сорок девятом сидел в Бутырке, разве сравнишь, тогда было много!.. — Зиновий Львович качает головой. — Нет, мужики, вам не обломится, все из одной колоды, не передернешь.

— Колода всегда одна, — говорит Пахом, — тогда разве другая? Но была ж амнистия?

— Я в те карты не играю, — говорит Зиновий Львович, — это ты, Пахом, сдавал, пока самого не сдали.

— Что ж они, кормить нас не будут до амнистии? — говорит Андрюха.— Ломись, Серега, в дверь, ты дежурный!

Серега стучит ногой. Дверь открывается, на пороге корпусной, вертухаи, кто-то еще. Проверка.

Корпусной шагает в камеру, глядит на нас. Молчит.

— Командир! — говорит Боря. — Когда жрать дадут?

Корпусной повернулся и вышел. Дверь грохнула.

Боря побелел, лезет на решку...

— Тюрьма!! — кричит он. — Я два шесть поль! Нам жрать не дают! А у вас как?!.

Издалека, как в колодце, бухает:

«Не дают!..» «И у нас!..» «И нам!..» «И нам!..»

Наконец, гремит кормушка. Баландер. Андрюха принимает хлеб, шленки с «могилой».

— Что там, браток?

— Крякнул. А кто не говорят. Туда-сюда, как тараканы...

— Может, отпустят?

— В каждой хате одно — отпустят!.. Давай еще шленки — налью!

Все возбуждены, гремят ложками.

— Нет, должно что-то быть... Должно! — кричит Андрюха.

— Ну дураки, — злится Боря, — если что изменится, вас всех перестреляют, кому вы нужны на воле? А если отпустят — одного из всех. Из всей тюрьмы — одного.

— Кого? — спрашивает Гриша.

— Тебя при любой погоде шлепнут. А если забудут, я пришью.

— Кого ж одного?

— Надо мозгами шевелить, — говорят Боря. — У нас один политический — Серый. Его могут отпустить, если это серьезно.

— А что,— говорит Пахом,— резонно. Но если с него начнут, и до нас черед дойдет. По логике, по нормальному здравому смыслу, если захотят хоть что-то менять...

— Верно! — горячится Андрюха. — Как не менять! Мы видим, нам известно, что ж они того не знают? Больше знают, лучше!

— Зиновий Львович, да скажи ты им, дуракам! — Боря поднимается из-за стола, лезет на шконку. — Зла не хватает!

— Мало сидишь, щенок, здесь ничто не изменится — не может! — Зиновий Львович назидательно поднял палец.

— Да ведь каждому ясно, — не сдается Андрюха, — в какой области ни возьми, в любом хозяйстве — нельзя так больше жить!..

— Пахома спроси, — говорит Боря со шконки, — ему все ясно, а выпусти его — он о тебе вспомнит? Да зона ничуть не хуже ихнего министерства! На зоне у кого зубы острей — тот жрет, а у них, у кого язык приспособлен, длинней — лизать. А не все равно?..

— Тихо! — кричит Гриша.

Замолчали. И радио молчит. И тюрьма молчит — слушает.

«От Центрального Комитета... От Президиума Верховного Совета...»

— Давай, давай!..

— Тихо, суки!..

«...с глубоким прискорбием... после тяжелой болезни... Генеральный секретарь... Председатель Президиума... Имярек...»

Пауза. Будто набирают воздух в легкие... И стены дрогнули:

«У-рра!!!» — ухает в колодце. — «У-рра!!» — где-то рядом...

— У-рра! — ревет камера.

Боря сидит на шконке: красный, потный, рот еще открыт.

— Тюрьма проголосовала, — говорит он. — Ну и славно.

У нас он кричал громче всех.

Мы гуляем во дворике, на крыше. Всех выгнали из камеры, даже Зиновия Львовича подняли первый раз за все время. Вертухаи ходят над нами, обычно один, редко двое, сейчас — пятеро и офицер.

— Переполох в их тараканьем царстве,— усмехается Боря.

— А чего они боятся — убежим?

— Я бы убежал, — говорит Андрюха, — а как?

— На трубу, — говорит Серега, — во-он лесенка, видишь?

— А дальше куда?

— Хоть покричать.

— Хорошо покричали, — говорит Пахом, — от души.

— Теперь до следующего раза.

— Если опять старика поставят, недолго.

— Там молодых нет, молодые все здесь.

— Есть один, — говорю, — твой ровесник, Пахом, чуть старше.

— Знаю я их, — говорит Пахом, — и чего от них ждать известно, как бы кто по старому не заплакал. Хотя хочется верить...

— Пес с ними,— говорит Боря,— старый ли, молодой, одним меньше, а нам все равно мотать срок.

— А все-таки хорошо, — улыбается Гриша, — когда вся тюрьма...

— А ты покричи,— говорит Боря,— может, еще кто отзовется?

Гриша не думает, лезет на кучу льда, берется за сетку... Стаскиваю вниз.

— В карцер захотел?

— Пожалел, — Боря прищурился на меня, — а выпустят, вспомнишь? А ведь точно — выпустят!

И я чувствую, что-то во мне дрогнуло, я же знаю, понимаю — никогда не выберусь, не выйду, нет амнистий, быть не может, а если будет, не для меня... Но — по логике, по здравому смыслу, по...

Черная дверь дворика исписана сплошь — ручками, карандашами, чем-то острым: «Два месяца в 249 Тенгиз», «Прокушев тварь кумовская!» «Федю кинули на общак», «Вася! Ты мне друг до смерти»...

— Говоришь, лесенка на трубе? Верно... — Боря сидит у стены, на корточках, курит.— Летом один пролез через сетку, по крыше — и на трубу. Днем было, гуляли, видели. Вертухаев набежало — море. А он кричит: «Если кто полезет — спрыгну!». Притащили сеть, а боятся — сиганет мимо, на улицу, скандал. Сам Петерс вылез на крышу, уговаривал через мегафон, что ничего ему не будет...

— Слез? — спрашивает Серега.

— Куда денешься. Здравый смысл — так, что ль, Пахом?

Пахом не отвечает.

Читаю на черной двери: «Если выйдешь, скажи матери, что я...» — дальше замазано. «Коля! Коля! Коля! Держись я в отказе!..»

Вертухай проходит над двориком, глядит на нас.

— И через пятьдесят лет, посмотришь, тут то же самое будет, — говорит Боря.

— Кто будет смотреть — наши дети, и они тут окажутся? — спрашивает Андрюха.

— Внуки. Ничего никогда не изменится.

— Зачем тогда кричали — чему радовались?

— Все равно приятно. Один сдох.

— А ты, Вадим, тоже ни на что не надеешься? — это Пахом. — Считаешь, исключено?

Я ловлю в себе смутную мысль, она зрела, рождаясь из чувства, Боря разбудил ее нелепой, пустой уверенностью — не надеждой, уверенностью!.. Вот она...

— Был царь на Руси, — говорю я, — Борис Годунов, а у него сын Федор. Царь был настоящий, законный, хотя коварством и хитростью захватил власть, а потому боялся за сына. Позвал его перед смертью...

Еще один вертухай медленно проходит над нами, прислушивается.

— Ты с малых лет сидел со мною в Думе, — говорит сыну Борис Годунов. —

Ты знаешь ход державного правленья;
Не изменяй теченья дел. Привычка —
Душа держав. Я ныне должен был
Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял...

— Как, как?.. — говорит Пахом: — «Я должен был восстановить опалы, казни... Можешь их теперь отменить»?

— «Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская...» — договариваю я.

— Вот он, государственный здравый смысл, — говорит Пахом, — может, кто сообразит, прочтет ему про Годунова?

— А чем там кончилось? — спрашивает Боря.

— Плохо кончилось, — говорю я. — Царь помер, сына убили, а народ промолчал.

12

Я понимаю, что потерял необычайно важное, дорогое, не наработанное, незаслуженное, а мне подаренное. Потому и потерял, думаю я, что оно не свое, мне подарили, как поощрение, в надежде, что пойму его ценность и ни на что не променяю, ни за что не отдам, а я растратил, расточил... Нет! Мне дали в рост, думаю я, вот в чем духовный, евангельский смысл того, что со мной произошло: мне дали *талант*, который следовало приумножить, а я закопал его в землю, потому *Хозяин*, придя, отобрал и отдал кому-то другому. Может быть Сереге Шамову?.. Не мое дело — кому. Мое дело вернуть, вымолить, отдать все, что осталось, лишь бы вернуть, получить снова... И я пытаюсь восстановить в себе это ни на что не похожее ощущение... Мне не за что зацепиться, в моей жизни ему нет соответствия, я не могу постичь, что оно означало. Но оно было, было! Осталось во мне, как мгновение безмерного счастья, проливавшегося на меня на *сборке*, в надсадном дыхании, хрипе бежавших рядом несчастных людей, и там, в нескончаемых гулких коридорах с черными глухими дверями — я был на самом деле счастлив той полнотой любви и радости, которая льется уже через край... Как это вернуть?

Мне *скучно*. Мне просто надоело. Все в камере раздражены и я раздражен. Андрей — гонит, Пахом — гонит, Гриша ухнул в яму и пускает пузыри, с Зиновия Львовича сползло спокойное над всеми превосходство, он открыто презирает нас всех, едва сдерживается; Боря тяжко, глубоко зол на весь белый свет, запутался, с каждым днем путается глубже, безысходней — где он настоящий? Один Серега — другой. Другой? Не знаю, я уже никому не верю, вижу хитрость, где ее и быть не может. Я одновременно — гоню, раздражен, ненавижу, во мне все, что так ясно вижу в других! Мне просто скучно! Сколько я слышал о тюрьме, сколько прочитал о тюрьме, всю жизнь, как себя помню, вокруг говорили о тюрьме — отцы, деды, братья, друзья: кого-то взяли, кого-то убили, кто-то не вернулся, сидит до сих пор, кто-то потек, ждет ареста... Допросы, пытки, блатные, голод, изуверство... Да ничего того нет! Заперли в сортире, дают вместо хлеба — глину, вместо чая — мутную теплую воду, вместо книг — макулатуру, вместо друзей — больные, изъязвленные, истерзанные, уставшие от самих себя несчастные люди. И все. Вот что такое тюрьма! Но и в сортире можно жить, привыкаешь, есть свои удобства; и глина — хлеб, с голоду не подохнешь, и чай-без чая полезен для здоровья. А люди?.. Те же самые люди, меньше читали, зато больше прожили. Одно и то же — скучно!

Я смутно понимаю: меня закружило в бессмыслице, пустоте, из нее нет выхода — о том же самом месяц назад... Чуть иначе, виток был больше, сейчас сужается, любой попыткой вырваться я ускоряю вращение — и уже вихрь! Тут и причина: не может быть, чтоб у всех так, а у меня эдак... Но я *доволен* собой — справился! Самое трудное — первые дни, месяц — справился! Остальное — быт, терпение, поскучаю, что поделать... А может, на этом все и срываются? — думаю я. Неужто такой пустяк ломает человека? У каждого своя *крыса*, вспоминаю я, а где *моя* крыса?

«Как так получается, — сказал Боря, — вы оба с Серегой нормальные мужики, вроде меня — чем я вас хуже? Почему вы верите в Бога, а я нет?» — «Почему?..» — сказал я. «Я не успел родиться, а про Бога услыхал, — сказал Серега, — у меня отец был священник. Наш. А ты, Боря, небось, в мавзолей ходил?» — «Ходил, — сказал Боря, — а чем он тебе не угодил?» — «Да по мне, хотя бы Троцкого туда положили», — сказал Серега. «Так вы антисоветчики, что ли?» — сказал Боря. «Мы с тобой о вере говорим, — сказал я, — а Троцкий по другому ведомству. Как получилось, что я поверил в Бога?.. Трудно... Не могу объяснить. А понять за тебя и того трудней... Священников у меня в роду не было и в мавзолей я тоже ходил. Просто я понял, что жить, как раньше, не могу, без Бога — не смогу. Понял, что жизнь тут не кончится, со смертью — не кончится. И это навечно, потом не исправишь».— «Ты, стало быть, будешь пряники жевать, а я на сковородке?..» — сказал Боря. «Едва ли, — ответил я, — мы с тобой говорили, да и нет там пряников». — «Если нет пряников, нет и сковородки», — сказал Боря. «И сковородки нет». — «Так что ж ты меня стращаешь? Однова живем, перетопчемся!» — «Я тебя не стращаю, — сказал я, — ты сам боишься, как и я — боюсь, а значит, наша душа знает, что с ней будет. Чует, плохо дело. Душа умная тварь, сказал кто-то». — «А что там плохого, если нет сковородки?» — «Эх, Боря, Боря, — сказал я, — который раз ты со мной все о том же самом! Разве случайно? Хорошо тебе сейчас?» — «Нормально». — «Кабы нормально, ты бы о сковородке не вспомнил. Крутит тебя. Сколько будет продолжаться — погорит и потухнет, через месяц, пусть через год — и не вспомнишь. Так иль не так?» — «Ну и что, всю жизнь я, что ль, должен...» — «Верно. А там вечно — понимаешь? Не десять лет срока, не пятнадцать и пять по рогам — навечно, всегда, и уже никакой амнистии, и на белой лошади никто не приедет». — «Ты тоже в это веришь?» — спросил он Серегу. «А как же, — сказал Серега, — потому мы и блюдем чистоту». — «Это как — блюдем?» — спросил я. «Ваших книг не читаем, на ваши иконы не молимся, щепотью не крестимся, не обливанцы». — «Гляжу на тебя, Серега, — сказал я, — слушаю, такая у меня, другой раз, тоска. И молитвы ты знаешь, и в церкви служил, а неужто душа у тебя не кричит и не корчится?» — «А чего ей корчится, мы чисты перед Богом, не как другие». — «Да разве хоть кто перед Богом чист? — сказал я. — Ты, Боря, спрашиваешь о вере, почему мне открылась. Я и сам не знаю почему, но понял твердо, особенно в тюрьме: вера не в том, чтоб крест нацепить на шею, хотя с крестом веселей...» — «Покажи крест», — сказал Серега. Я показал. «Хороший, — сказал Серега, — Андрюха выточил?.. Канатик надо длинней, чтоб до пупа доставал, а у тебя, как брелок, не гоже».— «Вот видишь, — сказал я, — будто Христос в этом — длинный канатик или короткий».— «А в чем?» — спросил Боря. «Есть в Библии одна история,— сказал я,— про Авраама... Ему было уже сто лет, его жене Сарре девяносто, а детей у них не было. Господь однажды явился им и сказал, что у них будет сын, а потомство, как песок морской. Сарра не поверила, засмеялась про себя, ей было девяносто лет и, как сказано там, обыкновенное у женщин у нее кончилось. А Авраам поверил: он знал, что обещания Божии непреложны, он верил Богу — во всем! — и это вменилось ему в праведность. И Сарра родила сына, Исаака».— «В девяносто лет?» — спросил Боря. «В девяносто. Понимаешь, как они его любили и тряслись над ребенком. Господь снова явился Аврааму и сказал: возьми сына своего единственного, Исаака, и принеси его Мне в жертву. Авраам рта не раскрыл, ничего не ответил: взял дрова, огонь и нож, посадил Исаака на осла и они три дня добирались до горы, где совершалось жертвоприношение. А когда доехали, оставили внизу осла и пошли наверх. А где агнец? — спросил мальчик отца. Бог даст агнца, сказал Авраам, сложил дрова, связал сына, положил поверх и занес нож... И тут он услышал...».

И тут я сам услышал свой голос — со стороны, и содрогнулся. В камере тихо, радио уже выключили, никто не спал: мерзкая камера, восемь двухэтажных шконок, зарешеченное окно, черная железная дверь, булькающий унитаз — и напряженные лица сокамерников. Вот где надо читать Библию, подумал я.

«...И тут он услышал голос,— сказал я: — Авраам! Вот я, сказал Авраам. И голос продолжил: не поднимай руку на отрока, ибо теперь Я знаю, ты боишься Бога и не пожалел единственного сына ради Меня. Оглянись — увидишь агнца. Авраам оглянулся и увидел в кустах запутавшуюся рогами овцу... Вот что такое вера, — сказал я, и мне показалось, я сам готов это понять,— не двуперстие-щепоть, не обливанцы-окунанцы, не длинный-короткий канатик, а подвиг веры... Отдать все, что есть, не деньги — какая разница, сестре или ментам, но все, что у нас есть, самое дорогое и ценное — Исаака! — чтоб ничего не осталось, тогда мы хоть что-нибудь, может, и поймем, выйдем на дорогу веры... В тюрьме это легче — понимаешь? У нас и так все забрали, а мы, видишь, как мудрим, ловчим, выгадываем...» — «Вон ты о чем...» — сказал он. «Ты ж спрашиваешь, что такое вера?» — «А сам ты все отдал? Покажи мешок — от передачи к передаче барахла больше...» — «В том и дело,— сказал я,— у меня сил нет, да разве в барахле... Но и это только начало» «А дальше что?» — спросил

Боря. «А дальше...— сказал я и почувствовал, как это мне трудно...— Дальше... я тебя должен полюбить, как самого себя. Ты меня, к примеру, вкладываешь, а я тебя люблю, потому что понимаю и мне тебя жалко...» — «Я — тебя?..» — Боря побелел. «Это я к примеру,— сказал я,— или мы думаем о вечности, о том, что там с нами и как будет, или какие у нас отношения с вертухаем, с кумом или следаком...» — «Тебя еще жареный петух и жопу не клюнул,— сказал Боря,— я погляжу о чем ты подумаешь...».

С каждым днем мне становилось с ним невыносимей: меня раздражала его самоуверенность, бесило хвастовство, разговоры о женщинах... Как он играл в «мандавошку»! В шахматы боится — верный проигрыш, а в... Как меня Бог любит, думал я, если б сунули в Лефортово, в камеру на двоих, месяц, три, год — с ним, нос к носу! Полюбить его, как самого себя?.. Господи, прости и помилуй меня грешнаго — долго еще Ты будешь терпеть меня?.. Я срывался на мелочах, на ничего не стоящем пустяке, на разговорах о радиопередачах, о книгах, когда разгадывали кроссворды; я и не заметил, что мы становились... врагами, и засыпали, повернувшись друг к другу спинами. «Очень ты горяч», — сказал мне как-то Пахом. А Андрюха качал головой: «Как ты будешь на зоне, Серый, там не тюрьма, с твоей статьей за каждое лишнее слово упекут...».

Боря ушел на вызов в неурочное время, перед ужином, вернувшись, на меня не поглядел, а когда легли спать, сказал: «Для тебя есть письмо, у Ольги. Валька была у твоих, ей передали. Ольга сегодня не взяла с собой, на днях дернут, принесу...». Боря проговорил это сквозь зубы и повернулся спиной.

Разболтанное утро, ни с чем не связанное, дающее ощущение зреющей, созревшей беды — откуда оно? А все то же: уборка, шленки, радио, пустые разговоры: Пахом пережевывает статьи в газетах, Боря влезает: злобно, будто тряхнули предвоенной выделки мундир, нафталином запахло... И я чувствую, бледнею, сорвусь...

Я я не услышал, потом донеслось — кормушка лязгнула:

— Полухин, на вызов!..

Все молчат, глядят на меня.

— Дождался, — говорит Андрюха.

— Есть такой — Полухин? — кормушка.

— Есть, есть!.. — Андрюха.

— Ты, что ли?

— Я — Полухин, — говорю.

— Чего ж молчишь? На вызов... — и кормушка захлопнулась.

— Отпустят! — говорит Пахом. — Три месяца кончаются, санкцию им теперь никто не даст, не продлят! — начитался УПК, пикейный жилет! — Время другое, надо уметь газеты читать...

— Не мели, — говорит Боря, — собирайся спокойно, Серый.

— Что собирать? — гляжу на него: хорошие глаза, прямые и злости нет, как в последнее время...

— Тетрадь,— говорит Боря,— бумага обязательно своя, запишешь на ихней — отберут, а на своей права нет. Ручку не забудь.

Дверь открывается.

— Дай собраться человеку! — кричит Боря.— Ему на дольняк!

Дверь прикрылась.

— Да ладно, — говорю, — какие сборы...

— Давай, — говорит Боря, — ни пуха...

И вот я первый раз выхожу в коридор... Прогулка не в счет: вываливаемся вместе, пусть вдвоем, наискось дверь на лестницу, вверх — и дворик. Тут другое: пустой длинный коридор, когда-то, давным-давно — неужто нет еще трех месяцев? — я шел этим коридором, мимо черных глухих дверей, думал, этаж нежилой, ничего не понимал, и о том, что меня ждет, сил не было думать. Сейчас я бывалый зэк.

— Стой... — девчонка, едва ли за двадцать, хорошенькая, стройная, в военной форме, в туфельках, бледненькая, веки намазаны, глядит с усмешкой: — Покажи тетрадку.

Отдаю. Листает.

— Что еще с собой?

Шарит по карманам.

— Боишься, защекочу?

— Да хотя бы, — говорю.

— Вон какой. Давай вперед...

Шагаю мимо дверей, она наклоняется, открывает ключом — фигуристая!.. Лестница — та самая! Вниз, вниз, теперь она впереди, открывает одну дверь за другой, ключ один — и пошли переходы, лестницы... Странное ощущение — свобода?..

— А ты тут не заблудишься? — спрашиваю.

— Я-то не заблужусь, о себе болей.

— Подарила б ключ, — говорю, — может, пригодится.

— А еще чего тебе подарить?.. Много украл?

— Я по другому делу.

— Замочил? Или изнасиловал?

— А тебе что больше нравится?

— Лучше б украл. Мне деньги нужны.

— С этим у меня плохо...

— Стой!..

Мы на площадке широкой лестницы. Другой корпус. Она открывает — шкаф-не шкаф, подталкивает меня — и закрыла. Темно, затхло, носом к стене, не повернуться; мимо шаги, топот, много шагов... Стихло. Открывает дверь.

— Выходи.

— А если б ты меня тут забыла?

— Мне за то деньги платят, чтоб помнила.

— Ты все про деньги?

— А ты про любовь?.. Давай вперед, намолчался, унюхал...

Вроде, и не тюрьма: чисто, линолеум, приоткрытые двери — контора, учреждение... Ага — следственный корпус!

Распахивает дверь — кивает мне.

Комната. Светло. Письменный стол завален бумагами, папками... Она! Из того утреннего кошмара. Дверь закрывается.

— Здравствуйте, — говорю.

Глядит на меня рыбьими глазами. Внимательно. Вприщур. И платье то же самое. Не снимала три месяца.

— Садитесь.

У письменного стола — маленький столик, хочу отодвинуть табурет... Привинчен. Сажусь. Тетрадь перед собой.

Окно! Господи, без... Есть, есть решетка, но без ресничек, а потому кажется — открытым — светло!.. Солнце!..

Опустила голову, пишет, на меня никакого внимания. Хорошо-то как! Чисто, светло, тихо, за столом *женщина*!..

— Можно к окну подойти?

Поднимает голову, глядит с любопытством — хоть какое-то чувство!

— Подойдите.

Внизу улица, никогда здесь не был, сверху кажется узкой, прошел трамвай, тает, течет — весна! Женщина с коляской...

— Знать бы, — говорю, — сестра бы подъехала...

Поднимает голову, уставилась на меня.

— Что у меня дома? — спрашиваю.

— Племянник родился.

— Это я знаю. Как назвали?

Пожимает плечами.

— Что с сестрой?

— С сестрой будет особый разговор. Я ее приглашала — не явилась. У нее, видите ли, молоко.

— Что — молоко?

— Молоко пропадет.

— А вы как думаете?

— А мне зачем думать?.. Садитесь.

— Молодец, что не приходит. Я бы тоже не пришел.

— И поговорим об этом. А то — как назвали...

Так мне и надо, думаю я, напросился.

Берет со стола папку, другую... Раскрывает.

— Ваша рукопись?

— Дайте посмотреть.

Знакомая папочка... Что ж ты спрашиваешь, думаю, на первом листе сверху моя фамилия... Вон что, надо, чтоб я подтвердил... И тут чувствую, мне становится жарко — эпиграф: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете (1 Петр. 4. 12—13) «...Радуйтесь, да и...»

— Вы чему улыбаетесь?

Я думал, плачу. «Огненного искушения, для испытания вам...»
— Ваша рукопись?
— Я не отвечаю на вопросы, разве вам не сказал прокурор?
— Какой прокурор?
— В деле должно быть мое заявление. Первое. Последнее. Еще в КПЗ. Отказ от показаний.
— Прошло два с половиной месяца, думаю, у вас что-то изменилось?
— Я думал, у вас что-то изменилось.
Дает другую папку.
— Это ваша рукопись?
— Я и смотреть не стану.
— Ваше дело.
Пишет долго, старательно. На столе сигареты — «Ява»! А у нас кончились, только табак, ребята говорили, следаку дают деньги на зэка, на сигареты. Байка, конечно. Нет, не буду просить.
— Я хочу написать заявление, — говорю.
— О чем?
Раскрываю тетрадь, беру ручку...
— Как ваша фамилия? — спрашиваю.
— О чем заявление?
Не отвечаю, я и глядеть на нее не могу... «Следователю прокуратуры...». Прошу Библию, прошу свидание со священником, ссылаюсь на закон... Кладу ей на стол.
— Я не возьму, — говорит.
— У вас права нет не брать.
Позеленела, шипит:
— Вы у меня вспомните права!.. Ваша сестра уже посылала такие заявления. Ей отказали.
— То сестра, а то я.
Бросает мне на столик исписанную бумагу:
— Подпишите.
— Я ничего не подписываю. И читать не стану.
— И это ваше дело.
Кнопка, видать, под столом, нажимает.
— Вы на спецу?
— На спецу.
— Сколько человек в камере?
— Семеро,— говорю я, и какая-то тоска сжимает сердце: да что она, не узнает, что ли!
— Хорошо устроился, — она усмехается мне в лицо.
— Хорошо, — говорю я.
За спиной открывается дверь: другая провожатая, постарше, лицо мрачное, серое. Рыбьи глаза что-то подписывает — пропуск! Встаю.
— Всего доброго,— говорю я.
— До свидания...
С этой болтать мне не хочется. Да и ей до меня нет дела. Не вижу я обратной дороги, переходов, лестниц, и ощущения *свободы* у меня нет. Пропало. Тоска. А что случилось, думаю я, или ты чего ждал?.. Украл, замочил, изнасиловал... И к злодеям причтен... Он же сказал, письмо из дома, вспоминаю я Борю, вот я его и получил... Благодарю Тебя, Господи!

Я не успел войти в камеру, а уже понял: что-то произошло... Нет, не сразу долетело, в первый момент я был счастлив — дома! После постно-лживого лица с рыбьими глазами, мерзких коридоров и переходов, провонявшего чужой бедой «шкафа», вертляаой распущенности одной провожатой и злобно-мрачного молчания второй — вот он, мой дом! обжито, прожито, уродливая, неестественная — но моя теперешняя жизнь...
Зиновий Львович стоит у двери: в телогрейке, в шапке, в сапогах, рядом завязанный мешок, матрас в матрасовке. Боря бледный, напряженный — у стола; остальные по шконкам.
— Что случилось? — спрашиваю.
Зиновий Львович давит на «клопа».
— Давай, давай!.. — говорит Боря.
Прохожу к своей шконке... Открывается дверь. Корпусной.
— Что тут у вас?
— Да забирай его! — кричит Боря. — Он нам жизнь заедает, если больной — тащи в больничку, на людей кидается!..

— Кто еще что скажет?
Все молчат.
— Так что случилось? — голос у корпусного скучный.
— Два месяца терпели, — говорит Боря, — угрожать начал. Вон его, — кивает на Гришу, — обещал пришибить «восьмеркой».
Корпусной переводит глаза на «восьмерку» — шайка для стирки.
— Если, говорит, будешь курнть, пришибу! — Боря явно завелся. — Чего ему в башку влезет — а нам зачем?
— Было? — спрашивает корпусной Гришу.
— А где курить? — говорит Гриша, — у нас вагон для курящих.
Зиновий Львович ощерил золотую пасть:
— Всю ночь мне в морду сигаретой...
— А ты что всю ночь?.. — говорит Боря. — Забирай его, командир, плохо кончится.
— И ты, Пахом, промолчишь? — говорит Зиновий Львович.
— Надоел ты, Львович, — говорит Пахом.
— Пошли, командир, — говорит Зиновий Львович. — Сорок лет оттянул, а такой хаты не видел, они ему всю жопу вылизали, а он кому лижет?..
Зиновий Львович поднимает мешок, исчез за дверью.
— Как боевое крещение, Серый? — спрашивает Боря.
Говорить мне не хочется, не понимаю, что тут произошло, что происходит, качается дом, который я только что увидел, ползет подо мной пол, как палуба...
— Нехорошо со стариком, — говорю я, — поторопились.
— Ладно тебе! — отмахивается Боря. — Нашел кого жалеть, окажись с ним на узкой дорожке — сожрет, как не было. Не таких харчил. А если б он пришиб Гришку?
— Не тронул бы. Болтал. Ты сам знаешь.
— Во добренький, — говорит Боря, — и Гришку ему жалко, и эту мразь, и... А меня тебе не жалко?
— А ты тут при чем?
— Я тебя, Серый, предупреждал, ты тюрьмы не нюхал... Ты знаешь, что такое беспредел?
— Порядок на кладбище, Боря.
— Погоди, вспомнишь...
— Следовательша то же самое сказала... А почему ты порядок устанавливаешь — тебя выбрали? Или назначили?
— Вон ты как заговорил...
— Хватит, мужики, — говорит Пахом. — Рассказал бы, Вадим...
— Отказался отвечать. Раз спросила, другой...
— И все?
— И все. На сестренку плетет, не приходит к ней, мы, мол, ее достанем. А она родила в тот день, когда меня увели... Как-то странно спросила — много ль человек в камере?..
— Неужто все? — не отстает Пахом.
— А ты думал — отпустят?
— Уверен был, — говорит Пахом.
— Нехорошее у меня предчувствие, — говорю, — будто... Зато своя радость... Помнишь, Серега, я тебя спрашивал: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого...». Не могли вспомнить. Теперь знаю. «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете...».
— «Огненное искушение»! — говорит Боря. — Тебя еще не пощупали, а уже предчувствия — обосрался!.. Христиане! Куда вам...
Надо промолчать, думаю я, нельзя заводиться, зачем я в этой хате, пора менять, хватит, зажился...
Когда Боря улегся, Пахом отозаал меня к сортиру, там у нас место для разговоров — отвернешься к стене и вроде...
— Понял, что такое тюрьма? — говорит Пахом. — Сам себя теряешь. Зачем я ему поддакнул?.. Старик, правда, надоел, но мало ли что мне надоело?.. А я думаю: вдруг Бедарев отправил письмо, не соврал? Вот я уже и попался...
— Нельзя, Пахом, никогда нельзя ради чего-то...
— Знаю,— говорит Пахом.— Меня сегодня тоже вызывали. После тебя, а пришел раньше. Ничего нового не сказал, но чую — знает. У следователя мое письмо. Всегда уважительный, а сегодня в лицо смеется. Тут вот в чем дело: старик мешал Бедареву, старик — битый зэк, сечет, до чего нам, желторотым, не допереть. Молчал, а сам давно все понял. Зачем Бедареву такой свидетель?..
Лежу на шконке. Боря рядом, не спит. И я не сплю. Не могу забыть старика. Он и меня раздражал — из чужого, страшного мира, ничего о нем не мог понять,

но... Дай, говорит, мне, Вадим, носки, тебе подогнали, шерстяные — у меня ноги зябнут, от сердца, видать, не тянет... Как же он углядел, подумал я, весь день спит? На этапе я достану, говорит, у меня все будет чего захочу, а тут... Ты на этапе достанешь, сказал я ему, а я — нет, зачем мне отдавать, сестренка связала. Пожалел. А у старика зябнут ноги. Какое мое дело — достанет-не достанет, ему сейчас надо... Кто же я такой, думаю я, зачем-то меня сюда бросили, а я сижу, как мышь, шкуру спасаю. Шкуру — не душу. Зачем бросили?.. А за что взяли? Я и об этом забыл... На вопросы не отвечаю — подумаешь, доблесть, со следователем игра, но вокруг-то люди, может, я им нужен, для того меня и... Что же я молчу — о себе пекусь?.. Помоги мне, Господи, научи... Только что получил *письмо* из дому, от... Нины, от... Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...

13

Первый раз так тихо открылась кормушка: глядит, молчит.

— Чего надо? — спрашивает Андрюха.

— Полухин — есть такой?

— Я, — говорю.

— Собирайся, с вещами... — знакомый голос, сдержанный.

И закрыл кормушку.

Проваливается что-то в желудке. То самое, когда говорят: душа ушла в пятки. Пятки — не желудок, думаю я.

— Приехали, — говорю.

— Освобождают, что ли?! — вскинулся Пахом.

— Как же, — говорю, — после вчерашней беседы со следовательшей — освободят. Ты бы на нее поглядел...

— Утром не освобождают, — говорит Боря, — только вечером.

— В Лефортово,— говорит Андрюха,— точно, в Лефортово, здесь тебе нечего делать.

— Не может быть, — говорит Боря, — почему вдруг?

Поднимается, идет к двери, стучит в кормушку. Открывается.

— Куда Полухина?.. Это ты, Федя? К врачу его, что ли?

— Сказано — с вещами.

Кормушка закрылась.

— Я думал, мы до лета, — говорит Боря.

Вижу, растерян, огорчен. Господи, кто он такой?..

— А я думал, Пасху отпразднуем,— говорю,— мы бы с тобой, Серега, вместе...

Серега не отвечает. И все молчат. Расстроены.

Вытаскиваю из-под шконки мешок, казалось, нет вещей, а все равно — сборы, затыкано, закурковано...

— Видите как, — говорю, — хотел к Пасхе подарить...

Я, и верно, думал, кому что, сейчас трудно вспомнить, а ведь были соображения: Сереге — тетрадь, ручку, Андрюхе — мыло, он мешок мой нюхал: «Как дома побывал!»; Боре — носки, Пахому — иголку: я дежурил, а вертухай забыл отобрать, осталась; Грише... Что Грише? Конверты, больше ничего нет...

— Может отпустят, — говорит Пахом, — ты запомнил, что передать?.. — Телефон запиши...

— Напиши, — говорю, — а я запомню.

— Я думал, с тобой до лета, — опять говорит Боря. — Эх, Серый... Нам бы не в камере поговорить...

— Погоди, увидимся...

Пахом дает листок: телефон, имя-отчество жены... «Не забудь про деньги под кафелем...»

— Не забуду, Пахом, — рву записку. — Но ты зря рассчитываешь.

— Что ж они про тебя задумали?.. — говорит Боря.

Андрюха с Гришей запихивают мой матрас в матрасовку.

— Держи, Серый, — говорит Серега, — я тебе *правило* переписал. Утреннее. Наше. Оно полнее, больше вашего. Верней. И два псалма: пятидесятый и девяностый.

— Серега!.. Спаси тебя, Господи! Подарок... К Пасхе.

— Не уходи, Серый... — говорит Гриша.

— И от меня возьми,— Боря вытаскивает из-под матраса пачку «Дымка».— На черный день спрятал...

— Таких давно не видел... — говорю.

Как-то странно он на меня глянул.

Дверь открывается, и я вздрагиваю: рыжий старшина, тот самый — Вергилий!

— Собрался?..

— Простите, мужики, — говорю, — если что...

— Бог простит, — говорит Серега.

— Жалко, не договорили, — говорит Боря, — так всегда, главного не успеть. На потом оставляешь, а потом не бывает...

Андрюха взваливает мне на спину матрас:

— Если на общак — покричи.

— Да не может того быть, — говорит Пахом.

— Если не увезут, — говорит Боря, — сразу переводи свою подписку, а увезут, газета будет приходить — понял?

— Ну, все?.. — слаб я, ноги дрожат. — Пошел, мужики...

Рыжий стоит у двери, смотрит на меня. Уже из коридора я еще раз оборачиваюсь на камеру...

Продолжение следует

Михаил
ГОЛОВЕНЧИЦ

◆◆◆

Все стирается в пыль, угасают
созвездия,
Но из сердца былое не вытравишь зло,
И к себя потерявшим приходит
возмездие,
И уйти от него даже им тяжело.

И в давно непроветренном помещении
В ожидании тяжком земного конца
Сын-старик вспоминает свое
отречение
От теперь реабилитированного отца.

Свадьба в деревне

Звучат аккорды наподобье грома,
Дрожат стаканы на большом столе,
Танцуют резво гости возле дома.
Веселье. Праздник. Свадьба на селе.

А за плетнем одна стоит старуха,
Забыли все о ней давным-давно,
Но сердце у нее еще не глухо,
И жадно к свету тянется оно.

Выходит замуж юная соседка,
Но в доме, где царит веселый гуд,
Старухе не поставят табуретку
И за богатый стол не позовут.

Как будто нет ей в этом мире места,
Как будто вся она уже в былом,
Но вновь старуха смотрит на невесту
И улыбается беззубым ртом...

◆◆◆

Дрожала под рукой бензопила,
Пот проступал под кепкой на затылке,
От прочного, упорного ствола,
Летели наземь белые опилки.

Слетала ругань с затвердевших губ,
В сощуренных глазах была досада,

Еще держался крепко старый дуб,
Сто долгих лет даривший нам прохладу.

И, в страшном ожидании конца,
Еще томилась плоть его живая,
А из гнезда глядели два птенца,
Куда исчезла мать, не понимая.

Нежность

Все опять как будто бы в новинку:
Ранняя рассветная роса,
Молодая майская травинка
И детишек малых голоса.

И не зря отец перед закатом
Так хотел увидеть в свете дня,
Освещавшем тесную палату,
Дочь мою. И лишь потом — меня.

◆◆◆

ВСП-35 *. Рейс груженый,
Под колесами стонут мосты,
В тесных баках, огнем обожженных
Санитарки стирают бинты.

Отсвистели над полем осколки,
Свет вагонный пылает в ночи,
Тяжелеют в два яруса полки,
Ноет рана — кричи не кричи.

Отыграли военные трубы,
Но колеса стучат по степи,
В лад им вторят девчоночьи губы:
Потерпи.
Потерпи.
Потерпи.

Боль людей.
Милосердье.
Терпенье.
Как давно отошла та пора,
Но осталось в душе удивленье —
Сколько ж было любви и добра.

---

* ВСП — военно-санитарный поезд.

Альбина
ШУЛЬГИНА

◆◆◆

И, вздрагивая каждой жилкой
Под током ярости глухой,
К большой сосне прижмусь затылком,—
Прихватит волосы смолой.
А ствол сосны латунно розов
И хвоя зелено шуршит.
Что ей и стрессы и неврозы,
Смог человеческой души.
Чуть изворачивая трассу
Пред мокрою щекой моей,

Неукротимый и бесстрастный,
Ползет к вершине муравей.
Вокруг и праздники, и казни,
И шмель в кипрее сыт и пьян.
А рядом скачет без боязни
Какой-то маленький крылан.
Встревожится и смотрит боком,
И защебечет осмелев...
И все равны, и все под Богом,
И все не вечны на земле.

◆◆◆

Из безызвестности, из массы,
Где в безопасности была,
Рябина вызвездилась красным
И сразу имя обрела.
Теперь держись,— дрозды приметят,
И налетят, и затрясут.
Теперь держись,— на бусы дети
Домой по грозди унесут.
Потом, и надо, и не надо,
А заломают, оберут.

Какая горькая услада
Жить на юру да на миру.
Уж лучше тихо и укромно,
В глухом лесу, красу тая...
Но упоительна нескромность
И щедрость дикая твоя!
Последней кисточкой заветной
Еще полакомь снегиря,
И погружайся в незаметность
До августа, до сентября...

◆◆◆

Умирает баба Марфа.
Умирает баба Анна.
Под салфеткою из марли
Два больничные стакана.
Утром нянька небрезгливо
Им подсовывает судно.
Ожидают терпеливо
Час последний,
День свой судный.
Сон накатывает глухо,
Дышит плоть едва-едва.
Анна — девка-вековуха,
Марфа — вечная вдова.
Там, у Бога, места хватит.

Все рассудит и устроит.
Но бутылка под кроватью
Очень сильно беспокоит.
В доме брошенном пол-литра,
В старом валенке подшитом,
В сером валенке сокрыта,
И ночами беспокоит.
В наше время без пол-литры
Кто им избу перекроет?
Принесет воды с колодца,
Крысу выгонит из клети,
Если вдруг опять придется
Зимовать на этом свете?..

Александр
ЖИТИНСКИЙ

ДВА РАССКАЗА

Рассказы эти, написанные в разные годы, объединены общей темой, которая лишь в нашей стране могла стать темой для литературного произведения, ибо отношение к иностранцам и иностранному долгие годы выделялось в особую область человеческих отношений, требовавшую проявления мужества и бесстрашия, хитрости и изворотливости.

Так случилось, что рассказы эти связаны с именем моего друга, ленинградского писателя Михаила Панина. В одном из рассказов он фигурирует в качестве прототипа, завязка другого много лет назад была им подарена автору и вылилась в рассказ лишь недавно.

ЯПОНСКИЙ БОГ!

Это произошло в те сравнительно недавние времена, когда мы с Мишей Ваниным считались молодыми, подающими надежды писателями. Неопубликованных рукописей у нас было больше, чем денег, но меньше, чем долгов; всесоюзная и международная известности нам и не снились, зато была железная решимость сказать свое слово в литературе.

Сейчас положение, слава Богу, изменилось. Нас уже не считают молодыми и подающими надежды. И решимость наша не столь железна, как была когда-то. В остальном все по-старому.

...Я стоял на стремянке в кухне и поливал потолок белой краской из пульверизатора, когда пришел Мишка. Я всегда любил ремонтировать свое жилище самостоятельно. То есть не то чтобы любил, а приходилось. Многое тогда приходилось делать самому. Мебель, например... Но я опять отвлекаюсь.

Было воскресенье. Ванину открыла моя жена и, проводив его в кухню, молча удалилась. Молчаливое поведение жены объяснялось характером нашей дружбы с Мишкой Ваниным. Это была чисто мужская дружба. Дело в том, что, задерживаясь после работы и приходя домой позже, чем обычно — практически ночью,— я всегда говорил, что проводил время в компании Миши Ванина и что мы с ним толковали о литературе. Примерно то же докладывал своей жене и Миша. Поскольку разговор о литературе немыслим без того, чтобы не пропустить рюмочку-другую, то совершенно ясно, что жены смотрели на наши отношения без восторга, считая приятеля мужа ответственным за напряженность в семейной жизни.

Понятно, что в такой ситуации мы заявлялись друг к другу домой лишь в экстренных случаях. Телефона у меня тогда не было, и я, глядя со стремянки на суровое Мишкино лицо, похолодел в предчувствии экстренного случая. Почему-то он представился мне недостаточно приятным.

— Японский бог! — воскликнул Миша, взглянув на меня снизу.— Ты что там делаешь?

«Японский бог!» — это любимая присказка Миши Ванина. Она может обозначать что угодно. В данном случае она обозначала изумление.

— Я крашу потолок, Миша, разве ты не видишь? — вежливо отвечал я со стремянки.

Мишка с возмущением оглядел меня с головы до ног — заляпанные белилами старые джинсы, на голове газетная треуголка, в руках поллитровая баночка с разбавленным мелом, от которой тянется вниз к пылесосу изогнутая грязная труба, лицо забрызгано меловыми веснушками... Мишка скорбно покачал головой.

Сам он, надо сказать, одет был исключительно элегантно: серая кепка, коричневая куртка из клеенки, которой обычно обивают диваны в присутственных местах, и рыжие полуботинки на микропоре. В руках Миша держал свой министерский портфель, хотя министром тогда не был. Это сейчас он в должности, в силе и только посмеивается в усы над грехами нашей молодости.

— Его там иностранцы ждут,— тихо проговорил Ванин,— а он потолки красит. Ну, крась, крась! Я пошел...

И он повернулся, шурша расстеленными на полу газетами.

— Постой! — крикнул я, обрушиваясь со стремянки.— Да объясни толком! Какие иностранцы?!

— Да я толком и сам не знаю,— признался Миша.

И он объяснил, что утром ему позвонили из Иностранной комиссии Союза писателей и пригласили на встречу с иностранной делегацией. Встреча назначена в гостинице «Астория», в номере этих самых иностранцев. Они путешествуют по Союзу и встречаются с писателями. Знаменитые писатели им уже надоели, теперь они хотят посмотреть на молодежь. Такие вот дела.

— А что хоть за иностранцы? — спросил я.

— Понятия не имею,— пожал плечами Миша.— Они только вчера прикатили, никого нет, еле-еле связались с Гранским. Мне сказали: один не ходи, прихвати кого-нибудь из молодых литераторов. Вот я тебя и прихватываю. И еще я прихватил...

С этими словами Миша раскрыл портфель. На дне его солидно темнела бутылка армянского коньяка.

— Мало ли...— значительно сказал Ванин.— Неизвестно, как оно, японский бог, обернется...

На этот раз «японский бог» означал уважение Ванина к международному престижу нашей страны. Ах, если бы мы знали тогда, как оно обернется, то выпили бы ту бутылку тут же, на покрытых мелом газетах!

Но мы клюнули на эту удочку.

Я помчался в ванную, на ходу крича жене насчет чистой сорочки и дипломатического приема, чему она, естественно, не поверила. До этого я ни разу на дипломатических приемах не бывал. Однако, когда через несколько минут я выскочил из ванной, белоснежная рубашка с галстуком ждала меня на распялке, а Миша хмуро объяснял моей жене, что дело нешуточное, ответственное — мы бы рады не ходить, но нельзя.

Вскоре мы уже ехали к «Астории», на ходу обсуждая возможные провокационные вопросы, если, не дай Бог, иностранцы попадутся с Запада.

В гостиницу мы вошли чинно и аккуратно, поднялись на третий этаж и отыскали нужный нам номер. Дежурная посмотрела на нас подозрительно, но ничего не сказала.

У дверей номера прогуливался маленький, с залысинами человек крепкого телосложения. На лацкане его пиджака блестел значок «Мастер спорта СССР», по чему мы безошибочно определили, что он не иностранец.

— Вы писатели? — с ходу обратился он к нам.

— М-м...— неуверенно промычали мы с Мишей. Называть себя писателями мы в ту пору стеснялись: оснований для этого было маловато.

— Так писатели или нет? — настаивал мастер спорта.

— Да вроде...— кивнул Мишка.

— Гусеев, переводчик «Интуриста»,— представился он, протягивая руку.

Мы назвали себя.

— Значит, так, ребята,— начал он, переходя на доверительный тон.— Не волнуйтесь, дело обычное, я все переведу как надо. Сейчас они придут.

Не успел он это сказать, как в конце коридора показались двое — мужчина и женщина. Они шли к нам, издали улыбаясь Гусееву. Тот тоже растянул рот до ушей.

— Вот они,— шепнул он нам.

— Японский бог! Да это ж японцы...— пробормотал Миша.

— Японцы, японцы,— быстро закивал переводчик.

И действительно, это были самые натуральные японцы. Женщина лет тридцати была в замшевых брюках, заправленных в сапожки, в пуховой синтетической курточке, худенькая, миниатюрная и изящная. Она вполне соответствовала моим представлениям о японской женщине. Звали ее госпожа Судо. При японском вежливом обращении полагалось приставлять к фамилии словечко «сан», что мы впоследствии и делали.

Господин Арамасса-сан был высок, гибок и элегантен.

Гусеев представлял нас друг другу, и Судо-сан защебетала что-то по-японски. Голосок у нее был, как у синички. Переводчик мучительно смотрел ей в рот.

— Значит, так. Она приглашает нас в номер,— перевел он.

Мы вошли в апартаменты. Вероятно, это был номер «люкс», но я боюсь ошибиться, потому что мне не с чем сравнивать. Мы разделись в просторной прихожей и прошли в гостиную с круглым столом, мягкими креслами и диваном. Широкий проем, занавешенный бархатными шторами, вел из гостиной в спальню.

Мы с Мишей расположились на диване, а Гусеев с госпожой Судо — напротив нас в креслах. Арамасса-сан не сел, а тут же принялся настраивать фотоаппаратуру, доставая из кожаных сумок аппараты, объективы, штативы и прилаживая это все одно к другому. Он, как выяснилось, был фотокорреспондентом.

Судо-сан оказалась журналисткой крупнейшего в Японии иллюстрированного журнала. Журнал выложили перед нами на стол, и мы с Мишей рассеянно принялись его листать. Он был сделан по западному образцу — глянцевая бумага, цветные фотографии, японские красотки па рекламах, немного иероглифического текста.

Сигареты, автомобили, виски, бюстгальтеры...

Госпожа Судо между тем деловито тараторила что-то, в то время как Гусеев покрывался испариной на залысинах.

— Она говорит,— сказал он,— что журнал у них семейный. Для дома, для семьи, значит... Трудный у нее диалект, японский бог! — посетовал он, вытирая лоб платком.

Мы с Мишкой вздрогнули от этого неожиданного признания.

— Да они по-русски ни хрена не понимают! — успокоил нас переводчик.

На столе появилась пачка «Мальборо». Мы с Ваниным ухватились за сигареты, как утопающие за соломинку. Я никак не мог понять, зачем Судо-сан понадобились молодые русские литераторы? Где она хочет их пристроить в своем журнале?

В момент моего глубокого раздумья Арамасса-сан навел на меня объектив, вспышка озарила «люкс», я испуганно моргнул и подавился дымом. Арамасса невозмутимо перевел объектив на Мишку.

— Фотографировать-то зачем? — прошептал Ванин.

— Ничего,— сказал Гусеев.— Это можно.

Началось интервью. Судо-сан достала из сумочки блокнотик с авторучкой — и блокнотик, и авторучка были такими же маленькими, как она сама,— и принялась рисовать иероглифы. Она задавала вопросы, Гусеев их переваривал, переводил нам, мы осмысливали, конструировали ответы и передавали по цепочке обратно. Арамасса-сан кружил над нами, как японский орел, время от времени ослепляя вспышкой.

Необходимо было следить за нитью беседы, а также за изяществом позы. Когда я попытался представить нас с Мишкой в цветном изображении на страницах японского журнала, где-то между колготками и транзисторами «Сони», мое воображение дало осечку. Фантазия отказывалась работать. Это было до того абсурдно, что мне захотелось посоветовать Арамассе-сану, чтобы он пощадил пленку.

Надо сказать, что Гусеев, по моим подсчетам, понимал приблизительно пятнадцать процентов текста, произносимого Судо-сан, и примерно треть того, что говорили мы с Мишей. Желающие могут подсчитать процент неискаженной информации, попадавшей в японский блокнотик.

— Судо-сан спрашивает, как вы относитесь к экзо... Черт! Экзоспециалистам, что ли? Есть такие? — сказал Гусеев.

Мы переглянулись.

— Может быть, к экзистенциализму? — спросил я.

— Йес! Йес! — воскликнула Судо-сан.

— К экзистенциализму мы не относимся,— четко сказал Ванин.

— А-а! Ладно! Этого переводить не буду! — махнул рукою Гусеев.— Черт его знает — хорошо это или плохо!

Судо-сан между тем терпеливо ждала ответа. Гусеев поморщился и что-то ей сказал. Она удивленно вскинула тоненькие японские брови, будто нарисованные кисточкой Хокусаи. В блокнотик полетел еще один иероглиф.

Судо-сан обворожительно улыбнулась и протенькала следующий вопрос.

— Как вы относитесь к женщинам? — облегченно вздохнув, перевел Гусеев.— Журнал у них женский, понимаешь, их волнует эта проблема.

— К женщинам мы относимся хорошо,— дружно отвечали мы.

— А конкретнее? Как вы описываете любовь в своих книгах? Существуют ли какие-нибудь ограничения в этой теме?

Мишка поежился. Я тоже. Начнем с того, что называть книгами то, что к тому моменту опубликовали мы с Мишей, было большим преувеличением. Разве что по японским масштабам... Во-вторых, вопрос вообще щекотливый.

— Отвечай ты,— толкнул меня Ванин.— Ты специалист по этой части.

— Почему? — обиделся я.

— Давай, давай...

«Ну ладно!» — подумал я мстительно.

— Ванин-сан вряд ли сможет компетентно ответить на ваш вопрос,— начал я, по-японски вежливо поглядывая на госпожу Судо.— Дело в том, что он в своих книгах пишет, в основном, про металлургические заводы, поскольку он инженер-литейщик...

— Позоришь перед заграницей...— тяжело проговорил литейщик Ванин-сан.

— Я же могу сказать, что отношение к изображению любви в русской литературе определяется существующими традициями. Мы не любим описывать секс не потому, что кто-то запрещает, а потому, что русская литературная традиция высоко моральна. Да и язык наш плохо для этого приспособлен...

— Про язык не ври...— буркнул Ванин.

— По крайней мере, именно так я трактую тему любви в своих книгах,— важно закончил я.

Гусеев переводил минут десять. Судо-сан исписала иероглифами полблокнота.

В этом месте заметно оживился Арамасса-сан. Он отложил фотоаппарат в сторону и выставил на стол бутылку «Рябины на коньяке» и рюмочки. Вслед за тем перед нами лег толстый фотоальбом.

— Арамасса-сан говорит, что он выпустил этот альбом в Бразилии. Японская цензура нравов очень строга. Он спрашивает, как на ваш взгляд — это «порно» или нет?

Мы принялись листать альбом, делая вид, что нам это в достаточной степени безразлично. Арамасса разлил «рябину» в рюмочки и подвинул к нам, а сам устроился, наконец, в кресле, попыхивая «Мальборо».

«Неужто разлагают?» — пронеслось у меня в мозгу.

В альбоме были фотографии одной и той же обнаженной европейской красотки в разных позах и интерьерах. Ничего непристойного в позах мы не обнаружили. Красотка целилась в кого-то из пистолета, каталась верхом на черном доге величиною с мотоцикл, свешивалась с подоконника многоэтажного здания и так далее. Честно сказать, она и красоткой-то не была. Худая лохматая женщина с выпирающими косточками на бедрах.

Было непонятно лишь одно — зачем потребовалось так много ее фотографировать.

— Нет, это не «порно»,— сказал Ванин-сан, пренебрежительно махнув рукой на красотку.

— Совсем не «порно»,— подтвердил я.

Арамасса-сан приподнял свою рюмочку в знак приветствия, и мы выпили.

— Это просто «ню»,— сказал Мишка, подумав.

Арамасса налил еще.

Дальше разговор вдруг переместился в высокие литературные сферы. Гоголь, Достоевский, Булгаков... проблема русской души... Акутагава и Кафка... Куросава и еще кто-то. Несчастный Гусеев пыхтел, будто камни ворочал. Судо-сан чирикала не переставая. Мы излагали сюжеты ненаписанных книг и делились творческими планами. Арамасса утонул в кресле; он блаженствовал после работы.

«Рябина на коньяке» кончилась одновременно с нашими познаниями в русской и мировой литературе.

Ванин-сан толкнул меня коленом.

— Выставить, что ли, коньяк? — шепотом спросил он.

— Погоди, Миша, еще не вечер,— не разжимая зубов, ответил я.

Я будто что-то предчувствовал, какой-то заключительный и приятный штрих, который придаст беседе законченность классического архитектурного сооружения.

И я не ошибся.

— Госпожа Судо говорит, что вы потратили два часа вашего дорогого писательского времени,— заметил Гусеев.— Чтобы компенсировать потерю, она просит отужинать с ними... Столик уже заказан, мужики! — подмигнул нам Гусеев.

Мы ломались секунд пять. Отказываться было неприлично.

Эх, дорогое наше писательское время! Если бы мы с Ваниным всегда тратили его производительно, то наши карманы трещали бы от купюр, нас знали бы на всех континентах, и красивые зарубежные женщины стояли бы в очередях перед отелями, чтобы попасть к нам на интервью. Но мы слишком любили литературу, потому и имели к тому дню бутылку коньяка в портфеле и неуютную пустоту в карманах. «Человек — не машина,— любил говорить Ванин.— Всех романов не напишешь, японский бог!»

Мы спустились с Гусеевым вниз и подождали японцев в холле. Гусеев успел сообщить, что Судо-сан скромничает, называя себя журналисткой. На самом деле она дочь хозяина журнала, практически его владелица, потому что папаша уже стар. Сейчас Судо с Арамассой, который, по всему видать, ее любовник, путешествуют по свету. Завтра утром летят в Париж.

— Миллионерша, ядрена вошь! — сказал Гусеев.

По лестнице спускались японцы. На этот раз Судо-сан оделась в длинное вечернее платье, стилизованное под кимоно,— черного цвета, с драгоценностями. Ее плечи прикрывала легкая меховая шубка из темного блестящего меха — норка или нутрия — я в таких вещах тоже не разбираюсь. Арамасса-сан был, естественно, в смокинге и при бабочке; распахнутый плащ открывал великолепие кружевного жабо сорочки.

Мишка Ванин с тоской поглядел на свои рыжие полуботинки на «тракторах». Я тоже, признаться, не соответствовал международным стандартам. Но еще хуже выглядел Гусеев. Вид у него был самый затрапезный.

Судо-сан успела наложить на веки какую-то мудреную косметику и, надо сказать, сильно преобразилась в лучшую сторону. Подметая шлейфом мраморный пол, она проследовала к выходу с Арамассой. Мы двинулись в кильватере.

У подъезда «Астории» нас ждала интуристовская «Волга». Мы втиснулись в нее впятером, на что водитель сначала запротестовал, но узнав, что ехать недалеко, в «Европейскую», смирился.

Смеясь и переговариваясь на всех языках, мы поехали по городу. Шофер дал круг по Исаакиевской. Арамасса щелкал языком и восхищался красотами архитектуры.

— А знает ли госпожа Судо, что в этой гостинице умер ваш великий национальный поэт Сергей Есенин? — спросил я.

Гусеев перевел и выслушал ответ.

— Она вообще такого не знает,— сказал он.

Сидевшая впереди Судо-сан мигом выхватила блокнотик и занесла туда фамилию поэта.

— Йе-сье-нинь,— тенькнула она, кивнув головой.

Мы подрулили к «Европейской» и прошли сквозь вращающиеся стеклянные двери, причем мы с Мишкой с непривычки сунулись в одно отделение, нас мотнуло, перевернуло, бросило друг другу в объятия и вышвырнуло к бородатому швейцару. Мы ударились об его камзол с галунами, как о скалу.

— Осторожней, товарищи,— пробасил швейцар.

Почему мы поехали в «Европу», когда есть ресторан и в «Астории»,— я не понимаю до сих пор. Между тем этот небольшой штрих губительно сказался на событиях того вечера.

В ресторане на втором этаже, куда мы поднялись по лестнице, устланной ковровой дорожкой, нас ждал столик на пятерых. В центре его было установлено блестящее ведерко, из которого выглядывали серебряные мордочки шампанского. Изысканнейшие закуски покрывали стол, обилие рюмочек, фужеров, ножей и вилок потрясало.

У своих тарелок я насчитал три вилки и три ножа — все разных размеров и конфигураций. Будто у меня шесть рук.

На всякий случай и осторожно упрятал лишние ножи и вилки под салфетку, решив, что с меня достаточно традиционной пары.

Гусеев наконец-то оказался в родной стихии. Он развернул меню и принялся выбирать недостающие напитки и горячее.

— Три бутылки коньяка нам хватит, мужики? — деловито спросил он.— Учтите, они пьют мало.

Судо-сан и Арамасса восхитительно улыбались.

— Не стесняйтесь! — ободрял нас Гусеев.— Денег у них до хрена. Фирма не обеднеет. Ну, я заказываю!

И он заказал три бутылки «Отборного» армянского.

— Где вы так хорошо выучились японскому? — спросил я Гусеева.

— Я мастер спорта по дзю-до,— объяснил он.

Судо-сан сидела между Ваниным и мною. Справа от меня был Арамасса, слева от Мишки — Гусеев.

Официант открыл шампанское и разлил его в бокалы.

Далее, в общем, все было как обычно, только на необычно высоком уровне. Мы пили шампанское за дружбу и отношения, тогда еще не очень испорченные японскими милитаристами, пили коньяк за процветание иллюстрированного журнала, коим владела Судо-сан, и за саму Судо-сан, которая на глазах становилась все краше.

Принесли что-то в наперстках — необычайно вкусное. Подали зелень и мясо. Мы с Судо-сан незаметно перешли на английский. Выяснилось, что она училась в Европе и владеет им в совершенстве. Мы с Ваниным не могли этим похвастать, но — странное дело! — отборный коньяк каким-то образом компенсировал нехватку английских слов, так что мы отлично управлялись без Гусеева.

Заиграла в глубине зала музыка, и я пригласил миллионершу танцевать.

— Дансинг? — сказал я с вопросительной интонацией.

Она радостно закивала, рот у нее был еще набит. Судо-сан быстренько прожевала, и мы двинулись между столиков на открытую площадку рядом с оркестром. Я вел японку под локоток, внутри у меня звенели какие-то зарубежные струны; я чувствовал, что зал смотрит на нас.

Мне даже трудно оценить потрясение ресторанной публики в тот миг, когда отечественный молодой человек в поношенном вечернем костюме вывел на танец японскую даму в бриллиантах.

Плавно раскачиваясь под музыку из «Шербургских зонтиков», мы в одиночестве совершили круг перед оркестром.

Тут заиграли что-то быстрое, на площадку повалили новые пары, и мы с Судо-сан принялись скакать как бешеные. Она раскраснелась, ее японские глазки заблестели, я делал немыслимые па... в меня словно бес вселился!.. я никогда не предполагал, что умею так танцевать.

Танец кончился, публика зааплодировала. Аплодировали нам с миллионершей. Мне за храбрость, ей — за демократизм. Я поклонился и повел даму к столику.

Пришел черед Ванина-сана, и он повлек японку к эстраде. Притушили свет, зажглось нечто цветное, и в танцующей толпе замелькали рыжие Мишкины полуботинки, которые вспыхивали в полумраке, как предупреждающие огни светофора.

Судо-сан вернулась еще более возбужденной. «О-о... о-о...» — постанывала она в восхищении, в то время как Арамасса-сан невозмутимо и холодно закуривал «Мальборо». Гусеев дул коньяк.

И снова я, и снова Мишка!.. И какие-то международные слова: то ли «дарлинг», то ли «моншер», и мы уже договаривались с нею о встрече в Париже, на Елисейских полях, куда я собирался вылететь завтра же, следующим за ними рейсом.

А потом оркестр пошел отдыхать, а мы с Михаилом, склонившись с двух сторон к прелестным розовым ушкам Судо-сан, пели ей на два голоса стихи нашего великого поэта.

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»

Бедный Арамасса!

Думал ли он, что его поездка в холодную Россию обернется для него столь чувствительным поражением от двух молодых русских литераторов, даже не членов Союза писателей? Думал ли я, поливая утром обшарпанный потолок разбавленным мелом, что вечером буду плясать с японской миллионершей в зале, битком набитом иностранцами? Думал ли Мишка? Думал ли Гусеев?

Гусеев точно — не думал.

Мы же чувствовали себя на больших высотах, где-то между Парижем и Токио, да вдобавок нас грела мысль о том, что в глубине Мишкиного портфеля, как щука в омуте, лежит непочатая бутылка коньяка.

Но всему на свете приходит конец. Отыграла музыка, погасили огни, пришла минута расплаты.

Официант принес счет и положил его перед Судо-сан. Он профессионально почуял, что расплачиваться будет она.

Краем глаза я глянул на счет. Там стояла обведенная кружком цифра «156».

— Рублей?! — ахнул я непроизвольно.

— Ха! Долларов! — произнес Гусеев.

Судо-сан, не моргнув, вытащила из своей сумочки маленький блокнотик, похожий на тот, в который она заносила иероглифы. Но это был другой блокнотик. В нем были подшиты стодолларовые билеты. Она вырвала два листка, от чего толщина блокнотика практически не уменьшилась, и протянула их официанту.

Сдачу принесли в рублях по официальному курсу.

На Судо-сан это не произвело ни малейшего впечатления.

Мы вышли на ночную улицу Бродского, причем швейцары отдавали нам честь. Было около полуночи. Холодная весенняя ночь стояла над Ленинградом. Слева, в глубине площади, светился Михайловский дворец, на фоне которого четко виднелась фигура памятника Пушкину с откинутой в сторону рукой.

Я предложил пойти к памятнику и посидеть на скамейке.

— Йес! Йес! — выкрикнула Судо-сан.

И мы пришли к Пушкину, и сели на скамейку, и по рукам пошла бутылка Мишкиного коньяка, и тогда узнали мы, что все люди — братья, кроме японских миллионерш, которые являются сестрами.

Ванин-сан все-таки сцепился с Арамассой на политической почве через Гусеева, который стал переводить бойчее. А мы с Судо-сан сидели и молчали, и я чувствовал сквозь норковую шубку тепло ее маленького японского тела, разогретого армянским коньяком и русскими плясками.

А потом мы побрели по ночному Невскому, свернули на улицу Герцена и дошли до Исаакиевской. Судо-сан вела нас с Мишей под руки, а мы так же нежно и задушевно пели ей: «Все пройдет, как с белых яблонь дым...»

За нами в обнимку плелись Гусеев с Арамассой, а еще позади медленно ехала какая-то машина с притушенными фарами.

У дверей «Астории» мы попрощались, назначив встречу завтра в Париже, и японцы исчезли в сверкающем нутре отеля.

— Ну, хорош! — сказал Гусеев.— Все путем! Молодцы!.. Они мне сказали, что такого вечера у них еще не было. Подсовывали им каких-то дохляков. А тут — орлы!.. Привет! Я побежал на автобус. Может, успею...

И Гусеев скрылся в ночи. У него была раскачивающая походка борца.

Здесь мне очень бы хотелось поставить точку, но истина требует продолжения. Едва мы с Мишкой снова вышли на улицу Герцена, и закурили, и обняли друг друга за плечи, тихо напевая: «Не жалею, не зову, не плачу...» — очень хорошо у вас это получалось — и вспоминали чудесный вечер, благодаря которому наши физиономии появятся на страницах популярнейшего японского еженедельника, как к нам неслышно приблизились четыре фигуры. Все они походили друг на друга, поскольку были одеты в серые шинели, перепоясанные ремнями.

— Пошли, ребята,— мирно сказал один.

Мы удивились, но пошли. Четверо подсадили нас в машину с притушенными фарами, и мы куда-то поехали. Внутри было темно — хоть глаз выколи. Я только чувствовал, что какой-то народ в фургоне есть.

— Мужики, отвезите нас домой,— сказал в темноте голос Ванина.

— Отвезем, отвезем...— пообещал кто-то.

Ехали мы недолго. Машина остановилась, и нас так же бережно спустили на землю, провели по двору и мягко втолкнули в какую-то дверь, рядом с которой я разглядел табличку «Медицинский вытрезвитель».

Там, в тусклом свете одинокой лампочки, за двумя столами сидели лейтенант милиции и толстая женщина в белом халате. Нас попросили вынуть все из карманов. Тут только до Ванина-сана дошло, где мы находимся.

— Не имеете права! — начал кричать он.— Мы по приглашению! Мы через Иностранную комиссию!

— Какую комиссию? — насторожился лейтенант.

— Мы... п-писатели,— выговорил я, стыдясь.

— Слышь, писатели! — улыбнулся лейтенант женщине, кивая на нас.— Ничего, писатели! У нас здесь все бывали: и художники, и артисты. Раздевайтесь!

Но Ванин продолжал утверждать, что мы возвращаемся с официального мероприятия, санкционированного соответствующими организациями.

— Но вы же пьяны,— устало сказала женщина-врач.

— Я? Ничуть!

— Подойдите ко мне, пожалуйста. Да не вы, а вы! — обратилась врач ко мне.

Я повернулся на каблуках и твердо направился к ней.

— Ну, вы видите? Он же на ногах не стоит!

— Мы ничего плохого не сделали! Не безобразничали! — настаивал Мишка.

— Если бы вы, гражданин, безобразничали, мы бы вас в отделение отвезли,— парировал лейтенант.— А здесь вытрезвитель.

— Вася, этот сам доберется,— сказала женщина, указывая на Мишку.— А того придется положить.

— Можете идти домой,— сказал лейтенант Ванину.

— А я?...— робко сказал я.

— А он?! — загремел Мишка.— Я без него никуда!

— Давайте, давайте, гражданин! Не то сейчас в отделение отправлю,— сказал лейтенант.— А вы раздевайтесь,— предложил он мне.

Ко мне подошел молоденький рядовой — лет восемнадцати, не больше — и, глядя на меня доверчивыми голубыми глазами, попросил:

— Раздевайтесь, пожалуйста...

И тогда я с облегчением почувствовал: *дома...* Я дома! Дома, черт меня возьми! Не в Париже, не в Токио, пропади они пропадом, а здесь, у себя дома, в моем родном городе, среди близких людей. Летите, голуби! Летите, Судо и Арамасса! Я буду жить здесь.

Я покорно вытянул из брюк ремень и снял пиджак, в то время как Мишка рвал на груди рубашку и тоже пытался раздеться. Но ему не давали. Два милиционера подскочили к нему и стали выпроваживать. Вероятно, это был первый случай в вытрезвителе.

Мишка рассказывал потом, что последний взгляд, который он кинул на меня в дверях вытрезвителя, подталкиваемый милиционерами, был полон жалости и сострадания. Я сидел в одних трусах на голой деревянной скамье, поджав под себя босые ноги, а рядом со мной компактной горкой лежала моя одежда...

Ночью мне снился японский бог с залысинами, похожий на Гусеева. Он был в рыжих полуботинках.

Я проснулся в аккуратной комнате с железной дверью, где было прорезано окошко. В комнате, кроме моей, стояли три пустые заправленные койки. В окошке виднелся голубой глаз милиционера.

Тот же лейтенант, выдав мне документы и квитанции за обслуживание, поинтересовался:

— С кем пили?

— С японскими миллионерами,— сказал я.

— Эти могут... Известное дело,— сказал он.

И я вышел на улицу, японский бог, и надо мною открылось чистое небо, в котором летел серебряный самолет компании «Эйр Франс». Я позвонил Мишке, и он сорвал трубку, и голосом, в котором были слезы, крикнул мне: «Ты жив?! Жив, японский бог!» — И я ответил, что жив.

А потом мы встретились где-то в нашем городе, и пошли по Невскому проспекту мимо бронзовых коней, чувствуя себя пожившими литераторами, известными в Париже и Токио. И я помню, что нам было хорошо, японский бог!

Но это уже другая история.

1981

ПРАХ

Однажды вечером в квартире доктора физико-математических наук Павла Сергеевича Кузина раздался мелодичный звон дверного гонга. Этот сигнал вытянул Павла Сергеевича из мягкого кресла перед телевизором и повлек в прихожую. Гонг бил не переставая, и было в его нежданном звоне, как потом понял Кузин, нечто зловещее и роковое.

За дверью стояла старушка ростом чуть повыше пуделя и с такою же стрижкой. Павел Сергеевич сразу ее и не разглядел, а разглядевши, удостоверился, что старушка эта — иностранка. На это указывал прежде всего восторженный взгляд, каким она глядела на открывшего ей дверь Кузина, и огромное вязаное пончо, покрывавшее старушку почти до пят. В правой руке, выпростанной из-под пончо, старушка держала полиэтиленовый пакет с изображением леонардовской Моны Лизы.

Не переставая сиять своими малюсенькими голубыми глазками, старушка с восторгом произнесла английскую фразу, в которой Кузин уловил свою фамилию с присовокупленным к ней словом «мистер». Павел Сергеевич попытался приветственно улыбнуться, неловко развел руками и, пятясь, пропустил старушку в прихожую, куда она впорхнула, вертя головкой, как канарейка.

Помахивая полиэтиленовым портретом Моны Лизы, старушка затараторила что-то на своем языке, все более воодушевляясь. Павлу Сергеевичу наконец удалось прикрыть входную дверь, после чего он помог старушке освободиться от пончо, вынув ее из вязаного мешка. Старушка оказалась одетой в белую шелковую кофточку с неимоверным количеством рюшечек, воланчиков и кружев.

Старушка сделала выпад раскрытой ладонью в сторону Павла Сергеевича. Он ухватился за старухину ладонь обеими руками, порываясь поцеловать, но мигом оставил это намерение, ибо для его исполнения ему пришлось бы нагнуться слишком низко, либо поднять старушку в воздух.

Поэтому он ограничился максимально теплым пожатием и назвал свою фамилию, прибавив зачем-то «гуд найт», что должно было означать «добрый вечер».

Осторожно подталкивая старушку в легкое шелковое плечо, он препроводил ее в гостиную, где с нетерпением и тревогой ожидала незваную гостью супруга Кузина, кандидат искусствоведения Алла Вениаминовна, к счастью, владевшая английским языком гораздо лучше мужа.

Старушка порывисто кинулась к жене Кузина и сделала попытку обнять ее, но Алла Вениаминовна увернулась и успела поймать руку старушки, занесенную для объятья, так что дело тоже ограничилось рукопожатием. При этом гостья не переставая щебетала на своем языке.

— Пожалуйста, говорите медленнее,— произнесла Алла Вениаминовна по-английски.

Старушка остановилась в своей речи как вкопанная, шумно вздохнула и вдруг от души рассмеялась мелким заливистым смехом.

Супруги натянуто улыбнулись.

Гостья набрала в грудь воздуха, сделала лукавое лицо и медленно, как дикторша, читающая объявление по радио, принялась повторять информацию. Алла Вениаминовна слушала ее поначалу с напряжением, изо всех сил стараясь сохранить приветливое выражение лица, затем удивленно, и лишь под конец речи испустила радостный вздох.

— Павлик! Как мы забыли! Это же миссис Сейлинг! — воскликнула она, когда старушка наконец остановилась.

С большими почестями гостья была усажена на диван перед журнальным столиком. Павел Сергеевич осторожно присел сбоку на краешек кресла.

А жена его, устроившись между ними и не переставая переводить взгляд с мужа на англичанку и обратно — она как бы связывала их этими поворотами головы,— объяснила, что с миссис Сейлинг супруги имели честь познакомиться три месяца назад, когда посетили Великобританию по туристической путевке и на одной из встреч с трудящимися города Бирмингема обменялись адресами с пожилой английской четой — миссис Сейлинг и ее мужем мистером Сейлингом, рабочим-металлистом, членом компартии.

Старушка внимательно следила за переводом и, хотя не понимала ни слова, кивком подтверждала каждую фразу. Услыхав фамилию мужа и знакомое слово «коммунист», она приосанилась, поджала губы и произнесла после паузы:

— Хи дайд.

Ее лицо вдруг окаменело, и она посмотрела куда-то вдаль сквозь репродукцию Шагала, украшавшую стену квартиры Кузиных и тоже, кстати, вывезенную из Англии. На репродукции были изображены летящие влюбленные — молодой человек с вывернутой шеей и его невеста в подвенечном платье.

Павел Сергеевич понял последнюю фразу старушки. Она означала, что мистер Сейлинг умер. Кузины разом изобразили на лицах приличествующее известию выражение, одновременно пытаясь безуспешно припомнить этого мистера Сейлинга, совершенно затерявшегося в памяти среди бесчисленных знакомств туристической поездки.

Старуха тряхнула седыми завитками стрижки, и улыбка вновь озарила ее лицо. Она запустила руку в полиэтиленовую сумку, дотоле лежавшую у нее на коленях, и извлекла из нее запечатанный пухлый пакет из алюминиевой фольги, похожий на упаковку сухого супа, но гораздо больших размеров. На пакете была вытиснена черным надпись по-английски. Павел Сергеевич с интересом уставился на пакет в предположении, что там заключен некий приятный презент от четы английских трудящихся — вероятно, какая-нибудь импортная тряпка, потому как в пакете с виду было что-то мягкое. Он уже на всякий случай сделал легкий протестующий жест и придал лицу выражение благодарного смущения, в то время как миссис Сейлинг, пылко прижав пакет к груди, пыталась что-то объяснить Алле Вениаминовне.

Жена Кузина хотела ответить старушке и уже раскрыла рот, но так и застыла, не сказавши ни слова.

Англичанка же печально улыбнулась, еще раз шумно вздохнула и обеими руками протянула пакет Павлу Сергеевичу через журнальный столик, за которым они сидели.

— Спасибо... Сенк ю вери...— забормотал Кузин, кланяясь и также обеими руками принимая пакет.

— Павлик, там прах ее мужа,— тихо, сдавленным шепотом произнесла наконец Алла Вениаминовна.

— Что? Какой прах? — не понял Павел Сергеевич, все еще продолжая улыбаться.

— Прах мистера Сейлинга. Она говорит, что муж завещал похоронить его прах в России, на родине великого Ленина.

Павел Сергеевич непроизвольно сдавил пакет пальцами и почувствовал, как тот проминается с тихим и глуховатым шорохом.

— Ленина?..— зачем-то повторил он.

— Ну да! Она так говорит! — повышая голос, нервно сказала жена.

Старушка между тем обеспокоенно переводила взор с Павла Сергеевича на его жену и обратно. Затем она вспорхнула с дивана, обошла журнальный столик и, приблизившись к Кузину, принялась водить пальцем по надписи на пакете, что-то поясняя. Кузин уловил в ее речи имя супруга. Его звали Джерри. Чуть ниже вытесненной на пакете надписи «J. A. Saling» стояли даты рождения и смерти.

— Она говорит, что это последняя воля покойного, которая должна быть обязательно выполнена,— обреченно переводила жена.— Кроме нас, у миссис Сейлинг нет знакомых в России. Она слышала, что здесь за участок земли на кладбище не надо платить, и он сохраняется навсегда.

— Последняя воля...— опять повторил Кузин, некстати представляя себе некую запредельную последнюю вольную волю, после которой уже ничего не будет — только серый, жирноватый на ощупь прах.

Он осторожно расправил пакет. Податливую толстую фольгу было приятно гладить. Прах бесшумно сдвигался внутри.

— Ну что ж...— сказал Павел Сергеевич задумчиво.— Это в наших силах. Скажи ей, что мы постараемся.

— Каким образом? — с признаками рыдания в голосе спросила Алла Вениаминовна.

— Обыкновенным! — рассердился Кузин.— Похороним — и точка! Это же последняя воля английского товарища!

Жена что-то сказала англичанке. Та просияла, отобрала пакет с прахом у Кузина, снова прижала его к груди и на мгновение затихла. В глазах ее блеснула короткая слеза. Она решительно вернула пакет, затем извлекла из полиэтиленовой сумки кожаный ридикюль, из которого появилась визитная карточка. Алла Вениаминовна, совсем поникнув, переводила мужу дополнительную просьбу миссис Сейлинг — непременно отписать ей в Бирмингем, когда Кузины выполнят последнюю волю покойного.

Покончив с делом, миссис Сейлинг не стала более задерживать своих русских друзей и довольно быстро откланялась. Кузины, кивая головами, как заведенные, проводили ее до дверей. Англичанка вышла на лестничную площадку, обернулась, послала обоим супругам прощальный воздушный поцелуй и исчезла.

В пакете, который все еще держал в руках Павел Сергеевич, с шорохом осыпалась горстка праха.

Павел Сергеевич вздрогнул, быстро вернулся в гостиную и сунул пакет на первое попавшееся место, а именно на стеклянную полку серванта, рядом с хрустальной посудой. Внезапно все происходящее показалось ему нереальным, словно увиденным в зарубежном фильме. Впечатление усиливал молодой человек с картины Шагала, вывернувший шею совсем уж невозможным образом. Он будто старался выглянуть из плоскости картины, чтобы подробнее разглядеть злополучный пакет с прахом.

Оставшуюся часть вечера супруги Кузины посвятили осторожным переговорам о способе захоронения праха. Они говорили вполголоса, будто боялись, что их могут подслушать.

Надо сказать, что Павел Сергеевич, несмотря на его зрелый возраст, каким-то чудом избежал неприятных и томительных обязанностей, связанных с похоронами. Отец его погиб на войне, мать умерла, когда Кузин был еще мальчишкой, и все заботы о ее похоронах взяли на себя родственники. Случилось так — и Павел Сергеевич втайне радовался этому обстоятельству, хотя и не без внутреннего смущения — что его тесть, умерший три года назад, скончался в то время, когда Кузин находился в двухмесячной командировке во Франции, так что и эта смерть не причинила Павлу Сергеевичу организационных хлопот. Откровенно говоря, Кузин толком и не знал, как это делается. Все не слишком приятные, но необходимые обязанности, связанные с кладбищем, сводились у него к ежегодному посещению совместно с женою могил матери и тестя на Троицу.

Можно было, конечно, свалить с плеч заботу о прахе и поручить его захоронение специальным организациям — но каким? Павел Сергеевич сильно сомневался в наличии таких организаций. Поэтому пришлось действовать самостоятельно и не мешкая, поскольку Алла Вениаминовна потеряла покой с момента воцарения праха среди хрустальных фужеров и, естественно, торопила мужа поскорее покончить с предприятием.

На следующий же день Кузин отправился на кладбище, где был похоронен тесть. На всякий случай он захватил с собой пакет с прахом, завернув его в газету и засунув в портфель. В сущности, Павел Сергеевич надеялся на чудо: представлялось, например, что на кладбище удастся повстречать какого-нибудь сердобольного и отзывчивого человека, который, пускай за небольшую мзду, возьмется совершить обряд.

Он неторопливо прошел по пустой, заваленной желтым кленовым листом кладбищенской аллее и вдруг увидел в стороне, среди крестов и памятников, две характерные фигуры в серых ватниках. Мужики копошились у одной из могил. Подойдя к ним, Кузин разглядел, что они закапывают в землю низкую сварную ограду вокруг временного пирамидального обелиска, на котором висел венок из железных крашеных цветов. Мужики были неопределенного возраста с неопределенным же цветом лиц. Завидев Кузина, они разом прекратили работу и выпрямились в ожидании.

— Скажите...— начал Кузин, но слов найти сразу не сумел.

Мужики, как сговорившись, отвернулись от Павла Сергеевича и снова принялись за работу.

— Допустим, мне надо похоронить прах...— неестественным голосом, обращаясь почему-то в пространство, продолжал Кузин.

Он почувствовал, что краснеет, как от неловкости.

Мужики опять прервали работу, синхронно и неторопливо достали папиросы и закурили, молча глядя на Кузина.

— К кому обратиться в таком случае? — закончил Кузин.

— Так это смотря как...— неопределенно проговорил один.— Подзахоронить-то можно, подзахоронить оно недолго...

Тут Кузина поразило прежде всего слово «подзахоронить», как бы указывающее на мистическую возможность похоронить не совсем всерьез, между прочим... Вроде как «подзаработать».

— Нет, мне именно похоронить, чтобы на законных основаниях,— сказал Павел Сергеевич с возможной в данном случае твердостью.

— Это к главному инженеру,— сказал другой мужик, махнув рукавом ватника в сторону.

— Главному инженеру... чего? — не понял Кузин.

— Ну, кладбища,— пояснил тот же мужик, делая ударение на втором слоге.— Погоста, значит.

«Главный инженер погоста может подзахоронить»,— мелькнула в голове Кузина фраза, при всей своей несуразности не вызвав у него и тени улыбки.

— А кого хоронить-то будешь? — вдруг спросил первый. На его бесформенном лице изобразилось подобие интереса.

— Так... Одного знакомого,— соврал Павел Сергеевич.

— А к кому?

— Что? — опять не понял Кузин.

— К кому, говорю, подзахоронишь?

— Да вообще... хотелось бы как-то... отдельно,— растерялся Кузин.

— Отдельно — это в колумбарий надо. А в могилку подзахоронить — это к родственнику можно,— объяснил первый.

— Ну, тут, вообще, у нас могила тестя,— проговорил Кузин, запутываясь, поскольку непонятно было — у кого «у нас». Но мужиков смутило не это.

— Знакомого — к тестю? Чудно как-то... Он ему кто?

— Кому? Кто? — вскричал Павел Сергеевич, теряя терпение.

— Которого сжигать будешь. Кто он тестю-то? Родственник?

Павел Сергеевич с досадой на собственную несообразительность отметил, что, и вправду, Джерри Сейлинг, чей прах лежал у него в портфеле, не имеет к покойному тестю ровно никакого отношения.

— Все мы родственники,— философски заметил Кузин, чтобы прекратить этот разговор. Он круто повернулся и зашагал в направлении, указанном мужиками. Те, оперпшись на лопаты, смотрели ему вслед.

Главным инженером кладбища оказалась молодая дама с химической завивкой, густо увешанная золотыми украшениями. Дожидаясь в небольшой очереди перед дверью кабинета, Кузин успел узнать, что ее зовут Нинель Ивановна, а также выслушал от старушек несколько скорбных историй на тему оградок и надгробий. Сложность процедурных нюансов, возникающая в этих нехитрых с виду делах, несколько насторожила Кузина, и он начал продумывать стратегию и тактику предстоящего разговора, с неудовольствием отмечая, что волнуется.

Почему-то он сразу отверг простой и естественный план — сказать чистую правду, а потом смиренно попросить совета, как ему поступить. Чистая правда, как всегда, выглядела чересчур неправдоподобно, поэтому Кузин попытался улучшить ее небольшими лживыми подробностями.

Прежде всего, вступив в кабинет и присев на стуле напротив письменного стола, он начал подходить к сути дела в непозволительном для государственных учреждений тоне небрежного и поверхностного повествования, будто речь шла о незначащем пустяке, не требующем долгих разговоров. Кузин догадывался, что рано или поздно придется обнаружить иностранное происхождение праха, поэтому с ходу и не очень подумав, обременил покойного тестя довольно важной биографической деталью. Именно, он сказал, что покойный Вениамин Григорьевич, захороненный три года назад на здешнем кладбище, имел в Англии двоюродного брата, который недавно умер.

Нинель Ивановна, дотоле раздраженно перебиравшая бумаги на своем столе, услыхав об Англии, заинтересовалась посетителем.

— И что? — нетерпеливо спросила она, ускоряя повествование Павла Сергеевича.

— Он просил похоронить его на родине. Рядом с братом,— сказал Кузин.

— Кого просил? — уточнила главный инженер.

— Мою жену, свою двоюродную племянницу. Видите ли, у дедушки моей жены, Григория Соломоновича Шермана, был в Англии родной брат. Он уехвл с семьей в начале двадцатых годов. Речь идет о его сыне,— проникновенно врал Павел Сергеевич.

Он успел заметить, что отчество дедушки и его фамилия неприятно поразили Нинель Ивановну. Она надменно дернулась, поправила на груди золотой кулон, после чего достала из ящика письменного стола огромную амбарную книгу.

— Какой участок? — строго спросила она.

— Что? Я не понимаю,— сказал Кузин.

— На каком участке похоронен ваш тесть? — раздраженно переспросила Нинель Ивановна.

— Я... не знаю...— растерялся Кузин.— Это от главной аллеи третий поворот направо...

— Шестой участок,— главный инженер открыла книгу, полистала страницы и констатировала с неудовольствием: — Да, есть. Шерман Вениамин Григорьевич. Давайте ваши бумаги...

— Какие... бумаги? — еще более растерялся Павел Сергеевич.

— Свидетельство о смерти, разрешеиие исполкомв... Все что положено...

— А разве исполком должен разрешать? — удивился Кузин.

— Вообще-то не должен. Но у вас случай особый. Кто-то же должен завизировать. Может быть, обком, я не знаю. Иностранца хороните! Тело прибыло? — спросила Нинель Ивановна.

— Да, да! — радостно закивал Кузин, наклоняясь к портфелю.— Только не тело, а...

— Ну вот! Значит, должны быть документы,— удовлетворенно проговорила начальница.

Она протянула через стол белую пухлую ладонь с сияющим на пвльце золотым перстнем. В эту ладонь, чуть помешкав над портфелем, и вложил пакет с прахом Павел Сергеевич.

— ...так сказать, прах...— закончил он свою фразу.

Пальцы начальницы машинально сжались, но она тут же испуганно отдернула руку. Пакет тяжело шлепнулся на амбарную книгу. Нинель Ивановна секунду с ужасом смотрела на него, потом подвинула амбарную книгу с лежащим на ней прахом к Павлу Сергеевичу.

— Заберите,— тоном, не допускающим возражений, приказала она.

Кузин покорно забрал пакет, но в портфель его не отправил, а почему-то продолжал держать обеими руками перед грудью, как икону.

— Я просила документы,— леденящим шепотом продолжала Нинель Ивановна.

— Разве этого недостаточно? — Кузин чуть приподнял пакет с прахом.— Так сказать, факт налицо...

— Это не факт, а прах. Неизвестно чей. Я не знаю, откуда вы его взяли,— парировала начальница.

— Так я же говорю... Родственники прислали,— пролепетал Павел Сергеевич.

— Они что — бандеролью вам его прислали? — с раздраженным сарказмом осведомилась Нинель Ивановна.

— Практически. С оказией.

Нинель Ивановна на мгновение задумалась, вглядываясь в пакет. Внезапно в ее глазах зажегся огонек недоумения, не сулящий Павлу Сергеевичу ничего хорошего.

— Как его фамилия? — движением подбородка указала на прах начальница.

— Мистер Джерри Сейлинг... Иеремия Сейлинг,— находчиво поправился Кузин.

Начальницу передернуло.

— Почему не Шерман?

— А почему... Шерман? — наивно удивился Павел Сергеевич.

— Вашего английского дедушки фамилия была — Шерман. А это его сын! — начальница ткнула в пакет пальцем.

Павел Сергеевич едва не выронил прах из рук, пораженный железной логикой начальницы. Как он мог допустить такую оплошность! Достаточно было сделать несуществующего дедушкиного брата сестрой — и все вопросы были бы сняты. Мало ли за кого она могла выйти замуж там, в Англии!

Приходилось врать дальше.

— Транскрипция, знаете...— неубедительно сказал Кузин.

— Что? — Нинель Ивановна подняла выщипанные брови.

— По-английски «Шерман» звучит неблагозвучно...

— Она и по-русски неблагозвучно звучит,— отрубила начальница.

— Вот именно! — радостно кивнул Кузин, делая ей маленькую уступку.— Со временем фамилия трансформировалась. Была Шерман, стала — Сейлинг.

Нинель Ивановна недоверчиво поджала губы.

— Тем более необходимы документы,— непреклонно резюмировала она.— У вас паспорт при себе? — добавила она как бы между прочим.

— Да-да, пожалуйста! — обрадовался Кузин.

Какое-то подозрение шевельнулось в нем, когда он наблюдал, как начальница деловито списывает его паспортные данные на отдельный листок. Но мысль о том, что эта бумажка с паспортными данными может стать первой в необходимой для захоронения цепи документов, успокоила Кузина. Он спрятал паспорт в карман и несколько подобострастно раскланялся с начальницей.

— Я выясню,— кивнула она на прощание.

Случилось так, что Павел Сергеевич, рассказывая жене о посещении кладбища, деликатно обошел вопрос о мифическом английском родственнике, дабы понапрасну не нервировать Аллу Вениаминовну. Он просто сообщил ей, что потребовалось выполнить некоторые фомальности, которые обещала взять на себя любезная Нинель Иваноана. Супруга несколько успокоилась, однако не позволила Павлу Сергеевичу вновь устроить пакет в серванте, а спрятала его подальше от глаз, в нижний ящик письменного стола.

Через два дня Алла Вениаминовна вернулась из музея, где она служила, в состоянии некоей замороженности. Отсутствующим голосом она поведала мужу о том, что сегодня ее вызвали в отдел кадров и попросили объясниться насчет английских родственников, о чем ранее в анкетах не содержалось ровно никаких сведений.

— Что это значит, Павел? — строго спросила жена.

Павел Сергеевич принялся выкручиваться, но в конце концов пришлось рассказвть правду о своих фантазиях, и тут же он предложил следующий план: от зарубежных родственников не отказываться, ибо дело зашло слишком далеко, настаивать лишь на том, что сведения о дедушкином брате и его семье стали известны буквально на днях, одновременно с прибытием праха.

— Но я уже сказала им, что я ничего не знаю! — воскликнула Алла Вениаминовна.

— Ты ничего и не знала. Я тебе сказал только сейчас,— хладнокровно парировал Павел Сергеевич.— А до этого не хотел волновать известием о смерти двоюродного дядюшки.

— О котором и до этого не подозревала...— с мрачным юмором закончила жена.

— Вот именно,— серьезно кивнул Кузин.

Он уже чувствовал, что сейчас необходимо быть собранным и продумывать любую деталь, любой ход в начавшейся игре, чтобы не попасть впросак. В тот вечер Кузин постелил себе постель в кабинете, перед сном вытащил из ящика прах и, положив его на журнальный столик, долго глядел на него лежа, обдумывая предстоящие действия. Пакет лежал тяжело и спокойно, как бомба со взведенным механизмом.

На следующий день ответ пришлось держать уже самому Павлу Сергеевичу. Среди рабочего дня в его лабораторию заявился начальник Первого отдела, полковник в отставке Храпатый — румяный кругленький весельчак с седым нимбом волос вокруг загорелой лысины.

Храпатый пригласил Павла Сергеевича в пустой кабинет начальника отдела. Кузин покорно последовал за полковником, уже догадываясь о сути предстоящего разговора и еще раз мысленно повторяя главные узлы вранья: брат Шермана-деда, измененная транскрипция, связи никакой не поддерживали и ничего не знали об умершем вплоть до неприятного случая.

Храпатый с кожаной папкой в руке бодро катился рядом, испуская лучезарную улыбку.

Когда вошли в кабинет, он притворил дверь, усадил Павла Сергеевича на стул, но сам не сел, желая, по всей видимости, взглянуть на Кузина сверху вниз, чего ранее не удавалось. Удовлетворившись видом нахохлившейся фигуры Кузина, Храпатый озорно улыбнулся и спросил тихо:

— Как же такое ЧП допустили, Павел Сергеевич?

— Это вы о...— начал Кузин.

— О вашем троюродном шурине, конечно! — победно воскликнул Храпатый.

Павел Сергеевич дико глянул на полковника.

— Каком... троюродном шурине?

— Ну, этом... из Великобритании.

— А почему вы решили, что он мне троюродный шурин? — оскорбленно спросил Кузин.

— Ну, как же...— Храпатый элегантно взвизгнул «молнией» папки и извлек из нее бумагу. Пробежав ее глазами, он сунул лист под нос Кузину.

На листе сверху было написано: «Иеремия (отчество неизвестно) Сейлинг-Шерман, приходящийся троюродным братом Алле Вениаминовне Кузиной, урожденной Шерман». В остальном лист был пуст, не считая треугольного штампика Первого отдела внизу.

Этот фиолетовый штампик придавал неустановленной личности покойного Сейлинга-Шермана очевидную достоверность.

— Брат вашей жены — он вам кто? Шурин! — с воодушевлением объяснял Храпатый.— Троюродный брат — значит, троюродный шурин. Сейчас забывать стали родство. А сколько названий для родства было! Деверь, сват, свояк...

Павел Сергеевич молча рассматривал листок, думая совсем о другом.

— Шуринов племянник — как зятю родня? — не унимался Храпатый.

— Что? — вздрогнул Кузин.

— Загадка такая. Шуринов племянник кем зятю приходится? Сыном, Павел Сергеевич! — рассмеялся полковник.— Пишите! — вдруг скомандовал он, протягивая Кузину шариковую ручку.

— Что писать?

— Все, что вам известно о вашем шурине.

— Да не шурин он мне вовсе! Это двоюродный дядюшка моей жены! — вскричал Павел Сергеевич, отбрасывая листок.

— Странно...— полковник еще раз взглянул на данные Сейлинга-Шермана.— Почему так передали?.. Ну, все равно. Пишите про дядюшку.

Павел Сергеевич вздохнул, с ненавистью придвинул к себе листок и принялся сочинять биографию несуществующего дядюшки. Прежде всего предстояло придумать имя и отчество мифическому дедушкиному брату, якобы уехавшему с семьей в Англию в начале двадцатых годов. Кузин назвал его Ароном Соломоновичем, памятуя об инициалах на пакете. Таким образом, покойный дядюшка автоматически оказался Иеремией Ароновичем Сейлингом-Шерманом, 1915 года рождения, металлургом и членом компартии Великобритании. Последняя информация, слава Богу, была достоверна.

— Все,— сказал Кузин, возвращая листок Храпатому.

— Нет, не все,— тот покачал головой.— Укажите, где и при каких обстоятельствах вы встречались со своими иностранными родственниками.

— Да я не встречался с ними! Я о них вообще ничего не знаю! — воскликнул Кузин, и это было чистой правдой.

— Как же они вам прах прислали? Откуда узнали адрес? — вкрадчиво поинтересовался Храпатый.

— Зачем вам это? — спросил Павел Сергеевич.

— Как — зачем? — заволновался полковник.— Вы, Павел Сергеевич, всюду в анкетах указывали, что родственников за границей не имеете. И когда допуск оформляли, и когда за границу собирались... Так? И вдруг такой казус! Мы знать обязаны.

Павел Сергеевич тяжело засопел, пытаясь сочинить мало-мальски правдоподобный ответ на коварный вопрос полковника: откуда, черт их дери, эти Сейлинги-Шерманы знали его нынешний адрес, тем более, что он не далее, как полтора года назад получил новую квартиру?

— Они МИД запросили,— брякнул Кузин.

— Мы ведь проверим, Павел Сергеевич,— умильно произнес Храпатый.

— Ну, хорошо... Мы познакомились с ними случайно во время поездки в Англию летом этого года. Жена наткнулась в газете на объявление нотариальной конторы «Шерман и Сын». Ну, мы решили проверить, не родственники ли они уехавшему дедушкину брату,— отчаянно сопротивлялся Павел Сергеевич, чувствуя, что непоправимо погрязает во лжи.

— Вы же говорили — он металлург?

— Да, Иеремия — металлург, а его брат... Джонатан... Тот нотариус,— тяжело выворачивался Кузин.

В его мозгу многоступенчатой ракетой пронеслись несколько имен великих английских писателей, и он почему-то остановил свой выбор на Свифте.

Храпатый невозмутимо извлек из кожаной папки еще один чистый листок с фиолетовым треугольным штампиком и положил его перед Павлом Сергеевичем.

— Пишите.

— Что?! — в ужасе вскричал Кузин.

— Про Джонатана Ароновича.

Пришлось сочинить краткую биографию и Джонатану Ароновичу Шерману, попутно объяснив, почему братья придерживались разных транскрипций. Сейлинг, видите ли, по просьбе своей жены стал протестантом и решил деформировать иудейскую фамилию.

Храпатый, заглядывая через плечо, с нескрываемым недоверием следил за мифотворческой деятельностью Кузина. Когда тот закончил, полковник сложил оба листка и отправил в папку.

— Ну, и что теперь будет?..— упавшим голосом поинтересовался Павел Сергеевич.

— Там разберутся,— значительно произнес Храпатый.

Через пару дней Кузина вызвали в отдел кадров, где предложили заново переписать форму № 3, дополнив ее новыми биографическими подробностями. То же пришлось проделать в своем музее и Алле Вениаминовне, после чего супруги стали ждать последствий. Целая семья несуществующих Сейлингов-Шерманов, внезапно поселившаяся в их безукоризненных дотоле анкетах, чрезвычайно портила настроение. Алла Вениаминовна плакала по вечерам, вспоминала покойного отца и говорила, что он не простил бы зятю такого надругательства над фамилией. Между тем все эти события ни на сантиметр не подвинули дело захоронения праха. Он по-прежнему покоился в нижнем ящике письменного стола, пока не случилась истерика с женою Кузина.

Повод был пренеприятнейший. Вечером зазвонил телефон, и молодой мужской голос поинтересовался у Аллы Вениаминовны, не припомнит ли она название и номер английской газеты, в которой увидела объявление нотариальной конторы «Шерман и Сын».

Алла Вениаминовна чуть не свалилась в обморок, но трубку перехватил Кузин и, задыхаясь от ненависти к себе и к неизвестному молодому человеку, прокричал:

— «Обсервер»! Газета называлась «Обсервер»! Числа не помним!

Алла Вениаминовна забилась в рыданиях, в ход пошли транквилизаторы, а на следующее утро Павел Сергеевич отвез пакет с прахом в Солнечное, на дачу, которую вот уже пять лет снимал у Дачного треста — стандартный двухкомнатный коттеджик с верандой, печкой и маленькой кухонькой. Алла Вениаминовна сказала, что присутствие праха в квартире угнетает ее.

В Солнечном было безлюдно. Мороз сковал дорогу, Павел Сергеевич поминутно скользил, чертыхаясь. Изредка попадались навстречу рыбаки в полной зимней амуниции, со спиралеобразными ледобурами. Павел Сергеевич свернул с дороги и пошел кратчайшим путем через лес, по схваченной морозом траве, которая с легким шуршанием ломалась под ногами.

Он прошел мимо маленького песчаного карьера, из которого жители окрестных дач добывали песок для приготовления раствора, когда занимались постройкой гаражей. Внезапно предательская мысль посетила его: разыскать сейчас в сарае лопату, вернуться сюда и похоронить этого Сейлинга-Шермана прямо в карьере — и мир его праху! Павел Сергеевич воровато оглянулся. Никого вокруг не было, лишь вороны летали над голыми ветками деревьев. Он уже почти переломил себя, но вдруг понял: поздно! Избавиться от праха не составляло труда, пятно в анкете было несмываемо.

Павел Сергеевич добрел до холодной дачи и зажег все газовые конфорки, чтобы хоть чуть-чуть согреть воздух. Он сунул пакет на полку с дачными книгами — детективами и фантастикой, потом порылся в кладовке и обнаружил початую бутылку водки. Павел Сергеевич налил полстакана, хлопнул без закуски и присел на краешек табуретки в ожидании согрева. Через несколько минут водка разлилась в организме, приведя Павла Сергеевича в состояние умиротворенной печали. Он с жалостью вспомнил о своем новом родственнике Иеремии Сейлинге и подумал, что ни за какие пироги не отправил бы свой прах в чужую страну, пускай на это имелись бы серьезнейшие идеологические основания. «Что он знает о родине великого Ленина?» — с неожиданным озлоблением подумал Павел Сергеевич, метнув ненавидящий взгляд на алюминиевый пакет. Он налил еще полстакана и выпил, поминая незадачливого родственника.

Последующие две недели прошли в непрерывном ожидании каких-то кар: вызовов в партком, персонального дела, повестки из КГБ или даже ареста. Мерещились просторные кабинеты, уставленные письменными столами, за которыми молодые ловкие сотрудники в нарукавниках перелистывают подшивки газеты «Обсервер». Павел Сергеевич совершенно потерял покой и наконец решился на превентивный ход.

Он сам отправился в райком, чтобы использовать последний имеющийся у него козырь, а именно, «родину великого Ленина». Его принял инструктор идеологического отдела Богатиков — молодой человек с послушным и бесцветным лицом бывшего комсомольского работника. Стараясь сохранять спокойствие, Павел Сергеевич изложил ему суть дела, напирая на важное идеологическое обстоятельство: последнюю волю английского коммуниста, желавшего покоиться в земле основателя первого в мире социалистического государства. По лицу Богатикова он понял, что инструктор впервые слышит о Сейлинге-Шермане. Тем не менее сообщение Кузина его взволновало, в середине разговора Богатиков покинул кабинет, прихватив с собою листок, на котором были записаны анкетные данные покойного, и отсутствовал минут сорок. Вероятно, за это время он вполне овладел вопросом, потому что стал беседовать далее с Кузиным в покровительственном и несколько раздраженном тоне, как с человеком, допустившим серьезную оплошность.

— Неустановленная личность,— сказал он.— Нужны документы.

— Какие? — покорно спросил Кузин.

— Свидетельство о смерти. Партбилет.

— Но давайте исходить из здравого смысла! — воскликнул Кузин горячась.— Есть прах. Пепел, так сказать. Какое еще нужно свидетельство?

— Пепел, оно конечно...— засомневался Богатиков, и вдруг его унылое лицо озарилось какой-то запредельной решимостью.— Хорошо! Пепел беру на себя. Факт наличия смерти установим медициной по пеплу. А партбилет?.. Мы его похороним как коммуниста, а вдруг он не коммунист?

Кузин задумался. Богатиков тоже. С минуту они смотрели друг на друга, изобретая выход для английского коммуниста.

— Партбилет остался в семье. Он дорог как память,— осторожно проговорил Кузин.

— Может быть, ручательство? — предложил Богатиков.

— Я могу поручиться как член партии,— предложил Павел Сергеевич.

— Нужно два ручательства.

Павел Сергеевич сник. Где же взять второе ручательство? Даже Алла Вениаминовна не поможет, поскольку беспартийная.

— Ищите поручителя,— сказал Богатиков, поднимаясь с места и протягивая руку Павлу Сергеевичу.

Кузин мучительно принялся подбирать кандидатуру, понимая, что обрекать даже близких друзей на столь опасное предприятие — бесчеловечно. Неожиданно выручил Храпатый. Встретив Павла Сергеевича в служебном коридоре, он поинтересовался, как идут дела с захоронением Сейлинга-Шермана. Кузин пожаловался на закавыку, и Храпатый не задумываясь предложил в поручители себя.

— У меня в документах зафиксировано, что он коммунист,— сказал полковник.

Кузин вспомнил листок с фиолетовым штампиком, где собственной рукою вывел слово «коммунист» — и потерял дар речи. Впрочем, он тут же засуетился, приглашая полковника в гости для составления поручительства и желая тем самым отвлечь его от очевидного логического несоответствия. Храпатый согласился легко, будто на это и рассчитывал.

Когда допивали вторую бутылку коньяка, выслушав массу историй Храпатого о войне и особистах, полковник откинулся на спинку стула и, обращаясь к Алле Вениаминовне, сказал:

— Раньше бы десятку схлопотал Павел Сергеевич, не иначе. А сейчас сидим полюдски, коньячок пьем! Ваше здоровье!

На следующий день Павел Сергеевич отнес Богатикову два поручительства за прах Иеремии Сейлинга-Шермана. А еще через два дня инструктор позвонил Кузину домой и сказал, что второй секретарь примет его в понедельник.

— Не забудьте захватить прах,— предупредил Богатиков.

— Ну, вот видишь! Все и решилось! — радостно воскликнул Кузин, положив трубку.

Алла Вениаминовна с сомнением покачала головой.

В воскресенье Павел Сергеевич отправился в Солнечное за прахом. Поехал он после обеда, пока добрался туда, сунул прах в полиэтиленовый пакет и вернулся на платформу, уже стемнело. На платформе полным-полно было рыбаков, возвратившихся с залива. Они сидели на своих ящиках группами, расставив ноги в огромных валенках, и неторопливо попивали портвейн.

Подошла переполненная такими же рыбаками электричка, и Павел Сергеевич втиснулся в нее, сжимаемый со всех сторон овчинными полушубками, окованными металлом ящиками, острыми ледобурами. На Удельной его вынесло толпою из вагона, и тут Павел Сергеевич ощутил, что полиэтиленовый мешок, который он нес в правой руке, непривычно легок. Кузин отбился в сторонку и, затаив дыхание, заглянул в мешок. Алюминиевый пакет был на месте. Павел Сергеевич двумя пальцами извлек его из мешка и обнаружил, что пакет пуст.

В самом низу полиэтиленового мешка и пакета с прахом имелся длинный разрез, точно выполненный бритвой. Очевидно, это был след острого ковша ледобура, которым чиркнул по пакету, проходя, кто-то из рыбаков. Сквозь этот разрез и высыпался прах.

Павел Сергеевич дернулся к раскрытым еще дверям вагона, из которых валил народ, глядя рыбакам под ноги, и ничего, конечно, не увидел, кроме грязного, перемешанного с землею талого снега, чавкающегося под галошами и сапогами.

Прах Иеремии Сейлинга-Шермана, в полном соответствии с последней волей покойного, был рассеян на родине великого Ленина представителями рабочего класса.

Более того, он был рассеян на исторической платформе, куда в апреле семнадцатого года прибыл из Финляндии великий Ленин.

Тут Павел Сергеевич немного тронулся рассудком. Он заметался по перрону, как заяц, держа в руках алюминиевый пакет, потом в сердцах швырнул его за ограду платформы, но тут же спохватился, перепрыгнул через ограду и, попав обеими ногами в глубокий сугроб, вновь завладел пакетом.

Он простоял несколько секунд, соображая, что же делать дальше, затем выбрался из сугроба и зашагал к ближайшему гастроному.

В гастрономе, действуя хладнокровно и обдуманно, он купил двух охлажденных кур по два рубля шестьдесят пять копеек за килограмм и завернул их в полиэтиленовый мешок с прорезью. Алюминиевый пакет он тщательно разгладил и спрятал на груди под пальто. После этого Павел Сергеевич вновь отправился в Солнечное.

Он добрался до дачи в девятом часу вечера. Промерзший коттедж встретил его угрюмой тишиной. Где-то вдали лаяли собаки. Павел Сергеевич допил оставшуюся водку прямо из горлышка и приступил к делу.

Прежде всего он принес из сарая охапку березовых дров и растопил печку. Дрова занялись неохотно, Кузин извел на растопку почти все газеты, обнаруженные в доме. Наконец пламя загудело. Кузин в пальто присел на табуретку перед открытой дверцей топки и долго смотрел на бушующее пламя. Затем одну за другой он сунул в топку кур и прикрыл дверцу.

Через несколько минут в кухне возник аппетитный аромат жареной курятины, сменившийся вскоре горьким запахом подгорелого мяса.

Кремация кур была закончена заполночь.

Павел Сергеевич открыл топку и увидел в печи черные обугленные остовы. Он подождал, пока уймется пламя и погаснут угли. Затем, пользуясь совком, он осторожно извлек из топки останки кур вместе с золой, ссыпав прах на подстеленную газету. Далее Кузин пользовался уже столовой ложкой, измельчая ею останки и осторожно наполняя ими пакет из фольги сквозь имевшуюся прорезь. Вскоре пакет приобрел прежний пухлый и увесистый вид, и Павел Сергеевич с максимальной тщательностью заклеил прорезь найденной, по счастью, в подсобке с инструментами прозрачной липкой лентой. Закончив работу, он положил пакет на стол, и тут нервы не выдержали. С Павлом Сергеевичем впервые за много лет случилась истерика.

Он всхлипывал, трясся — то ли от холода, то ли от ужаса — потом закурил, тоже впервые за много лет, найдя трясущимися руками пачку «Столичных», оставленную в доме еще летом заезжими гостями. «Господи, за что нас так? За что?» — повторял он неслушающимися губами, вдыхая дымный запах сгоревших птиц, превратившихся в желанный коммунистический пепел.

Заснул Кузин под утро, повалившись в пальто на холодную жесткую кровать. Пламя кремации не смогло прогреть замерзший дом, с губ Кузина слетали при дыхании облачки пара.

Домой он вернулся к полудню следующего дня с руками, перепачканными в золе, позвонил на работу Алле Вениаминовне, сказал, что отменили вечерние электрички. Потом принял душ, побрился и отправился с прахом в райком.

...Кур хоронили через неделю. Церемония была расцвечена пионерским знаменем с горном и барабаном, а также делегацией профкома чулочной фабрики. Кроме пионеров и месткомовцев, присутствовали супруги Кузины и поручитель Храпатый. В нижней части обелиска Вениамину Григорьевичу Шерману сияла новенькая надпись золотом, сделанная за счет райкома: «Здесь покоится прах Иеремии Сейлинга-Шермана, рабочего-металлиста, члена Коммунистической партии Великобритании». И стояли даты рождения и смерти.

Инструктор Богатиков прочитал по бумажке краткую речь, существенно дополнив биографию покойного новыми деталями. Те же мужики зарыли прах в могилу тестя. Хриплый горн ударил в бесцветное морозное небо. Пионеры с салютом прошли мимо могилы, месткомовцы, толпясь, возложили венок с алой лентой.

— Хорошо, когда по-людски,— растроганно шепнул Храпатый Павлу Сергеевичу.— Все путем! Джонатана тоже здесь положим...

Вечером того же дня Кузин отправил в Бирмингем открытку с известием о выполненном поручении.

1990

Владимир
НАСУЩЕНКО

...ПОТЕРЯВШАЯ СВОИХ СЫНОВЕЙ

Повесть

Городок был маленький, тихий. Примечательного в нем было мало: старая развалившаяся крепость да парк. Еще был канал, прорытый неизвестно зачем. Он зарос рогозом и ряской. Купаться в нем было нельзя. Мальчишки бегали на озеро, что раскинулось недалеко от города. Там было раздолье.

Сашка Гусев приехал в этот город в командировку с бригадой монтажников: на местном заводике ставили газовые фильтры.

После работы пойти некуда. Довольствовались кино, что крутили два раза в неделю в зашарпанном клубе. Сашка записался в библиотеку. Молоденькая библиотекарша, сидевшая там зря, пожаловалась:

— Книги поступают нерегулярно. Из области шлют то, что им негоже. Можете полюбоваться...

Она загадочно улыбнулась.

Сашка терпеливо выискивал новинки. Он предпочитал стихи. Ничего путного не попадалось. Кассеты и сборники были не интересны, лучше совсем не читать. Стихи какие-то обесточенные, если можно так выразиться, не вызывали ни мыслей, ни чувств, будто их писали не люди, а холодные расчетливые машины.

Однажды повезло. Наткнулся на сборник стихов Александра Жнецова. Краем уха слыхал, что он замечательный поэт, но читать не приходилось. Стоя между стеллажами, пробежал сборник от корки до корки, даже посмотрел на свет титульный лист, будто хотел обнаружить на бумаге тайные водяные знаки, настолько стихи необычные.

— Вот здорово! — счастливо пробормотал Сашка и хотел записать книжку на формуляр, но библиотекарша воспротивилась.

— Нет, нет, выносить нельзя! Единственный экземпляр. Читайте здесь. Я долго искала эту книжку, думала, украли. Господи, она не обернута, такая ценность! — с неподдельным испугом воскликнула она, прижимая книжку к груди.

Ничего не оставалось, как сесть за стол. Сашка переписал в блокнот девять стихотворений.

— По числу муз,— пояснил он и разговорился с девушкой. Ее звали Катя. На ней была белая кофточка с двойными кружевами на рукавах, какие теперь не носят.

Катя мечтала поехать в Москву.

— Хочу видеть Жнецова, пока он живой,— заявила она.

— Он, что, старый? — спросил Сашка.

— При чем тут старый? — обиделась Катя и пояснила: — Хорошие люди долго не живут...

— Вот как! — усмехнулся Сашка.

Катя покраснела:

— Когда я прочла его стихи, мне показалось, что они дошли сюда из далекой галактики. Каждая строка пронизана неземным светом! Сердце разрывается, когда читаешь! — голос ее задрожал, из глаз полились слезы. Она вытерла их кружевами, вздохнула: — Разыщу его, во что бы то ни стало. Хоть издали на него гляну! Мне больше ничего и не нужно!

Сашку удивило ее глупое желание, и он сказал:

— Жизнь у вас непонятная! Я пошел, счастливо оставаться!

И он больше не ходил в библиотеку.

Дни летели быстро. Вечерами в общежитии было скучно. Монтажники дулись в домино. Он уходил в лес, шлялся там до потемок. Однажды провалился в яму — бывший колодец,— еле оттуда выкарабкался, порвав гимнастерку.

В общежитии уже улеглись. Он выложил на стол кривые подосиновики.

— На жареху.

Скинул располосованную гимнастерку. Сосед загоготал:

— Гляньте на него!

Другие подняли головы. Сосед спросил:

— Никак лесничиху обротал?

— На кордоне медведица захворала, припарки ей ставил.

— Следующий раз побегишь к ней, толстую рубаху пододень, а то медведица войдет в раж, задерет, чего доброго: они насчет этого злые. Охо-хо! Вон морда раскарябана! Побойчей будь!

Ржали.

Сашка был спокойный, не обращал внимания на их грубые шутки, рот раскрывал редко. Усмехнется, ляжет читать. Он служил на границе, привык к порядку, донашивал солдатскую одежду. Монтажники не подозревали, что он был ранен, вдобавок контужен. Сам он ничего не рассказывал. Он малость прихрамывал. Еще у него была привычка массировать лицо: сядет в уголке и трет, будто оно у него постоянно зудит. Потом улыбнется, мол, все в порядке, ребята. Он любил бродить один. В лес или на станцию глядеть на проходящие поезда. Словно кого ждет. Раз привел в общагу опустившегося бродягу, сводил его в душ, накормил, подарил ему свою поплиновую рубаху и отпустил. Потом выяснилось, что бич стянул у него часы с дорогим браслетом. Сашка об этом никому не сказал.

В конце октября работы были закончены, сдали газоочистку под пломбу. Перед отъездом Сашка решил попрощаться с Катей. Пришел, на двери — замок. На колонку шла женщина с ведрами, и он спросил у нее, куда девалась библиотекарша. Женщина остановилась.

— Не ждите, молодой человек. Нету ее, а другую еще не прислали.

— Она в отпуске?

Женщина поставила ведра на землю и заохала:

— Ох-ох, горе! Нету Кати...

— А что такое?

Женщина стала объяснять, что неделю назад учителка Елизавета Абрамовна зашла к Кате:

— Были с ней сговорившись ехать автобусом на экскурсию. Учителка вошла в дом, смотрит, Катя сползши с постели, стоит на коленочках, и каки-то таблетки по полу раскатаны... Пока скорую вызвали... В больнице Катя три дня прожила. Жаль девку, молоденька...— Женщина скорбно утерла рот платком, вздохнула: — Вы случайно не со стройки?

— С монтажа,— поправил ее Сашка, собираясь уходить.— А вы что хотели?

— Раей меня зовут. Я соседка Катина,— представилась женщина.— Напоследок я к ней ходила в больницу. Катя просила, чтобы я передала одному человеку, из командированных, книжку, что лежала на тумбочке в ее комнате. Его зовут Саша Гусев. Знаете такого?

Сашка кивнул:

— Знаю.

Женщина переступила ногами, внимательно на него посмотрела.

— Вот и ладно. Будьте добры, отдайте ему книжку. Я бы сама сходила, да далеко, ноги у меня больные. Подождите, сейчас вынесу.

Она повернулась, зашлепала по лужам.

Поднимался туман. Мгла накрыла город. Женщина появилась не скоро.

— Заждались? Еле отыскала ту книжку: дочка ее в учебники положила. Передайте, а то на мне грех будет!

Протянула книгу, завернутую в розовую бумагу. Сашка сунул сверток за пазуху, заторможенно кивнул:

— Передам, не беспокойтесь.

Женщина взяла ведра и заковыляла на распухших ногах, потом остановилась и сердито крикнула:

— Забыла сказать, в книжке письмо заложено, не потеряйте! Адреса нет, фамилия только. Этот парень, должно быть, знает, куда отправить письмо! Я конверт заклеила, не читая, не ведаю, что там. Уж постарайтесь!

— Понял,— машинально ответил он и пошел через осенний парк. Туман густел. По аллее бродила взъерошенная галка в черной камилавке на башке, что-то выискивала в куче сырых листьев.

Он вышел на окраину. Здесь были одноэтажные домики с палисадами. На грядках темнели поломанные цветы. На улице — ни души. В некоторых окнах горело электричество, между рамами выставлены банки с огурцами и томатами, заготовленные на зиму.

В общежитии Сашка развернул книгу. Это был однотомник Шервуда Андерсона, в середине — письмо без адреса — на конверте аккуратно выведено: «Александру Жнецову».

Видно, девчонка не успела отправить письмо. И Сашка решил по приезде домой узнать адрес Жнецова и переслать ему.

Он сел на койку, наугад раскрыл книгу, начал читать новеллу «Смерть в лесу». Как одна старуха всю жизнь занималась только тем, что кормила лошадей, кур, коров, свиней, собак, мужчин. Чтобы все были сыты. С такой оравой справиться нелегко: приходилось работать с утра до вечера. Старуха едва сводила концы с концами, чтобы всех ублажить. Однажды старая женщина тащила из города мешок со жратвой: сердобольный мясник снабдил ее дармовой говяжьей печенкой. Мешок был тяжелый. Мела пурга. Женщина выбилась из сил, села под дерево передохнуть и уснула. Наутро ее нашли замерзшей. Вот весь рассказ.

Таких работящих женщин, что всех кормят, полно, куда ни кинь, и в деревне, и в городе. Стоит присмотреться: несут тяжелые ноши со жратвой на семью в обеих руках, и никто такой старухе не помогает, их просто не замечают...

В комнате находились два инженера, которые собирались в ресторан на вокзал, и не могли сыскать приличный галстук.

Сашке опротивела их возня, ушел в другую комнату, завалился на пустую койку, сразу уснул. Ночью он проснулся, попил из бачка воды, включил настольную лампу и прочитал рассказ «Как сеяли кукурузу». Вот это был рассказ! Зарезаться можно! Старику и старухе ночью принесли похоронку: сын их погиб в автокатастрофе. Старик и старуха вышли из дома в ночных рубахах (было тепло), захватили мешок с кукурузой и стали сеять зерна на вспаханном поле при свете луны...

Сашка отложил книгу, погасил свет и заплакал. После контузии у него появилась слабость, а ночью воля расслабляется.

Утром он сообщил прорабу, что уедет на несколько дней в Москву по личным делам, благо у него скопились отгулы. Прораб разрешил.

Поезд прибыл ночью. В зале ожидания собралось много народа, ждали пересадку. В буфете не протолкаться. Злая от ночной работы буфетчица бросала сдачу на мокрый поднос, покрикивала, чтобы шевелились. Ей полагался отдых на два часа. Все боялись, что она закроет буфет, переносили ее капризы.

Сашка занял очередь. Буфетчица орудовала щипцами, в спешке обронила бутерброд на пол, тут же подняла его, отложила в сторону, немного погодя сунула этот бутерброд обратно на поднос: Рязань слопает. Сашка не вытерпел и сказал, чтобы она убрала грязный бутерброд. Буфетчица сделала удивленные глаза:

— Какой?

— Знаешь какой!

Она швырнула злополучный бутерброд в помойное ведро.

Сашка усмехнулся, заказал кофе, две булочки с сыром и колбасой и отошел к столику. Сыр был сухой, а колбаса нарезана так искусно, что казалось ее много, на самом деле — два прозрачных лепестка, а кофе — свинья не станет лакать...

Сашка с трудом проглотил бутерброды, кофе не стал пить и вышел на привокзальную площадь. Было холодно. Шли ночные машины, разбрызгивая колесами мокрый снег. Над городом стоял нимб огней.

Сашка пошел в сторону Дмитровского шоссе, где проживал сослуживец. Тот демобилизовался на год раньше. Это не имело никакого значения. Главное, разыскать его дом, чтобы по утрянке завалиться к нему на постой, авось примет. Отоспаться у него и начать поиски Жнецова...

Брел медленно, читая названия улиц, надо было — Добролюбова. Спросить некого.

Он свернул в тихий сад. В сетях терновника, на шипы, были наколоты листья кленов. На дорожках тоже лежали листья. Навстречу шел старик с овчаркой. Собака тянула поводок, хозяин ворчал на нее:

— Стой, чертова шайсскомандо!

Собака понуро остановилась. Старик обрадовался, увидев Сашку:

— Солдат, подержи пса, передохну! Не бойся, не кусается. Клио, сидеть!

Он передал поводок, смахнул рукавом снег со скамьи и сел.

— Руку чуть не оторвала, бестия! — пожаловался он на собаку, оглядывая Сашку.— Меня бессонница мучает. Решил выгулять псину. Ты кто?

— Приезжий. Улицу Добролюбова ищу. Не подскажете, где такая?

— Там.

Старик махнул рукой.

Сашка погладил собаку, та ткнулась ему в колени. Старик засмеялся:

— Собак и кошек мы гладим чаще, чем детей! Тебя как зовут?

— Александр.

— Я — Конвертов Федор Иванович.— Старик охнул и протянул руку.— Помоги встать, ногу свело!

Сашка помог. Старик был тяжелый, костистый. Он взял поводок и зашаркал негнущимися ногами по листве.

— Пойдем ко мне,— предложил он.— Чего зря мерзнуть?

За садом белел дом с башенками по углам. Квартира — под чердаком. Конвертов отпер дверь, обитую железом, пропустил вперед гостя. В прихожей воняло скипидаром

и олифой. Сашка огляделся. В большой комнате потолок стеклянный, видно, мастерская. На стуле — подмалевок. Что изображено, не понять: краски налеплено. Сашка снял бушлат, повесил его на стоячую вешалку. Из соседней комнаты высунулась заспанная мордашка с детскими глазами, тотчас скрылась.
— Это кто? — поинтересовался Сашка.
— Внучатая племянница Наталища. Приехала учиться,— пояснил Федор Иванович и добавил: — Она родом из деревни Наталище, и саму зовут Натальей... Иди на кухню, ставь чай.
Он вытащил с антресолей раскладушку, протер тряпкой, постелил тощий матрас и принес простыни и одеяло с подушкой.
— С фонаря сифонит, но одеяло из верблюжьей шерсти, не околеешь...
Попили чайку на кухне, и Сашка лег на раскладушку, укрылся с головой.
Утром проснулся с радостью: «Вот славно выспался!»
Через стеклянный фонарь проникал мутный рассвет. Скрипнула дверь. По шлепкам тапочек понял, что племянница деда пошла умываться, заметил краем глаза — девчонка кудрявая, как барашек,— вчера не разглядел. Она пробежала обратно, пискнула на ходу. Проснулась и овчарка, шумно зевая, пропихнула морду в щель двери, но в мастерскую не зашла.
Сашка сбросил с раскладушки ноги на щелястый, заляпанный красками пол, похрустел плечами и направился в туалет. Санузел был совмещенный. На полочках — батарея пузырей с шампунями, на стене наклеены красотки: девки упитанные юбки приподняли растопыренными пальчиками — белье нижнее демонстрировали. Наверно, Наталья налепила...
Сашка пустил горячую воду, вымыл от поездной грязи голову, надраил пастой зубы, вытерся полотенцем, что висело под зеркалом. Вернулся в мастерскую, упрятал тубу и зубную щетку в походную суму. И не знал, что делать: хозяин и не думал вставать. Из комнаты выскользнула Наталья, засияла:
— Привет!
— Привет, курица...
— Ты кто?
— Я-то?
— Ты-то.
Девчонка открыто засмеялась.
Сашка буркнул свое имя и сказал:
— Ссуди треху, подруга. Издержался. Из дома вышлю телеграфом.
Девчонка вынесла пятерку:
— Хватит?
Сашка расхохотался.
— Во даешь! Может быть, я жулик, а ты сразу денежку в клюве несешь. Эх ты, простофиля!
Девчонка показала остренький язычок, убежала на кухню. Сашка пошел за ней.
— На кого учишься?
— На голкипершу.
— Умница. Так и надо отвечать незнакомым нахалам. Сколько тебе лет?
— Все мои.
— Хм, на вид ты не особо старая,— ухмыльнулся он.
Девчонка фыркнула, зажгла газ и поставила сковородку, бросив на нее кусок маргарина. Потом достала из холодильника три яйца и стала их бить о край сковороды, разламывала и выливала содержимое в кипящий жир.
— Ты поэта Жнецова знаешь? — спросил Сашка.
Девчонка подняла бровки:
— Ой, терпеть не могу!
— А что так?
— Одно время увлекалась им. Стихи у него какие-то странные, такое впечатление, будто он скрывает какую-то тайну, которую еще никто не знает, и он боится ее открыть, если он эту тайну выдаст, то мир рухнет, рассыплется в прах. Тяжелые стихи. Запинаешься на каждой фразе, будто ворочаешь шпалы! И названия стихов дикие! Например, его знаменитое стихотворение «Стража осенней рощи». Что он этим названием хотел сказать? И само стихотворение жуткое, читаешь — мороз по коже. Многое непонятно. От критиков ему влетает, что не по канонам пишет. Недругов у него... Его первая книжка кочевала по редакциям пятнадцать лет, боялись печатать. Ничего срок, да? Он сам из работяг, служил на флоте, на заводах вкалывал в дыму, грязи. Он — селфмейдмен, человек, сделавший сам себя. Плетут про него низкопробные басни, что он пьяница и умрет под бетонным забором, что ему не перо в руках держать, а лопату. Была я на его авторском вечере, наслушалась.
— Шуты гороховые, кто смеет так говорить о нем,— возмутился Сашка.— Где он живет?

— Откуда я знаю...
В кухню сунулась Клио, повела носом. Наталья замахнулась на нее полотенцем:
— Пошла вон! Не собака, а желудок с глазами! Никак не накормить. Надо ей готовить.
Собака убралась. Наталья захлопала дверцами пенала, нашла геркулес, достала из морозилки куриные шейки, пупки, лапки — все это сложила в кастрюлю, залила водой и поставила на огонь.
— Присмотри, я оденусь, опаздываю на лекцию. Как закипит, овсянку всыпь.
Ушла, хлопая тапочками.
«Общительная девчонка,— подумал Сашка, варя болтушку. И было ему грустно в чужой квартире. Надо сматываться.— Разыщу Жнецова, передам письмо и... на поезд. Если не найду, поеду к Лешке. Чай, солдатская дружба не поржавела. Помянем ребятишек, что полегли в Урганском ущелье. О черт, голова раскалывается!»
Он прислонился лбом к холодному стеклу окна.
Закашлял, зашевелился Конвертов, выполз на порожек в спортивных штанах с пузырями на коленях, в вельветовой куртчонке, надетой на голое тело, почесывая пятерней впалую волосатую грудь.
— Как выспался, солдат?
— Норма. Мы тут с Наташей беседовали о Жнецове, поэте. Мне его адрес нужен...— Сашка замолчал: говорить — не говорить про письмо,— решил довериться, рассказал все.
Конвертов выслушал внимательно и посоветовал позвонить в адресный стол:
— Я схожу в магазин, заодно собаку проветрю. Телефон в моей комнате. Действуй.
Он ушел одеваться, вышел и кликнул собаку. Дверь хлопнула.
Наталья появилась с аэрофлотской сумкой через плечо, в брючках, под складчатой блузкой грудки приподняты — стоят на боевом взводе. Затарахтела:
— Яичницу ешь, пока не остыла. Я в институте перекушу. Чао!
— Я один, что ли, останусь? — напугался Сашка.
— Дядя с минуты на минуту придет, не скучай и не расстраивайся. Я часиком к четырем подъеду. Ты уйдешь?
— Чего мне тут сидеть? — буркнул он, снимая ложкой пену с собачьего варева.
Наталья вдруг подошла, коснулась его лба влажной ладошкой, откинула его густую шевелюру, отдернула руку, будто обожглась, и счастливо засмеялась:
— Так и знала!
— ?
— Что у тебя высокий лоб! Маскируешься под битла, а зачем?
— Уйди,— рассердился Сашка, боясь за свои дальнейшие действия, что схватит девчонку, притиснет. Усмехнувшись, сказал, что Чехов Антон Павлович в ранней молодости увидел у колодца дивчину-хохлушку и, ни слова не говоря, стал ее целовать, и она была не против...
— Что ты этим хочешь сказать? — с вызовом спросила Наталья.
— То и хочу...
Он шагнул к ней. Она выбежала в коридор, вскрикнув:
— Батюшки, какой нахал!
Брякнула дверь.
Сашка повеселел. Мотая грузной головой, разыскал плетенку с хлебом и, сев за стол, прямо со сковороды уплел яичницу, макая кусочки хлеба в жир, выпил чаю. Вспомнил, как Наталья чудно назвала собаку: «Желудок с глазами». Собака точно так глядела.
Он убрал сковородку, помыл стакан и пошел звонить. Дверь в комнату старика была открыта. На журнальном столике — грузинская ваза, рядом — телефон. У стены — кушетка, тканный зеленой и коричневой шерстью ковер. Полки книг. Много древнегреческой и древнеримской литературы. Глаза разбежались. До книг Сашка был сам не свой: с пятнадцатилетнего возраста зачитывался Гельвецием и Светонием. Тут был выбор богатый. Подернул одну книгу, другую, подержал Сенеку и поставил на место — не клал, не бери. По стенам рисунки углем: гладкие гетеры на ложах, суровые римляне в тогах, дальше — картинки с эротическим содержанием — свирепые кентавры волокут за что ни попало визжащих притворно вакханок. Наверное, иллюстрации к Марциалу. Обнаглев, Сашка полистал альбом, в нем наброски, полные ревущей плоти. Ай да Конвертов!
На другой стене висели недурные репродукции: Пуссен — «Аркадские пастухи», Кутюр — «Римская оргия», еще был Курбе — «Погребение в Орнане». Сашка имел некоторое представление об этих художниках, коллекционировал кассеты мастеров Франции и Испании.
В простенке бухнули часы с репетицией, заиграли нежный менуэт. Еще Сашкино внимание привлекла небольшая картина, писанная темперой. На первый взгляд —

ничего особенного: коричневый корявый ствол дерева, прутики, клейкий желто-зеленый листочек на шершавой коре. Сашка сдуру ткнул пальцем в этот тщедушный листик, думал, краска не просохла. Обманулся, листик сухой.

Другая картина — у окна. Свет на нее падал косо: не видно деталей, лишь выступало отдельными пятнами чье-то страшное лицо. Сашка подошел ближе. На холсте пожилая крестьянка несет навильник сена к стогу. Кофта потемнела от пота, на шее вены вздулись, как провода, глаза измученные, лицо дрожит. Такое впечатление, что женщина сейчас упадет, сердце у нее не выдержит, лопнет. Жуть брала! А называлась картина: «Мария, потерявшая своих сыновей». Вроде названа не по теме, можно только предположить, что случилось несчастье: погибли сыны...

Сашка оцепенел и долго стоял перед Марией. У него самого лицо стало дергаться, расстроился. Сердце покалывало. Отлип от картины и машинально снял телефонную трубку, покрутил диск. Справочное потребовало о Жнецове данные: год рождения, что-то еще.

— Не знаю, девушка...

— Я за вас должна знать?

Раздались гудки.

В прихожей Конвертов рассуждал с собакой:

— Ум у тебя есть? Зачем рычишь на всякую сволочь, себя унижаешь...

Сашка вышел в мастерскую и доложил, что затируха для собаки стынет между рамами. Конвертов кивнул, прошаркал на кухню, стал выкладывать на стол из сумки сыр, масло, эрзац-колбасу.

— Наталища где? — спросил.

— В институт уехала.

— Адрес узнал?

— Нет. Требуют год рождения и где родился. Не знаю, как быть теперь.

— Ничего. Я созвонюсь с приятелем. У него есть справочник с адресами и телефонами писателей...

Старик открыл раму, достал кастрюлю с собачьим пойлом, налил пиалу и попес в прихожую, ласково бормоча:

— Бездельница, дармоедка неухоженная...

Вернувшись, он помыл руки, нарезал на сковороду бледной колбасы, поджарил ее и раскинул куски по двум тарелкам.

— Садись, гвардия.

— Спасибо. Наталья накормила меня.

— Было б предложено...

Старик сел завтракать.

Часы пробили несколько раз. За окном разгорался день. Выпавший ночью снег растаял, только под деревьями сохранились белые островки. Какая-то тяжелая баба, высунув от усердия язык, колотила клюшкой по ковру на заборе. У Сашки было острое зрение: Останкино далеко, а пруды видел, налитые до краев черной водой. От троллейбусной остановки спешила Натальи, синий беретик едва держится на кудряшках. Забыла что-нибудь, растяпа!

Федор Иванович ушел звонить, что-то бормотал, потом крикнул:

— Жнецова в Москве нет! Он был в Доме творчества в Малеевке, но уехал куда-то. Живет он у Киевского вокзала. Опустишь там письмо!

— Мне его самого хотелось бы повидать,— неожиданно заявил Сашка.

— Вынь да положь тебе Жнецова! Рыцарь какой! Ладно, позвоню его дружку, который сидел с ним в Малеевке, тот наверняка знает, куда исчез Жнецов...

В дверях появилась Наталья, запыхалась: взлетела по этажам на одном дыхании. Оттолкнув ластившуюся собаку, пробежала в свою комнату, выскочила обратно.

— Наш курс на свеклу посылают! Два часа на электричке. У меня нет резиновой обуви, придется покупать...

Она выпотрошила из сумки конспекты и стала укладывать вещи в дорогу. На пороге возник Конвертов, держа за угол исписанный лист.

— Держи! Жнецов, оказывается, улетел к черту на кулички, под Онегу. Прямого сообщения нет. Ехать на четыреста двадцатом автобусе до порта, потом — пароходом до леспромхоза Колома, а оттуда ходит дрезина, еще пешком до погоста Вязка... Устраивает? — усмехнулся Конвертов, теребя мочку уха пальцами.

— Напрасно иронизируете, Федор Иванович,— нахмурился Сашка.— Доберусь. Я себе слово дал — повидать Жнецова...

Федор Иванович покачал головой:

— Ну езжай. Денег дать?

— Есть у меня.

Наталья, слышавшая разговор, выскочила из комнаты.

— Не понимаю, из-за какого-то письма ехать в глушь! Определенно, человек не в своем уме! Дядя, отговори его.

— Сколько раз повторять, чтобы ты не совала нос не в свои дела? Распустилась! — прикрикнул Конвертов.

Девчонка упрямо поджала губы.

— Оба вы — ненормальные. Ладно, я провожу!

— Неприлично, Наталища! Иди в комнату! — рассердился старик.

— Успокойся, дядя! Мне нужны резиновые сапоги. Заодно человека провожу,— нашлась Наталья и стала надевать пальто. В ее порыве было что-то детское. Сашка смутился, сказав, что дорогу найдет сам, напялил бушлат, взял сумку и вышел, не глянув ни на Наталью, ни на согбенного Конвертова, крикнул:

— Прощайте!

И загрохотал подкованными сапогами по ступенькам.

Наталья нагнала на углу. Вцепилась ему в рукав, как прищепка. Радостно подпрыгнула, меняя ногу, оскользнулась тупыми сапожками на наледи, и зацокала, как белка:

— Центр в другой стороне.

Потащила его через дорогу дворами, переулками, жалуясь на дядю:

— Трудно с ним! Стал раздражительный, слова не скажи. За собой не посмотрит, а собаку держит. Не квартира, а волчье логово. Убирать мне приходится. Как-то намекнула ему, что собаку надо определить в питомник, там она будет при деле. Он наорал на меня. Я уже и не рада была, что затеяла этот разговор. Бог с ним! Я бы ушла в общежитие, да боюсь его одного оставить. Жизнь у него была... Воевал, раненый в плен попал. Из концлагеря его спасла литовка Милда Буткене. Он ей до сих пор письма пишет, ездит к ней...— Наталья вздохнула и потеребила Сашку за рукав.— Я тебя вчера увидела, почему-то обрадовалась. Не вру. Ты стоял под фонарем и от твоей головы исходило сияние, как от святого. Мне так показалось, правда! — выпалила Наталья.

Сашка улыбнулся:

— Вот выдумала — сияние! Где вокзал?

— Скоро будет.

Солнце ярко светило. По широкому проспекту двигались толпы москвичей. Тут был переход. У входа в подземелье разнузданные цыганки продавали мохеровые береты, начесывая их стальными щетками, и заодно отлавливали доверчивых девиц, предлагали погадать. К Наталье подкатилась цыганка, ворочая очами, будто они у нее были на шарнирах.

— Маладая, пепельная, всю правду скажу! Пастой!

Наташка вывернулась из ее цепких рук. Цыганка испуганно вскрикнула:

— Ой, не ходи с молодцом! Он битый, стреляный! Глаза у него сквозь землю видят! Семь красивых девушек прошли, шаги замедлили, на него оглянулись. А он их и не заметил. Ни одна жилочка на его лице не дрогнула! Намучаешься ты с ним! Отпусти его на все четыре стороны, пусть летит. Ты другого найдешь, спокойная будешь!

Сашка сунул хитрой гадалке рубль и потащил Наташку в подземный переход. Девчонка оглянулась с тайной надеждой — не бежит ли цыганка.

— Почему она сказала, что ты стреляный?

— Она наговорит, слушай!

— А почему ты хромаешь?

— Уродился такой... Одна нога короче на десять сантиметров.

— Врун несчастный! Нет, правда, скажи!

— Чего пристала? Был ушиб. Пройдет скоро.

Наталья притихла.

Небо затянуло тучами, подул пронзительный ветер. На брандмауэре большого дома было распялено огромное полотнище с портретом насупленного князя страны. Полотнище вздувалось от ветра, казалось, что старец сердито помахивает прокурорскими бровями. И на другом доме его трафаретный облик размером поменьше. Москва готовилась к октябрьским праздникам. В зыбких люльках телескопических подъемников работали монтеры, вывешивали гирлянды разноцветных лампочек.

На автовокзале суетился народ. Сашка для вида потолкался, что-то сказал тетке в кашемировом платке, та заулыбалась. Он подкатился к небритому мужичку, стоявшему третьим от кассы, дал ему деньги:

— Будь другом, возьми билет до порта.

Мужик взял.

По трансляции объявили посадку на четыреста двадцатый. Сашка успел купить в киоске набор в полиэтиленовом мешке: булочка, два раздавленных яйца, банку шпрот, бутылку «Жигулевского».

— Теперь можно ехать,— улыбнулся Сашка.

Наталья покорно следовала за ним. Водитель «Икаруса» квадратным ключом закрыл багажник и крикнул:

— Все сели?

Сашка стиснул замерзшую руку Натальи.

— Загляну на обратном пути.

— Я буду в колхозе.

— Ты стукни телеграмму из колхоза. Найду.

Он нацарапал на клочке бумаги адрес Жнецова. Наташка зажала бумажку в кулачке, кивнула:

— Чао!

Пошла, разъезжаясь сапожками. Сашка влез в автобус, перешагивая сумки, затаренные столичными покупками, нашел свое место.

Мужчины расстегивали пальто, снимали шапки и закидывали их в сетки над головой. Женщины грели озябшие носы в воротниках.

«Икарус» вырулил на площадь, пристроился к бамперу черной «Волги» и понесся, держа дистанцию. Замелькали дома с ротондами, эркерами, колоннами. Не было городу конца и края. На перекрестке скопились машины, синий чад стоял выше головы, вспухали красные огни. Лавина хлынула. Опять понеслись.

Сашка надавил рычаг, сиденье откинулось. Он вытянул ноги, собираясь подремать. Женщина, сидевшая рядом, мучилась климактерическими приливами-отливами, бледнела, краснела, обмахивалась журналом в глянцевой обложке, недовольно косясь на Сашку.

— Эка развалился...

И бесцеремонно толкнула его плечом. Сашка насмешливо поглядел на агрессивную соседку, отодвинулся, чтобы она не возилась. Кондиционер гнал по ногам теплый воздух. Сменный шофер, что сидел у кабины, тихо переговаривался с напарником, крутившим баранку. Сашка задремал, очнулся на восемьдесят пятом километре от Москвы. Автобус стоял. Пассажиры выходили размяться. На голом бугре виднелась будка с корявыми литерами «Ж» и «М». По сторонам дороги — поля. Гусеничный трактор вез полный прицеп капусты. Ядреные кочаны блестели.

Сидевший впереди мужик обернулся, приятельски подмигнул Сашке:

— Капустка нонче... Похлебаем щец! — Он засмеялся и стал философствовать: — Мы кастрюли клепаем, чтобы варить в них щи, а щи едим, чтобы сила была снова кастрюли штамповать. Верно говорю, афганец?

Сашка кивнул:

— Политически подкован.

— А ты как думал!

Мужик пошел курить. Сашка тоже вылез, подобрал разбитый кочан капусты, упавший с прицепа, и отнес на обочину. Шофер протер лобовое стекло и объявил:

— Граждане, поехали!

Пассажиры стали заходить в салон. Соседка прибежала последней и, все так же багровея лицом, уселась поудобней, брезгливо вытирая руки платком. Сашка открыл зубами пробку, потягивал пиво. Шофера поменялись. Тот, что сел за баранку, погнал автобус так, что стало слышно сопротивление воздуха. Мелькали мосты над безымянными речушками, ограждения, забрызганные грязью. Шарахались из-под колес поджарые собаки. Лощины были залиты осенней водой. Деревья стояли по колено в воде.

Показался город. «Икарус» скрипнул тормозами и встал. Сашка пошел пить кофе в забегаловку вместе с шоферами. Заняли один столик. Шофера говорили о своих делах.

— На сто седьмом обгон сделал неправильно.

— Я что, буду ждать этого «кабана»? - недовольно сказал тот, что нарушил правило.

— Надо было уступить. Видел, сколько у него нулей на хвосте?

— Пошли они все...

— Доиграешься,— осудил первый.

Сашка допил кофе, вышел под навес. Накрапывал дождь. В автобус влезла старуха с кошелкой яблок, угостила Сашку:

— Бяри, сынок. Не брезгуй, что червивое: в плохом яблоке моль не заводится...

Яблоко, и правда, оказалось сочным.

Опять поплыли поля, темные леса, переезды. Шоссе петляло. Железную дорогу пересекли дважды. Товарняк, что встретился на первом переезде, встретился и на втором. Шофер нервно поглядел на часы.

— Во, гад, тащится!

Вагоны прошли. Шлагбаум подпрыгнул. Шофер стиснул зубы, перевалил тяжелый «Икарус» через настил и погнал.

Пошли низины. С водохранилища полз туман. Блеснула свинцовая гладь акватории порта. Автобус подвалил к воротам. Пассажиры стали выходить. По расписанию пароход «Добрыня» должен был вот-вот отойти. Механики уже грели машину, в цилиндрах свистел пар. Сашка купил билет и прошел на трап. На втором этаже дебаркадера был ресторан. У релингов стояли две замерзшие официантки, курили, свесив головы, стряхивали пепел в черную воду и перекликались с матросами.

— Эй, мальчики, давайте к нам! В меню — миноги!

Матросы делали вид, что им до лампочки шикарная жизнь в ресторане, отмахивались:

— В следующий раз!

— Следующего раза не будет! Тоже мне, пижоны... Пошли, Лиля, ну их...

Официантки скрылись за стеклянной дверью. Там наяривала музыка. За столиками сидели модно одетые девочки и тянули через мелкие шланги коктейль.

Сашка нашел свою каюту-люкс. Квадратное окно выходило на левый борт. Воздух в каюте был пропитан табачным дымом, чужими духами. Буфетчица принесла белье.

— Сами застелите?

— Почему отопление не работает? — строго спросил Сашка.

Буфетчица жеманно закатила глаза:

— Такая грива у вас... Чай, не замерзнете. Если вы такой мерзляк, так и быть, дам второе одеяло. Меня зовут Люда.

Буфетчица улыбнулась, показывая белые зубы, и вышла. По коридору топал народ. Пароход загудел, отвалил от пристани. Защелкал пар в калорифере. Окно запотело. Сашка приоткрыл раму, от ходового ветра воздух в каюте посвежел. Люда принесла обещанное одеяло, пригласила в буфет:

— Есть пиво и марочные вина...

Вышла, покачивая бедрами.

Быстро темнело. Шли мимо Череповца, ядовитые красно-зеленые и бурые дымы которого, освещенные заревом плавки, были видны далеко. Пароход встал на якорь, ожидая открытия шлюза.

Сашка познакомился с боцманом Денисом. Тот показывал свое хозяйство. Ходили поднимать якорь. Боцман включил брашпиль. Якорная цепь поползла в канатный ящик. Якорь приволок со дна пуда три глины на лапах. Пришлось смывать ее по ходу. Боцман снова врубил брашпиль, тут же выключил, завинтил ручной тормоз и крикнул в переговорное устройство:

— Якорь встал!

Пошли пить пиво. В буфете колготились артельщики-лесорубы, пили дешевое вино «Памир». Буфетчица отмеривала в мензурку порции. Опорожненную бутылку переворачивала горлом в воронку, вставленную в другую бутылку. Оставшиеся капли стекали туда. Таким образом за вечер набиралась сотня грамм, которая тоже шла в дело. Сашка ухмыльнулся:

— Разбогатеть хочешь?

Буфетчица вынула воронку и спрятала ее под стойку.

— Тебе-то что?

— Пиво давай.

Люда выставила бутылки, открыла и дала два чистых стакана.

После пива пошли в рубку. На вахте стояли матрос Степан и штурман Викентий. Познакомились.

В рубке было темно, светились лишь красные и зеленые лампочки пульта. Степан подрабатывал штурвалом, вглядываясь в огоньки бакенов. Встречные суда высверкивали отмашку. Штурман включил прожектор. Поворачивая его за рукоятку в подволоке, направил белый дымящийся луч на земснаряд, работающий на фарватере. Пароход сбавил ход. Прожектор погас. Сашка смотрел в темноту и задолго до того, как встречные суда равнялись с «Добрыней», говорил их названия:

— «Иван Тихомиров», за ним — «Сайменский канал»...

Штурман посмотрел в бинокль, восхищенно пробормотал:

— Ну у тебя и зрение! Иди к нам марсовым.

— Качки не переношу,— сказал Сашка.— Я по земле люблю ходить...

— Понятно.

Штурман раскрыл атлас, включил ночник и поводил пальцем по карте, тут же выключил свет. Сашке надоело в темноте.

— Хватит. После вахты прошу ко мне. Что-нибудь сообразим.

Штурман отказался, но по выражению его лица было видно, что он не против компании, да положение не позволяет. Степан обещал прийти.

Сашка с боцманом спустились в буфет. Люда наводила порядок, выпроваживала лесорубов.

— Что, полуночники?

— Водка есть?

— Только здесь не сидите. Сколько?

— Две.

Люда достала из тайника бутылки и скрупулезно отсчитала сдачу. Сашка пригласил буфетчицу, но она отказалась.

— Обойдетесь без меня, кавалеры.

Сашка и Денис вышли на спардек. Послышались голоса вахтенных. В машине ударили склянки. Степан обрадованно закричал:

— Вот вы где!

— Не ори! — одернул боцман.

Они спустились в каюту и заперлись. Оба речника заочно учились в мореходке и мечтали получить дипломы, чтобы уйти в загранплавание. Много говорили о валюте. Что в английских портах есть универмаги «Сикс пенни» и «Фифти шиллинг», где любая вещь стоит или шесть пенсов или пятьдесят шиллингов. Что в Гибралтаре и Гонконге шмотки баснословно дешевы... Степан рассказал о девочках, что промышляют по трассе Волго-Балта, переходя с судна на судно. Матросы их кормят, прячут в каютах от глаз начальства...

Сашке обрыдло слушать о валюте, о заблудших девицах, спросил, есть ли на «Добрыне» библиотека. Матросы засмеялись.

— Есть. Два шкафа макулатуры передвижка прислала. Не жаль и за борт выбросить. Весь сказ!

Матросы допили водку и ушли. Сашка еще не разделся, как в дверь заскреблись.

— Не заперто!

В каюту боком проскользнула Люда.

— У-у, накурили!

— Зачем пожаловала?

— Сам приглашал...

— Разве? Что-то не помню,— отрекся Сашка и притянул молодую женщину за талию. Она вывернулась.

— Подожди.

И, защелкнув дверь, стянула платье, роняя на пол шпильки с головы. Осталась в короткой комби, едва прикрывавшей чресла. Со свистом выдернула шелковый лифчик, бросила его на стул и со стоном рухнула на койку.

— Ой, луна глядит, задерни занавеску!

Сашка усмехнулся:

— Ты как легла, пароход накренился.

— Я тяжелая,— засмеялась буфетчица.— Бог даст, не опрокинемся!

Пробыла она до полшестого утра и перед уходом расплакалась:

— У меня мужик помер два года назад. Я до тебя никого не знала. Веришь?

— Верю,— отмахнулся Сашка, хотя не верил ни единому ее слову. Она оделась, высунула голову в коридор, поглядела в обе стороны и выскользнула из каюты.

В одиннадцать Сашка сходил в душ. Буфет еще не работал. У дверей толпились лесорубы, пересчитывали рубли. Не хватало какой-то мелочи. Сашка дал им полтинник. Они очень обрадовались.

— Выручил, земляк! А то хоть пропадай!

— Вино кончается,— напугал их Сашка.

— Да ну?

Буфетчица открыла дверь изнутри. Они ввалились всей гурьбой, жадно рыскнули глазами на пол, где стоял целый ящик вчерашнего вина. Загалдели:

— Наливай, красавица!

Посмеиваясь, Сашка вернулся в каюту. На столе ожидал завтрак: кусок жареной свинины, хлеб, на блюдце — селедка, подплывшая жиром. Людка постаралась! Еще и бутылка пива.

Сашка прополоскал рот ледяным пивом, нехотя поковырял вилкой селедку. Шли Шексной. Далеко были видны поля, рыжие болота. Берега реки обваливались, вода мутная. Солнце сквозь тучи едва заявляло о своем присутствии.

Настроение было скверное. Вчера надрался, как зюзик, вдобавок спутался с буфетчицей, на которую и последний матрос не позарится! Хотя, если разобраться, и у короля девки не слаще.

Подумал невесело: «Надо кончать такую жизнь... В башке все крутится. Поздно каяться, бросать сребреники в храме...»

Он надел куртку, напялил на непросохшую голову финский колпак и вышел на верхнюю палубу. Ветер был холодный. Пришлось спрятаться за пароходную трубу. Из открытых капов машинного отделения веяло запахом горячего вапора. Внизу, на рифленых плитах сновал с масленкой мальчишка-машинист. От ходивших вверх-вниз шатунов летели капли масла. У пульта застыл, как Будда, толстый лысый механик, держа волосатую руку на реверсе. Через переборку — глубокая кочегарка. Там фыркали форсунки, изрыгая в топки белое ослепительное пламя. Котельные машинисты крутили вентиля, следя с напряженным вниманием за уровнем воды в клокочащих котлах. Стрелки манометров дрожали у красной черты.

«Работенка. Не позавидуешь»,— подумал Сашка.

На корме рыкала гармошка. Багроволицые лесорубы-артельщики зло притоптывали ногами. Какая-то девка в ватнике и кирзачах лихо отплясывала, тряся большими титьками.

Пароход баламутил Шексну винтом. Мелкие волны бежали на берег. Подходили к нижнему бьефу. Шлюз был открыт. Горел зеленый огонь. Машина застопорилась. Пароход по инерции вошел в мрачную сырую яму шлюза. Из трещин в стенках камеры лились струйки воды. Матросы набросили на поплавковые рымы толстые канаты. Пришвартовались. Входные ворота медленно закрылись. Вода в камере стала прибывать. В окнах управления шлюза горел свет, но людей было не видно. Казалось, что все происходит само собой. Пароход поднялся вровень с берегом. Выходные ворота еще не открыли. От сырости и холода пассажиры попрятались. Какая-то девчонка лет десяти в коротком пальтишке и в резиновых сапогах предлагала клюкву. Матросы скалили зубы:

— Мани, денег у нас нема! Дед твой жив-здоров?

— А что ему сделается? Курит все...— Девчонка поддернула спадающий чулочек, захныкала: — Дядечки, клюкву возьмите!

— Маня, коленки у тебя синие. Иди на камбуз греться!

— Не-а. Клюкву купите,— настырно тянула Маня, шмыгая покрасневшим носиком.

Сашка отобрал у нее ведерко с клюквой, отнес коку на камбуз и вернул ведро.

— Пятнадцать рублей хватит?

— Ой, дюже много, дядечка, спасибо!

Девчонка радостно подпрыгнула, побежала по тропке, крутя пустое ведерко.

Боцман Денис проворчал:

— Зря балуешь! Десятки бы за глаза хватило. Здесь клюква дешевая. Жихари носят мешками. Закуривай.

— Не курю.

— Меня в семь подняли. Еле очухался,— пожаловался Денис.— Хорошо две бутылки пива Людка ссудила. Сегодня она веселая, летает по палубе. Бывало с места не сдвинешь. Ленивого хрен замучаешь...— Боцман сплюнул за борт. Сашка перевел разговор в другую плоскость:

— Скоро мне сходить?

— Еще один гидроузел, потом твоя.

Денис сбросил с рыма швартов, втянул на палубу. Ворота были открыты. Пароход забурлил винтом и вышел из тисков шлюза.

Опять поплыли раскисшие поля. В оврагах лежал снег. Попадались редкие деревеньки. Вдалеке простреокочет трактор, заляпанный по маковку грязью, да прошагает неизвестный человек с котомкой на плече. В пустоте глубокой осени было что-то трогательное, беззащитное. От безлюдья щемило сердце. Сашка воспитывался в детском доме. Не знал родителей. Кто они? Этот вопрос мучил. При переезде детдома его документы были утрачены. Никому и дела не было их разыскать. Он был записан на фамилию матери. В графе «отец» стоял прочерк. Воспитательница как-то сказала, что его мать из-под Онеги:

— Точно не знаю.

Показался еще шлюз. Он был открыт. Там стояли буксир и две шаланды с песком. «Добрыня» влез в оставшуюся щель, как верблюд в игольное ушко. Царапнул стенку привальным брусом.

В прорези Белозерья пароход зачапал быстрее, наверстывал упущенное при шлюзовании время. Обогнал танкер, низко сидевший в воде, с черным от нефти флагом.

Вошли в реку Ковжу. Стали попадаться пристани, где под погрузкой леса стояли лихтера. У одного лихтера был помят форштевень — какой-то варяг заехал ему в скулу. На палубе пусто, матросы попрятались, чтобы не слышать насмешек с проходящих судов.

Кок Вася, горький пьяница и вдовец, пригласил Сашку на камбуз. Наворотил в миску макарон «по-флотски», добавил брус масла.

— Лопай, ровний морду с афедроном.

Рядом с мясорубкой лежал томик Пушкина, и Сашка понял, откуда вылетело словцо, одобрительно кивнул:

— Практикуешься?

— А то... Учиться больше не от кого.

Сашка подпер плечом железный распор, поел стоя, выпил две кружки морса. И стал читать Васе стихи Жнецова, что были в блокноте. Кок пошевелил усами, покраснел как рак.

— Это человек! Читай еще!

— Рад бы, да нет больше.

— Жаль. Я о нем ничего не слыхал. Стихи трансурановые, если можно так выразиться. О тяжесть, тяжесть! — Вася-грубиян отвернулся и заплакал пьяными слезами, загремел противнями. Сашка пошел к себе. На палубу выскочила Люда.

— Иди обедать.
— Спасибо, и уже подзаправился на камбузе. Сколько я должен за завтрак?
— Вот еще! — обиделась Люда.— Когда сходишь?
— Скоро.
— Я тебе бутерброды сготовила на дорогу. Пригодятся.
Люда сунула ему сверток. Ее глаза вдруг налились слезами. Привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку.— Бог даст, свидимся!
Побежала в буфет, там кто-то барабанил в дверь.
Матрос Степан крикнул:
— Скатываемся к Онеге! Готовь шмотки, земляк!
Сашка пошел в каюту за сумкой. Выйдя на голую палубу, смотрел на бугор, где на ветру мотались три скорбные березки. Сашке казалось, что он родился в этих местах.
Над шлюзом горел зеленый светофор. Пароход бесшумно вкатился в камеру. Степан сказал, что лучше сойти здесь: от пристани узкоколейка дальше. Сашка попрощался и прямо с борта прыгнул на стенку шлюза. Два местных пацана сидели на велосипедах, спустив ноги на бетон, и глядели на палубу. Ворота разошлись. Вода из камеры стала уходить. Пароход опускался все ниже и ниже. Показалось черное от сажи жерло трубы. «Добрыня» вывалился в Вытегру, забрал вправо, давая дорогу ледоколу «Капитану Плахину», шедшему навстречу, и вскоре скрылся за поворотом. Куда не занесет судьба человека! Белобрысый пацан на велосипеде крикнул:
— Дядь, ты к кому?
— До леспромхоза как добраться?
— Дядь, бежи, пароаик уйдет!
Мальчишка соскочил с велосипеда и проводил до узкоколейки. Автокран выгружал из вагона мелкий незрелый лес. Стропальщик просовывал трос под бревна, командовал: «Вира!». Трос натягивался, вонзаясь в бревна, сдирая кору. Пакет косо плыл в воздухе. Опускался на землю. Стропаль сбрасывал одно ухо троса с гака, и кран выдергивал трос. Бревна рассыпались. На соседнем пути фыркал игрушечный паровозик с начищенными до блеска боками. К нему были прицеплены пустые платформы, борта которых были избиты бревнами до полусмерти. Сашка сел на тормозную площадку. Паровозик свистнул, дернул состав. Колеса застучали.
Мелькали просеки и канавы, заросшие малинником. Слепленная на живую нитку узкоколейка мотала вагоны. Из паровозной трубы сыпались веером искры. Дым сладко пах ароматом березы. Втягивая ноздрями забытые запахи, Сашка дивился: «Дровами топят...»
Показались серые дома, за ними блестело озеро. Машинист сбавил ход. Кочегар спрыгнул с подножки, побежал к диспетчеру с маршрутным листком. Поезд остановился. Сашка слез и направился к магазину. На крыльце стояли бабы. Сашка поздоровался с женщинами и спросил, что дают.
— Муку. Выкинули к празднику...— ответила бойкая молодуха, оглядывая Сашку синими глазами, и поинтересовалась: — Аль с воинской части? Вроде в наших краях и нет гарнизона.
Бабы засмеялись.
Сашка сказал, что он член комиссии.
— Какой комиссии?
— Ревизионной. Поступил сигнал, что в вашем магазине не все ладно. Переучет будет.
Он усмехнулся, полез в сумку, будто бы за официальной бумагой, и беспрепятственно прошел внутрь. Бабы загалдели:
— Леший их несет! Без хлеба насидимся на праздники!
Синеглазая молодка побежала через черный ход предупредить продавщицу. Та напугалась, свой конопатый нос вымазала в муку, захлопала глазами. Сашка потребовал две бутылки «Старки» и круг колбасы.
Продавщица обтерла пыль с бутылок, свешала колбасу с походом. Старалась. Вдруг бабы не соврали. Человек пришлый, сапоги хромовые, куртка офицерская... Объявит контрольную закупку!
Сашка расплатился и вышел. Бабы догадались, что он их провел.
— Бес, зубы заговорил. Пелагею перепугал: побегла ящики считать, аль в туалет...
Сашка сложил в сумку «огнеприпасы», стал спрашивать, как добраться до Вязки. Женщины притихли, выжидая, что он еще выкинет. Парень ушлый: лыбится, а глаза стальные, суровые. Потом смилостиаились:
— Решенок-лодочник через озеро переправит. К нему иди.
Другая женщина засомневалась:
— Лодочник третий день не просыхает. Ходит — глаза слипши. Друг его навестил, был приехадши из Белоруссии. Два дни гостил. Решенок по сей день колобродит. Старуха евонпая, Настя, взбуитовалась. Среди ночи скопала деда с кровати. Он и убег на переправу, там и ночует...

— Вот как? — Сашка почесал в затылке.— А из Москвы на днях приезжал кто? В Вязку.
— Приехал племяш Баланкиной Таньки. Мозглеватенький, пальтишко на рыбьем меху, а в шляпе... На Вязку идти не с руки, парень. Попутки редко ходит. Попробуй дедка уговорить. Переправа за конюшней, ступай туда.
Сашка поблагодарил женщин и зашагал в указанном направлении.
Паромщик колол чурбачок для плиты, сидя на корточках и встретил недружелюбно.
— Кого надо?
— Паромщика.
— Я паромщик.
— Мне надо на ту сторону.
— Вот управлюсь. Раздевайся.
Сашка снял бушлат, сел на лавку. В будке Мамай воевал: на дощатом столе пустые консервные банки, корки хлеба. В углу лодочный мотор и весла. Бензобак был накрыт мешком.
Сашка поставил на стол бутылку. Дед зыркнул из-под бровей. Поднялся с корточек и занялся приборкой. Засохший хлеб аккуратно сложил на подоконник, сошваркнул банки па пол, подмел голиком мусор к порогу. Одет был дед в немыслимо засаленный кожух поверх кургузого пиджачка, из-под которого живописно выглядывали рукааа рубахи, неизвестного цвета. Портки из плащевой ткани заправлены в сапоги. Под глазами — мешки.
«Эка тебя»,— подумал Сашка и вспомнил поговорку: «Дядя, где деньги?» — «В мешках».— «А мешки где?» — «Под глазами»... Сразу видно, что паромщик окочурится с полстакана, будет не работник. Зря поторопился выставить бутылку...
Паромщика звали Корней Хотеевич. Сашка стал расспрашивать, перевозил ли он москвича. Дед буркнул, мол, переправлял недавно начальника Сельхозтехники, с ним был один, звать Александром:
— А москвич он или нет, не интересовалси.
Сашка сказал, что Александр его лучший друг.
— Погостить к нему еду...
Дед что-то заподозрил:
— В милиции служишь?
Сашка снял с головы колпак, тряхнул густыми волосвми:
— Дед, с такими лохмами в милиции не держат, ясно?
Паромщик повеселел:
— Я грешным делом подумал, что ты следователь. Приехал за москвичом. Мало ли человек натворил... У нас в районе был старший лейтенант, дак на тебя похож...
Дед достал с полки два грязных стакана. Сашка открыл водку, плеснул в стакан, поболтал ее и выплеснул на пол. Второй стакан дед не доверил мыть таким варварским способом, ополоснул его водой из чайника.
— Командуй, Александр. Тезка, значит, дружку?
— Ну...
Сашка разлил «Старку» и развернул вареное мясо, что Людка понапихала между булками.
— Со свиданьицем!
Дед осушил стакан, крякнул. Сашка подвинул закуску.
— Ешь, Корней Хотеевич. Колбаса есть.
— И так хорошо,— застеснялся дед, жуя вареное мясо.
В плите потрескивали дрова. От еды и выпивки Сашку развезло, никуда не хотелось уходить от благодати. На дворе сумерки. Дед заглянул в бензобак, покачал его:
— Бензину — кот наплакал. Кха... Кладовщик — жила, не даст. Придется до утра. У шоферов возьму...
— До утра, так до утра,— согласился Сашка, рассупонивая ремень. Дед стал рассказывать про друга Михаила, который гостил у него.
— Партизанили в одном отряде. Не разлей вода были: куда он, туда я. На задания нас в паре посылали. Диверсии делали на железке. По первости боязно было. Мины хреновые, самоделки. Вот не соару: поезд швыркает, ждем, из-под самых его колес выскакивали. С насыпи кубарем, ляжки все мокрые с перепугу... Потом «удочку» придумали, шнур привязывали за чеку капсюля-детонатора. Тоже опасно... Из окружения один спец прибег, штуку придумал: ахнет, аж в Москве слыхать! Оттуда запрос: «В чем дело? Покоя от ваших мин нет, поменьше заряды закладывайте». Это я шуткую. А тогда не до смеха было... Проводочки тоненькие, с бабий ус, оттянем их от линии, где мина, ждем в кустах. Паровоз нагонит переднюю тележку на мину, крутанем машинку и... драпать. Грохоту, шуму... Ага.— Корней Хотеевич замолчал, видно, придумывал, как бы покрасивее сказать, чтобы слушателя взяло за душу.
Сашка ухмылялся, представляя эти мины с проаодочками с бабий ус.
— Давай спать, дед.

— Да ить рано!

— Темно, значит — не рано.

— Ну ладно.

Паромщик уступил лавку, сам устроился ближе к печке. Набросал туда старых ватников и заправил плиту смоляными кореньями, чтобы тепла хватило подольше. Сашка стянул хромачи, положил под голову сумку, лег на расстеленную овчину и укрылся бушлатом. На конюшне всхрапывали кони, стучали копытами об настил. Гулко доносился сухой треск, будто через предохранительный клапан стравливался воздух из рессивера: «Пр-р, тр-рр!»

— Во! — восхищенно произнес дед.

— Что?

— Мерин Мушкет пукает! Такой вонькой, в закут к нему не зайти, загазовал — конюх жаловался...

— А-а,— счастливо протянул Сашка и уснул.

И снился ему сон: садовник ползал по лысому газону. Руки у него были в земле, а лицо — страшное, синее.

— Что делаешь? — спросил Сашка.

— Рыхлю почву, чтобы розовые кусты пили ночную росу,— высокопарно ответил садовник и ухмыльнулся.— Уйди, ты мне мешаешь!

— Я помогу,— попросился Сашка Гусев.

Садовник покачал головой:

— Ты не можешь помочь. У тебя белые глаза, как у палача, а все с белыми глазами убивают людей, не ведая.

— У меня сизые глаза. Я никого не убивал,— сказал Сашка и заплакал.

— Уйди, не мешай! — повторил садовник и ударил его земляной рукой в висок.

Сашка очнулся от тяжести, висок ныл. Был час Быка — граница между кануном и завтрашним днем, когда сердце болит о прожитых днях. И Сашке пришла в голову мысль, что садовник — это Учкун Хайдуров, веселый узбек, который, рискуя жизнью, вынес Сашку из-под огня. Через месяц Хайдуров был убит на кандагарской дороге. О его смерти Сашка узнал в ташкентском госпитале. Ох, время, время!

Он долго глядел на угли, тлевшие в плите. Паромщик храпел. Кони все так же стучали копытами в настил.

Чуть рассвело, дед был на ногах. Принес ведро воды, долил чайник и растопил плиту. За ночь в избушке выстыло. Сашка скорчился под бушлатом, сладкая дрема не отпускала. Дед сообщил, что ветер повернул с севера:

— Мороз...

Сашка потянулся, стал обуваться, потопал сапогами и выбежал к причалу. Между понтонами появился ледок. Сашка проломил каблуком ледяную корку, помылся студеной водой, по-солдатски вытерся рукавом и постоял. Хорошо было! Солнце всходило яркое. В машинном парке заводили остывшую технику. Верещали пускачи, с трудом проворачивая коленвалы. Забухал дизель. Гукнула дрезина, повезла рабочих на делянки.

Сашка попрыгал на досках причала и побежал греться.

Дед передвинул кипевший чайник на край плиты и всыпал в него полпачки грузинского чая с палками. Потом взял бутылку с недопитой водкой и посмотрел ее на свет, будто хотел убедиться: не убыло ли за ночь. Бутылка выскользнула из его рук и звякнула на пол. По доскам расплылось темное пятно. Дед плюнул:

— Тьфу! Руки-крюки, едрит! Выпили называется...

Обреченно подобрал осколки стекла в совок, понес во двор. Сашка решил не жаться, выставил вторую «Старку». А то деда кондратий хватит чего доброго...

Из окошка была видна ферма. Трактор «Беларусь» въехал под навес. Из его выхлопной трубы валил черный, как деготь, дым.

«Солярку зря жжет, халявщик»,— подумал Сашка.

Корней Хотеевич вернулся с улицы и уставился на стол.

— Никак это? — спросил.

— Это, это,— кивнул Сашка, широко улыбаясь.

Дед заартачился:

— Так дело не пойдет! Убери. Сегодня ни капли не буду. Паром на берег надо вытянуть, договорился с трактористом. В обед сварщик придет латать понтоны...

— Вот их и угостишь.

— Им цистерну подкати, выдуют. Забери!

— Сказал, нет.

Сашка стал собираться. Дед подхватил канистру, побежал в автопарк, но вернулся пустым.

— Шофера разъехадши. А на ГСМе — ворота заперты, кладовщик куда-то умотал. Езжай-ка, Александр, один. Погода устойчивая. Лодку туда пригонишь, весла отдай на ферму. Предупреди девок, чтобы паром сегодня не ждали: за молоком машина придет.

— Хорошо, передам.

Сашка взял измочаленные весла и вышел. Между сваями шуршал мелкий лед, карастая в блины. Сашка спустил весла в лодку, привязанную к парому, залез в нее и, отвязав цепь, оттолкнулся. Ветер дул в бок. Лодка двигалась легко, не брала на себя воду. До того берега было километра три. Виден мыс с редеькими кустами, камни.

Он греб минут сорок, мыс приближался. Лодка вошла в залив, ткнулась в берег. Он вылез в мелкую воду, вытащил лодку на песок, забрал весла и пошел наверх. Тут был норовий спуск, изуродованный копытами. Тропа была твердая, как камень. У въезда в деревню стояла часовня с позеленевшим куполом. Ферма была немного в стороне. Он перелез слегу и вошел в ворота. В нос ударил едучий запах коровьей мочи. По проходу шла женщина в белом халате, надетом поверх теплой одежды, строго крикнула:

— Вам кого?

— Весла можно оставить?

— Паромщик где?

— Он велел передать, за молоком машина придет.

— Вот новости!

Женщина недовольно вздохнула, взяла весла и отнесла их за перегородку. Сашка огляделся. Коровы тупо жевали жвачку. Висели таблички с кличками животных: «Луна», «Торба», «Клеенка».

Женщина подошла и стала жаловаться:

— Монтер обещал приехать, нет до сих пор. Коровы стоят непоены: на водокачке насос полетел...

— Давайте, я посмотрю насос, мне приходилось иметь дело с электричеством,— предложил Сашка.

— Ой, правда? Меня зовут Марья Сергеевна. Я — зав. фермой. Вас как зовут?

Сашка сказал. Марья Сергеевна подняла руки с короткими пальцами и поправила выбившиеся из-под платка волосы.

— Пойдемте.

Она повела на улицу и открыла водокачку. На верстаке стоял ящик с грудой железного хлама. Инструмент... Все было ржавое. Сашка выбрал плоскогубцы, отвертку, ключ. Осмотрел насосы, стоявшие на бетонном основании. Один мотор был черный, как головешка, другой — на вид исправный. Сашка нажал кнопку пускателя. Мотор загудел на двух фазах. Отключив ток, Сашка принялся за работу. Вскрыл коробку, покачал провода, один отвалился, видно, гайка от вибрации отошла, он искрил и обгорел. Все было ясно. Он скрутил гайку, зачистил ножом провод, сделав петлю, накинул ее на штырь и закрепил гайку, потом закрыл коробку.

— Включайте.

Марья Сергеевна с опаской нажала на кнопку. Мотор заработал. Из сальника брызнула вода. Он подтянул сальник, но не туго, чтобы вал смазывался водой.

— А вы боялись...— Сашка улыбнулся.— Монтера обязательно вызовите, пусть заменит сгоревший.

— Идите в раздевалку, там есть умывальник. Я молочка вам принесу.

Марья Сергеевна ушла в сепараторную. Сашка заглянул туда из любопытства. Стены побелены, пол чистый. Во всем был виден порядок: подойники вылизаны до блеска, сепаратор разобран, на марле сушились луженые тарелки.

Сашка пошел в раздевалку. Две девки толкали по подвесной дороге корыто с фекалиями. Увидев незнакомого, звстеснялись, опустили головы. Сашка усмехнулся и нашел раздевалку. Там было светло, на стенах висели графики надоев и Доска почета. Он тщательно помыл руки под медным краном, вытерся полотенцем и стал разглядывать фотографии. Узнал девчат, что встретились на скотном дворе. Снимки на Доске выцвели.

Марья Сергеевна принесла банку молока и краюху хлеба в белой марле.

— Спробуйте нашего молочка. А вы к кому приехали, если не секрет?

— У вас тут москвич живет. Я к нему.

— Я его видела утром. Он шел с собакой на охоту. К обеду вернется. Он к тетушке приехал, да разминулся с ней: она к дочке в Медвежьегорск уехала. Так что он один,— пояснила Марья Сергеевна и спохватилась бежать во двор.

— Тоня, Вера, подежурьте, машина придет за молоком, Галкин звонил.

Сашка выпил молоко и вышел в загон. Трактор привез сено. Тоня и Вера свалили сено под навес, стали подбирать остья. Тракторист дернул прицеп, девчата попадали в кузове, заругались:

— Паранкин, тише дергай! Ой, мазурик!

Тракторист заулыбался. Девки бросили вилы в сторону и, задирая юбки, надетые поверх лыжных штанов, перевалились через борт.

— Езжай, Паранкин!

Трактор укатил.

Сашка пошел к озеру, все равно делать нечего. У заберега плавали две шило-

хвостки, покусывая клювами молодой ледок. Одна утка побежала по воде, помогая крыльями. Тяжело поднялась в воздух. Летела низко: отъелась за лето.

«Ежели такую утку целиком зажарить,— размечтался Сашка.— Пожалуй, и в латку не войдет...»

На той стороне озера ходил дед с тросом в руке. На переправе стоял трактор. А здесь не слышно человеческого голоса. Из окна крайней избки выглянула на пустынную дорогу старуха и скрылась. У колодца копошилась рябая курица, с прилипшей к заду соломиной. Лед позванивал от набегавшей волны. В осиновой роще каркали вороны. Сашка оглядывал дали, и ему казалось, что он видел это озеро не раз. Был ветер, и небо очень чистое. Сердце щемило отчего-то.

Он вернулся на скотный двор. Девчата сидели на бидонах. Тоня мельком глянула в зеркальце из-за пазухи, поправила прядку волос под платок и что-то сказала Вере. Та засмеялась и уставилась на Сашку. Он прищелкнул каблуками и сделал два замысловатых коленца. Потом опрокинул железную бочку на попа, забрался на нее, отстучал чечетку и спрыгнул на землю.

— Оп-ля! Сбацаем вечерком. На танцы ходите?

— Нет.

— А чего так?

— Клуб закрыт: не с кем танцевать... Женихов водкой повыжгло на сто верст вокруг...

— Если бы на сто...— протянула Вера. Вдруг всхлипнула и убежала в раздевалку.

— Что это с ней? — спросил Сашка.

Тоня махнула рукой.

— А-а. Парень у нее был. Вернулся из армии, думали играть свадьбу. Он подпил с дружками, пошел купаться и утонул. Верка трое суток на берегу стояла... Пойду погляжу...

Тоня ушла.

Через открытую форточку было слышно, как она успокаивала подругу:

— Перестань! Ревит и ревит... Сколько можно? Стала ни на что похожа.

— У-у! — выла Верка.

Чтобы не слышать ее тоскливого воя, Сашка убежал на озеро. На той стороне паром был уже вытянут на берег. Дед обстукивал понтон ручником и помечал мелом уязвимые места. На сваях сидели замерзшие чайки. Сашка побрел обратно, насвистывая горький мотив солдатской песни о проклятой кандагарской дороге, где погибли ребята: Иван Михайлов, Коля Пашин, Скопин Андрей... Свиток закручивался.

Пришел молоковоз. Сашка открыл борт, погрузил бидоны. Вышла Марья Сергеевна, отдала шоферу накладные, и машина укатила.

— Где девки мои? — спросила Марья Сергеевна.

— В раздевалке копыта моют,— мрачно буркнул Сашка.

— Отправлю их обедать. Вон и Александр Яковлевич идет. Пустой, видать. Собака его ухайдакавшись: язык на сторону...— Зав. фермой грузно засмеялась.

Жнецов шел неторопливо, цепляясь литыми сапогами за мелкие камни на дороге: на голове велюровая шляпа, на плече — ружье.

Сашка застегнул верхнюю пуговицу френча и крикнул:

— Подождите!

Жнецов остановился. Сашка протянул письмо. Он взял и спрятал в карман.

— Идемте, что ж стоять. Вы откуда? — задал он вопрос.

— Из Ленинграда.

Жнецов скупо улыбнулся и повел гостя через заброшенный сад. Во дворе были разбросаны еловые кряжи, разваленные бензопилой. На земле набрызганы крупные опилки, какие не бывают от ручной пилы. Хозяин толкнул ногой недопиленный комель, беззлобно ругнулся:

— Горе-работнички, не доехали дровину...— и пояснил: — Мужики взялись пилить. Я им сдуру утром аванс дал. Наверно, в автолавку убежали. Я тоже сбегаю, если не ушла еще...

Он отнес ружье в летнюю кухню и приказал псу:

— Дружок, не ходи за мной!

Пес вздохнул и лег на опилки, положив брыластую морду на лапы. Хозяин ушел. Сашка повесил сумку на костыль, вбитый в столб, нашел колун и стал колоть дрова. В охотку было приятно работать: поленья так и летали. Пес следил за ним.

— Не доверяешь? Отойди, зашибу ненароком,— сказал Сашка.— Ать-два! Тьфу, колун соскакивает...

Он сел отдохнуть на козлы. Двор пустой: ни коровы, ни козы. Под застрехой висела ржавая коса, в пазе бревна торчал истонченный серп, крыльцо в инее. Следов не было, видно, в дом никто не заходил.

Хозяин пришел минут через двадцать. Карманы оттопырены. Значит, заправился на «ракстодроме» горючим. Он оглядел поколотые дрова.

— Когда это вы успели?

— Погрелся чуток.

Жнецов пригласил на кухню, где он жил. Сашка вошел и огляделся, не зная, куда сесть. В углу — топчан, накрытый лоскутным одеяльцем, подушка, что и воробью на ней не выспаться. Стол на курьих ножках.

— Присаживайтесь.

Он пододвинул чурбак. Сашка сел.

— Не знаю, как вас звать-величать?

— Гусев Александр.

— Так по какому делу?

— Долго рассказывать...

— Ну-ну.

Жнецов выдвинул из дымохода заслонку, разжег плиту и, вытянув из-под топчана ящик с картошкой, стал ее чистить и складывать в кастрюлю. Молчание затянулось.

— Вы не представляете, как я сюда добирался, Александр Яковлевич...— начал Сашка, улыбаясь напряженно, будто разговаривал с ним через стеклянную стену.

— Трудно, конечно. Сюда и на воздушном шаре не долетишь... Если и долетишь, то в болоте завязнешь. А письмецо-то не мне,— неожиданно сказал он.

— Кому же?

— Не знаю, не знаю. По всей вероятности, его вложили не в тот конверт.

— Быть такого не может! — растерялся Сашка и стал рассказывать про бедную Катю.

— В том городе, где она жила, молодежи нет, все разъехались. Она плакала над вашими стихами. Хотела видеть вас, да не пришлось. Она умерла от сердечного приступа. Это письмо оставила, чтобы я его передал по назначению...

Сашка замолчал, ему казалось, что говорит не так, как нужно. Этот замкнутый человек не поймет.

Жнецов поморщился, как от зубной боли, помыл картошку, залил ее свежей водой и поставил кастрюлю на конфорку, вдруг заговорил о другом.

— Сдается мне, что мы встречались с вами. Вы не подскажете, где?

— Это исключено...

— Ну, ну. Значит, мне показалось. Иду мимо скотного, вдруг — вы... Знаете, я напугался. Вид у вас был, будто вас только что выпустили из застенка. Лицо бледное...

Сашка засмеялся:

— А-а! У меня нервы не в порядке: лицо деревенеет.

— Ничего нет смешного,— рассердился Жнецов.— Все-таки я вас видел где-то. У меня было такое чувство, будто я совершил неблаговидный поступок. А вы — единственный свидетель — пришли меня судить!

— Бог с вами, Александр Яковлевич. Не в моих правилах кого-либо судить. Оставим этот разговор.

Сашка отвернулся, взял со стола книгу и полистал. Это был трактат «О добровольном рабстве» Этьена Ла Боэси, настольная книжка революционеров всех времен и народов. А написал ее восемнадцатилетний юнец...

— Ваша? — спросил.

— Случайно приобрел,— поморщился Жнецов.

Разговор не клеился.

От плиты шел сухой жар. Сашка вышел во двор и снял сумку со столба. Грустно было. Зачем приехал?

Когда он вернулся, на столе были приготовлены: бутылка с зельем — внутри ветка зверобоя, хлеб на газете, соленые огурцы в миске. Из кастрюли валил густой пар. Сашка достал из сумки сухую колбасу. Сказал, что давно не ел такой рассыпчатой картошки. Жнецов пояснил, что это редкий сорт:

— «Императорка» называется. Садитесь.

Он разлил зверобой по кружкам. Сашка разделся и сел.

— Давайте. Чего тянуть?

Жнецов выпил, не чокаясь, разломил огурец и высосал из него рассол.

— А вы?

— С духом не соберусь...

Сашка еле проглотил свою порцию. С огурцом и картошкой самогон принялся хорошо. Сашка стал рассказывать о Шервуде Андерсоне:

— Ночью читал. Он мне душу перевернул. Вот я и решил ехать в Москву, потом сюда. Странно, не правда ли?

— Никто вас не гонит. Приехали, приехали. Я хотел спросить, какие отношения были между вами и этой библиотекаршей?

— Ну как — какие? Приду, поздороваюсь, сменю книги и уйду... Выбор плохой, одно старье. Копаюсь, пока не найду что-нибудь путное. Библиотекарша с меня глаз не

спускала: боялась, что я украду книги. Меня злило, что она следит. Сама тоненькая, глаза, как плошки. Любила рядиться в двойные кружева. Я ей словцо скажу, она заморгает, будто плакать собирается. Я еще думал, что у нее нелады дома... Ее состояние мне передавалось: руки начинали дрожать, прыгать... После контузии у меня с головой не все в порядке. Нервы ни к черту. На работе один придурок бросил пассатижи в голубей. Я его сгреб за грудки и об стену... Ребята оттащили, а то не знаю, чтобы с ним сделал...

Сашка махнул рукой.

Жнецов вытащил злополучное письмо, положил на стол.

— Читайте. Я выйду покурю.

Он накинул на плечи пальто и хлопнул дверью.

Было слышно, как залаил пес. Сашка углубился в чтение. Почерк скверный — крестики, нолики.

«Сердце мое еле стучит, будто его дергают за ниточку, я креплюсь. Надумала написать Жнецову, чтобы он выслал на нашу библиотеку свою новую книгу, но не знаю адреса. Решила писать тебе.

Ты не подозреваешь, как я к тебе отношусь. Спокойствие в твоих глазах меня ужасает! Но я всегда рада, когда ты приходишь в библиотеку. Все во мне ликует, каждая клеточка трепещет от радости.

Сегодня у меня были девчонки с телеграфа, сказали, что ваша бригада скоро уедет. Решила написать, пока ты здесь. Наберусь храбрости, передам письмо. Когда прочтешь, порви его, не мучайся.

Я неуравновешенная. Мне категорически противопоказано волноваться: это плохо может кончиться для меня. Но я теперь ничего не страшусь: я видела тебя, я видела тебя!

Прощай, дорогой! Катя».

Внизу письма чернила были размазаны, видно, Катя плакала.

Сашка долго сидел не шевелясь и думал о ней. И вспомнил ее тонкое нежное лицо, и как она радовалась, когда он приходил. А он-то думал, что ей скучно сидеть в четырех стенах, поэтому она и радуется живому человеку... Эх, Катя, Катя!

Он еще раз прочитал ее предсмертное письмо, потом тяжело встал, подбросил в плиту щепок. Они медленно загорелись, и он положил письмо на огонь. Оно ярко вспыхнуло, и пепел унесло в трубу.

Вошел Жнецов, держа беремя дров до подбородка, с грохотом высыпал дрова за плиту. Отряхнулся от впившихся в пальто заноз и, раздевшись, заварил в кружке чай, накрыв ее фанеркой, и стал рассказывать об охоте.

— Зайцы попрятались в валежник, и никак их было не выкурить. Дружок извелся, бегая. Чует, что они там. Одного шелыгнул. Я выстрелил, да ружье «потянуло». Порох отсырел или был недоброкачественный: дробь потеряла убойную силу. Заяц удрал. Дружок так на меня посмотрел со скукой, я и ружье опустил...

Жнецов замолчал, видя, что гость не интересуется охотой, и сказал:

— Да вы не расстраивайтесь!

— Я и не расстраиваюсь. Откуда вы взяли? — отчужденно ответил Сашка. Жнецов испуганно глянул на него. Сашка отлил заварки, обжигая занемевшие губы, стал пить ее без сахара, уставясь на огонь в плите. Жнецов закурил вонючую сигарету. Табак плохо тянулся, шипел и стрелял искрами. Во дворе послышался лай собаки. Какая-то женщина сердито крикнула:

— Ляксандр, черта свово убери, сапоги порвет!

Жнецов высунулся в дверь.

— Проходи, Никитична, не тронет он!

— Некогда! Телеграмму прими, да побегу: корова не обряжена!

Жнецов вышел. Слышно было, как он раздраженно крикнул на собаку, что-то сказал почтальонше и, вернувшись, протянул бумажку.

— Тебе.

Извещение было от Натальи. Старик умер, дядька ее. Она не успела уехать в колхоз, как Федор Иванович свалился: «...похороны шестого».

— Просит помощи. Что я могу? Она, дура непочатая, думает, что я в сорока километрах от Москвы...— Сашка вздохнул.— Надо ехать, пока навигацию не прикрыли...

Он тут же стал собираться. Пододел под френч свитер, что был в сумке, напялил походный бушлат и — по армейской привычке — проверил, все ли в порядке, чтобы нигде не терло, ничто не брякало, не звякало.

Жнецов стал уговаривать:

— Утром поедете.

— Нет,— твердо ответил Сашка.

— Раз надо, не держу. Жаль, мало побеседовали. Я к вам привыкать начал. Поторапливайтесь: солнце вот-вот зайдет.

Они вышли. Из-за угла выскочил пес, затрусил впереди.

— Спускайтесь. Я весла прихвачу,— сказал Сашка, сворачивая к скотному двору. Ворота были на запоре. Он толкнул калитку и вошел в тамбур. В лицо пахнуло аммиаком. Коровы, милые теплые существа, жевали жвачку. Одна пестрая трубила, просясь на волю. Доярки звякали ведрами: здесь коров доили вручную.

Сашка взял весла и крикнул в проход:

— Пока, девчата!

— Что мало погостили? — откликнулась Тоня.

— Летом приеду в отпуск.

— Будем рады,— засмеялась Тоня и стала разносить сено по кормушкам.

От тяжести спертого воздуха Сашку замутило, в голове крутились кольца. Он вышел во двор, постоял, хватая ртом ветер. Липкая тошнота отступила. В госпитале у него был такой приступ, теперь напомнил...

«Только этого и не хватало»,— подумал.

Его стала бить мелкая дрожь, ноги были как ватные. Он взял весла и спустился к озеру. Ветер дул порывами, вдали ходили валы. Солнце заходило. Он стащил лодку на лед, постучал каблуком по припаю — лед был крепкий. Он вернулся к изгороди, где приметил шест, который мог пригодиться проталкивать лодку, взял его, еще прихватил кол, чтобы было чем разбивать лед — все это отнес в лодку.

В роще устраивались на ночлег вороны. Из прибережных кустов неожиданно появился Жнецов в сопровождении собаки.

— А мы на мыс ходили! Уток там собралось видимо-невидимо,— сообщил он, хрипло дыша. Был он какой-то возбужденный, предупредил: — Лодка может обледенеть!

— Пройду как посуху! — весело крикнул Сашка, ему почему-то показалось, что Жнецов болен. Вспомнил Катины слова: «Хорошие люди долго не живут». Это закон. Где Коля Рубцов? Где Шукшин? Где Высоцкий?

С озера веяло холодом. Сашка почувствовал, как лицо стянуло, будто паутиной. Он помассировал его руками, застегнул бушлат:

— Время! Пора!

Он нагнулся, подобрал камень и швырнул его в озеро. Камень ударился об лед, отрикошетил и заскользил вдаль. Жнецов стоял бледный, губы дергались. Он глухо сказал:

— Помните, я говорил, что где-то вас видел? Это трудно объяснить... Я из-под Старой Руссы. В нашей местности фронт катался туда-сюда. После войны в лесах было полно оружия, мин... Саперы обезвреживали, да все не углядишь. В шестьдесят втором приехали лесоустроители. Они жили в палатках на берегу Ловати. Я к ним бегал частенько. Однажды принес в лагерь гранату, хотел похвастать, как умею глушить рыбу. Граната пролежала в земле, ржавая, чека не выходила. Я стал камнем выбивать ее. Не сознавал, чем это грозит. Рубщики сидели у костра. Один парень заметил, что я делаю, кричит: «Мальчик, не трогай ничего, пока я дойду до тебя!» Подошел ко мне, вырвал гранату и толкнул меня, я в траве растянулся. Вижу, чека выпала. Думаю, сейчас взорвется. Знаете, эти старые погремушки не всегда срабатывают. Ребята у костра повалились кто куда, головы руками закрыли. Парень донес гранату до обрыва, еще и посмотрел, как ребята плотно лежат. Над берегом сосна была, корни торчали. Он и споткнулся о них. Рвануло, с сосны ветки посыпались...— Жнецов замолчал, махнул рукой, с трудом выдавил: — Забыть не могу. Я, как ис... исс... исстрадавшаяся собака!

— Зачем вы мне это рассказали? — тихо спросил Сашка.

Жнецов нахохлился. Полы его пальто щелкали на ветру.

— Ваше лицо, жесты напомнили мне его. Может, это был ваш отец...

Сашка перебил:

— Вот выдумали! Мне надо спешить. Прощайте!

Сашка обнял его за худые плечи, отвернулся и сильным толчком послал лодку вперед и побежал следом. Лед прогибался, белые трещины пучками расходились по сторонам. Сашка прыгнул на корму, лодка грузно осела, проломив тонкий лед.

Жнецов стоял на песке и махал шляпой.

— Скоро увидимся!

Сашка стал пробивать колом дорогу во льду. Потом взял шест и, упираясь им в каменистое дно, протолкнул лодку на чистую воду. Лодка вышла изо льда, качнулась. За прикрытием мыса волны были небольшие.

— Не огорчайтесь! — крикнул Сашка, вставляя весла в уключины.— Не было у меня отца! Черный ворон мой отец и моя мать! Так что все в порядке! — вдохновенно орал он, надсаживаясь. Мутная пелена навернулась ему на глаза, он ничего не видел: ни собаки, ни человека. Закат был ветреный, белый. Над головой со свистом пронеслась стая уток. Ему стало не по себе.

«Это же надо такое придумать! Нет, с меня достаточно!»

Он оглянулся. На той стороне стояла красная лошадь и смотрела в озеро.

1983—1988

Николай
РАЧКОВ

◆◆◆

Была здесь карамзинская усадьба,
Добротный дом да ивы над прудом...
Времен жестоких бешеная свадьба
Прогикала,
все вытоптав кругом.

Судьбы неумолимые капризы,
Вопрос ребром
ломала сходу власть.

Что нам до слез какой-то бедной Лизы?
Тут горе — Лизка Тюрина спилась.

Тут вновь на увольненье
заявленья.
Какой историк? Тут ЧП одни...
Звени, сухой репейник!
От забвенья
Пощады нет, хоть все переверни.

У тихого Дона

Что ты каркаешь громко,
ворона,
Мало, что ль, тебе нашей беды?..
Постою я у Тихого Дона,
у печальной
былинной
воды.
Постою над тревожною синью.
Ой, как всплачет на сердце струна!
Знаю я,
что не встречу Аксинью,
потому что убита она.
Не придумать счастливых историй,
и концовка,
как выстрел,
проста.
Над могилой твоею,
Григорий,
не поставлено даже креста.
Расказачена
песня живая,
разрубили ее до седла.

Ой ты, рана моя
ножевая,
ты мне душу
до пепла сожгла!
Потому-то и слушаю
с дрожью
То ли песню волны,
то ли стон.
И какою же кровью
и ложью
усмиряли тебя,
Тихий Дон!
Плещет,
плещет свое болевое
в мое сердце
речная струя.
Дон хранит
молчаливо
былое.
Помнит он,
не забуду и я.

Крылья

Над деревней уснувшею, тихою
В небе, вспыхнув, качнулись Весы.
Веет сладко цветущей гречихою,
Что-то сонно бормочут овсы.

И взволнованно в темень медовую
Слышу голос над светлой водой:
«Вы ж меня позабудете, вдовую,
Ах, какой Вы еще молодой...
Вы же с крыльями, Вы же не связаны,
Вон какой перед Вами простор...».

И под теплыми летними вязами
Все журчал и журчал разговор.

Небо рвали зарницы на полосы,
Ослепляли, как жаркая медь.
Целовал и пушистые волосы,
Мне и вправду хотелось лететь.

...В этой жизни как будто не лишний я,
Но лишь в небе качнутся Весы,
Снова снится мне поле гречишное,
И родные такие овсы.

Жаль удачи ненайденной? Полноте.
Нет, не жаль и поломанных крыл.
Все ничто, если Вы меня помните.
Все ничто, если я не забыл.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Валерий
УШАКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ

Истоки наших заблуждений

Коль скоро речь идет о «человеке науки», экономической науки, то у него не должно быть идеала. Человек, имеющий идеал, не может быть человеком науки, ибо он исходит из предвзятого мнения.

Ф. Энгельс

Говорят, у марксизма всего лишь три теоретических источника. Однако ни один из них не содержит мысли о классовой борьбе и революционном преобразовании общества, а без учения о классовой борьбе и диктатуре пролетариата марксизм перестает быть марксизмом. Сам Маркс признавал, что заслуга открытия существования классов и их борьбы между собой принадлежит не ему и не французскому утопическому социализму, не английской политической экономии и не немецкой классической философии, а буржуазным историкам. Но призыва к революционному ниспровержению существующего строя у современных Марксу буржуазных историков мы не находим и, следовательно, они не дают нам выхода к идее диктатуры пролетариата. Концепция революционного преобразования общества — это мутант, полученный в результате искаженного толкования основных положений гегелевской философии. Искусственно выделив «диалектический метод» из теории познания Гегеля, «Маркс превратил методологию развития понятий в методологию политической борьбы,— отмечает Э. Поздняков, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений.— Вследствие такой метаморфозы, она не могла не превратиться в методологию социальных катастроф, в методологию общественного развития через революции-катастрофы». Это очень важная констатация, которая, однако, еще не дает ответа на вопрос, почему это случилось с Марксом. А понять это нам совершенно необходимо, ибо только полное выявление причин случившегося дает хоть какую-то гарантию от повторения ошибок.

Маркс считал своей заслугой доказательство того, что существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, и он действительно это доказал. Он считал своей заслугой доказательство того, что классовая борьба «необходимо ведет к диктатуре пролетариата», но доказать будущее невозможно, а предсказание будущего уводит нас за пределы марксизма: наука о будущем называется футурологией.

«Ревущие сороковые» девятнадцатого века наложили на марксизм свой неизгладимый отпечаток. Являясь порождением той эпохи, он не хотел и не умел жить только утопическими мечтаниями, он весь пропитан духом бунтарства. Марксизм гораздо ближе к якобинству, чем к утопическому социализму, хотя многое взял и от того, и от другого. Слияние утопической мечты и бунтарской веры в возможность преобразования общества революционным путем могло дать только революционную утопию — ее оно и породило. Мы же восприняли результат их слияния за рождение новой науки, науки о классовой борьбе, направленной на установление диктатуры пролетариата, без которой переход к бесклассовому обществу объявлялся невозможным.

Марксизм несет в себе два разнородных начала, противоречащих одно другому,— экономическую науку, предупреждающую человека о тщетности и даже опасности преждевременного броска в будущее, и политическое учение о революционном преобразовании общества, утверждающее, что насилие — «это тоже экономическая сила».

Мы долго не замечали этого, потому что высокая научная обоснованность экономических выводов Маркса создавала научное прикрытие якобинско-утопической мечте о революционном броске в будущее, своеобразное онаучивание революционного мифа. Поставив науку на службу политике, Маркс оказал ей плохую услугу. Наука об обществе может беспристрастно служить делу преобразования общества только тогда, когда она не стремится служить какому бы то ни было конкретному политическому движению. Задача науки состоит в том, чтобы разложить сложные представления на простые составляющие и объяснить взаимосвязи между ними.

Марксизм лишен этой простоты. Через дебри умных и умнейших экономических рассуждений К. Маркса продираешься с трудом, порою панически ощущая свое бессилие, свою полную неспособность разобраться в том, что на первый взгляд представлялось предельно ясным. Давая свое толкование уже известным в то время экономическим понятиям (капитал, собственность, наемный труд) или вводя новые понятия (производственные отно-

шения, способ производства, отчуждение труда, формация и так далее), К. Маркс делает это в несколько этапов, не обращая внимания на то, что в результате этого одно определение не совпадает с другим определением того же понятия. Любая попытка свести их воедино требует определенных усилий, потому что они не помогают, а мешают друг другу создать целостную картину.

Маркс приступил к изучению буржуазной собственности на средства производства, обмена и распределения в тот период, когда ей были свойственны в основном еще количественные изменения, а именно — накопление и концентрация богатств в руках немногих при относительном либо полном обнищании подавляющей части активного населения. В период первоначального накопления капитала создавалось впечатление, будто это и составляет основную тенденцию в развитии капиталистической собственности. Но основная тенденция выявила себя значительно позже: глубокие внутренние, качественные изменения со временем превратили собственность в то сложное социальное явление, в котором главное — не владение, не возможность жить за счет процентов с капитала, а распоряжение, и даже не распоряжение в целом, а оперативное управление, гарантирующее причастность к тому свободному творческому труду, который долгое время был привилегией узкого круга предпринимателей (хозяев).

К. Маркс не мог представить себе, какие сложные внутренние изменения произойдут со временем и в другом, не менее сложном социальном явлении, которое интересовало его столь же страстно, как и собственность,— в политической власти. Я действительно считаю, что политическая власть — это явление социальное. Вся гамма власти (или «проблема власти», как ее трактуют в пособиях по революционному преобразованию общества) включает в себя два элемента — политический и экономический — одного социального явления власти. Решение проблемы власти гарантирует не только правовое, но и фактическое всеобщее равенство использования каждым индивидом всех своих способностей. Современное К. Марксу общество не позволяло заметить этого. Власть для него, как и для всех представителей феодального и раннекапиталистического общества, осталась господством, и путь ко всеобщему равенству предполагал обязательное установление господства того класса, мессианской задачей которого являлась ликвидация всех видов неравенства.

Появившись на свет слишком рано, значительно раньше того времени, когда основные тенденции в развитии капиталистического общества стали просматриваться более или менее определенно, марксизм вынужден был, говоря о будущем, оперировать понятиями и данными уже отживавшего свой век феодального общества. Новый метод анализа заполнялся старым эмпирическим материалом. Это конкретное наполнение нового метода старым содержанием породило то несоответствие между методом и его понятийным аппаратом, при сохранении которого ни о каком стройном и законченном учении не могло быть речи. Уже в момент зарождения как по облику, так и по состоянию всех функционально важных органов марксизм напоминал дряхлого старика с молодым, горячим сердцем и пылкими желаниями. Робкая попытка немецких социал-демократов конца XIX— начала XX века модернизировать марксизм не была понята ортодоксальными марксистами, вставшими на защиту «чистоты» учения К. Маркса. Что касается ленинской ревизии марксизма, то она фактически выдвигала на первый план в марксизме то, что устарело в нем еще в эпоху К. Маркса, или пыталась ввести такие новые элементы (например, о возможности перехода к социализму в одной отдельно взятой стране), авантюрность и ошибочность которых вскоре подтвердила история.

Итак, в основу марксистского учения о революционном преобразовании общества легли взгляды на социализм, сложившиеся еще в XVIII веке, в период, предшествующий капиталистическому обществу. Это был взгляд на общество, которому предстояло стать будущим для еще будущего капиталистического общества. Это был взгляд на социализм из феодального общества с весьма характерным для него подходом к личности, к межличностным отношениям, к взаимоотношениям между подданными государства и государственными институтами.

Отсутствие достаточного эмпирического материала о новом, современном ему капиталистическом обществе, привело К. Маркса к выводу о том, будто размышление над формами человеческой жизни, а следовательно, и анализ этих форм начинается только post festum (задним числом), то есть исходит из готовых результатов процесса развития. Если так, то любой научный прогноз развития следует признать невозможным, поскольку оп-то как раз опирается на анализ не уже сложившихся, а еще складывающихся форм, на анализ тенденции текущего, а не только прошлого развития. Но подобных тенденций развития основных явлений капиталистического общества социальная практика того времени еще не успела накопить.

Если трагедия К. Маркса заключалась в том, что у него не было под рукой хорошего материала, подтверждающего правильность выдвинутой им теории, то трагедия ортодоксального марксизма заключается в том, что он не понял этого. Главным в марксизме для него оказался не материалистический взгляд на историю, а те устаревшие определения собственности, власти, капитала и так далее, которыми, за неимением лучшего, вынужден был оперировать К. Маркс и которые ортодоксальный марксизм защищал всеми подвластными ему средствами, видя в их неприкосновенности залог «чистоты» учения. В силу ряда политических и исторических причин эта недобрая традиция с годами не исчезала, а закреплялась. Мы и сегодня еще только пытаемся выползти за рамки старых, заскорузлых понятий. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить наши сверхжаркие дискуссии о собственности, в которых нет и намека на желание разобраться наконец в тех сложных и чрезвычайно важных изменениях, которые произошли с ней за последние десятилетия.

Наблюдая за шквалом атак, обрушившихся в последнее время на марксизм, я все больше прихожу к выводу, что мы мстим К. Марксу за нашу собственную тупость, так долго не позволявшую нам разобраться в том, что в марксизме главное.

Но вместе с тем современная критика марксизма предстает как своеобразное возмездие его создателю за отступление от старого мудрого правила, в соответствии с которым теоретик никогда не должен стремиться к собственному воплощению на практике сформулированной им идеи: он в плену у этой идеи, он исходит из приоритета теории перед практикой и при возникновении коллизии между жизнью и теорией отдает предпочтение теории. Политик (практик), напротив, в подобном случае предполагает ошибочность идеи и действует, исходя из требований реальной обстановки.

Основные положения марксистского учения о революционном преобразовании общества не вытекают из экономического учения К. Маркса, которое предупреждает, что все до сих пор существовавшие противоположности между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, господствующими и угнетенными классами находят свое объяснение в относительно неразвитой производительности труда, которая является в то же время и причиной общественного разделения труда и деления общества на классы. Отсюда само собой вытекало, что «установление коммунизма *имеет, по существу, экономический характер*», то есть требует совершенно иного уровня развития и производительных сил, и самого человека, требует всестороннего развития индивидов. Вот в чем заключалась поистине великая задача перехода к иным отношениям между людьми. Такую задачу ставил перед собой К. Маркс.

Поставив экономическую науку на службу политике, марксизм допустил ошибку, сыгравшую роковую роль в его собственной судьбе. Политические партии революционно-утопического типа, выступающие от имени рабочего класса, социально-экономическое положение которого было столь тяжелым, что без принятия радикальных мер его улучшение казалось невозможным, не хотели ждать, когда развитие производительных сил создаст условия для перехода к новому обществу. Им нужен был хотя бы намек на возможность эффективного воздействия политическими средствами на разв естественно-исторического процесса: мобилизующая сила любого революционного движения заключается в обещании почти немедленного достижения поставленной (хотя бы и недостижимой в данных условиях) цели. Чем туманнее представление человека об экономических законах развития общества, тем легче он поддается подобным утопическим мечтам. В этом одна из причин того, что на Западе, где к началу XX века социально-политическая зрелость рабочего класса была значительно выше, чем в России, оказалось неизмеримо труднее не только начать социалистическую революцию, но и вообще убедить трудовое население в ее необходимости.

Признание независимости отношений собственности от воли человека — основной рефрен экономического учения К. Маркса и призыв к «деспотическому вмешательству в право собственности и в буржуазные производственные отношения» (своеобразное кредо его политического учения) — две крайние позиции, и обе они принадлежат К. Марксу. Высказывание о том, что право никогда (и, следовательно, ни при каком деспотическом вмешательстве) «не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества», принадлежит тоже К. Марксу. Так чему же верить? Что дает и дает ли вообще что-то преждевременное вмешательство человека в отношения собственности? Если да, то возможно и революционно-политическое преобразование основ общества; если нет, то предпочтение следует отдать эволюционно-реформистскому пути преобразования отношений между работодателем и наемным работником.

Что же является главным в противоречивом революционно-эволюционном учении К. Маркса? Я не вижу прямого ответа на данный вопрос, потому что Маркс-экономист признавал невозможность перемен «во всей громадной надстройке» общества до изменения его экономической основы, а Маркс-политик призывал к преобразованию и надстройки и основы

революционными (внеэкономическими) средствами. Именно здесь, на стыке научного обоснования закономерностей развития человеческого общества и революционно-политического манифеста, требующего внесения поправок в науку, следует искать истоки наших последующих заблуждений. Примиряя Маркса с Марксом и стараясь найти объяснение и оправдание любым неясностям и противоречиям в его трудах, мы, шаг за шагом, приучаем себя вносить поправки не в марксизм как живое учение, а в ту «неправильную» современную нам действительность, которая давно уже не укладывается в устаревшие определения и понятия, введенные в научный оборот ещё в прошлом и позапрошлом веках. К. Маркс не видел того, чего не мог еще видеть, что еще не обнаружило себя тогда, но что давно должны были увидеть мы.

Чем сильнее и опытнее становились политические партии, выступающие от имени рабочего класса, тем смелее и увереннее, не заботясь о развитии марксизма как науки, они отбирали в нем то, что их устраивало в тот или иной момент, и марксизм стал подобен полю, которое перестали обрабатывать, которое перестали удобрять, но от которого ждали все более высоких урожаев. Все четче с годами прорисовывалась та линия насильственной трансформации марксистской науки в революционно-политическое учение, которое для краткости можно представить как марксизм — ленинизм — сталинизм.

Марксизм — это метод анализа повседневной действительности, уверяют нас защитники учения К. Маркса, забывая о том, что это не только метод анализа экономических законов развития общества, это и учение о революционном его преобразовании. Именно в этом, втором своем качестве марксизм является предметом наиболее острых дискуссий. Если марксистский метод анализа в настоящее время признается фактически всеми, то марксистское учение о революционном преобразовании общества имеет и сторонников, и противников.

Но суть в другом. Суть в том, что любой, даже самый современный метод анализа не даст ожидаемых результатов, если в исследуемом материале действительно новыми являются лишь цифровые показатели, а качественные характеристики явления остаются неизменными. Подлинно марксистский подход к марксизму требует наполнения современным содержанием таких фундаментальных понятий, как власть, собственность, капитал и так далее. Я хотел бы начать с самого простого из них, являющегося, к тому же, основополагающим в марксизме как учении о революционном преобразовании общества, а именно — с капитала, о котором мы так много и так мало знаем.

КАПИТАЛ И СОБСТВЕННОСТЬ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ

В «Экономико-философских рукописях 1844 г.» мы находим у К. Маркса совершенно неповторимое по точности и краткости определение капитала как накопленного труда. Но здесь же он дает и другое определение, заимствованное им у Ж. Гарнье: «Фонд именуется *капиталом* лишь в том случае, если он приносит своему владельцу доход или прибыль».

Казалось бы, чего еще? Капитал — это работающее богатство (в том числе работающие деньги), но это не удовлетворило почему-то К. Маркса. В «Манифесте Коммунистической партии» основоположники марксизма сформулировали то «классическое» определение, которое легло в основу их подхода к классовой борьбе как главной движущей силе революционного преобразования общества: «...капитал, то есть собственность, эксплуатирующая наемный труд...» Но, во-первых, является ли капитал синонимом собственности? В обыденной речи подобное отождествление, пожалуй, допустимо, но в научной следует придерживаться более строгого разграничения понятий: есть капитал и есть собственник капитала, есть богатство и, поскольку оно кому-то принадлежит, это богатство является чьей-то собственностью. Но это уже другая, не чисто экономическая, а социально-экономическая категория. Во-вторых, для того, чтобы установить, является ли капитал богатством, эксплуатирующим наемный труд, необходимо дать четкое сущностное определение эксплуатации. К сожалению, у К. Маркса мы находим слишком широкое, неуточненное понятие эксплуатации человека человеком как безвозмездного присвоения владельцем капитала части продукта труда непосредственных производителей. Но присвоение, столь же безвозмездное, части произведенного продукта требуется и для расширенного воспроизводства, то есть для создания новых рабочих мест и для улучшения условий труда, и для введения новых, более совершенных технологий производства, обеспечивающих конкурентоспособность предприятия. Оно также производится хозяином капитала.

Очевидно, эксплуатация предполагает не всякое присвоение собственником капитала части произведенного им продукта, а только той его доли, которая не используется на нужды производства и потребляется владельцем капитала, что позволяет ему жить в роскоши и довольстве даже тогда, когда наемные работники едва сводят концы с концами. Но признавая это и соглашаясь с тем, что капитал — это накопленный труд, служащий средством для нового производства, К. Маркс тут же уточняет: капитал погибает, если не эксплуатирует труд.

Он отмечает, что, проникнув в сферу производства и соединив массу рук с массой орудий, капитал собирает под своей властью и эти руки, и эти орудия, которые, однако, по определению самого К. Маркса, есть не что иное, как овеществленный, опредмеченный труд, то есть капитал. В этом, по К. Марксу — и в данном случае он абсолютно прав,— заключается действительное накопление капитала. Но в этом же К. Маркс видел и предпосылку превращения капитала в производственное отношение, в командную власть над трудом и его продуктами, чего капитал как раз никак не мог сделать сам по себе, являясь всего лишь овеществленным трудом. Это мог сделать только его собственник: командная власть или распоряжение — это одна из функций собственности, а не капитала.

Особым видом капитала как накопленного труда являются затраты, вложенные в развитие самой человеческой личности. Они, как правило, начинают давать проценты с вложенной суммы далеко не сразу. Но в отличие от опредмеченного труда, подверженного быстрому обесцениванию в результате обновления экономики, капиталовложения в человека длительное время приносят прибыль, которая к тому же с годами имеет тенденцию к повышению. Чем интенсивнее развивается современная научно-техническая революция, тем заметнее, под угрозой торможения всего общественного прогресса, всестороннее развитие личности становится определяющим условием исторического развития. Об этом еще в 1969 году писал блестящий французский философ Р. Гароди в своей нашумевшей книге «Великий поворот социализма».

В настоящее время выдвижение человеческого ресурса в разряд основного фактора производства является, пожалуй, главной составляющей изменений, происходящих в экономической системе промышленно развитых стран.

Человек как единица хозяйственной деятельности представляет собой явление совершенно уникальное, поскольку в нем совмещаются и объект капиталовложений (расходы на воспитание, образование, поддержание здоровья), и субъект капиталовложений (когда эти расходы оплачивает он сам), а также собственник (владелец, распорядитель и пользователь) того капитала, которым (капиталом) он становится в результате этого. Причем в условиях современной научно-технической революции воспроизводство сложной и активной рабочей силы, инициативного и предприимчивого человека, способного изменять облик и существо производственных процессов, наиболее интенсивно осуществляется за счет индивидуальной собственности семьи — она оплачивает все расходы, связанные с подготовкой человека к трудовой деятельности. Даже бесплатность образования и здравоохранения фактически финансируется ею же, через налогообложение. Накопление общественного богатства в форме «человеческого капитала», «человеческого фактора» как главной производительной силы общества является, по мнению философа Ю. Васильчука, особенно важной функцией индивидуальной собственности.

О столь частном случае (человек как капитал и как собственник самого себя как капитала или очеловеченного труда), возможно, вообще не стоило бы заводить разговор, если б не тот факт, что именно этот пример позволяет нам уточнить характер взаимозависимости между капиталом и собственностью, а также более четко, чем это сделано К. Марксом, разграничить функции капитала и собственности.

Поскольку очеловеченный капитал далеко не сразу начинает давать отдачу и, в принципе, как всякий капитал, может вообще никогда не принести ожидаемой прибыли, то капитал, очевидно, нельзя рассматривать как обязательно работающие деньги или работающее богатство; это *потенциально* работающие деньги или богатство. Капитал — это всего лишь производственно-экономический, финансовый, научный, культурный, нравственный и прочий потенциал, накопленный (овеществленный или очеловеченный) труд, продуктивность работы которого зависит от собственника.

Будучи всего лишь потенциалом, капитал не может никого эксплуатировать. Будучи ничейным потенциалом, он не может работать, потому что в этом случае его некому эксплуатировать. Эксплуатируемый, работающий капитал может быть одним из сопутствующих факторов эксплуатации человека человеком. Но отношением между эксплуататором и эксплуатируемым или условием эксплуатации он не является. Капитал — это *средство* материализации отношений между людьми. В качестве самого общественного отношения выступает в настоящее время одно из правомочий собственности, а именно — распоряжение, представляющее отношения собственности как властные отношения, как основы всей совокупности социальных, а не только экономических или производственных отношений. Капитал и собственность являют собой симбиоз, неразрывное единство, что и обусловливает, в теоретическом плане, сложность разграничения их функций.

Все, что нас окружает, в том числе и природа, хотя она и не относится к категории овеществленного труда, все, что, помимо биологического, заложено в нас

самих, все, что мы не израсходовали на поддержание в себе чисто биологических процессов, включая то, что в обыденной речи мы называем объектом собственности или, чаще всего, просто собственностью,— все это капитал, природный или выступающий в форме овеществленного или очеловеченного труда; это средство материализации человеческих отношений в социально-экономической сфере.

С точки зрения политической экономии все, что когда-нибудь в том или ином виде может быть использовано либо в производственном процессе, либо для подготовки человека (личности, индивида, а не только рабочей силы) к включению в процесс производства общественной жизни (а не только в процесс производства в узком толковании этого понятия), должно быть признано совокупным производственным потенциалом или капиталом.

К. Маркс, как я уже отмечал, видел в накоплении функцию капитала. Ю. Васильчук приходит к совершенно иному выводу: *накопление — это функция носителя собственности, собственника.* При таком подходе капитал предстает как результат деятельности собственника, результат накопления. Капитал не занимается накоплением самого себя. Его функция иная: он служит средством материализации общественных отношений. Это важный момент, и я позволю себе повторить его еще раз: *основная функция капитала — быть средством материализации общественных отношений*, быть посредником между тем, кто управляет процессом накопления (присвоения части чужого неоплаченного труда) и теми, кто участвует в процессе накопления как исполнитель. Вместе с тем, капитал не является препятствием для совмещения управленческого и исполнительного труда в одном субъекте. От степени совмещения управленческого и исполнительного труда в одном субъекте в конечном счете зависит характер собственности: частная собственность — смешанные формы — общественная собственность на средства производства.

«Капитал не вещь, а общественное отношение между людьми, опосредованное вещами», считал К. Маркс. Как видим, он тоже признает необходимость посредника в общественных отношениях, но почему-то не считает нужным уточнить, что выступает в качестве посредника, что за «вещи» опосредуют отношения между людьми. Все ли «вещи» могут органически включаться в общественные отношения или какие-то особые? Между прочим, как ни крути, но отношения, опосредованные вещами,— это все-таки отношения, опосредованные капиталом, поскольку все вещи, по Марксу, все равно являют собой овеществленный труд или капитал. Так почему же «капитал не вещь»?

Сам капитал пассивен, а носитель функции накопления, собственник, напротив, будучи заинтересованным в ускорении прироста капитала, стремится к максимально интенсивной эксплуатации всего подвластного ему научно-производственно-культурного (и так далее) потенциала, включая тот очеловеченный труд, владельцем которого является не он сам, а нанятый им работник (наемный труд). От инициативы, от предприимчивости собственника в условиях рыночной экономики зависит судьба и капитала, и наемного труда.

Отсутствие конкретного заинтересованного субъекта (собственника) может привести к снижению потенциала, заложенного в капитале, практически до нуля. Именно это мы наблюдаем при «общенародной» собственности, когда всеобщая незаинтересованность проявляется в полном упадке инициативы и предприимчивости, фактическом исчезновении рынка и товарно-денежных отношений.

Негативное отношение марксизма к капиталу объясняется определением его как «собственности, эксплуатирующей наемный труд». Прозрачно ясная четкость заложенной здесь классовой позиции определила дальнейший подход к капиталу политической партии, выступающей от имени рабочего класса: эксплуататор выявлен, враг установлен, остается лишь определить средства его уничтожения.

Но капитал и собственность на капитал, как уже отмечалось, принципиально разные вещи. Смешение этих двух понятий не может привести ни к чему иному, кроме того, к чему уже привело — к тупику. Видимая взаимосвязь капитал—товарное производство—эксплуатация еще не есть причинно-следственная связь. Она не доказывает ни участия капитала в эксплуатации, ни его виновности за эксплуатацию. Мы вменили в вину капиталу то, в чем повинны уровень развития производительных сил и та социально-классовая реальность, в которую был поставлен капитал в период ускоренного накопления, а без него были невозможны ни создание новых рабочих мест, ни обеспечение хотя бы сносных условий труда при крайне низком (для капиталистического общества) уровне развития техники и технологии. Если что-то и уходило не по назначению, то виноват в этом был не капитал, а его владелец, у которого со временем, как отмечал К. Маркс, пробудились «человеческие побуждения».

Капитал чист, как невинно чисты по сущности своей бриллиант или золото. То обострение людских пороков, которое мы наблюдаем при появлении на исторической сцене драгоценностей, говорит скорее о порочности человеческой природы, о порочности социальных условий, порождающих эту людскую порочность. Капитал непорочен до порочно наивной готовности служить любому, кто обеспечивает его наиболее эффективную эксплуатацию. Капитал никого не эксплуатирует, он ищет того, кто умеет эксплуатировать его. Считая его врагом труда, мы перестали поддерживать с ним какие-либо отношения, мы перестали быть его хозяевами, мы разучились его эксплуатировать, он перестал нам служить. В отказе от услуг капитала мы увидели революционный бросок в будущее, но это был бросок в прошлое, в эпоху дотоварного производства. По выражению С. Алексеева, товарное производство являет собой «своего рода безостановочно работающее „сердце" эффективной экономики» или «саморегулирующуюся эффективную структуру», которая «не имеет достойной альтернативы». Но С. Алексеев забыл, что товарное производство «как единство процесса труда и процесса увеличения стоимости» есть результат работы капитала, что работает-то не товарное производство, а капитал, для которого работа — это единственная форма активизации, ибо, перестав работать, он вновь превращается в потенциал. Без капитала товарное производство невозможно, потому что без участия капитала в процессе труда не происходит создания прибавочной, товарной стоимости, и товар, предназначенный для рыночного обмена, не создается. Без капитала товарное производство даже не импотент, а ни на что не похожий, никому не нужный и ни на что не способный кастрат. Зачем нам подобное бестоварное «товарное производство»? Это же просто иное название того, что мы уже «эффективно» имеем и столь же «эффективно» эксплуатируем.

Пока существует «порабощающее человека разделение труда», пока не уничтожены условия, постоянно возрождающие неравные возможности индивидов, сохраняется — в той или иной форме — и зависимость одного человека от другого. Когда-то она была крепостной или личной, затем (при капитализме) экономической. Виновником этой зависимости и эксплуатации мы объявили капитал — экономическая логика столкнулась с революционным пафосом. Победил пафос, которому на какой-то срок удалось представить себя как высшее воплощение экономической логики. Но, загнав капитал в подполье, мы ликвидировали не экономическую зависимость человека от человека, а договорно-правовую форму этой зависимости и тем самым дали простор для различных модификаций докапиталистической, личной зависимости.

Создавая в стране свободные экономические зоны, мы импортируем не только новую технологию, но и рыночные отношения, мы импортируем упорядоченную зависимость человека от человека в сфере производства. Переход к рынку в наших условиях означает возвращение и будущему, то есть возрождение надежды на будущее.

Понятие капитала — своеобразный замок свода марксистского учения, которое ни в коем случае не следует сводить к тому, что сказано и написано об этом самим К. Марксом либо К. Марксом в соавторстве с Ф. Энгельсом. Более того, не все из созданного основоположниками можно признать абсолютно отвечающим духу и букве марксизма. Их нельзя винить за то, что многое в ту эпоху, когда жили и работали они, еще оставалось неясным. Прежде всего это касается собственности как социально-экономического явления.

О СОБСТВЕННОСТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Считая, что всякое производство — это присвоение человеком предметов природы «в пределах определенной общественной формы и посредством нее», К. Маркс приходит к выводу: «собственность (присвоение) есть условие производства». Если отвлечься от мистически непонятной «определенной общественной формы», посредством которой совершается присвоение (общественной формы чего? — ведь не о форме как форме, вероятно, идет речь, а о форме чего-то конкретного. Чего же?), то знак равенства между собственностью и присвоением позволяет нам предположить, что с ликвидацией присвоения исчезает и собственность, а обобществление присвоения ведет к обобществлению собственности.

И действительно, как подтверждают основоположники, присвоение всей совокупности производительных сил объединившимися индивидами уничтожает частную собственность, к отмене которой, но не к отмене собственности вообще, и призывали коммунисты. И хотя основным вопросом коммунистического движения признается все же вопрос о собственности, ни основоположники, ни их последователи ему фактически не уделяют внимания. Все их помыслы сосредоточены на более частном вопросе о частной собственности, ибо она и только она ставит капитал в такие условия эксплуатации, при которых гарантируется возможность присвоения собственником капитала части чужого неоплаченного труда и создания прибавочной стоимости — основы капиталистического товарного производства. При этом собственность, как считает К. Маркс, для капиталиста проявляется как право присваивать чужой неоплаченный труд или его продукт, а для рабочего — как невозможность присваивать свой собственный продукт. Отметим, что присвоение в данном случае не тожде-

ственно потреблению; оно обозначает всего лишь присвоение права на распоряжение присвоенным продуктом. Причем само это право (право собственности) рассматривается К. Марксом как юридическое выражение (договорная форма) реальных производственных или экономических отношений, не зависящих от воли человека, в которые люди вступают в общественном производстве своей жизни.

Итак, определению капитала как общего накопленного труда (а не только богатства, эксплуатирующего наемный труд) должно было соответствовать и действительно соответствует определение собственности (реальной формы общественных отношений) как отношений значительно более широких, чем чисто экономических. Общественное производство всей жизни человека не может не охватывать всей совокупности социально-экономических, политических, нравственных, духовных и так далее отношений, даже в том случае (а это, несомненно, так и есть), когда весь комплекс отношений зависит от определенной ступени развития материальных производительных сил общества.

Очевидно, в данном случае под производственными отношениями К. Маркс понимает не те узкопроизводственные отношения современного ему капиталистического общества, которые в какой-то момент вдруг оказываются в антагонистических противоречиях с производительными силами, а отношения более широкого, социального (общественного) порядка, связанные с производством всей жизни человека.

К сожалению, К. Маркс никогда не уточняет, что он имеет в виду, употребляя понятие «производственные отношения», как не уточняет и то, что он понимает под присвоением (то ли присвоение человеком продуктов природы, то ли присвоение собственником капитала части чужого неоплаченного труда) или под «способом производства» (один из укладов какой-то общественно-экономической формации или формацию в целом), что он называет «формацией» и так далее. Как я уже отмечал, полисемия фактически всех основных экономических понятий, встречающихся в трудах К. Маркса, значительно снижает их научную ценность.

Хотя любому рассуждению по общим проблемам К. Маркс предпочитает анализ конкретных явлений современного ему буржуазного общества, использование им неуточненных понятий нередко создает у читателя обратное впечатление, будто К. Маркс идет в своих рассуждениях от общего к частному. Лишь в дискуссиях с современными ему авторами, в частности, с П. Ж. Прудоном, он касается, причем явно неохотно, некоторых общих вопросов. Он и Прудона упрекает за то, что тот стремится выйти за пределы обсуждения частного вопроса о современной ему буржуазной собственности и поставить вопрос шире: «Что такое собственность?»

Утверждая, что П. Ж. Прудон будто бы связывает совокупность экономических отношений буржуазной собственности с общим юридическим представлением «собственность», сам К. Маркс впадает в другую крайность и пытается выразить всю сложность этого социального явления через анализ экономических форм его проявления. Однако, если отвлечься от некоторых не совсем удачных, неясных формулировок, встречающихся в трудах Прудона, нельзя не признать, что больше всего его интересует то, как в результате наполнения старой формы новым содержанием, эволюционно, без взрыва, без вмешательства революционной воли, но не без давления на собственность со стороны наемных работников, происходит превращение старого в нечто новое, как меняется при этом сама старая форма, меняются отношения производства всей общественной жизни.

Что касается К. Маркса и большей части его последователей, ортодоксальных марксистов, то они, как правило, пытаются выразить всю полноту производственных отношений либо в категориях политической экономии (и имеют дело с результатами экономической деятельности человека и человечества), либо в категориях права (и имеют дело с нормативными актами, закрепившими в юридической форме реальное соотношение социальных сил на момент их принятия). Но социальные отношения, порождаемые собственностью, не укладываются в сумму экономического и правового. Скорее, напротив, экономическое и правовое предстают как отдельные элементы социального, омертвленные в «результатах» и «нормах».

По образному выражению Г. Дилигенского, язык нашей теории постоянно отстает от исторической реальности, отставая одновременно и от наших мыслей, часто вынуждая нас выражать свои идеи языком, который не совсем подходит для них.

Поскольку при обсуждении проблемы собственности ортодоксальный марксизм исходил не из анализа самого явления, а из толкования тех лингвистических символов, которые были предложены К. Марксом, само отставание языка теории от исторической реальности марксистскими теоретиками либо воспринималось как норма, либо вообще не замечалось. Но стоило обратить внимание на саму реальность, как это несоответствие между истинным положением вещей и его теоретическим отражением представало

во всей своей вопиющей огромности. Возможно, это и удерживало марксистов, специалистов по проблемам собственности, от радикальных шагов: признать реальность значило отказаться от того, что глубоко и прочно вошло в наше сознание, и пойти на существенный пересмотр экономического учения К. Маркса. Мы предпочитали сохранять верность К. Марксу и продолжали использовать в своих «литературных» теориях неработающие понятия, пустые символы.

Тот крик отчаяния, который в конце 80-х годов вдруг сорвался со страниц наших крупнейших периодических изданий, оповестил читающую публику о практически полном отсутствии в советской экономической науке теоретических заделов по проблеме собственности.

Очевидно, до тех пор, пока мы не уясним для себя, что является первичным, исходным элементом в вопросе о собственности, никакой речи о каких-то теоретических заделах быть не может. Лишь признание того, что капитал — это накопленный труд, а не богатство, эксплуатирующее наемный труд, позволяет нам избежать фактического отождествления собственности как социального явления и частного понятия «буржуазной» частной собственности на средства производства.

СОБСТВЕННОСТЬ И БУРЖУАЗНАЯ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ЕЩЕ ОДНО РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Сам общий вопрос о том, что такое собственность, К. Маркс считал до такой степени неправильно поставленным, что, по его мнению, на него невозможно дать правильный ответ, не обращаясь к анализу отношений современной буржуазной собственности «не в их юридическом выражении как волевых отношений, а в их реальной форме, то есть как производственных отношений». Иначе говоря, он считал невозможным дать ответ на общий вопрос о собственности, не сводя его к частному вопросу о частной буржуазной собственности.

Но его определение частной буржуазной собственности носит столь же расплывчатый характер и фактически повторяет уже сказанное им о буржуазной собственности как таковой и о собственности вообще. «Определить частную собственность,— пишет К. Маркс,— это значит не что иное, как дать описание всех общественных отношений буржуазного производства». Из этого определения совершенно невозможно понять, чем буржуазная собственность отличается от частной буржуазной собственности и почему, на основании каких критериев, фактически вся буржуазная собственность вдруг зачисляется К. Марксом в разряд частной.

Вполне возможно, что именно это отсутствие четкого понимания различий между буржуазной и частной собственностью и стало основной причиной тех трудностей, с которыми столкнулся К. Маркс в своих попытках дать общее определение собственности (если тождество: собственность — это присвоение,— не считать таким определением). Отнесение всей буржуазной собственности к разряду частной приводило к тому, что для разговора о собственности как таковой у К. Маркса не оказывалось под рукой фактического материала: все, что он видел вокруг себя, представляло в его глазах частную собственность. При таком подходе к предмету дискуссии разграничение между собственностью и частной собственностью требовало выхода за пределы буржуазного общества, где можно было еще надеяться обнаружить иные формы собственности, помимо частной.

Однако был и другой, более простой и легкий, более разумный выход. Если тот же вопрос сформулировать конкретнее и спросить себя: «что такое собственность на капитал?» или «что такое частная собственность на капитал?», то и ответ на него и вопрос о решении проблемы собственности приобретают совершенно иные, человечески понятные и приемлемые размерности.

Лишь в генезисе буржуазной частной собственности К. Маркс отмечает некоторое отличие от той картины, которая характерна для римского права, где основанием частной собственности (или права пользоваться и распоряжаться по собственному усмотрению) служило *владение*, причем оно рассматривалось как факт, факт владения, не нуждающийся в правовом закреплении. Буржуазная частная собственность, подчеркивает К. Маркс, возникает, напротив, как *право распоряжения* сначала продуктом, а затем и орудиями труда, трудом производителей, лично не зависимых от купца-капиталиста. Из функции организации производства и контроля за ним, которую стал выполнять купец-капиталист, постепенно выросла юридическая собственность капитала на средства производства. Считая, что причиной зарождения буржуазной частной собственности является разделение труда, основоположники совершенно справедливо подчеркивали, что частная собственность может быть уничтожена только при условии всестороннего развития индивидов и ликвидации разделения труда.

Вот, казалось бы, и весь вопрос о собственности: есть начало (генезис), есть конец, остальное скомбинировать неслож-

но. Однако в действительности все оказалось значительно сложнее: зная конец (цель), мы стали считать, что имеем в своем распоряжении готовое, отработанное решение. Но его у нас не было. У нас было представление о том, к чему мы должны стремиться, но у нас не было (а в полной мере нет и сейчас) четкого представления о том, как можно этого добиться с наименьшими усилиями и в кратчайшие сроки. Более того, с годами у нас как-то само собой исчезло представление о собственности на капитал как саморазвивающемся явлении. Для нас она оставалась неизменно тою, какой нам представил ее К. Маркс. Поэтому на данный момент у нас действительно нет никаких заделов по проблеме собственности, и нам приходится молча соглашаться с горькой шуткой Ф. Бурлацкого: «Никто пока не ответил на вопрос, что такое частная собственность». Мы знаем, что частная собственность есть, а что она такое — не знаем. Мы что-то назвали частной собственностью, а что назвали — понятия не имеем.

Зато «Советский энциклопедический словарь» (с. 1494) знает, что частная собственность — это форма собственности, при которой средства производства и продукты труда принадлежат частным лицам. Но что такое «частные лица», не знает и словарь, и, следовательно, уточнить, кому принадлежат средства производства при данной форме собственности и почему эта форма собственности распространяется только на средства производства, нам все равно не удалось бы. Задумавшись об этом, мы, наверное, вспомнили бы, что К. Маркс признавал «действительным» капиталом только промышленный капитал или средства производства.

ЧЕЛОВЕК И СОБСТВЕННОСТЬ. ЧЕЛОВЕК-СОБСТВЕННОСТЬ.

Если исходить из того, что отношения собственности складываются из правовых и экономических, то определение собственности как присвоения нельзя считать общим определением. Присвоение реализуется через владение, распоряжение, пользование, а это всего лишь правомочия. Поэтому определение собственности как присвоения является общим только для разных типов правовых отношений, и в том числе — для присвоения части чужого неоплаченного труда (буржуазной частной собственности).

Отношения собственности как правовые отношения действительно являются юридическим выражением производственных отношений, а точнее — стремление к правовому упорядочению, к регламентации условий столкновения двух (многих) воль, пытающихся реализовать свои интересы (включая экономические) в сфере производства. Но на этом и следовало бы поставить точку, потому что, вопреки представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса, ни собственность (присвоение) в целом, ни частная собственность на средства производства не охватывают всех отношений буржуазного общества. Более того, отношения собственности никогда не охватывали всех юридических норм, регулирующих производственные отношения. В современном развитом хозяйстве, для которого характерно общее усложнение экономических связей, права собственности давно потеряли свою исключительность. Они ограничиваются более сильными общественными законами. Следовательно, включение К. Марксом всех производственных отношений в отношения собственности представляется столько же неубедительным, как и отнесение к «действительному» капиталу только средств производства. Взгляд на производство как сферу деятельности не только опредмеченного капитала (для которого само понятие человеческих отношений — абсурд), но и очеловеченного капитала с его восприятием чувственного, нравственного, духовного как ценностей, не всегда имеющих адекватное материальное выражение, но всегда влияющих на отношения между людьми, наводит на три простые мысли: 1) Любая собственность на капитал (и в том числе буржуазная) включает в себя и очеловеченный капитал и, следовательно, это не только собственность на средства производства. Уделяя особое внимание собственности на средства производства, К. Маркс описывает скорее не отношения между людьми, опосредованные вещами, а отношения между овеществленными капиталами, опосредованные людьми. 2) Зависимость отношений собственности от формы собственности на средства производства — не более, чем видимость, скрывающая истинное положение вещей: работник тоже является «собственностью» работодателя, и форма его зависимости от хозяина та же (личная или договорно-правовая), что и овеществленного труда, но степень проявления этой зависимости смягчается, сглаживается нравственно-этическими нормами, господствующими в обществе. Декретная ликвидация частной собственности на средства производства (национализация) не может ликвидировать частнособственнических отношений в сфере производства до тех пор, пока не созреют для этого экономические условия. Скорость обобществления овеществленного капитала (средств производства) и очеловеченного капитала (отношений собственности) различна, поскольку это все-таки два, хотя и связанных друг с другом, но все же разных процесса.

3) Производственные отношения значительно шире, богаче экономических отношений. Несовпадение экономических и производственных отношений в сфере труда создает определенный механизм зарождения и вызревания новых потребностей и выдвижения трудящимися новых требований.

Только восприятие собственности на капитал как совокупной собственности и на средства производства, и на очеловеченный потенциал (иначе говоря, как на совокупный капитал) позволяет заметить, что в основе понятия «социально-экономическая эпоха», или, по Марксу, «общественно-экономическая формация» лежит не «способ производства» или мифическое единство производительных сил и производственных отношений, а выдвижение одного из правомочий собственности на совокупный капитал в ранг базового. Отсюда не следует, что волевое выдвижение иного правомочия в ранг базового означало бы переход к новой эпохе. Отсюда следует только то, что основополагающим признаком отличия одной социально-экономической эпохи от другой служит то, какое правомочие собственности характеризует тип зависимости человека от человека.

Вполне возможно, что *базовым правомочием общинно-первобытного строя* было либо *пользование*, либо вся совокупность правомочий собственности, поскольку сама структура собственности оставалась еще не развитой. Выдвижение *владения* в ранг базового правомочия означало, что во владении хозяина, работодателя, *в личной зависимости от него* оказывался и очеловеченный капитал, то есть сам работник. Этим, очевидно, и объясняется та иллюзия прямой связи между собственностью и властью при феодализме, на которую обращают внимание некоторые исследователи. С развитием материальных производительных сил (то есть самого человека) личная зависимость работника от хозяина постепенно ослабевала — общество эволюционировало от рабовладения к крепостничеству.

Базовым правомочием юридических отношений собственности в обществах индустриального типа (в обществах современной социально-экономической эпохи, а именно: капитализм, социализм...) является *распоряжение*, при котором личная *зависимость* работника от работодателя заменяется *правовой*, основанной на соглашении или договоре между ними.

Но, подчеркнув определяющую роль правомочия распоряжения в процессе зарождения нового способа производства и, казалось бы, признав таким образом, хотя и косвенно, договорную основу человеческих взаимоотношений эпохи промышленного производства, К. Маркс и Ф. Энгельс предлагают тем не менее решать вопрос о собственности так, как если бы основу собственности, как и прежде, составляло владение, а не распоряжение — они выступают за декретный переход к государственной собственности, за «обобществление» путем национализации.

С выдвижением распоряжения в ранг базового правомочия любая попытка «коллективизации» собственности означает правовое вмешательство в правовые отношения (юридические отношения собственности) и никогда, ни при каких условиях не может привести к изменению всей совокупности производственных отношений.

ОТМЕНА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ — ЭТО НЕ ВСЕГДА ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ

Если законодательное введение всеобщего равноправия во владении каким-то достоянием, его потребление всеми членами общества в равных долях еще можно себе представить, то с распоряжением дело обстоит несколько сложнее. Готовность каждого индивида к участию в распоряжении (управлении) индивидуальна и никаким декретом невозможно сделать сразу всех способными решать сложнейшие проблемы управления современной экономикой. Поэтому, без сомнения, правы те исследователи, которые весьма сдержанно относятся к идее введения производственной демократии как средства для снятия «отчуждения» труда. Производственная демократия — не средство преобразования общественных отношений в сфере производства, а только отражение в человеческих отношениях тех глубинных процессов, которые непрерывно развиваются в материальной основе общества. Кстати, основоположники марксизма также отмечали, что «освобождение есть историческое дело, а не дело мысли, к нему приведут исторические отношения, состояние промышленности, торговли, земледелия, общения». Признавал это и В. И. Ленин. Но осознание того, что происходящее в стране далеко не соответствует той картине, которую он предполагал увидеть, пришло к нему «задним числом», когда анархистский по сути своей (по нетерпению, по нежеланию считаться с реальными возможностями) лозунг всеобщей национализации был уже возведен в ранг государственной политики. «А обобществление как раз тем и отличается от простой конфискации, что конфисковать можно с одной „решительностью“ без умения правильно учесть и правильно распределить, *обобществить же без такого умения нельзя*»,— писал он в мае 1918 года. Его призыв остановить процесс конфискации, ломки, национали-

зирования, борьбы с саботажем прозвучал в тот момент, когда маховик государственной машины, еще недавно, по его же указанию, включившейся в эту работу, уже успел набрать обороты и продолжал крутиться по инерции.

Между прочим, еще в 1880 году Ф. Энгельс предупреждал, что государственная собственность на производительные силы не разрешает конфликта между трудом и капиталом: чем больше производительных сил возьмет в свою собственность государство, тем полнее будет превращение самого государства в совокупного капиталиста и тем большее число граждан оно будет эксплуатировать. При этом, отмечал Ф. Энгельс, рабочие останутся наемными рабочими, пролетариями, а капиталистические отношения будут доведены до крайности, до высшей точки. Если б Ф. Энгельс остановился на этом, то мировое сообщество, возможно, избежало бы многих ненужных исторических осложнений. Но он продолжал, развивая мысль, уже не раз высказывавшуюся им и К. Марксом: как только достигается эта высшая точка, то тут-то и происходит то механическое чудо перерастания количества старого качества в новое качество, которое разрешает окончательно назревшее антагонистическое противоречие — пролетариат берет государственную власть и, прежде всего, превращает средства производства в государственную собственность, тем самым уничтожая и самого себя как пролетариат и вообще все классовые различия. Почему? Почему вдруг, как в сказке, исчезают классовые различия? В России начала XX века этого не произошло, да и не могло произойти, потому что подобное «обобществление» а) шло вразрез с сохранявшейся еще тенденцией к углублению разделения труда на управленческий и исполнительский; б) потому, что в наших отечественных условиях процесс отделения распоряжения от владения еще не завершился — национализация, как смерч, ворвалась в нашу жизнь, сея сумятицу и беспорядок, она буквально смела и развеяла по белу свету тот тонкий слой руководителей производства, которые воспринимались рабочим классом как представители «владения», «капитала», частной собственности; потому что в) трудящиеся были не готовы взять на себя исполнение власти; потому что г) в результате всего этого само развитие событий заставило государственный аппарат (исполнительный орган) взять на себя эти функции; и потому что, помимо всего прочего, д) подобное «обобществление» порождало ту предельно опасную концентрацию богатства, а, следовательно, и экономической власти в руках субъекта, создавало ту монополию, против которой капитал, загнанный в подполье, уже не мог бороться.

Но в сопредельных с нами странах жизнь продолжала развиваться, и сегодня они являют нам такое разнообразие конкурирующих друг с другом форм владения и распоряжения, такое многообразие возможных сочетаний этих форм, что говорить о каких-то чисто капиталистических или чисто социалистических формах хозяйствования (привычно называемых «формами собственности») практически невозможно.

Национализация лишила нас этого разнообразия. Она сделала нас удивительно однообразным обществом, высшим идеалом которого является борьба за монолитное единство во всем. Но подлинный социализм — это нечто совсем иное, это экономическая и политическая власть народа. Мы национализировали не собственность, а право трудящихся на участие в распоряжении (экономической власти), и, объявив это обобществлением средств производства, согласились с передачей исполнения этих прав партийно-государственному аппарату. Преждевременная национализация прервала развитие естественного процесса перераспределения функций между владением и распоряжением (процесса превращения распоряжения в базовое правомочие) и доказала еще раз, что «коллективизация» только тогда дает позитивные результаты, когда она не берет на себя больше того, чем она является на самом деле, а именно: она — не средство преобразования общественных отношений, а всего лишь юридическое средство закрепления реальных изменений в общественных отношениях. При этом готовность масс взять на себя оперативное управление или всю полноту власти (распоряжение) еще не равносильна его готовности к управлению. Как правило, зависимость здесь иная: чем ниже общая (и в том числе производственная) управленческая культура населения, тем легче оно поддается иллюзии, будто основное — «взять» власть. Но власть — это ответственность, и взятие на себя ответственности требует особой подготовки.

СТРУКТУРА ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ

Допустим, чисто условно, что структура отношений собственности включает в себя три уровня их проявления. Первый из них тот, где происходят самые крупномасштабные изменения, затрагивающие всю систему взаимоотношений между правомочиями, назовем макроуровнем, второй, или тот, в котором наблюдаемые изменения не выходят за рамки одного правомочия, назовем средним, а третий, позволяющий вести наблюдения за процессами в рамках одного из элементов какого-то правомочия, назовем микроуровнем.

Изменения на макроуровне охватывают всю структуру юридических отношений собственности в целом и проявляются в радикальной трансформации взаимоотношений между правомочиями. Смена одного базового правомочия другим, собственно, и есть, как я уже отмечал, смена социально-экономической эпохи.

Переход к эпохе индустриального производства, обычно называемой «капиталистической», произошел в Европе в конце XVIII — начале XIX веков, в России — в середине XIX — начале XX века. Он связан не с появлением какой-то новой формы *владения* орудиями труда, а с приобретением купцом-капиталистом *права распоряжения* трудом ремесленников и продуктом их труда. Сама юридическая собственность на средства производства выросла, как отмечает К. Маркс, из «функции организации производства и контроля над ним», то есть из функции распоряжения. Окончательно буржуазная собственность на средства производства сформировалась тогда, когда субъект распоряжения приобрел (купил или захватил) права владения и пользования этими средствами производства.

Если собственность на капитал — это совмещение правомочий владения, распоряжения и пользования в руках одного *субъекта*, то совмещение тех же правомочий в руках одного *человека* следует признать частной собственностью, которую, однако, надлежит именовать индивидуальной, если собственник данного капитала не использует наемного труда. Возможно, эти определения страдают упрощенчеством, но я предпочитаю иметь хотя бы самое примитивное конкретное представление о предмете разговора, чем горько жаловаться на полное незнание того, что такое частная собственность. Да и путь от простого к сложному легче и короче, чем от сложного к простому.

Частная собственность была исторически первой формой буржуазной собственности на средства производства. Она развивалась «из необходимости накопления» и являла собой пример удачного совмещения в одном лице творческого начала (предпринимательства или полного распоряжения, включая право распоряжения пользованием) и потребительского начала (владения). Иначе говоря, творческое начало, действуя в потребительских интересах того же лица, обеспечивало наивысшую эффективность эксплуатации капитала. Вероятно, этим обстоятельством и объясняется рождение мифа о том, что только совмещение в одном лице (в крайнем случае — в одном субъекте) владения, распоряжения и пользования является на все времена и при всех условиях оптимальной формой ведения хозяйства.

Тем же обстоятельством, очевидно, объясняется и то, что сам капитал стал ассоциироваться с частной собственностью на средства производства. В поддержании этой версии были заинтересованы прежде всего владельцы средств производства, провозгласившие принцип: «кто владеет, тот и распоряжается». «Кто распоряжается, тот и владеет»,— возражают им работники управленческого труда. Принцип «кто работает, тот и распоряжается» был выдвинут в свое время анархо-синдикалистами, но его поддерживали и поддерживают до сих пор, хотя и формально, сторонники государственной собственности (этатисты), его же выдвигают наиболее радикально настроенные защитники концепции самоуправленческого (демократического) социализма. Значит, он устраивает всех? Нет, и в первом, и во втором, и в третьем случае мы имеем дело с теми представителями наемного труда, которые не признают какой-либо общности своих интересов с интересами владения и распоряжения, считая их защитниками интересов «капитала».

Но если собственность — это совмещение в одном субъекте правомочий владения, распоряжения и пользования, то что произойдет с собственностью, если эти правомочия окажутся в руках разных субъектов, не признающих к тому же наличия у них каких-то общих интересов, которые связывали бы их друг с другом? Собственность исчезнет? Действительно, в соответствии с существующими правовыми нормами, владелец, который не распоряжается имуществом, превращается в промышленного рантье, а распорядитель, который не является владельцем,— в арендатора. Современный арендатор, имея право частичного распоряжения имуществом, включая право передачи по наследству, но исключая право продажи и перепродажи, лишает этих распорядительных прав арендодателя.

Кто «собственник» в этом случае? Тот, кто владеет? Или тот, кто распоряжается? Или собственность исчезает вообще? Не является ли это путем (или одним из возможных путей) решения проблемы собственности? В середине 70-х годов именно в этом, в распределении «атрибутов собственности» (правомочий) между различными субъектами, видели сторонники самоуправленческого социализма возможность решения проблемы собственности. Считая, что первоначальное право распоряжения людьми и орудиями труда при капитализме базируется на частном владении средствами производства, рабочее движение, как отмечает Э. Мэр, известный французский теоретик профсоюзного движения, долгое время выступало за коллективизацию частной собственности на средства производства. Но по мере развития промышленной демократии, до-

бавляет он, различие между правом собственности и правом на управление становилось все более очевидным. Нетрудно заметить, что «правом собственности» в данном случае Э. Мэр называет правомочие владения, а коллективизацией средств производства — обобществление владения, национализацию. Это типичная ошибка, не искорененная до сих пор.

Однако если б дело сводилось только к этой ошибке, оно вовсе не заслуживало бы упоминания. Но в заявлении Э. Мэра мы впервые находим свидетельство пока еще смутного осознания: что-то изменилось в собственности, причем изменения носят столь радикальный характер, что они уже осознаются трудящимися, которые начинают понимать: борьба за прежние цели практически ничего им не даст, как ничего не дала до сих пор. Э. Мэр пытался выразить это языком старой теории, в результате чего и возникла неясность. На языке современной теории эта мысль звучала бы так: в собственности на средства производства в индустриальную эпоху основное не владение, а распоряжение, причем в самом распоряжении все больше усиливается роль управления.

Резкое ослабление органичной связи между всеми правомочиями или между базовым и одним из вспомогательных правомочий, когда у каждого из них появляется свой субъект или даже свои субъекты, создает видимость расщепления собственности, иллюзию ее исчезновения. До тех пор, пока существует базовое правомочие, собственность уничтожить невозможно, потому что оно — лишь свидетельство сохранения зависимости человека от человека. В неравноправии правомочий находит отражение реальное неравноправие между людьми, а смена базового правомочия отражает замену одной формы зависимости человека от человека другой формой или переход от одной социально-экономической эпохи к другой.

Для того, чтобы собственность действительно исчезла (чтобы исчезли все формы зависимости человека от человека), необходимо, чтобы очеловеченный труд перестал находиться в какой-либо неравноправной зависимости от кого бы то ни было и от чего бы то ни было, или чтобы все стали равноправными совладельцами, сораспорядителями, сопользователями всего совокупного овеществленного и очеловеченного капитала. При этом не будет базового правомочия, ибо наступит подлинное равенство правомочий друг с другом.

Второй уровень изменений в правовых отношениях собственности — это изменения, происходящие в рамках каждого из правомочий. Владение, например, которое когда-то было синонимом обладания, уже давно перестало им быть — на это указывали еще К. Маркс и Ф. Энгельс. Утрата им базового положения привела к тому, что реальное содержание «владения» сузилось и продолжает сужаться. Выдвижение правомочия распоряжения в ранг базового привело к развитию в нем глубоких внутренних процессов и к выдвижению одного из его элементов в ранг *определяющего элемента*.

Если смена одного базового правомочия другим означает замену формы зависимости человека от человека (а не человека от формы собственности на средства производства), то смена определяющего элемента базового правомочия отражает *изменение степени зависимости* человека от человека в рамках одной формы зависимости или переход от *одного типа общества к другому* в рамках одной социально-экономической эпохи (рабовладение — феодализм; капитализм — социализм — ...).

Нет сомнений, любой актуальный анализ проблем собственности требует прежде всего детального исследования процессов, развивающихся в базовом правомочии. Но если ограничиться наблюдениями за тем, что происходит только в нем (и тем более — только в его определяющем элементе), то полного и целостного представления об эпохе получить не удастся. Новые, наиболее динамично развивающиеся процессы, которые будут определять характер завтрашнего общества, зарождаются либо на периферии определяющего элемента (базового правомочия в целом — при переходе от одной эпохи к другой), либо за его пределами. Поэтому актуальным исследованием отношений собственности следует считать не то, которое бежит по следам событий, едва поспевая за ними, а то, которое занимается анализом еще только зарождающихся явлений, в особенности тех, которые завтра обещают выйти на первый план в общественных отношениях.

Кроме того, при анализе проблем собственности следует учитывать следующие два обстоятельства. Во-первых, набор элементов, слагающих правомочие, не является данным раз и навсегда. Он варьируется от случая к случаю. Во-вторых, ни один из элементов понятия «собственность» нельзя считать специфически присущим какому-то определенному правомочию. Корни всех элементов, проникая в другие элементы и правомочия, пронизывают, переплетаясь, всю структуру собственности, что и обусловливает сложность идентификации новых процессов, зарождающихся в рамках собственности.

Наблюдение за изменениями в общественных отношениях (включая отношения собственности), анализ и обработку полученных данных осуществляет та особая категория лиц наемного труда, которую в нашем предельно равноправном и справедливом обществе полупрезрительно именуют «прослойкой», обслуживающей господствующий класс. Это интеллигенция. Все, что происходит с ним (и почему это происходит), общество узнает от нее. Интеллигенция готовит человека к осознанному восприятию новых социальных явлений. То общество, в котором интеллигенция поставлена в условия, исключающие возможность свободного творческого анализа реальных процессов, рано или поздно сталкивается с угрозой разрушительного социального взрыва или «революционной катастрофы». Силы регресса, силы стагнации, не заинтересованные в обновлении общества, стремятся нейтрализовать влияние интеллигенции на общественное мнение.

При нормальном, эволюционном развитии естественно-исторического процесса, когда речь не идет о ликвидации узурпаторских режимов, революционный взрыв является свидетельством абсолютной неподготовленности общества к наступлению новой эпохи, совершенно неожиданного столкновения общества с новыми явлениями. Социальный КПД революционной встряски, как и всякого взрыва, не только крайне низок — по некоторым показателям взрыв дает отрицательный результат, потому что он бьет правых и неправых. Революционный взрыв вовсе не уничтожает мифическое противоречие между уровнем развития производительных сил и уровнем развития производственных отношений. Миф об антагонистическом противоречии мог родиться только в голове человека, которому все хотелось решить одним ударом в узловую точку, то есть в голове не ученого-мыслителя, непредвзято исследующего окружающую реальность, а в голове политика, приверженца партии революционно-авангардного типа. Стоит ли вспоминать, что никакой социально-политический взрыв никогда и ни при каких условиях не может оказать существенного влияния на объективные факторы развития и в том числе на те отношения, в которые, помимо своей воли, люди вступают в процессе производства? Что не зависит от воли человека, то невозможно изменить законодательным актом. Но мне представляется ошибочной и точка зрения ряда современных советских исследователей, полагающих, что собственность в полном смысле общественной становится только тогда, когда все члены общества равноправно участвуют в реализации правомочий владения, распоряжения и пользования ею. Если бы это произошло, то базовое правомочие исчезло и вместе с ним исчезла бы собственность как таковая. Обобществление — процесс внеформационный, но скорость обобществления распоряжения (обобществления отношений собственности) с выдвижением этого правомочия в ранг базового резко возрастает.

Определяющим элементом распоряжения долгое время служило право *распределения* произведенного продукта на потребляемую и накопляемую часть и распределение накопляемой части ,между различными факторами производственного процесса (создание новых рабочих мест, обновление технологии, переподготовка персонала и так далее). «Власть не делится»,— заявляли владельцы капитала, а представители политических движений, выступающих в защиту интересов наемных работников, с горечью констатировали: «где собственность, там и власть»,— что фактически вело к ошибочному отождествлению владения и собственности. В производстве безраздельно господствовал чисто капиталистический принцип присвоения. До тех пор, пока определяющим элементом базового правомочия оставалось распределение, любая попытка декретного «обобществления» (перехода к всеобщему участию в распределении, в потреблении накопленного) неизбежно приводила к уравниловке, то есть к исчезновению богатых при сохранении бедных.

По мере развития производительных сил и более полного удовлетворения материальных потребностей трудовых слоев населения наемные работники все чаще и активнее выдвигают новые, так называемые «качественные» или управленческие требования, а по мере выдвижения этих новых требований распределение все заметнее утрачивает роль определяющего элемента базового правомочия. Им постепенно и все заметнее становится *оперативное управление*, то есть управление процессом эксплуатации и накопления капитала (процессом производства, включая сюда и производство продукта научного труда). Заявление чешского профессора З. Габа — «собственность без управления не имеет смысла» — сейчас уже воспринимается как норма, а деление труда на управленческий (творческий, неусеченный) и исполнительский, шаблонный,— как основное проявление неравенства и социальной несправедливости, порождаемых собственностью на капитал: творческий труд все еще остается привилегией предпринимателя и в какой-то степени — менеджеров (управленцев).

Но вызов был брошен, и предпринимательские круги его приняли, быстро поняв, что политика «обогащения функций», «гуманизации труда», участия персонала в прибылях и в управлении дает значительное снижение издержек производства за счет экономии сырья и энергии, повышения дисциплины труда, сокращения прогулов, снижения брака. Впервые в истории человечества в процессе общественного разделения труда, углубление которого, по К. Марксу, привело когда-то к зарождению классов и

классового неравенства, наметилась тенденция к слиянию исполнительского и управленческого труда. Управление как определяющий элемент базового правомочия, в силу естественных потребностей развития, стало приобретать общественный (социальный) характер — это и есть процесс обобществления собственности, развития в обществе социалистических начал. И ныне, как пишет Д. Мотэ, французский историк рабочего движения, «пуристам не остается ничего другого, как гадать, является ли самоуправление желанным, потому что оно рационально (марксистский тезис), или оно рационально потому, что желанно (тезис американских социопсихологов, например, Герцберга или Аргириса)». Капиталистические производственные отношения и основанное на них буржуазное право отступают перед «небуржуазными» или надбуржуазными отношениями и правом, считает С. Перегудов. Но что же, если не буржуазное право, лежит в основе самих капиталистических производственных отношений? Нормальное, не деформированное надуманным социально-экономическими экспериментами, государство индустриального общества потому и становится правовым, что право, договорно-правовые отношения лежат в основе всех общественных (включая производственные) отношений этой социально-экономической формации, сам переход к которой означал переход от личных форм зависимости человека от человека к договорно-правовым.

По мере развития производительных сил индивидуальная производственная функция капиталиста (функция организации производства и контроля над ним) все заметнее перерастает в общественную функцию административно-технического персонала коллектива наемных работников. Во всех странах с развитым товарным хозяйством процесс управления эксплуатацией капитала и его накоплением постепенно приобретает, начиная с конца 50-х годов, все более общественный характер. Переход к социализму (переход к общественному управлению) происходит на наших глазах. Он начался, как и предсказывал К. Маркс, практически одновременно во всех промышленно развитых регионах.

Говоря о перерастании капитализма в социализм, я имею в виду постепенное вовлечение всего населения в ответственность за экономическое и политическое развитие страны, все более широкое участие вчерашних «управляемых» (исполнителей) в экономической и политической власти. Но что имеют в виду те авторы, которые поддерживают тезис о якобы происходящей на наших глазах конвергенции между капитализмом и социализмом? Возможно ли одновременное расширение общественного характера распоряжения (движение к социализму) и его сужение (движение к капитализму), а если и возможно, то желательно ли оно? Совершенно очевидно, что рассуждения о конвергенции между капитализмом и социализмом основаны на ошибочном представлении о том, что где-то будто бы уже «построено» социалистическое общество, тогда как в действительности его нет пока еще нигде, поскольку сочетание «диктатуры пролетариата» и государственной собственности на средства производства даже в страшном сне не следует принимать ни за социализм, ни за его основы, ни за основные условия перехода к социализму.

Подлинное преобразование собственности происходит в нашу эпоху через развитие самоуправленческих начал, ибо, как отмечает Л. И. Абалкин, только через реальное включение работника и трудового коллектива в процесс общественного присвоения можно сделать собственность подлинно социалистической.

Мне представляется, что среди сторонников конвергенции нет полного единства взглядов. Среди них немало и тех, кто склонен сводить весь процесс «сближения между капитализмом и социализмом» к денационализации «социалистической», «общественной» (государственной) собственности на средства производства и возвращению к частной собственности, олицетворяющей в их глазах экономическую основу динамично развивающегося капиталистического общества. Но с хозяйственно-экономической точки зрения вернуться к частной собственности еще не значит «вернуться в капитализм». Это значит вернуться к той стадии экономического развития, при которой именно частная собственность обеспечивает наивысшую эффективность эксплуатации национальной экономики. В наших конкретных условиях возвращение к частной собственности означает включение, наконец, в естественно-исторический процесс развития, ведущий в конечном счете к обобществлению отношений собственности. Определяющим экономическим признаком грядущего социалистического общества или общественного самоуправления следует считать необычно высокую и все возрастающую долю очеловеченного труда в совокупном капитале (возрастание расходов на подготовку и переподготовку работников, способных с равным успехом заниматься и управленческим и исполнительским трудом).

Постепенное выдвижение управления на роль определяющего элемента базового правомочия по своим социально-политическим последствиям сравнимо, пожалуй, с изменением (потеплением или похолоданием) климата земли. Именно здесь, в сфере управления (в плане причастно-

сти к управлению), а не в классовой борьбе с «владением», будет определяться дальнейшая судьба рабочего класса как класса, потому что в XXI веке на первое место по важности выйдут, как ожидается, компетенция и знания, то «серое вещество», от которого завтра будет зависеть мощь каждой страны.

И, наконец, третий уровень (микроуровень, хотя он далеко не самый низкий) охватывает изменения, не выходящие за рамки одного из элементов одного из правомочий, например, того же управления — определяющего элемента базового правомочия (распоряжения) эпохи перехода к социализму. Управление включает в себя пять субэлементов: постановка проблем, выработка решений, принятие решений, исполнение решений и контроль за исполнением решений.

Чем активнее развивается процесс демократизации всей общественной жизни, включая общественное производство, тем заметнее основной вес в процессе управления перемещается от третьего субэлемента (принятие решений, которое долгое время и считалось собственно «властью»), ко второму — к выработке решений: чем шире состав представительного органа, тем в бóльшую зависимость от технократов, готовящих проекты решений, попадают народные избранники. На данном этапе общественного развития «выработка решений» становится *ведущим субэлементом* определяющего элемента (управления) базового правомочия (распоряжения).

Расслоение функций собственности в развитом товарном производстве между разными экономическими агентами на этом не заканчивается. Дробность отношений собственности, вероятно, столь же бесконечна, как бесконечна дробность структуры атома. На данном этапе изучения проблемы собственности мне представляется нецелесообразным углубляться в мелкие детали, условно приняв микроуровень за тот котел, в котором начинают вариться отношения собственности завтрашнего дня. Поэтому, несмотря на кажущуюся незначительность происходящих здесь изменений, он требует самого пристального к себе внимания. И все же я не буду останавливаться на нем подробно, как не стремился к полноте анализа изменений, происходящих на макро- в среднем уровнях: любая попытка дать полное описание структуры собственности и их эволюции в ходе исторического развития — предприятие, непосильное для одного человека. Более того, задача полного, всеохватывающего описания отношений собственности становится решаемой лишь в том случае, если предварительно будет создана хотя бы самая примитивная скелетная схема структуры этих отношений, поясняющая иерархическую взаимозависимость между ее элементами. Нужно создать нечто подобное периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, которая позволяет судить о свойствах любого химического элемента по его принадлежности к определенному периоду определенной группы элементов. Хотя социально-экономические явления — не химические элементы с их устойчивыми свойствами, но все же следует признать, что практическая значимость каждого из них может быть определена по тому месту, которое это явление занимает в каждый исторический момент в ведущем субэлементе (или вне его), в определяющем элементе (или за его пределами) базового или вспомогательного правомочия.

Я пытался сделать первый шаг в этом направлении. Детальная разработка динамичной (изменяющейся во времени) структуры отношений собственности — одна из самых захватывающих задач, которые когда-либо решало обществоведение, потому что отношения собственности представляют собой своеобразный фильтр, делающий видимым развитие во времени и пространстве всех социально-экономических явлений, назревающих и развивающихся в обществе. Этот фундаментальный труд может быть осуществлен лишь совместными усилиями широкого творческого коллектива исследователей, включающего в себя экономистов, правоведов, историков и в их числе — специалистов по всеобщей истории, истории экономических учений, истории права, истории культуры...

Нам давно и трагически не хватает стремления увидеть себя во времени, увидеть наше время глазами современного, а не средневекового человека, без чего невозможно понять неповторимое своеобразие происходящих с нами — в нас и вокруг нас — совсем не стандартных изменений, хотя эти изменения и являются в чем-то общими для всех народов, стоящих на одном примерно уровне развития.

Человек включается в систему эксплуатации капитала (в систему производственных отношений, в систему отношений собственности) не потому, что он не является или, напротив, является владельцем средств производства, а потому, что он представляет собой некий производственный, научный, культурный потенциал, стремящийся реализовать себя как творческую индивидуальность (и как правило, лишенный этой возможности). Наличие у него средств производства не исключает человека из системы эксплуатации капитала, оно включает его в эту систему как более сильный потенциал, который в силу этого доминирует в сообщности потенциалов, объединившихся для совместной творческой деятельности, что позволяет ему в более полной мере

реализовать свои творческие возможности.

Многократно подчеркивая, что человек (работпик) — это индивид (личность), К. Маркс, в полном соответствив с представлениями своего времени, определял место человека в производственных отношениях на основе только одного, основного, по его мнению, признака: владение или невладение средствами производства.

Знамением нашего времени, эпохи всеобщего, постепенного перехода к социализму, является то, что включение человека в общественные отношения не как личности, а как определенного потенциала, начинает уже восприниматься как безнравственное положение. Отличительной чертой будущего, социалистического общества следует признать человечность (гуманизм).

Не являясь обществом, в котором средства производства обязательно иаходятся в коллективном владении, социализм является обществом, в котором коллективиые формы распоряжения средствами производства господствуют, вне зависимости от формы владения. Социализм — это начало подлинной ликвидации неравенства, но не на основе всеобщего отлучения от владения (всеобщей пролетаризации), а на основе всеобщего приобщения к распоряжению или экономической власти, не на основе ликвидации богатых и превращения всех в равноправно бедных, а на основе повышения благосостояния прежде всего наиболее обездоленных. Социализм — это раскрепощение человека не для праздной жизни, а для равноправного творческого участия во всеобщем предпринимательстве не ради наживы, а в силу проявления творческой сущности человека, освобожденного от тягостной борьбы за выживание. Мечта о лучшей жизни как праздной жизни — это идеал человека, задавленного подневольным трудом. Идеалом свободного человека является возможность подлинно свободного, творческого труда (подобного труду предпринимателя при капитализме, но без иегативных сторон, свойственных капиталистическому предпринимательству). Это достигается только путем приобщения к распоряжению, только через постепенное и все расширяющееся распространение низших форм подготовки к участию в разделенной ответственности, самоуправлении. Это не может «вводиться» правовым (законодательным) актом, потому что в правовом государстве правовой акт — это законодательно выраженная мера справедливости, соответствующая реальному соотношению сил в обществе, и не более.

Человечество медленно и словно неохотно стряхивает с себя очарование «лингвистической революции», провозгласившей социализмом нечто совсем не похожее на него. Никакие механистические комбинации политических надстроек и «базисов» или «способов производства» не дадут нам четкого представления о типе общества, если они не раскрывают характер зависимости человека от человека в области отношений собственности и властных отношений.

В аутентичном (исконном, не затронутом тлетворным влиянием политических расчетов) марксизме подлинная социальная революции ищет ответа на один-единственный вопрос — о путях и методах преобразования отношений собственности или экономического освобождения рабочего класса. *В политическом* учении Маркса вопрос о средствах достижения поставленной цели приобретает самостоятельное звучание. В свою очередь, Ленин рассматривает уже два совершенно обособленных вопроса: 1) о завоевании государственно-политической власти (в ленинизме он становится основным, определяющим) и 2) об обобществлении собственности. В современном марксизме выделяются три отдельных вопроса: 1) о власти; 2) о собственности; 3) о путях и средствах решения этих вопросов (эволюционный или революционный). Незрелость политического движения на начальном этапе его развития проявилась прежде всего в том, что вместо постепенной подготовки населения к участию в исполнении власти, то есть решения основной своей задачи, оно направило свои усилия на завоевание власти, оттеснив при этом в социально-политической жизни гражданское общество на задний план. Догматизация «основного вопроса» коммунистического движения — об экономическом освобождении рабочего класса — затронула не только проблему собственности. В равной степени это относится и к вопросу о революции, о власти, о роли политических партий. Без рассмотрения, хотя бы краткого, этих аспектов любой разговор об истоках наших заблуждений оказался бы незавершенным: это не надстроечный «довесок» к основному вопросу, это неотъемлемая часть целого, именуемого марксизмом.

РЕВОЛЮЦИЯ, ВЛАСТЬ, ПАРТИЯ

Вопрос о том, что дала нам Октябрьская революция, дышит иждивенческим настроением: ни одна революция не может дать народу больше того, что он способен от нее взять. Вопрос о том, что мы сумели взять от этой революции и почему мы не сумели от нее взять так много, как она обещала нам дать,— это вопрос не к нам, а к той руководящей верхушке «политического авангарда» или партии авангардно-революционного типа, которая несет полную ответственность за выбор момента завоевания или захвата власти и определение ближайших, промежуточных и конечных целей революции.

В нашем догматически затуманенном сознании революция почти неизбежно ассоциируется с насильственным захватом власти, и толкование ее как «способа перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической формации к более прогрессивной...» (Советский энциклопедический словарь, с. 1121) уже не пробуждает в нас недоуменных вопросов: «а почему только „*способ* перехода“? Почему этот „способ“ пригоден только для перехода от одной формации к другой, а при переходе от одного типа общества к другому, выходит, можно обойтись и без „революции“? И что, кстати, следует понимать под „более прогрессивной формацией“»?

Мне представляется, что революция — это значительно более широкое социальное явление, чем «способ перехода». Это, скорее, радикальный разрыв с прошлым, уже не обеспечивающим оптимального развития общества. При этом ни первое, официально признанное определение, ни то, что предложено мной, не позволяют нам характеризовать октябрьские события 1917 года в России как «революцию» или «начало социальной революции». «Вопрос о власти» — в том виде, в каком он мыслится В. И. Лениным — ни при каких обстоятельствах не может вырасти до «основного вопроса» революции: вопрос о захвате власти — это основной вопрос государственного переворота, вопрос о завоевании власти (или, точнее, завоевании права на исполнение власти) — это основной вопрос текущей политической борьбы. Бесспорным в ленинской трактовке революции является лишь то, что вопрос о власти был действительно одним из основных вопросов при переходе от рабовладельческо-феодальной эпохи к социально-экономической эпохе современного общества. Маркс и Энгельс наблюдали этот процесс в Европе, но в своих исследованиях социальных переворотов почти не обратили внимания на те случаи мирного, безболезненного перехода, которые свидетельствовали о господстве разума, а не страстей. Мирный переход фактически зачеркивал или сводил на нет ведущую роль политического авангарда, который, понимая это, представил нам как норму то, что следует, скорее, считать анормальным в развитии общества, ибо «по принципу своему,— как отмечает Ф. Энгельс,— коммунизм стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом», а ожесточение пролетариата «против своих поработителей» — характерный признак всего лишь «начинающегося рабочего движения».

Приобретя в конце феодального периода функцию распоряжения условиями труда (распоряжения средствами производства), капитал превратился в экономическую власть, которая разрушила мешавшую ей систему феодальных отношений. Феодальная монопольная власть — господство или право на решение проблем, «не консультируясь ни с кем», о разделении которой мечтали Дж. Локк и Ш. Л. Монтескье, перестала существовать. Она распалась на законодательную, носителем которой (сувереном) был объявлен народ, подчиненную ей исполнительную власть, конституционное право на формирование которой получала (на определенный срок) политическая группировка, набравшая на выборах в парламент наибольшее количество голосов, и относительно зависящую только от законодательной власти юридическую власть. Существуя наряду с ними, экономическая власть сохранила определенную независимость от законодательной и исполнительной власти.

На смену власти-господства пришла власть полномочий, которая, как и система отношений в сфере экономики, признавала своей основой «закон или договор». Народ-суверен, в массе своей неграмотный и политически неопытный, «делегировал» свои властные полномочия тем представителям политического общества [1], которые проявляли готовность и способность представлять его интересы в законодательном органе. Народные избранники, депутаты, носители законодательной власти оказывались в силу этого в зависимости от воли избирателей и ответственными перед ними. Опиравшаяся на неустойчивое, подвижное равновесие сил в обществе, новая власть обладала несравнимо более высокой способностью к эволюции, чем власть-господство. Революция свершилась, она разрушила монопольную власть-господство, пробудила к активной жизни гражданское [2] и политическое общество и создала условия для динамичной эволюции этой власти. Все последующие (то есть следующие за разрушением монопольной власти-господства) политические конфликты на почве борьбы за власть либо контрреволюционны (если они направлены на восстановление монопольной власти-господства), либо революционны в той мере, в какой они способствуют реализации основной тенденции развития, то есть активизации

[1] В данном случае под политическим обществом понимается не вся система политических институтов, а та узкая прослойка политически активных граждан, которая принимала участие в формировании системы органов власти нового общества с первых дней его существования.

[2] Гражданское общество, как характеризует его В. Л. Шейнис, представляет собой «систему самодеятельных и независимых общественных институтов и инициатив».

гражданского общества и создания условий, облегчающих его постепенное включение в исполнение власти.

Во всем мире политические партии возникли на том этапе буржуазных революций, когда с разрушением старого было уже покончено, когда на повестку дня вставал вопрос о создании новой политической системы, то есть на этапе позитивного развития революции. Россия составляет исключение: здесь политическая партия, выступавшая от имени рабочего класса, была создана до первой буржуазной революции и видела свою задачу в сломе старой государственной машины, в ее разрушении, ее ликвидации насильственным путем, ибо революция, подчеркивал В. И. Ленин, «есть такое преобразование, которое ломает старое в самом основном и коренном, а не переделывает его осторожно, медленно, стараясь ломать как можно меньше».

Столь своеобразное вйдение революции, которое резко отличалось от подхода к этому вопросу остальных отрядов мировой социал-демократии начала XX века, объяснялось не только (и даже не столько) отсталостью России, сколько своеобразием понимания большевиками своего места в обществе.

Предшественники современных политических партий — парижские политические клубы — возникли в годы Великой французской революции и действовали открыто, являясь важной составной частью политической системы нового общества. Но в годы резкого обострения классовых конфликтов над Европой пронеслось поветрие запретов: запрещались все ассоциации, выражающие групповые интересы, включая политические организации и профсоюзы. Страх перед вспышками насилия вынуждал к крайним мерам.

Отмена запрета на ассоциативную жизнь вновь привела к быстрому расцвету клубов, на основе которых стали создаваться политические партии, заимствовавшие у своих предшественников, монтаньяров (у «горы») манеру излагать свои идеи от имени народа. Вновь утратив бунтарско-заговорщицкий характер, они формировались теперь уже как партии парламентского типа, в задачу которых входили борьба за право исполнения власти, участие в исполнении власти и неторопливая, постепенная *подготовка населения к исполнению власти* — важнейшая историческая миссия политических партий. Жесткая конкурентная борьба за избирателя вынуждала их тщательно продумывать свои предвыборные обещания, вырабатывала у них чувство ответственности за каждое свое слово и приучала относиться к составлению программы действий как к первому, исходному акту процесса управления. В нем участвовали все партии, как те, кому предстояло в случае победы на выборах управлять страной в течение какого-то времени, так и те, которые знали, что на данный момент у них нет шансов войти в правящую коалицию.

Как отмечал Иван Ильин, один из крупнейших русских философов XX века, «партия может и должна быть своего рода политическим чистилищем: она очищает волю своих членов от противогосударственного своекорыстия, отрывая их близорукий взгляд от непосредственных эгоистических задач и заставляя их отыскивать духовные задания родины и государства».

Отношение И. Ильина, сторонника «культурной борьбы» с большевиками, приговоренного в 1922 году к смертной казни, замененной затем изгнанием за границу, во многом тонко согласуется со взглядами на партию Антонио Грамши, одного из самых нестандартно мыслящих марксистов второго-третьего десятилетий нашего века. Основной задачей «политического авангарда» А. Грамши считал проведение «майэвтической» политики, или политики вспомоществования трудящимся классам в их постепенном самоочищении от веками въевшегося рабства, в их подготовке к участию в исполнении власти. Но, думается, и эта задача далеко не всегда и не для всех партий должна стать в какой-то момент главной. Это зависит от многих факторов. Если ни одна из прогрессивных партий не будет забывать о ее действительно все определяющей и все предопределяющей важности, то она может никогда не перерасти в проблему, требующую особого внимания.

Политические партии, по А. Грамши, являются «самым удобным способом для выработки руководителей и навыков руководства». Он указывает также, что в их подходе к этому важному вопросу быстро выделились два диаметрально противоположных направления: в соответствии с первым, подготовка руководителей преследует цель закрепить навечно деление членов общества на управляющих и управляемых; представители второго направления исходят из того, что подготовка руководителей должна способствовать созданию таких условий в обществе, при которых со временем исчезнет деление на управляющих и управляемых. Это прогрессивно-майэвтическое, самоуправленческое или социалистическое направление.

Но характер партии зависит, однако, не от этого: на отношение к майэвтике сказываются общие целевые установки партии, ее принадлежность к той или иной политической культуре, определяющей как вйдение ею социализма и путей перехода к социализму (два разных пути к социализму ведут к двум разным «социализмам»), так и очередность прохождения промежуточных этапов (очередность решения промежуточных задач), выбор используемых при этом средств и методов и уточнение основных задействованных сил, выступающих либо в качестве исполнителей чужой воли, либо в качестве подлинных творцов нового.

Первая или «старая», якобинская, «централизаторская», «этатистская» политическая культура, признающая только путь быстрого, внезапного, кровавого в случае необходимости («типа 1917 года»), перехода к социализму, ориентируется на борьбу против сильного буржуазного государства и выдвигает на первый план всесильную партию. Во Франции носителем этой этатистской идеологии были сторонники Жюля Геда, в Германии — социал-демократы, в России — большевики. Некоторые западноевропейские историки рабочего движения считают, что принципиальные основы *старой* политической культуры наиболее четко изложены В. И. Лениным в двадцати одном условии приема в Коминтерн, которые характеризуются ими как официальная доктрина коммунистического движения или современный марксизм.

В качестве основной своей задачи сторонники старой политической культуры выдвигают борьбу за власть, не дожидаясь того момента, когда народные массы будут готовы к участию в ее исполнении. На смену свергнутого меньшинства к рычагам управления страной приходит новое меньшинство, *их* меньшинство, которое объявляет свой интерес общим интересом нации и претворяет в жизнь старый якобинский лозунг: «Никакой свободы для противников свободы». Демократическое заявление Р. Люксембург, утверждающее, что «свобода — это всегда свобода для инакомыслящих» или гарантия волеизъявления для тех, кто в данный момент остается в меньшинстве, отвергнутое революционно настроенными сторонниками этатистского пути к социализму, стало одним из руководящих принципов приверженцев новой или самоуправленческой культуры, к числу ведущих теоретиков которой относят Фурье, Прудона, Жореса, Вандервельде, О. Бауэра.

Новая политическая культура, находящаяся еще в стадии становления (она потому и «новая», что постоянно обновляется), как и старая политическая культура, пока не знает прямого ответа на вопрос, что такое социализм. Но она уже наметила пути поисков ответа на него, объединив в единый блок три, казалось бы, не зависящие одна от другой проблемы: власть и пути решения вопроса о власти; собственность и пути ее преобразования; государство и вопрос о его отмирании. Любая попытка поочередного решения этих проблем (или решения их как проблем, не зависящих друг от друга) равносильна отождествлению завоевания власти и революционного преобразования общества. Наиболее четко эта ошибка, пожалуй, прозвучала в выводах XX съезда КПСС о двух путях, мирном и немирном, перехода к социализму. Есть мирный, парламентский или конституционный путь завоевания власти и есть путь насильственного захвата власти, но двух путей исполнения власти (преобразования общества), мирного и немирного насильственного, не существует. Известны случаи использования демократических путей для установления недемократических режимов, возможен и насильственный путь перехода к демократическому правлению, но случаев недемократического развития демократии история не знает. Не знает она и недемократических путей перехода к социализму, потому что социализм — это путь к социально-политическому, культурному и так далее равенству не через насильственное уничтожение неравенства (которое в этом случае неизбежно возрождается, в том или ином виде), а через предоставление каждому члену общества реальных, а не только законодательно провозглашенных, равных возможностей творческого использования всех своих способностей.

Этого-то, к сожалению, и не поняли большевики, которые считали социалистов, выступавших против насильственных методов борьбы за новую жизнь, «социал-пацифистами», «лицемерами», «буржуазными фразерами» (В. И. Ленин. Доклад о революции 1905 года).

Партия «не шайка, не банда, не клика» постольку, поскольку она не ограничивает свои стремления захватом власти в государстве, а имеет своим намерением создание государственной власти, считал Иван Ильин, отмечая, что в силу этого политическая партия не может быть классовой по своей программе, она должна быть внеклассовой, «ибо государственная власть есть нечто единое для всех и общее всем».

Партия большевиков, напротив, гордилась тем, что она — чисто пролетарская партия. Движимая непримиримой ненавистью к буржуазии и ее власти, буржуазной идеологии и буржуазному обществу, в котором она не видела для себя места, по духу своему и методам борьбы она никогда не была партией парламентского типа. Ни до, ни после февральской революции, ни тогда, когда она находилась на нелегальном положении, ни тогда, когда ее представители входили в Государственную думу. Она никогда не чувствовала себя *одной* из партий современного ей «старого» общества. Она была *вне его*, она рассчитывала стать ведущей, решающей силой нового общества и стала ею, завоевав его и подчинив себе. Часто

повторяя, что жить в обществе и быть независимым от него невозможно, мы забываем уточнить — свободной от общества чувствует себя лишь та сила, которая господствует в нем и над ним. «Партия» (партия большевиков) и гражданское общество бывшей Российской империи поразному прожили события 1917 года. Для большевиков революция была и осталась «способом перехода», тем особым, иемирным способом решения проблем перехода от старого к новому, через горнило которого не дай нам бог пройти еще раз. Для гражданского общества России это был не способ перехода, а радикальный разрыв с устаревшим прошлым. Для большевиков в 1917 году были две революции, для русского общества — одна единая буржуазная революция, два этапа которой, февральский и октябрьский, отличались один от другого действительно *способом решения* одних и тех же проблем, а именно — вопроса о власти (о разделении властей), вопроса о собственности (о форме зависимости человека от человека) и, в какой-то мере, вопроса о государстве, поскольку он является производным двух первых вопросов.

В сфере производственных отношений — во всем мире — переход от старой социально-экономической эпохи к новой характеризовался вытеснением внеэкономического административного принуждения экономическим принуждением. Экономическая сила — по крайней мере на первом этапе существования власти полномочий, когда *господство* меньшинства заменялось постепенно ослабевающим *командованием* правящего меньшинства,— становилась политически доминирующей силой в обществе. Прогрессивность (демократизм) новой власти определялась не передачей ее в руки представителей наиболее обездоленных («демократических») слоев населения, в переходом ее, в результате социально-политической борьбы (конкуренции) к тем силам, которые были способны наиболее эффективно эксплуатировать национальный экономический потенциал в интересах всего общества, постепенно, шаг за шагом, расширяя круг лиц, участвующих в управлении экономикой и государством.

На первом этапе развития власти полномочий все политические партии, стремясь заручиться поддержкой избирателей, всячески поощряли политическую активность населения, но при этом постоянно подчеркивали свою руководящую и направляющую роль в обществе. Так продолжалось до тех пор, пока население той или иной страны не начинало все ощутимее сознавать способность защищать свои интересы, не прибегая к услугам политических сил, которые нередко злоупотребляли данными им полномочиями.

По некоторым признакам (майско-июньские события 1968 года во Франции, «пражская весна» 1968 года в Чехословакии, «жаркая осень» 1969 года в Италии) в Западной Европе это произошло на рубеже 60—70-х годов, когда, впервые за многовековую историю человечества, тенденция к углублению разделения труда столкнулась со стойким, возрастающим стремлением управляемых к участию в управленческом труде на всех уровнях национальной жизни, когда управляемые перестали признавать право власть предержащих на командование собой, когда они заявили в полный голос, что *власть — это ответственность управляющих перед управляемыми.* С этого момента начался новый этап (зародилась и постепенно набирает силу новая тенденция) в развитии власти полномочий, которая, вполне вероятно, будет, шаг за шагом, перерастать в разделенную ответственность, подлинное самоуправление, социализм.

Если, однако, при смене типа общества (или эпохи) процесс овладения властью принимает насильственный характер, то, как правило, он начинается с установления контроля непосредственно над исполнительной властью, что неизбежно и почти немедленно приводит к ликвидации независимости законодательной и юридической власти. Это восстановление монопольной власти-господства (власти докапиталистического периода), это регресс, который в октябре 1917 года в России наблюдался в наиболее полном, в наиболее драматическом варианте — национализация поставила под контроль партийно-государственных (исполнительных) органов и экономическую власть. Это было нечто необъяснимое с точки зрения здравого смысла. Неподготовленность народа к исполнению власти привела к захвату власти политическим авангардом, который, обещая привести народ к светлому будущему, требовал от него лишь послушания и терпения.

Предвидел ли это основатель первого «социалистического» государства? Политический деятель обязан тщательно взвешивать последствия каждого своего шага, потому что речь идет не о его личной судьбе, а о судьбе идущих за ним миллионов, которые не могут жить по правилу «сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уж видно будет» (В. И. Ленин). Кому будет видно? Поражение революции для рядовых ее участников подобно смерти, ибо возможность эмиграции в Париж или Женеву для них морально неприемлема, экономически недоступна, практически нереальна — не может эмигрировать вся страна, это абсурд, и в шалаше переждать политическую непогоду вся страна не может. К тому же, как и доказала вскоре жизнь, захват власти — это еще не победа. Мы боимся говорить об этом — престиж вождя и вождизма почему-то оказался для нас важнее судеб нескольких поколений сограждан. Вождь был уверен в победе, и мы послушно последовали за ним, даже не догадываясь о том, что вождизм — это модификация сказки о «добром царе», замена сословной иерархии иерархией политической. «Вождизм — заболевание психики»,— отмечал М. Горький. Если под «заболеванием психики» понимать неизбежное следствие презрительного отношения к собственному социальному творчеству масс как к «стихийности», то с этим трудно не согласиться. Вождизм — это крайнее проявление этатистской идеологии, развивающейся на основе того «культа учителей», которое Л. Козловский, русский анархо-синдикалист начала века, считал характерной чертой социал-демократии и видел в нем «последний вид рабства», «отказ от своей независимости, от духовной свободы», что приводило, по его мнению, к тому, что «человек... перестает быть человеком, то есть сознательной, самостоятельно мыслящей личностью».

Восстановление монопольной власти-господства в исторически новых условиях не равносильно простому возврату к тому соотношению сил в обществе, которое существовало до ее первичного разрушения, когда могущество политической власти на всей подвластной ей территории являлось одним из важнейших, решающих факторов развития экономики. Регрессивный политический переворот происходит в совершенно иных условиях: теперь могущество и прочность политической власти пропорциональны жизнеспособности ее экономики. Если к моменту восстановления монопольной власти-господства политическое и гражданское общество успели получить заметное развитие, то полное подавление их независимости оказывается невозможным и «революция снизу» более или менее быстро ликвидирует власть-господство (вспомним, хотя бы, развитие событий в Чили на протяжении семнадцати последних лет). В противном случае процесс деградации общества продолжается до тех пор, пока безысходность ситуации не станет очевидной для тех представителей господствующего слоя, которые неизбежному взрыву снизу предпочитают половинчатую, растянутую во времени «революцию сверху». При этом, независимо от обстоятельств, «революция сверху», направленная на раскрепощение гражданского общества, всегда предпочтительнее взрывной насильственной «революции снизу» (броска в неизвестность), в ходе которой преследуемая цель нередко достигается ценой гибели лучших представителей нации. Но не следует забывать и о том, что без поддержки снизу революция сверху заранее знает

свои пределы. Необычная стойкость монопольной власти в нашей стране объясняется почти мгновенным ее восстановлением. Слишком кратким был период подлинно демократического развития России после Февральской революции, в силу чего ни гражданское общество, ни экономическая власть не успели получить ощутимого развития. Очевидно, монопольная власть сохраняет свое господство тем дольше, чем полнее ей удается подавить силы прогресса (включая экономический прогресс). Но чем дольше эта власть сохраняет свое господство, тем разрушительнее ее воздействие на весь процесс общественного развития. Идея радикального воздействия надстройки на развитие производительных сил и производственных отношений не получила подтверждения на практике. От поспешного захвата власти социализм не стал ближе, а диктатура пролетариата, насилие, вопреки утверждениям Ф. Энгельса, не проявили себя как «тоже экономическая сила».

Захват власти и превращение рабочего класса в класс господствующий в обществе представлялись большевикам (и в этом они строго следовали Марксу) наиболее простым и легким путем к новой жизни. Но господство в обществе одного класса логически требовало не только господства в господствующем классе одной партии, но и господства в партии и государстве одного человека. В нашей стране этот третий, завершающий этап формирования партии тоталитарного типа приходится на самое начало 20-х годов.

Не искушенный в политической игре и потому послушный в руках «политического авангарда», российский рабочий класс сыграл роковую роль в собственной судьбе. Уничтожив буржуазию, а с ней, как ему сказали, и частную собственность на средства производства, он будто бы подготовил почву для ликвидации угнетения и эксплуатации. В действительности, он создал тем самым условия для перехода политической и экономической власти в руки «своего» политического авангарда, который не обладал ни опытом ведения хозяйства, ни требуемой для этого компетенцией. Протест управляемых против некомпетентности управляющих был объявлен контрреволюционным, равно как и стремление рабочего класса сохранить себя как класс наемных работников, противостоящих в социальном плане работодателю. Утратив право на протест, рабочий класс все больше превращался в классоподобное образование, члены которого не сознают ни общности своих интересов, ни возможности и необходимости борьбы за свои права. Эта аморфная и властепослушная масса, абсолютно не способная на протест против чего-либо, была у нас объявлена правящим и господствующим классом. Мы превратились в обще-

ство, не похожее ни на что, что было бы хоть на что-то похоже. Мы превратились в сознательно деклассированное общество.

Нам долгие годы внушали мысль, что все революционные выступления рабочего класса в дооктябрьский период, как в нашей стране, так и за ее пределами, терпели поражение потому, что у пролетариата еще не было своей политической партии, вооруженной научной теорией. Так насаждался культ партии, культ партийных вождей, культ господства одной группы лиц наемного труда над другими, над обществом. Но исторический опыт доказывает — пока народ не готов к исполнению власти, управлять страной и экономикой будет тот, кто способен обеспечить более эффективную эксплуатацию всего национального потенциала (экономического, научного и так далее). Наихудшим вариантом при этом является захват власти «партией рабочего класса», не имеющей опыта экономической деятельности и в силу этого некомпетентной во многих вопросах. Став управленцем, она тонет в повседневных заботах и совершенно забывает о своем историческом предназначении — подготовить народные массы к исполнению власти и отмереть.

Социализм и господство в обществе одной социальной группы над остальными — совершенно несовместимые вещи. Социализм — это равенство и сотрудничество. Но, признав идею социализма, мы совершенно не занимались научной разработкой проблем этого общества, наивно поверив, что все уже сказано, все уже разработано К. Марксом и В. И. Лениным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. КОНЕЦ ВЕКА — НАЧАЛО КОНЦА КАПИТАЛИЗМА?

Трагедия догматического марксизма, к осознанию которой как крупнейшей идеологической катастрофы конца XX века мы еще только подходим, заключается в том, что все проблемы нового, сверхнового и гипернового в обществе это учение предлагает решать, опираясь на представления и понятия полуфеодального общества. Догматический марксизм, окунувший нас с головой в утопические грезы несказанно прекрасного будущего, которое наступит после обязательного выполнения ряда изложенных им условий, не позволил нам заметить вовремя и вовремя теоретически подготовиться к переходу индустриального общества к новой фазе развития. При этом меньший идеологический урон понесли те политические и профсоюзные организации, чьи доктрины не носили системно-законченного характера. Нашей эпохе соответствует иная, антиэтатистская, самоуправленческая концепция социализма, в основу которой положена спокойная, глубокая вера в возможность и желательность недопущения такого развития конфликтов, постоянно назревающих в обществе (в том числе и в правовом государстве), при котором они могли бы принять взрывоопасный характер — от этого страдает в первую очередь гражданское общество. Сторонники концепции самоуправления не относят себя к числу сил, исключенных из общества. Они понимают, что овладеть властью — не значит захватить ее, потому что нет власти уже созданной, а есть власть-процесс: люди хотели бы обладать конкретной властью над актами своей повседневной жизни.

Теория самоуправленческого социализма исходит из того, что изменения в обществе неизбежно захватывают все слои общества, в том числе и буржуазию (владельцев и управленцев), и даже прежде всего буржуазию, потому что, во-первых, она связана с той сферой жизни общества, где изменения происходят практически непрерывно и наиболее интенсивно; потому, во-вторых, что она уже несет ответственность за работу экономики, и это ко многому ее обязывает; потому, а-третьих, что сфера ее деятельности не ограничивается организацией технологического процесса, ее ответственность распространяется и на сферу социальных отношений, и в силу этого, в-четвертых, ее основная задача на данный момент — выжить, приспосабливаясь к новому, и, идя на уступки, не допустить развития напряженности в обществе до взрывоопасного состояния.

Управленцы, составляя наиболее образованную и, следовательно, наиболее подготовленную к исполнению экономической власти социальную группу, не желая уступать свою реальную власть, фактически являются основным препятствием на пути к самоуправлению. Но это препятствие не непреодолимо. Оно подобно дозиметру или фильтру, оно не может задержать включение в процесс управления наиболее подготовленных представителей наемного труда и фактически предохраняет от декретного «катапультирования в директорские кресла» случайных элементов. Власть не захватывается, ею овладевают в конкурентной борьбе за право управлять страной лучше, чем другой.

Мы шли однажды избранным путем, а плита земной коры, по которой этот путь уходит в неведомую даль, где-то там, далеко впереди, медленно смещалась. Когда мы подошли к линии разлома, перед нами оказался тупик. Нам предстоит найти продолжение своего пути. Это нелегко — нелегок любой выход из тупика.

Карел
ЧАПЕК

«ТОЧНО ГОЛЫЙ В ТЕРНОВНИКЕ»

За минувших два с небольшим года мир отметил два юбилея чешского писателя и мыслителя Карела Чапека: 25 декабря 1988 года исполнилось 50 лет со дня его смерти, 9 января 1990 года — 100 лет со дня рождения.

В образах человекоподобных машин (слово «робот» с его легкой руки вошло в обиход планеты) и человекоподобных животных (его фантастический памфлет «Война с саламандрами» предрек мировой политический кризис конца 30-х годов) Чапек художественно сконцентрировал два призрака, маячащих перед человечеством в XX веке,— угрозу тотальной утилитарности и угрозу тоталитаризма. В Шефе саламандр могли узнать себя и Гитлер, и Сталин. Не поставляйте «зубы тиграм и яд змеям»! — призывал писатель, предвидя множество ситуаций, подобных той, которая возникла сейчас в районе Персидского залива.

Чапек был писателем малой нации. Но и она прошла через горнило первой мировой войны и двух революций — собственной и русской (по обе стороны фронтов гражданской войны сражались чехи, в том числе и литераторы: с одной — Ярослав Гашек, с другой — ближайшие друзья Чапека Франтишек Лангер и Йозеф Копта). Сойдя с горы Арарат всемирного военного потопа, чехи и словаки — две малые нации, освободившиеся от многовекового угнетения,— попытались построить демократическое государство, которое к середине 30-х годов оказалось в окружении фашистских и полуфашистских режимов. Чапек вместе с новорожденной республикой прошел великую школу демократии. Исторический опыт перевернул его сознание: сторонник радикального переустройства мира стал превыше всего ценить человеческую жизнь, естественные нормы бытия, правовые установления, ликующее многообразие природы. Поклонник американизма начал отстаивать ценности Старого Света. Недавний космополит сперва принялся защищать права малой нации от вульгарно понятого интернационализма, а затем решительно выступил против отечественных шовинистов. Он ратовал за регионализм и одновременно — за универсальность культуры. Как и его любимец Ян Неруда, он стал «патриотом и гражданином мира».

Русскому читателю наименее известно огромное публицистическое наследие Карела Чапека. Не желая надевать «униформу из стандартного сукна или из стандартных идей», Чапек старался найти собственные ответы на все вопросы, которые ставило перед ним пребывание в социальном Содоме современности, и при этом чувствовал себя «точно голый в терновнике». Его поносили и справа и слева. Идеологические табу мешали и нам. Только недавно по-русски были опубликованы статьи «Почему я не коммунист?», «Пролетарское искусство». Долго не могли у нас выйти памфлеты «Скандальная афера Йозефа Голоушека», «Удивительные сны редактора Коубека», «Письма из будущего», цикл миниатюр «Побасенки о гражданской войне». В пьесе «Адам-творец» Красному Глашатаю пришлось стать Глашатаем в багряном плаще. Из романа «Фабрика абсолюта» было изъято упоминание о «коммунистических экспериментах». Даже в русском переводе «Войны с саламандрами» не сразу появилась глава о «половой жизни саламандр», а обращение Коминтерна к саламандрам, подписанное Молоковым (саламандра по-чешски — «млок»), отсутствует и до сих пор.

Для нас, занимающихся повторением пройденного другими народами, поучительны «уроки демократии», которые может преподать Карел Чапек. Три статьи, с которыми читатель познакомится ниже,— маленькая «визитная карточка» Чапека-публициста. Более полное представление о нем даст сборник «Потрясенный мир», подготовленный издательством «Прогресс».

Олег МАЛЕВИЧ

ЕВРОПА

Взгляните на нынешнее состояние Европы. Коротко его можно охарактеризовать так:

1. в ней усиливается экономический и политический национализм; государства и народы все больше отделяют себя друг от друга, все более резкими и неприступными становятся границы политического áqui vive[1] и экономической автаркии, мы просто-напросто оказываем-

[1] Постоянной настороженности *(франц.)*.

ся свидетелями того, как вопреки всем предпосылкам и прогрессу человечества увеличиваются водоразделы между различными нациями и государствами, а с ними — и причины недоверия и ненависти;

2. и наоборот: цивилизация и культура в Европе нивелируются — хотя то тут, то там мы видим стремление привить дух политического национализма и культуре. Можно сказать, что национальные жизненные различия постепенно стираются; между все более глубокими окопами жизнь становится все более одинаковой. Таков парадокс современной Европы.

При этом, разумеется, каждое государство экономически и политически задыхается в тех границах, которые нарушают его связи со всем остальным миром. Отсюда стремление раздвинуть эти границы, переместить их дальше, расширить свое жизненное пространство путем их ревизии, завоеваний или альянсов; а с другой стороны,— разумеется, возникает проклятая необходимость защищать свои палисадники dente unguibusque [1]. Этим определяются различные возможные пути. Либо Европа приближается к новой войне, к серии катастроф; но никакая война не обеспечит окончательных границ, и любой политический или экономический национализм всегда будет сталкиваться с национализмами других государственных марок.

Либо — и эта возможность до сих пор остается в силе — Европа изберет другой путь. Если границы мешают миру между народами — надо сделать их в меньшей мере границами. Если нас разделяет экономический и политический национализм — попытаемся руководить миром посредством международной экономики и общемировой политики. Мы не имеем права думать, что человечество и через тысячу, и через десять тысяч лет будет настолько глупо и примитивно, чтобы постоянно решать свои конфликты на манер уличных собак. Когда-нибудь дойдет дело и до методов менее зоологических; почему бы Европе не попробовать их уже теперь? Неверие в такую возможность равнозначно убежденности в полном бессилии человеческого духа, кичащегося тем, что он покорил природу, но не способного обеспечить руководство человеческим обществом и регулировать его социальную и политическую деятельность.

Задача преодоления экономического и политического национализма — сегодня почти утопия или — при иной формулировке — революционная программа; но так или иначе, это единственный путь, открытый разуму и надеждам. Можно освободить мир от национализма прибыли и престижа; но и после того, как мы от них избавимся, нации останутся. И даже если бы уже не было нужды в границах, в этих окопах, которые одни народы роют против других, все равно нации останутся, и они захотят сохранить свой язык, свое самосознание, свое великое «я», данное историей, географией и языком. Если Европа пойдет по этому единственному пути, не связанному с катастрофами, национальное сознание перестанет столь угрожающе выражать себя в национальном эгоизме политики и экономики, однако совсем из мира не исчезнет; это дитя не даст выплеснуть себя вместе с водой. Нация как естественный фактор сохранит свою жизнеспособность и станет искать самовыражения; в этом-то и будет состоять творческая миссия культуры. Если политике и экономике больше не нужно будет отстаивать само существование нации, нация удовлетворит свою тягу к самобытности тем, что постарается выразить себя духовно. Политически и экономически она станет частью Европы; самое же себя будет осознавать в своей национальной культуре.

Мысленно повернем происходящий в Европе странный процесс в ином направлении: попытаемся рассматривать политику и экономику sub specie [1] международных интересов, а культуру воспринимать как носительницу особых неповторимых, живых и естественных национальных ценностей; да, пока это утопия, но как уже сегодни это могло бы изменить и углубить наше отношение к искусству и сколь многообразные пути поисков это открыло бы нам!

Дары цивилизации имеют международный характер, меж тем как культура всегда возвращается к национальным истокам. Фотография интернациональна, но там, где она становится искусством, одновременно она становится и самобытным, по самой своей сути неподражаемым выражением национального духа. Русская кинематография столь же русская, как и русский театр или русская литература; она стала русской не потому, что хотела быть фольклором, а потому, что хотела быть искусством. Мода международна; но вкус, с которым парижская девушка сошьет и будет носить платье, национален. Хорошие стандартные дома для рабочих — заслуга цивилизации, но, скажем, постройки Ауда — уже явление голландской культуры. И так далее. Всюду, где вещи обретают неповторимые ценности любви и совершенства, прочувствованности и интимности, они перестают быть общеполезными предметами и становятся частью национальной культуры. Попросту я сказал бы, что красоту нельзя скопировать или позаимствовать, она должна родиться на месте. Именно культура

[1] Зубами и когтями *(лат.)*.

[1] Под углом зрения *(лат.)*.

несет на себе след особой милости и поцелуй genta loci [1]. Истина имеет всеобщий характер, она едина для всего мира; но любовь конкретна, любить — значит отдавать кому-то предпочтение. Такую великую дань предпочтения оплатит искусство: оно наделяет красотой исключительно свой народ, свою страну. Европа не перестает быть родиной различных наций, пока она остается родиной творческих, то есть национальных культур.

[1] Дух — хранитель места *(лат.)*.

1934 г.

НАЦИЯ В НАС НЕ НУЖДАЕТСЯ

Так печатно высказался генерал, он же — писатель Рудольф Медек. Если, мол, литераторы будут такие-сякие и не станут соглашаться с тем, что ныне в «Народних листах» выдается за волю нации, так пускай пеняют на себя, когда потом окажется, что народ в них не нуждается. Хоть и неизвестно, кто дал писателю-генералу Рудольфу Медеку полномочия говорить от имени нации, хоть неизвестно, в какой пивной явился ему дух нации и дал такое поручение, но раз это высказывание совершенно серьезно и даже «в разрядку» напечатано многими газетами, столь же серьезно придется заняться им.

А дело вот в чем: мы, писатели, не позволим вышвырнуть себя из недр нации. Никогда и никому! Прошу меня извинить, но есть вещи, которые мы не позволим у нас отнять, и первая из них — принадлежность к нации, на языке которой мы пишем. А если кто-то захочет разорвать нашу связь с народом, на это может быть только один ответ: удар в зубы. Не стану пускаться в подробные объяснения, но никто не становится писателем, никто не становится творцом языка и поэтом без огромной духовной любви к народу, ибо язык — душа народа; без вдохновляющей любви, на какую способны лишь немногие, писатель остается всего лишь писакой, который переводит бумагу, а не творит. И даже поэт, ни разу в жизни не употребивший слов «нация» и «родина», остается избранником, любимцем народной души, разумеется, если он настоящий поэт и творец. Каждое слово родного языка, появившееся в произведении поэта, как бы сказано впервые, покрыто капельками росы, словно в первый день творения, не затерто ложью, фразерством и серостью. Язык нации, которому угрожают профессиональные пустомели и анонимные бумагомараки, постоянно рождается заново из двух живых источников: из народа и из самих поэтов. И вот является какой-то не то генерал, не то писатель, какой-то анонимный журналист или вообще неизвестно кто и берет на себя смелость утверждать, что, мол, если писатели будут себя вести как-то не так, нация обойдется без них. Можно только пожалеть нацию, которая решилась бы обойтись без писателей, которая бы мыслила, чувствовала, воспринимала действительность языком собраний и передовиц! Да разве вы не видите, безумцы, что этим отнимаете у нации?

Послушайте, зачем ходить, как кот вокруг горячей каши? Я не стану вам представляться: надеюсь, я не уронил репутацию чеха на белом свете,— впервые в жизни ссылаюсь на это. Я не большевик, не марксист и не имею особых личных оснований для большой любви к левому крылу нашей культуры, которое всего какой-нибудь год назад чуть не отлучило меня от литературы; уже много лет я только и слышу с этой стороны, что-де и сторонник правого курса, мещанин, апологет буржуазного государства и так далее. Тут все ясно. Но пока я дышу, я не позволю, чтобы кто-нибудь вышвыривал из нации, скажем — С. К. Неймана, коммуниста, написавшего фразу, которой я ему тоже не могу простить, однако кроме этой фразы, если вам еще не известно, написавшего «Книгу лесов, вод и холмов», «Песни тишины» и многое другое; и эти книги никто не сможет выкинуть из чешской литературы, как нельзя соскоблить с карты Чехии речку Свитаву, солнечные пасеки и деревенские улочки, и все то, о чем поэт Нейман поведал столь по-чешски, если иметь в виду и сам дух его книг, и их язык; а такое проникновение в национальную суть удавалось... к примеру, мало кому из чешских политиков, начиная с Ригера. Никто не посмеет выбрасывать из нации и поэта Незвала, коммуниста, который превратил наш язык в небо, полное скрипок и мелодий; какой идиот решится отнять у нашего языка музыку Незвала? И еще, еще, еще... По-вашему, чешскому народу не нужен Карел Томан, самый чешский из чешских поэтов? Не нужен народный летописец Ванчура, черпающий свой язык из глубин средневековья? Не нужны Шрамек, Гора, Сейферт, не нужен Шальда — но, помилуйте, кто же тогда чешскому народу нужен? Да, да, вы уже и это сказали: с него-де хватит и умерших писателей. Недурно устроились: мертвые уже не могут судить живых; Гавличек уже не ополчится против пустозвонных патриотов,

Неруда уже не будет писать о бедных людях и рабочих батальонах, Сватоплук Чех уже не станет защищать свой великодушный всемирный либерализм и так далее; вы действительно недурно устроились. Вероятно, и мертвых поэтов скоро придется защищать, чтобы их не втянули в компанию, где им явно было бы не по себе.

Что и говорить, мы, писатели, не позволим выкинуть нас из народа; преследуйте нас, как хотите, мы от него ни на шаг, он необходим нам больше воздуха, и наша любовь ему нужнее, чем все деньги патриотических банков. Когда надо было воскрешать нацию, писатели взялись за дело раньше, чем разные там Годачи и Стршибрные. И эта национальная традиция — на нашей стороне.

1934 г.

Перевела с чешского
В. КАМЕНСКАЯ

ОБ АМЕРИКАНИЗМЕ

Письмо издателю газеты «Нью-Йорк Санди Таймс»

Дорогой сэр, я высказал одному выдающемуся американцу свои сомнения по поводу идеалов американизма; не знаю, каким образом это дошло до Вашего слуха, но теперь Вы просите, чтобы я повторил свои критические замечания, обращаясь к американским читателям. Представьте, что я это сделаю, и затем решусь приехать в Америку, чтобы посмотреть, насколько мои представления соответствуют истине. Можете ли Вы поручиться, что, вступив на американскую почву, я не буду тут же разорван на четыре части четырьмя «фордами»? Или что я не буду повешен на железобетонной шестидесятичетырехэтажной двухсоттридцатиметровой виселице, сооруженной за двадцать семь с половиной минут? Пусть же вся ответственность падет на Вашу голову. А теперь я начинаю.

Конечно, я не был в Америке, но зато с великим вниманием читал массу статей об Америке, большей частью написанных европейцами; ведь никто не может быть так безумно воодушевлен Новым Светом, как тот европеец, что провел там несколько месяцев и не был задавлен автомобилем. Старые американцы, с которыми мне доводилось встретиться в Европе, обычно отзываются об Америке куда скептичнее новоиспеченных янки, гордящихся тем, что их перестали считать greenhorn'ами [1], больше чем своей первородной человеческой душой. Мне кажется, что американские идеалы гораздо опаснее для нас, европейцев, чем для коренных американцев. Я не спрашиваю, хороши ли американские идеалы для Америки, меня интересует, хороши ли они для Европы. Моя постановка вопроса такова: следует ли Европе американизироваться, как это себе представляют многие. Есть люди, которые хотят, чтобы когда-нибудь Америка приобщила к цивилизации старую Европу, как некогда Европа приобщила к цивилизации старую империю ацтеков. Признаюсь, меня такая перспектива пугает не меньше, чем древних ацтеков пугали культурные идеалы европейских завоевателей, и на своем ацтекском языке я готов издать боевой клич против угрозы, нависшей над нашей европейской резервацией.

Мне следовало бы, вероятно, начать с культурных идеалов, но, если вы позволите, я начну с чего-то более простого, а именно с кирпичей и работы каменщика. Я строил себе домик, маленький, желто-белый, точно яйцо всмятку; вы не имеете представления, какое это в Европе сложное дело. Прежде, чем домик был готов, мы пережили забастовки каменщиков, плотников, столяров, паркетчиков и кровельщиков; строительство домика превратилось в двухлетнюю социальную войну. Если кто-нибудь вообще работал, у людей было достаточно времени, чтобы между укладкой двух кирпичей немного поболтать, выпить пива, сплюнуть и почесать спину. Два года я ходил смотреть, как строится мой домик. Это была частица моей личной биографии; мое отношение к домику постепенно становилось безмерно интимным. На протяжении этих двух лет я узнал массу подробностей о труде и жизни каменщиков, столяров, трактирщиков и других волосатых, серьезных и склонных к шутке мужчин. Все это замуровано меж кирпичами и балками моего домика; надеюсь, вы поймете, что после стольких трудностей я привязался к нему всей душой, стал отъявленным патриотом и не променял бы этот домик ни на какой другой.

Так вот, в Америке вы, должно быть, построили бы такой домик за три дня; приехали бы на своих «фордах» с готовой железной конструкцией, подтянули несколько гаек, насыпали в каркас несколько мешков цемента, влезли бы в свои «форды» и поехали строить в какое-нибудь другое место. Это было бы куда дешевле и быстрее; все это имело бы технические и экономические преимущества; но у меня есть ощущение, что я чувствовал бы себя в своем домике в меньшей степени дома, если бы он возник с такой неестественной быстротой. Помните, как Гомер описывает щит Ахиллеса? Потребовалась целая песнь «Илиады», чтобы слепой поэт изобразил, как делался этот щит; вы в Америке за день отлили бы и смонтировали десять тысяч таких щитов; допускаю, что так можно дешево и успешно делать щиты, но «Илиаду» так не сделаешь. Дело в том, что мой домик так же, как Ахиллесов щит, не только результат труда, но главное — результат тяжелой и тем не менее веселой жизни.

В Европе до сих пор вещи возникают медленно; возможно, американский портной сошьет три пиджака за то время, пока наш сошьет один; вполне возможно, что и заработает американский портной в три раза больше, чем наш, но спрашивается, получит ли он трехкратную порцию жизни, влюблен ли в три раза сильнее, чем наш портновский подмастерье, исполнит ли, насвистывая при работе, в три раза больше песенок и нарожает ли в три раза больше детишек. Насколько я знаю, американская «efficiency» [1] касается увеличения производительности, а не преумножения жизни. Это правда, что человек работает, чтобы жить, но, как мне кажется, он живет и в те минуты, когда работает. Можно сказать, что европеец — очень малопродуктивная машина; но все дело в том, что он вообще не машина. Если он работает каменщиком, то не для того, чтобы класть кирпичи, а для того, чтобы при этом рассуждать о политике или о вчерашнем дне, пить пиво, не являться на работу после воскресений и праздников и вообще вести широкую жизнь заправского каменщика. Я думаю, он не пожалел бы крепкого словца для того, кто попытался бы ему доказывать, что высшее назначение каменщика — спешка.

Спешка, скорость! Вот новое евангелие, исповедовать которое нас постоянно призывают с другой стороны океана. Если хотите быть богатыми, увеличьте скорость и продуктивность. Избавьтесь от ненужных речей, откажитесь от отдыха и ускорьте темп труда! Ценность человека измеряется исключительно показателями его производительности! — Не знаю, живут ли в самом деле американцы под кнутом этого девиза; однако именно этот девиз навязывают нам американизированные европейцы в качестве программы прогрессивной реконструкции Европы. Но еще вопрос, могут ли спешка и количество в самом деле быть единственными мерилами активности. Есть вещи — и как раз старая Европа до сих пор обладает ими в изобилии,— которые очень трудно измерять единицами труда. Мысли философа мы не оценим тем, сколько их произведено за час. Ценность произведения искусства не исчисляется временем, необходимым для создания статуи или стихотворения. Наоборот, человек должен никуда не спешить, чтобы создавать такие вещи. Европа не слишком спешила в ту пору, когда создавала свои кафедральные соборы и философские системы. Человек, желающий что-то придумать, не мчится куда-то сломя голову и не смотрит то и дело на часы, а скорее похож на бездельника, который бьет баклуши. Думаю, что ваш Уильям Джеймс тоже казался своему окружению немного лентяем. Готов побиться об заклад, что ваш Уолт Уитмен при жизни пользовался дурной славой лежебоки и дармоеда, когда со своей развевающейся гривой бродил по Хобокену. Путешествуя по старой Европе, диву даешься, как неторопливы были люди, повсеместно оставившие здесь великий след. Мужи, совершавшие революции, не берегли время. Некоторые величайшие проявления человеческого духа возникли только в результате неслыханной траты времени. Европа бросала время на ветер в течение многих тысяч лет; в этом источник ее неисчерпаемой творческой силы. Я слышал об одном великом американце, у которого в Европе была масса дел. В поезде он диктовал своему секретарю письма, в автомобиле проводил пресс-конференции, во время обеда устраивал совещания. Мы, примитивные европейцы, во время обеда обычно едим, точно так же, как на концертах обычно слушаем музыку; на то и другое мы, возможно, зря тратим время, но, право, не тратим зря свою жизнь. Можно говорить о великодушной лени, одарившей Европу некоторыми из ее высочайших духовных ценностей. Для полноценного восприятия жизни необходима известная леность. Человек, который очень спешит, несомненно, достигает цели, но лишь той ценой, что не заметит тысячи вещей, встретившихся ему по пути.

Другой девиз, который новая Америка вывозит в жалкую Европу,— это великое слово Успех. Начни лифтбоем и стань стальным или хлопковым королем! Каждый день думай, как выбиться в люди! Успех — цель и смысл жизни! Право, вызывает тревогу, как быстро этот лозунг начинает деморализовывать Европу. Дело в том, что у этой старой части света есть известная героическая традиция; люди здесь жили и умирали за веру или правду или за другие в какой-то мере иррациональные вещи, но не во имя успеха. Святые и герои не относятся к числу тех, кто хочет «выбиться в люди»; есть такие поступки и цели, ради которых заранее приходится пожертвовать успехом. Одно из достоинств Европы заключается в том, что Шекспир не добился успеха и не стал, например, крупным судовладельцем или что Бетховен не добился успеха и не стал

---

[1] Новичками *(англ.)*.

[1] Продуктивность *(англ.)*.

крупнейшим производителем дешевых хлопчатобумажных тканей. Бальзак тщетно пытался стать богачом; к счастью для читающего мира он не добился успеха и так никогда и не вылез из долгов. Сумасбродная Европа умела интересоваться тысячами вещей, не связанными ни с каким успехом; эти вещи остались, меж тем как все успехи, которые знала история, провалились в тартарары. Сколько осталось бы неосуществленных замыслов, если бы те, кто их воплотил, думали об успехе! Если бы мы судили о людях по их успехам, оказалось бы, что девяносто человек из ста ожидала в жизни скорее неудача, чем успех, и что едва ли один из тысячи отважился бы сказать, что в самом деле добился успеха. Европейская мораль уже со времен царя Креза утверждает иные жизненные ценности; если я не ошибаюсь, она то и дело говорит, основываясь на своем древнем опыте, о тщете всех успехов и призывает нас искать более высокие и постоянные ценности. И право, у нас до сих пор не пропала охота к таким поискам.

Третий девиз, угрожающий нам,— Количество. Люди, приезжающие из Америки, привозят с собой странную и фантастическую веру, что только самое большое достаточно велико. Если нужно построить гостиницу, это обязательно должна быть Самая Большая гостиница на свете. Нашего внимания заслуживает лишь все самое большое. Творца, создавшего наш мир, судя по всему, не затронула эта гигантомания, ибо он не сделал нашу Землю самым большим из небесных тел. Творец Европы сделал ее маленькой и еще разделил на малые части, чтобы наше сердце радовалось не величине, а разнообразию. Америка корумпирует нас своим пристрастием к большим числам. Европа утратит самое себя, как только усвоит этот фанатизм размеров. Ее мера не количество, а совершенство. Это прекрасная Венера, а не Статуя Свободы.

Впрочем — достаточно. Я мог бы упомянуть еще дюжину идеалов, которые мы, европейские туземцы, считаем американскими,— двенадцатый из них назывался бы Доллар. Но это был бы уже другой разговор, а место, которое Вы обещали мне отвести в своей газете, исчерпано; итак, я кончаю тем, с чего люди более проницательные и более меня увлеченные политикой, вероятно, начали бы.

Перевел с чешского О. МАЛЕВИЧ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Е. НЕВЗГЛЯДОВА

СЛОВО — «ПСИХЕЯ»

Наблюдения над метафорой у Мандельштама

Сделанное Мандельштамом открытие, осуществившее переворот в поэтическом сознании, главным образом связано с новым словоупотреблением. «...Зачем отождествлять слово с вещью, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает как бы для жилья ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но незабытого тела» (Мандельштам. «Слово и культура»).

Нововведение Мандельштама связано с метафорическим словоупотреблением, которому поэт был привержен как никто другой. «Метафорические полеты» его мысли были отмечены В. М. Жирмунским в одной из первых рецензий на книгу «Tristia» еще в 1921 году.

Однако у самого Мандельштама, который действовал необычно сознательно, внедряясь мыслью о стихах в те дебри поэтического искусства, куда самовольно, потому что интуитивно, проникал его стих, мы находим отношение к метафоре, как будто не согласованное с его пристрастием к ней. «Молодые московские дикари открыли еще одну Америку — метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений» («Письмо о русской поэзии»). Неодобрительно он отзывался и о метафорической прозе А. Белого: «...После мгновенного фейерверка,— куча щебня, унылая картина разрушения вместо полноты жизни, органической целостности и деятельного равновесия» («О природе слова»).

Разумеется, метафоры могут быть удачными и неудачными. Разобравшись в характере метафорических словоупотреблений, интересно попытаться найти секрет удачи.

Источник своеобразия мандельштамовской метафоры — в отношении поэта к слову, к тому подвижному, непрямому взаимодействию, союзу, сосуществованию, которыми можно назвать отношения имени и предмета.

Вместо субъективности символистов, которую Б. В. Томашевский определил как «возможное значение», Мандельштам предложил новые контекстные значения — реальные, вещественные, предметные,— сложным, косвенным образом связанные со словарным значением слова. Символ у символистов подразумевал неназванное значение. Мандельштам оперировал названным, но заново созданным,— как бы вопреки и наперекор существующему в языке.

Можно сказать, что Мандельштам создал свой собственный язык — в более прямом смысле, чем это принято говорить: не в буквальном, как у Лескова или Платонова, а разъяв значение слова на имя и предмет. Характер и смысл этого расчленения можно наблюдать на различных его метафорах.

Но прежде — одно замечание. Существует мнение, что у Мандельштама то, что кажется метафорой, зачастую ею не является — если знать, откуда она взялась, ее происхождение. Например, словосочетание «печаль моя жирна» пришло из «Слова о полку Игореве». Однако, я думаю, знание источника того или иного словоупотребления не мешает восприятию слова как метафоры. Здесь, например, слово «жирна» связано с землей, с изобилием и дает представление о глубине и величине печали.

Реминисценция не появилась бы, будь она неуместна. Она поддержана моментом сходства, оправдана и воспринимается как метафора.

Вот несколько примеров метафор: бестолковое тепло, бирюзовый учитель, простоволосые жалобы, толковые чернила, тяжести улыбка (об утюге), испуганное мясо (о сердце).

Метафоры «бестолковое тепло», «бирюзовый учитель», «простоволосые жалобы» — находят свое объяснение в ситуации. Бестолковое многолюдство трамвая, создающее тепло,— вот та обстановка, которая позволила естественно соединить два логически отдаленных друг от друга понятия: бестолковость и тепло. Читатель, представляющий себе облик А. Белого, его бирюзового цвета глаза, не удивится словосочетанию «бирюзовый учитель». «Толковые» относится не к самим чернилам, а к тому, что ими написано.

Л. Гинзбург пишет: «В стихах Мандельштама определение часто относится именно к контексту, а не к предмету, к которому оно прикреплено формально-грамматическими связями» (Л. Гинзбург. «Поэтика ассоциаций»).

Подобных метафор у Мандельштама много, их можно объединить под общим названием — ситуативные.

Есть другой, может быть, еще более многочисленный, во всяком случае, еще более своеобразный и неожиданный вид метафоры. Например, «смычок черноголосый», «клейкая клятва», «лающие порталы», «лающие чулки», «кривда карликовых виноградарей», «картавые ножницы», «скаредные розы», «гитара карболовая», «рукопашная лазурь», «клятвопреступная зелень», «стриженый воздух»...

В случае со «смычком черноголосым» мы имеем дело с очевидным явлением синестезии, явлением восприятия, когда при раздражении *данного* органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие *другому* органу чувств. Например, «цветной слух» — цветовые переживания при восприятии звука.

Подключая звук к зрительным представлениям, Мандельштам широко пользуется фонетическим образом слова («Фонетика — служанка серафима»). Такова метафора «клейкая клятва», кстати, дважды им употребленная. Надо отметить, что опущенное логическое звено все-таки здесь восстанавливается без труда. Клейкая материя прилипает крепко, прочно. Этот смысловой компонент в применении к понятию «клятва» не вызывает недоумения. То же самое обнаруживается в метафоре «лающие

порталы». Лаять можно только с открытой пастью, и это зрительное представление присоединяет звук к виду портала.

Что же касается «кривды карликовых виноградарей», то тут дело обстоит сложнее; логический момент отсутствует в гораздо большей степени. Никак нельзя заменить, например, слово «кривда» на «неправда», по смыслу нельзя. Здесь смысловой элемент содержится исключительно во внутреннем образе слова. Кривда ассоциируется с кривизной. Кривизна, опирающаяся на фонетическое сходство с последующими словами «карликовых виноградарей» (аллитерация на «р») входит в этот сложный «пучок смысла». «Картавые ножницы» — это тоже кривые, искривленные, неправильные ножницы. Ведь если бы мы вздумали один дефект произношения (картавость) заменить на другой (например, гундосость), то получилась бы совершенная нелепость. Тем не менее словосочетание «картавые ножницы», несмотря на логическую абсурдность, воспринимается как художественная находка.

О «скаредных розах»: звуковой образ слова «скаредный» ассоциируется с острым, скребущим, царапающим, колющим ощущением, благодаря чему это слово-имя через голову семантики обозначаемого им предмета связывается с шипами, то есть имеет отношение к розам. (Тогда как «скаредный» человек, то есть скупой, жадный человек, может быть очень даже мягким, любезным, вкрадчивым.)

Само слово (имя) «скаредный» кажется колючим так же, как слово «жадный», например, — тяжелым, давящим, а «скупой» — узким, длинным. Разумеется, это субъективно.

Но у Мандельштама самостоятельность смысловых представлений, вызванных фонетическим образом, очень велика. Явление синестезии, т. е. возникновение целого комплекса ощущений, которыми ведают разные органы чувств, используется им, как никем другим, так сказать, «на полную катушку». Лучше всего об этом сказал сам Мандельштам, придравшись в разговоре о Пастернаке к строке Фета «И горящею солью нетленных речей»: «Эта горящая соль каких-то речей, этот посвист, щелканье, шелестенье, сверканье, плеск, полнота звука, полнота жизни, половодье образов и чувств с неслыханной силой воспрянули в поэзии Пастернака...»

Явление синестезии объясняет метафоры, в которых сходство между двумя смысловыми элементами почти или вовсе не поддается извлечению; оно возникает при помощи физиологических ощущений. «К чему обязательно осязать перстами?» — спрашивает Мандельштам. Действительно: чувственные впечатления устроены как сообщающиеся сосуды — цвет кивает на звук, звук на запах. Все это — общий комплекс переживаний, и одно чувственное впечатление может по ассоциации вызвать другое. Осязание требует непосредственного телесного участия. Не случайно Мандельштам считал творческий процесс «прямым следствием особого физиологического устройства горла». И результат его должен быть столь же физиологичен.

В таких метафорах, как «картавые ножницы», «скаредные розы», «рокот гитары карболовой» — мы осязаем звук, и этот комплекс ощущений дает новый смысл.

Есть в чувственной мандельштамовской метафоре еще один оттенок, на котором хочется остановиться.

Известно, что в метафорическом объединении предметов, рассматриваемых вне системы отношений, созданных в контексте, может не быть никакого сходства. Сходство часто бывает результатом, а не причиной образования метафоры. Когда Пастернак, например, называет зеркало отчизной, мы понимаем, что не нужно искать сходства в этих двух понятиях.

Ю. М. Лотман, говоря о невозможности сравнения для предметов, у которых отсутствует сходство («основание для сравнения»), приводит в пример пару понятий: человек и мясорубка (Ю. М. Лотман. «Лекции по структуральной поэтике»). Эту же пару понятий можно привести в пример легко устанавливаемого сходства: достаточно сравнить человека с машиной, перемалывающей свое содержимое, — и сходство готово. А субъективное отношение может превратить предмет (орудие производства, в частности, мясорубку) в объект заботы и даже любви, подобный в этом смысле человеку.

Именно субъективное отношение наделяет предметы общими признаками. Сравнение может быть произведено на основании не объективно существующей общности, а сходства в эмоциональном восприятии. Тогда к нашим психологическим представлениям о признаках различных предметов «присоединяются еще представления о чувствах и ощущениях, которые, однако, конкретизируясь в их отношении к предметам, переходят в представления о признаках» (А. А. Шахматов. «Синтаксис русского языка»). В некоторых случаях со всей очевидностью выступает психологическая мотивировка метафоры, то есть те представления о чувствах и ощущениях, которые перешли в представления о признаках.

Как объяснить, например, словосочетание «зрячих пальцев стыд»? («О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд...») Зрячие пальцы — это поиски слова в темноте, на ощупь. Стыд пальцев, наверно, возник оттого, что стыд — такое жгучее, осязаемое чувство, ощущаемое кожей, что его естественно связать с органом осязания — пальцами. Сходство здесь субъективно-чувственное, точнее психологическое.

Другой пример:

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится...

Когда человек злится, он объят каким-то тщетным шевелением, пустым рвением, движением на месте, как трепещущий на ветру лоскут.

Здесь представление о чувстве перешло в представление о признаках (по Шахматову).

Рассмотрим еще один пример:

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Как объяснить употребление слова «шелестила» (шелестела) в сочетании со словом «кровь»? Оставим в стороне тот факт, что, по всей видимости, это словосочетание является (возможно, неосознанной) цитатой из Анненского — «шелест крови» («Трилистник кошмарный»), которая, в свою очередь, является цитатой из прозы Тургенева — «Клара Милич». Для нас важно, что и без кавычек, не как цитата, оно имеет смысл.

Момент общности заключается здесь не в сходстве звучаний; объективно ток крови и шелест листьев — звуки разные: шелест — глухой звук, производимый трением, а кровь — жидкость и не имеет шершавой поверхности, издающей шорох. Сходство обусловлено ощущением, связавшим движение листьев с течением крови не по объективным признакам, а по субъективно-эмоциональным.

Подобные словоупотребления характерны и для Пастернака. Вспомним, например, «Невдомек содроганью сращенному», где, конечно же, не происходит одушевления, во всяком случае, персонификации, олицетворения содрогания. Здесь нет образа в его традиционном понимании. Но мы сразу улавливаем то состояние сознания, то душевное состояние, при котором интеллигентный человек прибегает к просторечию, внезапному снижению стиля: «невдомек», что в поэтический момент вносит какой-то домашний оттенок. Взгляд поэта обращен внутрь своего «я» и нацелен на ощущение, не имеющее имени, но уловленное и обозначенное через речевую ситуацию, в которой употребляется слово «невдомек».

Субъективное эмоциональное восприятие питает подобные словосочетания.

Если «прозаическая» метафора XIX века служила обновлению внешнего мира, то «поэтическая» метафора XX века послужила освоению внутреннего. Поэтическое видение, обращенное к миру, уступило место «внутреннему оку», различающему психологические моменты восприятия. При этом как будто несущественными оказались все внешние моменты. Язык поэзии достиг полного отвлечения от логики внешнего мира во имя выражения внутреннего. Когда поэт говорит о хромом человеке «неравномерной сладкою походкой», то сразу становится ясным его субъективное отношение к «одушевляющему недостатку». Но достаточно бывает стилистической несообразности, чтобы выступил и сыграл свою роль эмоциональный, субъективно-психологический элемент. Например, в стихе: «Я ласточкой доволен в небесах» словоупотребление «доволен» задерживает на себе внимание тем, чем стилист-пурист был бы явно недоволен в данном случае. Цель этого словоупотребления — обращение к внутреннему психологическому ощущению. Подобных стилистических «гримас» в поэзии XX века можно наблюдать огромное количество. Особенно ими пестрит поэзия Мандельштама.

У Мандельштама особый психологизм, не сердечный, не душевный, как, скажем, у Анненского, а, если так можно выразиться, — чувственный. Но это именно психологизм, потому что смысловые связи в некоторых его метафорах объяснимы с помощью не логических, а психологических мотивировок.

Словарь метафор русской поэзии XX века мог бы продемонстрировать, что все сравнимо со всем. Как сказано в «Нашедшем подкову»:

Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...

По поводу исторических изменений, происшедших с русской рифмой XVIII и XIX веков, рассматриваемой с точки зрения рифмовки заударных гласных, В. М. Жирмунский писал: «Если какой-нибудь исследователь, не знакомый с русским произношением, хотел бы по рифмам восстановить произношение неударных гласных, исходя из неправильной, но общераспространенной мысли, что рифма есть всегда звуковое тождество, он пришел бы к неизбежному выводу, что в течение XIX века совершался непрерывный процесс все более и более всеобщей редукции заударных гласных, который к началу XX века завершился полным слиянием всех гласных в неопределенном редуцированном звуке» (В. Жирмунский. «Рифма, ее история и теория»). По поводу лексического значения, изучаемого по текстам русской поэзии XIX—XX веков, исходя из убеждения, что метафора — это перенос значения на основании общности семантических признаков, отражающих сходство объектов действительности, можно было бы заметить, что оно проделало тот же путь «семантической редукции», соединив все словарные значения русского языка в одно неопределенное контекстное значение.

Это и есть тот свободный выбор имен «как бы для жилья» своего предмета, вещности, «милого тела», о котором сказал и который осуществил в своей поэзии Мандельштам.

И ВОХРОВЦЫ, И ЗЭКИ

Заметки о песнях Александра Галича

1

Было время, когда песни Александра Галича публиковались в журнале «Юность». За многое не поручусь, но одну я помню точно, там были еще портрет и несколько добрых слов. Разные бывали времена на нашей памяти, такие, что порой и поверить трудно. Как говорил один старый коммерсант, было время, когда в сахар подмешивали соль, а было, когда в соль подмешивали сахар... Но вот что интересно: факт публикации я запомнил, а что за песня, забыл. И теперь, просматривая мысленно все известные мне песни Галича, не могу найти ни одной, чтобы вставить ее в журнал, даже с учетом того либерального времени, когда в соль уже стеснялись подмешивать сахар. Галич писал *запрещенные* песни — вот первая неизбежная его характеристика.

Когда-нибудь найдется любитель систематики и напишет историю наших запретов, по годам, а лучше по месяцам. Подсчитав среднее число упоминаний того или иного имени или понятия, он установит примерные даты. Тогда-то запретили, тогда-то разрешили. Или: еще не разрешено. Или: не будет разрешено никогда. Но хотелось бы мне, чтобы в этом грядущем исследовании была отражена и одна боковая тема: непредвиденные последствия разрешений. К примеру, разрешили об выпить рюмку — а уж кто-то, глядишь, написал о повальном пьянстве. Разрешили о некоторых трудностях жизни — а уже мы читаем о невозможности жить. Потому что всякие границы и рамки не только ограничивают то, что внутри,— они еще и определяют то, что снаружи.

Автор и исполнитель запрещенных песен, как ни унизительно это признать, до появления соответствующей реляции был благополучным советским писателем, автором достаточно плохих пьес и сценариев. Но вот нам спустили сверху дозволение слегка изменить общественный взгляд — и, рванувшись за рамки, возник Александр Галич. Разрешили немного о лагерях — и вот уже *полстраны* сидит в кабаках, пропивая реабилитантскую пенсию. Позволили чуточку об отдельных нарушениях — и выплыло тяжкое слово *палач*, густо, по две штуки на строчку, до привычки, до оскомины, до тошноты, до того, чтобы стать таким же обыденным, как *тогда* обыденным было занятие. Разрешили... Но дальше этот рефрен и не нужен. Не разрешали, не позволяли, не допускали ни слова о нынешних. А уже поздно, уже не имеет значения, выпустили пташку на волю, теперь попробуйте объясните, до какого столба ей летать.

Она вещи собрала, сказала тоненько:
«А что ты Тоньку полюбил, так Бог с ней,
с Тонькою!
Тебя ж не Тонька завлекла губами мокрыми,
А что у папы у ее топтун под окнами.
А что у папы у ее дача в Павшине,
А что у папы холуи с секретаршами,
А что у папы у ее пайки цековские,
А по праздникам кино с Целиковскою!..»

2

Наша эпоха надежд и свершений порождает много различных уродств, и косвенные последствия рабской жизни бывают порой нелепей и досадней прямых. В устных и письменных обсуждениях, в обзорах, появляющихся на Западе, часто производится четкое разделение, причем порой для одного и того же автора: высокий балл для всего ненапечатанного и низкий — для опубликованных произведений, даже если по художественным достоинствам они стоят на голову выше. Эта детская прямолинейность суждений могла бы умилять своей непосредственностью, когда бы она не была опасна. Ведь если судить по формальным, негативным признакам (не напечатано), то любой графоман — автор Самиздата. Списки «вольной русской литературы» переполнены именами дилетантов и графоманов, и не думаю, чтобы редкие профессиональные литераторы радова-

От редакции. Эта статья была написана более десяти лет назад и, как принято теперь говорить, «по понятным причинам» в советских изданиях напечатана быть не могла. Разумеется, вольно или невольно, она несет все черты своего времени, но именно этим, как нам представляется, может быть интересна читателю. Чем было творчество Александра Галича для независимо мысливших русских интеллигентов? Каково вообще было их представление о свободе слова и свободе творчества? Попытка ответа на эти вопросы дается здесь не в мемуарах прозревшего критика, неизбежно двоящихся между «теперь» и «тогда», а в непосредственных размышлениях современника.

Передавая статью в редакцию журнала, автор счел возможным не править текст, но добавил три небольших примечания — для того, видимо, чтобы лишний раз напомнить читателю о различии (или, может, наоборот, о родстве?) — настоящего с прошлым.

лись, видя себя в этих списках. К сожалению, а может быть, к счастью, в искусстве ничто не дает гарантии, ни то, что разрешили, ни то, что запретили.

И однако... Так ведь можно дойти и до пользы запретов. Нет, конечно же, дело не в том, что разрешенное в принципе лучше запрещенного, а в том, что запрещенное недостаточно хорошо. И тут, быть может, в первую очередь виновата как раз инерция запретов. Вырвавшись из-под глаза цензуры, внешней и внутренней, дорвавшись, наконец, до свободы, мы просто не знаем, за что ухватиться сначала, глаза разбегаются. И хватаем, что на поверхности: прямые проклятия, физиологию, мат[1]... Мы спешим, нам некогда подняться до образа, свобода стоит у нас за спиной и давит на плечи, как прежде — несвобода. Но то был привычный, домашний гнет, мы знали, как жить, как изворачиваться, и шкалу ценностей тоже знали и уверенно ставили себе оценки. А здесь, за рамками, все чужое, все непонятное, не от чего оттолкнуться: мы-то остались прежними...

Удача Александра Галича во многом объясняется тем, что Галич, перейдя границу разрешенности, сменил не только жанр, но и свое обличье: другой автор, другой человек. Это было чудом, и так мы его и восприняли, как чудо, как подарок и неожиданную радость. Радостью была полная свобода, свобода от страхов и от иллюзий, подарком был высокий профессионализм, точность детали, всепроникающий юмор.

И здоровая, добротная злость.

Я живу теперь в дому — чаша полная.
Даже брюки у меня — и те на «молнии».
А вино у нас в дому — как из кладезя.
А сортир у нас в дому — восемь на десять.
А папаша приезжает сам к полуночи.
Холуи да топтуны тут все по струночке!
Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдоты про абрамчиков!..

Не забудем, что это пелось не в Швейцарии, а под нашим родным московским небом. Представим себе это, напряжем воображение, и мы поймем, что в тех прямолинейных суждениях (напечатано — ложь, не напечатано — правда), по крайней мере, в их критической части, есть немалая доля справедливости. Что бы мы ни ворчали у себя в углах, так, как Галич, публично, никто не скажет, и не только не позволят, а и сам не захочет.

Пару лет в покое шатком
Проживали А, И, Б.
Но явились трое в штатском
На машине КГБ.

Всех троих они забрали,
Обозвали их на «Б»...

Нет, к такому мы не привыкли, мы привыкли к другому. У нас даже самый беспамятный пьяница помнит, кого можно, кого — нельзя, и кроет продавщицу, евреев, соседа, а дальше уже переходит на китайцев. И писатели, наши доблестные деревенщики, которым сегодня дозволен передний край, самые смелые из них и одаренные, самые одержимые вдохновением, четко знают предел, край края, и строят свой органический мир с учетом высших сил справедливости, располагающихся на разных уровнях, но всегда не выше обкома партии.[1]

Галич в эти игры не играет. Он ничем, кроме правды, не ограничен и никому не приносит извинений. Он свободный человек и он может все.

Тишина на белом свете, тишина.
Я иду и размышляю не спеша —
То ли стать мне президентом США,
То ли взять, да и окончить ВПШ!

3

Оказалось, что ему счастливым образом доступен любой вообразимый ракурс. И к чести его надо сказать, что он не злоупотребил этой возможностью и в подавляющем большинстве своих миниатюр широкому взгляду и общему плану предпочел репортаж из житейского пекла, где герой и слушатель — лицом к лицу.

А Парамонова, гляжу, в новом шарфике,
А как увидела меня, вся стала красная.
У них первый был вопрос — свободу
Африке! —
А потом уж про меня — в части «разное».

Тут как про Гаву — все в буфет
за сардельками.
Я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами.
А как вызвали меня, я сбил от робости.
А из зала мне: «Давай все подробности!»

Бессмысленная, нелепая, невозможная мешанина из убогих чувств, нищеты, демагогии, привычного вранья, подетального быта — какая-то фантасмагория тоски

[1] Я не против мата, даже, может быть, за, я только против того, чтобы мат был мерилом и выразителем свободы слова.

[1] Здесь, надо признать, за последние десять лет произошли серьезные изменения. Ругать теперь дозволено всякого, и мы уже к этому успели привыкнуть, но зато и роли — кто бы мог подумать! — переменились существенно. Теперь любой беспамятный пьяница, да и трезвый, если ему не лень, проклинает любое начальство, невзирая на уровни; а вот продавцов (кооператоров), евреев, соседей, а также всяких прочих китайцев — кроют теперь как раз писатели и, в первую очередь, деревенщики. Так что все в нашем мире стремится и движется, вот только жаль, не всегда понятно — куда. (Примечание автора, 1990).

и глупости предстает нам из песен Александра Галича и смешит нас, но и волнует безумно, потому что все это узнаваемо, все — наша подлинная жизнь.

И тогда прямым путем в раздевалку я
И тете Паше говорю, мол, буду вечером.
А она мне говорит: «С аморалкою
Нам, товарищ дорогой, делать нечего.
И племянница моя, Нина Саввовна,
Она думает как раз то же самое.
Она всю свою морковь нынче продала
И домой по месту жительства отбыла».
Вот те на!

Что же такое произошло? А то и произошло, что явился человек с гитарой, достаточно одаренный и достаточно смелый, чтобы продемонстрировать нам полную свободу творчества — то, чего так и не смогла литература. Действительно, вот те на! И конечно, Галич — это радостное явление, но это еще и тревожный знак, свидетельство того, в чем мы боимся признаться.

Двадцать лет кружений вокруг иллюзорной свободы словно бы отцентрифугировали российскую словесность, разделив ее на две отдельные фракции. И теперь, если правда — то нет искусства, в лучшем случае, что-то около, а если искусство — то нет правды, в лучшем случае — тишайшая ее половина. Мы, конечно, стараемся этого не замечать, мы так стосковались по любой подлинности, что за каждую мелочь благодарны автору: за бедность крестьянина, за пьянство рабочего, за плохое настроение интеллигента... А с другой стороны, таким редким явлением стал настоящий профессионализм, что, сталкиваясь с живым самостоятельным словом, мы неизменно приходим в восторг, даже если это слово так самостоятельно, что забыло, какому понятию принадлежало...

Галич выбрал узкий и «легкий» жанр, но в нем он добился предельного соответствия между словом и фактом. Мир его песен, игровой, гротескный,— это, конечно, не слепок с реальности, скорее — ее отображение на плоскость. Но здесь, на карикатурной плоскости, все движение происходит легко, и естественно, и узнаваемо в каждой детали.

У жене моей спросите, у Даши,
У сестре ее спросите, у Клавки:
Ну ни капельки я не был поддавши,
Разве только что маленько с поправки!
. . . .
Только принял я грамм сто для почина,
(Ну не более, чем сто, чтоб я помер!)
Вижу — к дому подъезжает машина,
И гляжу — на ней обкомонский номер!

Это типичное для Галича развитие действия: точно спародированный повседневный быт сталкивается с некоторым спущенным сверху условием («в ДК идет заутреня в защиту мира»), происходит неожиданный взрыв-скандал — и вот уже благополучный герой-работяга кроет с эстрады израильскую военщину от имени матери-одиночки. Причем Галич умеет прекрасно разрешать любые подобные ситуации.

Тут отвисла у меня прямо челюсть.
Ведь бывают же такие промашки!
Это сучий сын, пижон-порученец
Перепутал в суматохе бумажки!

И не знаю, продолжать или кончить.
Вроде, в зале ни смешочков, ни воя...
Первый тоже, вижу, рожи не корчит,
А кивает мне своей головою!

Изо всей этой массы житейских подробностей и привычных наших возлюбленных штампов, из этой чудовищной кучи-малы Галич, перемешав ее хорошенько, как фокусник, вытаскивает еще и мораль, тоже, разумеется, пародийную.

По площади по Трубной
Идет он, милый друг,
И все ему доступно,
Что видит он вокруг!
Доступно кушать сласти
И газировку пить.
Лишь при советской власти
Такое может быть!

4

Пародии на действительность...

Странная вещь. Не всякая действительность поддается пародии, как и не всякая литература. Отчего-то не удавались пародии на Пушкина, и я уверен, никогда не удадутся на Мандельштама. Есть литература, которая в любой ситуации, на самом высоком патетическом взлете, учитывает всю многосмысленность слова и всю многоплановость действия. Пародия уже как бы содержится внутри произведения, она поглощена и преодолена, и потому самостоятельная ее жизнь невозможна.

Это одна сторона вопроса.

Но есть и другая, противоположная.

Неожиданно в высокий ряд непародируемых попадает, например, и Евгений Евтушенко: он просто не оставляет пародисту никакой возможности. Самим автором уже сделано все, чтобы стих был предельно смешным и двусмысленным.

Профессор, вы очень не нравитесь мне,
А я вот понравился вашей жене...

Давайте думать о большом и малом...

Вквлывал я, сам себе мешая,
И мозги свихнул я набекрень...

И так далее.

Вот сюда, к Евгению Евтушенко и примыкает по свойствам пародийности вся коллективная наша жизнь[1].

Все попытки дать гротескное, фарсовое изображение нашего общества в *целом* до сих пор спотыкались и будут спотыкаться впредь о пародийность и фарсовость самого материала. Наша действительность уже есть пародия — на самое себя, на здравый смысл, и поэтому даже талантливое ее передразнивание не откроет никакого нового качества, ничего не добавит к нашим ощущениям. Любой из нас, не социолог, не сатирик, может назвать сколько угодно реальных фактов, выходящих за рамки всякой фантазии. Наше смешное смешней сочиненных шуток, как наше страшное — страшней придуманных ужасов. Нет, снаружи, глобально, оптом — нас не возьмешь.

Галич это очень хорошо понимает и идет не сверху и не извне, а снизу и изнутри ситуации. Общие места есть общие места, для них достаточно упоминания. Только *случай* достоин образа и подробного разговора.

Здесь он, конечно, наследник Зощенки, даже формальное сходство бесспорно, если иметь в виду не внешнюю форму, а основную характеристику содержания.

Все исходные обстоятельства реальны и легко узнаваемы. Герой окарикатурен и уплощен, но в общем тоже вполне реален и как правило достоин сочувствия, пусть шутливого, пусть снисходительного, но не враждебности. Стилизованный рассказ от имени или рядом с героем, простое, естественное развитие действия и неожиданный непременный скандал, что-то необратимо меняющий в герое: настроение, взгляды, отношение к людям. И главное различие как раз в природе скандала. У Зощенки скандал происходит от столкновения героя с некими обстоятельствами, внутренними по отношению к быту, то есть с обстоятельствами того же плана, что и сам герой. Необходимый ассоциативный объем заключен не столько в самой ситуации, сколько в особом строе языка, в словах, а еще более — в пропусках слов, «в брюссельском кружеве, в пробелах, в прогулах». У Галича скандал прямее, грубей, спровоцированней. И жанр все же иной, и цели иные, и иное страшное знание. И сталкиваются у него не быт и быт, а быт, пусть примитивный, но живой,— и внешняя по отношению к любой жизни бездушная тупая машина.

Посмеялись и забыли,
Крутим дальше колесо.
Нам все это вроде пыли.
Но совсем не вроде пыли
Дело это для ОСО.

Человеку, втянутому в это вращение, не то что пожить — поболеть, умереть не дадут спокойно, потому что и болезнь и даже смерть — это тоже проявления жизни.

Центральная газета
Оповестила свет,
Что больше диабета
В стране советской нет.

Поверь, что с этим, кореш,
Нельзя озорничать.
Пойми, что ты позоришь
Родимую печать!

В этой несовместимости нежизни и жизни, в их постоянном столкновении на всех уровнях, в том числе и на самом простейшем (а на самом простейшем как раз выходит нагляднее и ярче), в этом неизбежном непрерывном скандале — весь пафос лучших произведений Галича. Здесь автор четко определен, позиция его абсолютно ясна и не допускает двух толкований.

5

Артистичен ли Галич? Пожалуй, не очень. Стиль его песен резковат, жестковат. Его исполнение не чуждо игры, иногда более, иногда менее удачной, но вряд ли это назовешь артистизмом. В этом смысле у него есть счастливые соперники. Я уже не говорю об Окуджаве, его имя вообще вне данного контекста, но Высоцкий... Уж он-то, безусловно, артист: маска, голос, темперамент. А быт у него тот же, и та же стилизация, и почти тот же самый герой. И значит, все преимущества на стороне Высоцкого. Все, кроме главного.

Тот же быт у Высоцкого, да не тот: он ограничен, замкнут сам на себя, для него не существует внешнего мира, из него нет ни входа, ни выхода. И герой никогда не возвышается над обстоятельствами, ничего не видит дальше них и не способен ни на какие, даже пародийные, выводы. Но и автор тоже не возвышается над героем и ничего кроме не имеет сказать. Мировосприятие героя и автора — это мировосприятие человека толпы, с его злостью, всегда горизонтально направленной, с его отношением к социальным бедам как к неким безличным стихийным бедствиям, с его удивительным словарем, таким, чтобы, все сказав, ничего не сказать. В этом смысле Высоцкий — действительно народный поэт, не изобразитель, а выразитель, и любовь к нему массы заслужена

---

[1] Здесь, впрочем, сказав о сходстве, справедливости ради, надо хотя бы в сноске сказать о различии: об энергии этого человека, о его безусловной тяге к добру и о том, что десятка три настоящих стихов, тех, что в общем потоке автопародий все-таки он сумел написать,— это вовсе не мало и стоит благодарного слова. *(Примеч. автора, 1990)*

и понятна. Уникальный его талант нелепо оспаривать. Он создатель особого, жуткого мира напряженно-смешных, небывало-красивых блатных, а также авторских, исповедальных, безотчетно-отчаянных песен. И, однако, любое приближение к социальной тематике выдает в нем ограниченность человека толпы — отчасти естественную, отчасти искусственную, а порой даже очень искусную.

Высоцкий поет *разрешенные* песни, и неважно, опубликованы они или нет, это их внутреннее принципиальное качество. Напряженный, надрывный стиль исполнения маскирует его лишь в первый момент, а потом — скорее даже подчеркивает.

Вот песня о цветах на нейтральной полосе. Граница! Это же такая тема — волосы заранее шевелятся. И вот, вроде бы... Но вроде и нет. Смысл, скорее, в том, что как это плохо, пока еще границы и у нас, и у них, а также взаимное недоверие, как это пока еще, к сожалению...

«Товарищи ученые, эйнштейны драгоценные!» — долгожданная песня о «научной» картошке, ну, сейчас вдарит, ну, завернет... А сводится все к беззубому припеву: «Небось, картошку все мы уважаем, когда с сольцой ее намять!» — да не беззубому даже, а скорее зубастому, только с той, с другой стороны. Мол, смешно, но справедливо, хочешь жрать — добывай сам, никто тебе не обязан и никто не виноват.

И наконец, спорт — чистое занятие:

Профессионалам
По разным каналам
То много, то мало —
На банковский счет.
А наши ребята
За ту же зарплату
Уже троекратно
Выходят вперед!

За ту же, значит, зарплату.

Если вы скажете, что это шутка, то я скажу, что в ней ровно столько же юмора, сколько в песне «Широка страна моя родная» или в «Марше энтузиастов». Тоже ведь по-своему смешные произведения...

А ведь можно о профессионалах и по-другому, чуть-чуть менее идиллически. То есть даже не менее, а точно так же и почти в таких же точно словах, и различие-то всего лишь в том, что произносит их не взволнованный автор, а взволнованный персонаж.

«И снова, дорогие товарищи телезрители, дорогие наши болельщики, вы видите на ваших экранах, как вступают в единоборство центральный нападающий английской сборной, *профессионал* из клуба „Стар“ Боби Лейтон — и наш замечательный мастер кожаного мяча, *аспирант* педагогического института Владимир Лялин, Володя Лялин, капитан и любимец нашей сборной...»

И сразу, без перерыва и перехода, вступает в действие сам герой, аспирант за ту же зарплату:

А он мне все по яйцам целится,
Этот Боби, сука рыжая.
А он у них за то и ценится,
Мистер-шмистер, ставка высшая.
Я ему по-русски, рыжему:
— Как ни целься, выше, ниже ли,
Ты ударишь — я, бля, выживу.
Я ударю — ты, бля, выживи!

Это, может быть, лучшее произведение Галича. Вещь на удивление многоплановая и живая, не песня — целая пьеса (дорвался-таки драматург!), и все действующие лица как на ладони. И наш тактический-стратегический аспирант, и ихний коварный-продажный мистер, и наш объективный, хотя и увлекающийся комментатор, и ихний переменчивый французский судья. И конечно, к нашим услугам мораль, то самое вожделенное обобщение, к которому мы тяготеем с детства:

Да, игрушку мы просерили,
Прозюзюкали, прозяпали.
Хорошо бы, бля, на Севере.
А ведь это ж, бля, на Западе!
Ну, пойдет теперь мурыжево:
Федерация, хренация...
Как, мол, ты не сделал рыжего —
Где ж твоя квалификация?
Вас, засранцев, опекаешь и растишь,
А вы, суки, нам мараете престиж!
Ты ж советский, ты же чистый,
как кристалл!
Начал делать — так уж делай, чтоб
на встал!
Духу нашему спортивному
Цвесть везде!
Я скажу им по-партийному:
— Будет сде!..

6

Быть может, это покажется странным, но если бы изо всех возможных примеров, демонстрирующих мастерство Галича, мне предложили привести один, я бы выбрал вот такой куплетик:

И не где-нибудь в Бразилии маде,
А написано ж внизу на наклейке,
Что мол маде в СССР, в маринаде,
В Ленинграде, рупь четыре копейки.

Казалось бы, ну хорошо, ну остроумно, но что тут такого особенного? А я убежден, что такая перестановка: неожиданное и живое «в СССР, в маринаде», вместо ожидаемого и линейного «в СССР, в Ленинграде» — доступна только настоящему мастеру.

И конечно же, всей атрибутикой стиха Галич владеет виртуозно. Но только у него эта современная техника используется не как поэтическое средство (да она и никогда не поэтическое средство), а скорей как комедийно-драматургическое. Как в сюжете его песен сталкиваются обстоятельства, так и в строчке сталкиваются слова и звуки, подчеркивая ее пародийный смысл.

Малосольный огурец
Кум *жевал внимательно.*

Скажет слово — и поест.
Морда вся в апатии.
«Был,— сказал он,— *говна, съезд*
Славной нашей партии.

Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про Отца и Гения».

Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш отец
Не отцом, а сукою...»

Полный, братцы, ататуй,
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции.

(Курсив мой.— *Ю. К.*)

Эта песня о разрушении «статуя» замечательна во многих отношениях. Здесь не только кинематографическая зримость и далеко идущая многозначность детали, но и совершенно неожиданный поворот темы, приближение к подлинному трагизму. Бывший зэк, которому, конечно же, не занимать впечатлений, переживает крушение истукана, как самое страшное событие в жизни.

Храм — в мне бы — нв хрена,
Опиум как опиум.
А это ж — Гений всех времев,
Лучший друг навеки!
Все стоим, ревмя ревем —
И вохровцы, и зэки.

(Курсив мой.— *Ю. К.*)

Две последние строчки настолько просты и точны, что могли бы служить эпиграфом ко всей той чудесной эпохе...

Впрочем, отчего же только к той?

И сейчас где-нибудь в Саратове или Сарапске, где в безумной очереди за колбасой люди, пока дойдут до прилавка, прочитывают по три романа Петра Проскурина — подойдите поближе, послушайте разговоры. Там не только ропота вы не услышите или хоть какого-то сожаления — там звучат проклятия современной сытости, которая всех развратила и разбаловала, там ревмя ревут и вохровцы и зэки (каждый — и то и другое зараз) по тем временам, когда было еще хуже, что, естественно, означает лучше, и когда тиран был настоящим тираном, а не то, что не разбери-поймешь...[1]

Нет, то была не ложь и почти не метафора: он и есть подлинный наш отец, а мы — его сукины дети...

И еще: об использовании Галичем бранных слов, всяческих там нецензурных выражений. Он и здесь проявляет безусловный вкус и никогда не тратит такие слова впустую, только ради свободы на всю катушку. И поэтому они у него не назойливы, а всегда необходимы и всегда работают.

Это или точная характеристика персонажа, как непременное «бля» интеллектуала Володи Лямина; или нарочитое соединение несоединимого, соответствующее несоединимости человека и обстоятельств:

Я в отеле их засратом, в «Паласе».
Запираюсь, как вернемся, в валате;

или неожиданное и смешное разрешение ситуации:

Подхожу я тут к одной синьорите:
— Извините, мол, комбьен, битте-дритте,
Подскажите, мол, не с мясом ли банка?
А она в ответ кивает, засранка!..

Вообще, живучесть, запоминаемость строчек Галича, их, как теперь говорят, коэффициент цитирования — высоки чрезвычайно. Это просто готовые формулы обихода.

Мы, выходит, кровь на рыле,
Топай к светлому концу!
Ты же будешь в Израиле
Жрать, подлец, свою мацу!

Скажешь, дремлет Пентагон? Нет,
не дремлет!
Он не дремлет, мать его, он на стреме!

Хоть дерьмовая, а все же валюта,
Все же тратить исключительно жалко!

Мы ж работаем на весь наш соцлагерь!..

И так далее, и так далее, до бесконечности. Просто грибоедовское изобилие.

7

И единственная, на мой взгляд, теневая сторона... Я предпочел бы о ней умолчать,

[1] И здесь также за отчетный период изменилось многое. Очередь осмелела и поумнела, и не верит ни в прошлое, ни в настоящее, ни, тем более, в будущее. А проклятья избалованности и развращенности продолжают, конечно, звучать и сегодня — но только из уст все тех же писателей, в том числе и Проскурина. Колбасы, впрочем, по-прежнему нет... (Примечание автора, 1990)

но уж слишком нарочитым и очевидным будет факт умолчания. Я имею в виду «серьезного» Галича.

Я знаю, есть поклонники и у этих песен, и они, конечно, в своем праве, но здесь необходимо четкое разделение. Потому что, как те благополучные сценарии писал другой Александр Галич, так и здесь перед нами иной автор, хотя и с той же гитарой и под тем же именем. Эпиграфы из классикоа, прямые обличения, горечь и пафос. Модуляции голоса, мхатовские паузы, по слогам растянутые слова и прочие средства давления на слушателя. Все серьезно, сурьезно — и все несерьезно, все на цыпочках и в напряжении. Пропускаешь, перематываешь пленку, чтоб послушать следующую, *нормальную* песню — и мотаешь, мотаешь без конца, потому что мало что скучно — еще и безумно длинно. Это Галич, не удовлетворившись легким жанром, подтягивает себя к высокой литературе. Какая нелепость, какая досада!

Бросьте, так и хочется ему сказать (а уже его, бедного, нет в живых, уже не услышит), бросьте, ну что за самоуничижение! Да ничем она не заслужила, современная литература, этого вашего пиетета, пусть сама еще попробует, дотянется до песен под гитару. Поэзия — до песен Булата Окуджавы, проза и драматургия — до песен Галича. Кто знает, быть может, только здесь, в устном индивидуальном творчестве, осталось еще какое-то место для гармонии между искусством и жизнью.

Здесь осталось место для неожиданности.

Вот уже выясняется, что и гитара не обязательна, как не единственна стихотворная форма. Набрал силу Михаил Жванецкий, и оказалось, что устная эстрадная *проза* — явление тоже вполне реальное. Краткость, точность, быстрота реакции, блестящий юмор, не лабораторный, а идущий изнутри жизни и быта, да при этом еще — абсолютный слух, да при том — обостренное чувство трагического, то есть то, о чем современной прозе остается только мечтать. Наша невнятная бумажная фраза с ее невыразительной пунктуацией теряется и выглядит просто жалкой на фоне открывшихся интонационных возможностей.

Но видимо, испокон веков в каждом комедианте сидит эта язва, этот, и бы сказал, *комплекс Мольера* — неудержимое желание сыграть трагедию. Как будто переход в «высокий» жанр — это непременное повышение в чине и ранге. Да ни в коем случае, ничего подобного, не было так ни в какие времена, а сейчас — уж скорее наоборот!..

Но Галич не услышит, его уже нет, а и услышал бы — не послушался.

1979

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Юрий Борев. Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990.

Книга начинается с признания собирателя: «Около полувека в различных социальных, профессиональных, национальных кругах я собирал притчи, легенды, апокрифы о Сталине». Не живи Сталин «в сердце народном» — не составился бы этот уникальный сборник.

Историн, собранные Ю. Боревым, сгруппированы по хронологическому принципу: от загадочного рождения (кто был отец?) до загадочной смерти (не был ли убит?). Однако собрание легенд не строит мифа о демоническом, непостижимом и страшном существе, наоборот, всячески разрушает образ «сверхчеловека»: главный герой предстает скорее *недочеловеком*, мантия облагораживающей и страшной таинственности, маска благородного романтического Кобы сорваны. «У Сталина была психология и жизненные принципы пахана... Он ведет себя, как главарь банды».

Система имела пирамидальную структуру, на вершине ее находился Сталин, от него исходили импульсы преступной воли. Изображение этой вершины глазами тех, кто был ниже, и дает «Сталиниада». Одни легенды снижают Образ, другие (и их большинство), наоборот, повествуют о «мудром, родном и любимом». Пожалуй, главное, что показывают собранные тут истории,— ничем не ограниченный, беспредельный произвол, опирающийся на нечеловеческую жестокость «кремлевского горца», которую этот монстр, кажется, более всего ценил в своем характере. Но за этим стоит проблема исключительной важности, на которую книга выводит: *комплекс неполноценности* разгромленных «усатым соколом» народов, не знающих нынче, что делать со своим позорным прошлым, со своим *поражением в войне*. Книга эта — не коллекция смешных анекдотов, а след народной трагедии.

Неожиданно у «Сталиниады» оказалась (сейчас!) трудная судьба. Она готовилась к выходу в издательстве «Книга», но, подвергшись атаке и справа, и слева, рисковала стать «тамиздатом». Тогдашний обер-идеолог из ЦК, мило грассируя, высказался решительно против. И все же книга вышла. К сожалению, она не лишена фактических ошибок. Исправим самую главную. Говорится, что рост Сталина — 169 сантиметров. Увы, великий Сталин был на девять сантиметров ниже.

М. ЗОЛОТОНОСОВ

Борис Зайцев. Земная печаль. Из шести книг. Составление, вступительная статья, примечания Л. Иезуитовой. Лениздат, 1990.

Негромко, спокойно, уверенно в русскую литературу возвратилось имя Бориса Константиновича Зайцева, младшего современника Чехова, Л. Андреева, Бунина, Горького, Куприна, ровесника А. Белого и Ал. Блока. За два последних года вышли в свет пять книг его сочинений и множество журнальных публикаций. Среди изгнанников 20-х годов его отличали неспешная манера письма, особый, лирический, состав личности и творчества.

Название «Земная печаль» взято у одной из книг писателя и хорошо передает постоянное философское настроение большинства его произведений. Тон задают лирические миниатюры первой книги — «Тихие зори». В письме ко мне от 12 февраля 1963 года Борис Константинович назвал их «литературной пункцией» всей его жизни, «настоящим» своим жанром. Раздел «Тихие зори» завершает один из шедевров Зайцева — «Аграфена», повесть о крестьянке, чья жизнь понята в единстве с природно-космическим миром.

О радостях и тяготах земного бытия, о его счастии и болях рассказывают три последующие книги — «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль». По радостному, чистому свету, по яркости, безмятежности красок выделяется среди них повесть о детстве «Заря», предшественница автобиографической тетралогии художника. Остальные рассказы и повести — о повседневном и мечтах, которым не суждено воплотиться, о любви, терпении, смирении... Одним из эпицентров был рассказ «Изгнание»: о безвозвратном уходе в прошлое больной, но до боли прекрасной жизни героя и его отчизны.

Среди итоговых произведений конца 10—20-х годов составитель предпочел «Голубую звезду» и ее эпилог «Странное путешествие» — светлую и грустную повесть об Иисусе-Мышкине начала века. А также и всю книгу «В пути». В составивших ее произведениях, особенно в «Анне» и «Авдотье-смерти», с благородной сдержанностью и строгой простотой говорится о трагедии России.

Наше прошлое ожило в художественных шедеврах Бориса Зайцева, оно томит своей красотой и тревожит своей невозвратностью, неразгаданностью.

Л. НАЗАРОВА

Гайто Газданов. Вечер у Клэр. Романы и рассказы. М.: Современник, 1990.

Любителей неожиданностей ждет уникум: абсолютно неведомый у нас писа-

тель-изгнанник. В свое время в довоенных эмигрантских кругах он расценивался как второй (после Набокова) талант зарубежной беллетристики. При этом художественная манера Газданова (1903—1971) прямо противоположна набоковской: никаких метафор или словесной вязи, откровенный кларизм, спрятанность углов, сдержанная психологичность. Однако тихими красками он добивается эффекта не меньшего, чем Набоков.

Вместе с тем, славы Газданов так никогда и не отведал, и вряд ли его ждет громкое посмертное признание — скорее это будет бесспорный мастер XX века, возможно, даже классик, но классик не проблемный, не противоречивый, не спорный. Зато, точно зная себе цену и меру, он использовал отпущенный ему дар сполна.

Название сборнику дал первый нашумевший роман писателя (1930); в книгу включены также романы «История одного путешествия» (1934), «Ночные дороги» (1941) и девять рассказов.

Этапы земного пути Газданова достаточно общие: родился в Петербурге, учился в Полтаве и Харькове, был солдатом на бронепоезде Добровольческой армии, зимовал в Галлиполи, стал парижанином и таксистом, одно время хотел вернуться в СССР, участвовал в Сопротивлении. Однако составитель Ст. Никоненко (в целом тщательно откомментировавший книгу) словно решил не омрачать возвращения беженца и не поведал, что последние двадцать лет жизни Г. Газданов был постоянным сотрудником радио «Свобода» и даже некоторое время возглавлял ее русскую редакцию. И именно в Мюнхене (чего никак нельзя вычитать из вступительной статьи) писатель скончался и похоронен.

За страницами сборника остались также критические и религиозно-философские статьи (о Б. Поплавском, о молодой эмигрантской литературе), в которых проявился яркий эссеистский дар Газданова.

Ив. ТОЛСТОЙ

Иванихин В. Почему у Ильина читают все? М.: Просвещение, 1990.

Никто не будет спорить, что педагог Е. Ильин — человек неординарный. Когда ярый его поклонник и пропагандист восторженно пишет о том, что абсолютно все ребята в его классе с увлечением читают классику (от корки до корки!), что уроки, как спектакли, собирают до сорока «зрителей», что школьники выходят из класса потрясенные и обновленные,— я искренне в это верю. Как, оказывается, близко к их собственной жизни лежат раздумья и муки Татьяны, Пьера, Андрея Болконского! Кажется, вот-вот они сядут к тебе за парту и задушевно поговорят. «Одна Наташа, толстовская, рядом с другой, которая в классе, и одна учит другую».

Здесь-то и заключена соль прославленного автором метода: разрушить в восприятии ребят барьер между книгой и жизнью, «общаться с героями произведений, а не просто их изучать, разбирать, трактовать, исследовать и так далее». Противопоставление «живых» уроков Е. Ильина всем прочим, на которых, как пренебрежительно пишет В. Иванихин, царит «культ глубоких и прочных знаний», и есть стержень его книги.

Противопоставление, прямо скажу, озадачивает. Это где же нынче царит такой культ? И если даже царит, то почему это так уж плохо? И почему «живой» урок непременно исключает обширные и прочные знания?

Пропагандируемый в книге метод позволяет с легкостью необыкновенной преодолевать эпохи и пространства, переходить от Л. Толстого к А. Фадееву, а от А. Блока к Э. Асадову. Впрочем, огорчу В. Иванихина. Метод не нов. Давным-давно Г. Гуковский назвал его «наивно-реалистическим» восприятием литературы, разъясняя учителям, что через него проходят все дети. Задача учителя в том и состоит, чтобы постепенно и очень осторожно его разрушить, научив детей видеть *двойную природу* образов. Без последнего, писал Гуковский, мы уничтожаем произведение. Его ли, погибшего ученого, вина в том, что школьное литературоведение по сей день не стало наукой, а новаторство Е. Ильина есть, в сущности, глубокая антинаучность, которая ныне выдается за последнее слово педагогической мысли? Я обнаружила в восторженном труде В. Иванихина описание массы артистичнейших приемов Е. Ильина по «оживлению» текста, поняла, что с помощью «Войны и мира» можно узнать, «как женщине ждать ребенка», но не нашла ни единого упоминания ни об эпохе создания книг, ни о контексте времени, ни об исторической ситуации, ни о специфике литературы как искусства. Вероятно, все это и есть те излишние «знания», от которых, по мысли автора, проистекает масса бед. Спаси нас, однако, Бог от того, чтобы проповедовать отсутствие знаний. Даже в самом аппетитном виде.

Товарищи педагоги, очень прошу — ищите, творите, сомневайтесь, спорьте; только не забывайте, что литература — все-таки не досужие байки о соседях и друзьях. И даже не газетная статья.

Е. ЩЕГЛОВА

ВСПОМИНАЕМ...

А. ГОРОДНИЦКИЙ

ДАВИД САМОЙЛОВ

> Благодаренье Богу — ты свободен,
> в России, в Болдине, в карантине...
> **Д. САМОЙЛОВ**

Умер Давид Самойлов, трех месяцев не дожив до своего семидесятилетия. Умер 23 февраля 1990 года, в один день со своим многолетним другом еще с довоенных ИФЛИйских времен Борисом Слуцким, пережив его на четыре года. С его уходом кончилась эпоха послевоенной поэзии, наиболее яркими представителями которой были Самойлов и Слуцкий, всю свою жизнь бывшие друзьями-соперниками, на десятилетия пережившие своих институтских талантливых однокашников — Когана, Кульчицкого и других, сложивших головы на полях сражений.

> Они шумели буйным лесом,
> В них были вера и доверье.
> А их повыбило железом,
> И леса нет — одни деревья.

Теперь и этих деревьев не стало.

Самойлов умер неожиданно и легко «смертью праведника». Когда-то он писал: «Надо готовиться к смерти так, как готовятся к жизни». Но все случилось вдруг, в Таллинне, на юбилейном пастернаковском вечере, который он же и организовал. На вечере Самойлов был в приподнятом настроении и, сидя за сценой в артистической, шутил со своим старинным другом актером Зиновием Гердтом. Открывая вечер, говорил о духовном наследии Пастернака, о том, что только теперь мы начинаем его понимать и осваивать. Говорил прекрасно, для тех, кто знал его близко, может быть, более патетично, чем обычно. Чувствовал ли он, что это последняя речь в его жизни? Ему много хлопали. Вручили, как это водится в Прибалтике, цветы. Обычно он никогда не знал, что делать с цветами,— держал их, как веник, вниз головой, старался избавиться поскорее. На этот же раз он, взяв цветы, довольно изящно поклонился залу и пошел за сцену своей легкой танцующей походкой. Там потом и сидел в артистической, разделенной зеркалами, оживленный, улыбающийся, довольный своим выступлением. Выступавший следом Зиновий Гердт читал стихи Пастернака. Во время чтения артист вдруг услышал за сценой негромкий глухой стук и какой-то шум. Через несколько секунд на сцене появился один из организаторов вечера и попросил врача-реаниматора, находившегося в зале, срочно подняться на сцену. Жена Самойлова — Галина Ивановна,— почувствовав неладное, бросилась в артистическую вслед за реаниматором. Когда они вбежали в комнату, Самойлов лежал на полу без сознания и без пульса. Врач сразу же начал делать массаж сердца. Через несколько минут Самойлов очнулся, открыл глаза и сказал окружающим: «Ребята, не волнуйтесь, всё в порядке». Это были его последние слова. После этого он снова потерял сознание, на этот раз навсегда. Приехала вызванная «скорая». Делали какие-то уколы. Несколько врачей, сменяя друг друга, усиленно продолжали массаж сердца. Но все оказалось бесполезным.

В последние годы Давид Самойлов тяжело болел, был жестоким гипертоником, жаловался на сердце. Год назад в Ленинграде, куда он ездил выступать, у него приключился тяжелый сердечный приступ. Перенесенная им в свое время неудачная операция по поводу катаракты на глазах сделала его полуслепым. «С постепенной утратой зренья все мне видится обобщенней». И все-таки его смерть была как гром среди ясного неба. Он был из семьи долгожителей. Его мать Цецилия Израилевна прожила около девяноста лет. И сам он до последнего времени оставался бодрым, энергичным, не признающим нытья и жалоб.

Его смерть была третьей из ряда трагических и безвременных смертей, потрясших меня и всех нас на рубеже 1989 и 1990 годов. 29 ноября неожиданно остановилось сердце моего друга — писателя и историка Натана Эйдельмана, 16 декабря также неожиданно во сне скончался один из величайших людей нашего времени Андрей Дмитриевич Сахаров, которого оплакивала вся страна. И вот,— Давид Самойлов — первый поэт уходящей уже эпохи. Случайно ли это трагическое совпадение? Думаю, что нет. При всем несходстве личностей, жизни и характера трех этих замечательных людей, рода их занятий и одаренности, у них была одна главная общность — непоколебимая вера в возможность мирного реформаторского преобразования нашей многострадальной страны, любовь как конструктивная основа бытия, убеждение, что в себе, а не в окружающих надо искать причины наших бед и неудач, надежда на духовное обновление человека, на его нравственное возрождение. Теперь этой могучей веры, питающей нас, не стало. Не знак ли это судьбы перед решительным переломом в ходе сложных событий в нашей стране

к худшему? Не поворот ли от торжества любви и разума, которые они олицетворяли, к смутным временам, к царству ненависти и насилия? Ведь обязательно надо было убить Илью Чавчавадзе, чтобы потом развязать в Грузии «революционный» террор, и застрелить Жореса, чтобы могла начаться первая мировая война.

У моего ленинградского друга поэта Александра Кушнера есть строки, посвященные смерти великих поэтов Пушкина, Блока:

И кончилось время, и в небе затмилась
звезда, и в истории треснуло что-то.

Строки эти в полной мере могут быть отнесены к Самойлову, Сахарову, Эйдельману.

Тело Давида Самойлова привезли для прощания и кремации в Москву, где администрация Дома писателей, не в пример истории с похоронами Слуцкого, гроб которого не допустили в писательский дом, на этот раз расстаралась, и гражданская панихида была организована «по первому разряду»,— в большом зале, с музыкой, венками, свечами, привезенными из Таллинна, траурным крепом на сцене и последующими поминками в цедэловском ресторане. Одни говорили, что это связано с «табелью о рангах»,— поэт-фронтовик, лауреат Государственной премии, другие — что дело не обошлось без помощи одноклассника Самойлова Анатолия Черняева, высокопоставленного партийного чиновника. На самом деле Черняев действительно серьезно помог, только не с панихидой, а с организацией перевозки гроба с телом для прощания из Таллинна в Москву. Так или иначе, панихида, которую вел поэт Владимир Соколов, прошла достойно — было человек семьсот, но все его друзья и почитатели. Говорили Фазиль Искандер, Юрий Любимов, Борис Чайковский, Юрий Левитанский и другие; Михаил Козаков, Зиновий Гердт, Рафаэль Клейнер читали его стихи. Давида Самойлова кремировали в Донском, и я почему-то впервые обратил внимание, что гроб с покойным прежде, чем опустить его вниз, с уже закрытой крышкой, перехватывают черной траурной лентой и пломбируют, как контейнер. А над сценой в большом зале ЦДЛ, где перед этим шло прощание, висел большой портрет поэта с улыбающимися озорными глазами. Портретом этим занимался бывший главный администратор ЦДЛ Анатолий Семенович, уже давно вышедший на пенсию и похоронивший за свою жизнь не одно поколение писателей, за свой низкий рост прозванный «Малютка». Мне довелось принимать участие в перевозке этого портрета из фотомастерской, когда зашел разговор о том, чтобы отдать его потом вдове. Анатолий Семенович, любивший Самойлова, не заставил себя долго упрашивать, но при этом поднял палец и значительно сказал: «А вы обратили внимание, какой подрамник я вам отдаю? Это исторический подрамник,— я на нем еще Кочетова хоронил».

Я познакомился с Давидом Самойловым весной 1962 года, придя к нему вместе с молодыми московскими поэтами, к которым он благоволил, Анной Наль и Сергеем Артамоновым, домой. Жил он тогда в старом шестиэтажном московском доме на площади Борьбы («Площади борьбы с самим собой», как он в шутку ее называл). Его еще почти не печатали, но мы уже, конечно, знали наизусть его знаменитые «Сороковые, роковые...» и «Смерть царя Ивана». В те времена вообще лучшие стихи ходили в рукописях или запоминались на слух, поскольку их, как правило, не публиковали в бдительной хрущевской прессе. Для нас поэтому уже тогда Давид Самойлов так же, как Борис Слуцкий, были самыми главными поэтами, почти богами. Еще бы! Боевые фронтовики, прошагавшие пол-Европы, да еще такие легкие, звонкие, по-пушкински прозрачные, дышащие свободой стихи.

Со Слуцким я к этому времени уже был знаком, и его суровая осанка, нарочитая офицерская выправка, строгие усы и начальственный тон, заставлявшие робеть, производили на меня серьезное впечатление. Внешность же Давида Самойлова оказалась полной противоположностью моим заочным представлениям,— передо мной стоял маленький, как мне сначала показалось, небрежно одетый, лысоватый человек с удивительно живыми завораживающими и все время чему-то, даже не относящемуся к разговору, смеющимися глазами, начисто лишенный какой бы то ни было внешней внушительности, подобающей бывалому солдату и классику поэзии, каковым он в действительности и являлся.

Меня удивило и даже поначалу шокировало, что уже хорошо знакомый с ним мой ровесник Сережа Артамонов вместо почтительного обращения к нему «Давид Самойлович» называет его каким-то странным и никак не подходящим детским именем «Дезик». На меня, к моему великому огорчению, Самойлов никакого внимания не обратил, так как почти все оно было тогда поглощено девятнадцатилетней Анной Наль, поражавшей тогда яркой внешностью и необычными стихами. Но мне, в те поры терзаемому юношеским честолюбием и комплексами поэтической иерархии, казалась счастьем сама возможность быть в доме такого поэта, как Самойлов, и слушать, что он говорит, хотя и говорил он в тот раз почему-то больше не о поэзии, а о вещах от нее, на мой взгляд, далеких, например, о водке. Стихи мои, уже одобренные Слуцким, он слушал недолго, явно скучая, и вполуха. «Да,— сказал он, хмыкнув,— вы не живописец», чем поверг меня в полное отчаяние. Потом ему позвонили, и он заторопился в «Метрополь» встречаться с какими-то друзьями.

Снова я увидел его два года спустя, уже в подмосковной Опалихе, куда он, женившись на Галине Ивановне Медведевой, переселился в купленный им просторный бревенчатый дом с довольно большим садовым участком. Дом этот отапливался углем, и поэтому обычно в зимнее время Самойлов наряжался в валенки и свитер, а выходя во двор по хозяйственным делам, облачался в старый армейский ватник и такую же ушанку. На черной бревенчатой стене его кабинета висели старая медвежья шкура, охотничье ружье, несколько фотографий и еще какие-то безделушки. Скрипучая, обитая для тепла дверь вела в коридор и далее на кухню, где почти круглосуточно хлопотали Галя и ее мать, Ольга Адамовна, что-то дымилось, варилось и пеклось. Вход в «зимний» дом вел через застекленную, насквозь промерзшую террасу, уставленную старыми детскими колясками и пустыми бутылками, разнообразию этикеток которых мог бы позавидовать любой коллекционер. За домом располагались сад и огород, которые, по всей вероятности, могли бы приносить большой урожай, и поначалу действительно приносили, если бы не полное равнодушие главы семейства к садово-огородным занятиям. Поэтому все это понемногу дичало, что обеспечивало иногда обилие дикорастущей малины.

Почти каждый будний день, не говоря уже о выходных и праздничных, распахивалась никогда не запираемая калитка, и в дом вторгались гости, обычно из числа друзей хозяина. С ними, однако, появлялись затем и их друзья, а то и просто посторонние приезжие люди, желающие повидать поэта и поделиться с ним кто стихами, кто неудачами. Все они, как правило, шли с бутылками, но похоже, что их абсолютно не интересовало, свободен ли хозяин дома от работы, желает ли он сейчас немедленно бросить свои стихи или переводы и общаться с ними. Так что многие дни и даже ночи превращались в непрерывное застолье, где одни гости вдруг спохватывались о делах и убегали к очередной электричке, но им на смену неизменно появлялись другие. Хозяин же, которого и я уже к тому времени тоже привычно называл «Дезик», постоянно пребывал за столом, и приходилось только удивляться, когда же он успевает работать. А работа была каторжная. Стихи Самойлова печатали в те годы мало, и он жил переводами. Семья между тем разрасталась, появились дети, сначала Варвара, потом Петя, потом Павлик.

Надо сказать, что свой второй брак Дезик официально узаконил только в семьдесят первом году, уже после рождения Пети. При регистрации не обошлось без курьезов. В то время как «народная депутатка» торжественно зачитывала казенный текст, старшая дочь новобрачных Варвара, которой к этому времени было уже около пяти лет, вырвалась из рук сопровождавших и кинулась к папе с мамой. «А это кто?» — испуганно спросила депутатша, прервав от неожиданности чтение. «А это их будущий ребенок»,— невозмутимо ответил один из свидетелей — Анатолий Якобсон. Дети неизменно болели, всех надо было кормить, и воз переводов все возрастал. Возможно, именно в эти годы Давид Самойлов окончательно сформировался как один из главных мастеров русской школы поэтического перевода. Его поначалу-то и в Союз писателей приняли по секции переводчиков. Любил ли он эту свою многолетнюю кропотливую и не всегда благодарную работу, отнимающую время и силы, этот почти пожизненный литературный оброк, связывающий его жесткими сроками сдачи переводов и произволом редакторского вкуса? Ведь не зря ненавидели переводы, занимаясь ими по суровой жизненной необходимости, многие выдающиеся наши поэты. Анна Андреевна Ахматова сказала как-то, что «переводить стихи — все равно, что есть собственный мозг». Помню, уже в Пярну Дезик должен был переводить какую-то огромную драму в стихах, к которой у него душа не лежала. Это называлось «двигать шкаф».

И все-таки, мне кажется, что Самойлов любил переводить. Во всяком случае, стихи своих любимых поэтов он переводил с таким блеском и свойственной только ему изящной легкостью, что они органично перевоплощались в русские стихи. Благодаря удивительной музыкальности его уха, тонкому поэтическому слуху и неповторимому таланту пересмешника русские читатели впервые смогли открыть для себя многих крупнейших поэтов Франции и Польши, Венгрии и Чехословакии, Грузии и Армении, Литвы и Эстонии. Более того,— его переимчивый слух позволил ему воплотить в своих стихах многие интонации народной славянской поэзии. Отсюда стихи о воеводе Буке, отсюда знаменитые его строки:

Если в город Банья Лука,
Ты приедешь как-нибудь,
Остановишься у Буга
Сапоги переобуть...

Отсюда, наконец, его несколько неожиданные для современников баллады последних лет «Ясеневый листок», «Вставайте, Ваше Величество» и другие. Так Самойлов, как некогда Пушкин, брал веч-

ные камни народной поэзии для своих поэтических зданий.

Слава Самойлова как поэта-переводчика быстро распространилась по всей стране. Издательства наперебой заказывали ему переводы. Многие поэты из южных республик приезжали к нему с ящиками коньяка или винными бочонками, приложенными к рукописям. Заслуживали ли их стихи переводов такого поэта, как Самойлов? Не знаю, да это теперь и не важно, потому что русские переводы, опубликованные под их именами, были уже настоящими стихами. Дело доходило до курьезов, когда к Самойлову приезжали эмиссары с юга и за обильным столом говорили ему: «У нас есть очень хороший поэт... Надо, обязательно надо, чтобы именно Вы перевели его стихи. Это настоящий поэт, очень большой. Его надо открыть для русских. Только вот у него рифма иногда бывает слабовата. Надо ему помочь с рифмой. Да, и вот у него образов не всегда достаточно в стихах. И с этим ему надо помочь... Очень просим».

Я вспоминаю авторский вечер одного из действительно хороших литовских поэтов Эдуардаса Межелайтиса, проходивший в Москве в ЦДЛ несколько лет назад. Зал был полон. Сначала Межелайтис читал свои стихи на литовском языке, мало понятном большинству аудитории, а потом эти же стихи читали по-русски поэты, переводившие его,— Белла Ахмадулина, Юрий Левитанский, Андрей Вознесенский. В конце вышел Давид Самойлов, который, судя по румянцу и блеску в глазах, попал на сцену уже через буфет. Он блистательно прочел несколько стихотворений Эдуардаса Межелайтиса в своих переводах, а потом неожиданно сказал: «За что я люблю моего друга Межелайтиса? За то, что он очень умный человек и подружился с хорошими русскими поэтами, которые переводят его стихи на русский. Вот поэтому-то он и классик». Межелайтис и впрямь оказался умным человеком, и дело закончилось смехом.

Лет десять назад в Москве в театре «Современник» была снова поставлена знаменитая комедия Шекспира «Двенадцатая ночь». Поставил ее специально приглашенный для этого английский режиссер Питер Джеймс. По этому случаю Давиду Самойлову театр заказал новый перевод пьесы. И Самойлов перевел Шекспира, притом совершенно современным языком, языком Москвы семидесятых годов, да еще и несколько озорных зонгов написал к комедии на музыку Давида Кривицкого. Я присутствовал на премьере в театре на Чистых Прудах, куда, ввиду отсутствия билета, прошел по номерку от пальто Самойлова из гардероба. В спектакле, конечно, были заняты все ведущие актеры,— Мальволио играл Олег Табаков, сэра Эндрю Эгьючика — покойный Олег Даль, шута — Валентин Никулин. Главное ощущение, оставшееся у меня от спектакля,— постоянное состояние совершенно, до неприличия неудержимого смеха, овладевшего мной на протяжении всего театрального действия. Смеялся я так, что на меня оборачивались соседи. После спектакля всех актеров и англичанина-режиссера много раз вызывали на сцену бурными аплодисментами. Наконец вытащили туда и Самойлова и долго ему хлопали. Вернувшись оттуда, он сказал мне, тронутый успехом: «Ты понимаешь? Я же выходил за автора!».

Помнится, потом поехали отмечать премьеру в его московскую квартиру, бывшую тогда на Пролетарском проспекте. Было много народу, включая английского гостя. Все говорили о том, что Самойлов должен теперь перевести заново все комедии Шекспира, чтобы дать им новую жизнь, как Пастернак дал новую жизнь шекспировским трагедиям. Жена же Галя этой идеи явно не одобряла. Меня это удивило, и когда гости разошлись, я спросил ее об этом. Она сердито ответила: «Дезик должен прежде всего писать стихи». «Что ты,— возразил я,— это ведь тоже стихи — Шекспир». «Ты не знаешь Дезика,— сказала она,— Дезик все хочет делать сразу — стоять на сцене, переводить Шекспира, пить с друзьями, крутить роман и писать гениальные стихи, и при этом в одно и то же время. Так не бывает». Она была права. Больше Давид Самойлов Шекспира не переводил.

Возвращаясь же к поэтическим переводам Самойлова, можно с уверенностью сказать, что даже если бы он совсем не писал собственных стихов, он все равно остался бы в нашей литературе как непревзойденный мастер поэтического перевода. Когда стихи переводит не просто переводчик, а поэт, всегда происходит как бы противоборство двух личностей, двух поэтических систем, где побеждает сильнейший. Чтобы убедиться в этом, достаточно восстановить в памяти, например, прекрасные переводы шекспировских сонетов, сделанные Самуилом Маршаком, и его собственные стихи, скорее похожие на переводы. Обратный пример с Эдуардом Багрицким, переведшим «Балладу о рубашке» Томаса Гуда, где перевод убедительнее подлинника. У Самойлова же, сильного и самобытного русского поэта, было редкое чувство вкуса и меры, никогда не позволявшее ему «гнуть под себя» чужие стихи. Может быть, именно это и обеспечило точную гармонию его переводов.

В середине семидесятых годов Самойловы купили сначала частично, а потом и целиком дом в Пярну в Эстонии на берегу Пярнуского залива и практически переселились туда. Знаменитый и многим памятный дом в Опалихе был продан и прекратил свое литературное существование. А жаль! Ведь именно этот дом, где в гостях у Самойлова бывали многие видные литераторы — от Анатолия Якобсона и Фазиля Искандера до Вячеслава Иванова и Лидии Корнеевны Чуковской, стал теперь своеобразным памятником эпохе шестидесятых годов. В нем всегда жили какие-то приехавшие родственники или ученики, а то и просто друзья. Быт, хотя и трудный, быт дома, где росло трое детей, полусельский, никогда не бывал проблемой, как на палубе корабля, где в машинном отделении все в порядке.

Частые застолья и вереница гостей образовывали как бы внешнюю декорацию этого дома. Каждое утро, даже с тяжелой головой, хозяин садился за свою нелегкую и часто постылую работу. А разговоры за столом были совсем не праздными. Шли шестидесятые годы, когда перед российской интеллигенцией стоял трудный выбор — эмиграция или духовная внутренняя борьба, противостояние тупой махине полицейского государства. Тесная дружба связывала Давида Самойлова с людьми, близкими к «Освободительному движению» — Львом Копелевым, Лидией Корнеевной Чуковской, Юлием Даниэлем (после его возвращения из ссылки), Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.

Наиболее трагической фигурой в этом окружении оказался поэт и переводчик из семинара, который вели в те годы Давид Самойлов и Мария Петровых, Анатолий Якобсон, самый, пожалуй, любимый ученик Самойлова. Талантливейший литератор, человек с болезненно обнаженной совестью, со всей юной горячностью и непримиримостью он отдал свою жизнь диссидентскому движению, став одним из основных составителей знаменитой «Хроники» и обрекший себя на посадку или высылку. Все, что писал в те годы Якобсон, и, в первую очередь, его блестящие литературоведческие работы, в том числе книга о Пастернаке и статьи об Ахматовой, поэме Блока «Двенадцать», советских поэтах-романтиках, во многом черпалось из общения с Дезиком. Самойлов долго и болезненно переживал его вынужденный отъезд и последовавшую затем безвременную и трагическую гибель, которой посвятил стихи. Для всех этих людей и для многих других, включая А. Д. Сахарова, Давид Самойлов был в те годы мерилом общественного самосознания. Тогда интеллигенция тянулась к поэтическому слову, и Давид Самойлов был одним из главных центров этого поэтического притяжения.

Вместе с тем, Самойлов всегда был последовательным противником эмиграции и убежденно считал, что российский писатель не должен покидать родину, полностью солидаризируясь в этом с Ахматовой и Сахаровым. В его архивах сохранились не отправленные им письма к Солженицыну, где он формулирует свою позицию. Кроме того, Самойлов, подобно Пушкину, физически ощущал потребность быть независимым как от официальных инстанций, так и от политических движений, которым сочувствовал. К нему полностью могут быть отнесены автобиографические строки Пушкина в его выдуманном переводе «Из Пиндемонти»:

Зависеть от властей? Зависеть от народа? —
Не все ли вам равно? Бог с ними! — Никому
Отчета не давать!..

В старом бревенчатом, потемневшем от времени опалихинском доме существовал в те годы особый, не всегда трезвый, но неповторимый социум творческих людей, и витал тот странный дух свободы, который я нигде не встречал за его пределами. Иногда меня охватывает ностальгия по нему. В Пярну тоже был дом, и гораздо более роскошный и вместительный, однако там это чувство уже не возникало. Может быть, потому, что прошли молодые годы, и все стало восприниматься подругому, а может быть, и потому еще, что дом этот стоял уже не посередине нашей жизни в Подмосковье, а в эстонском курортном городке, среди чужого языка, чужой истории и быта, и все поэтому виделось не изнутри, а как бы со стороны.

И здесь, однако, Давид Самойлов со свойственной лишь ему редкой особенностью становиться центром общения, создал удивительное литературное силовое поле, в зону действия которого попадали все приезжавшие в Пярну друзья и литераторы. Я в свое время даже придумал выражение «дезоцентрическая система». Поэтому с середины семидесятых многие завсегдатаи Опалихи, в том числе и мы, стали наезжать летом в Пярну. Организовывались совместные купания, хотя купаться Самойлов любил не очень, так как после болезни плавал плохо. «Люблю природу, но не люблю стихию»,— сказал он как-то. Устраивались разнообразные литературные игры, до которых Дезик был великий охотник. Чего стоит, например, его стихотворная переписка «Из Пярну — в Пярну» с отдыхавшим там в то время Львом Зиновьевичем Копелевым, которому он писал, в частности:

Ты всегда бываешь, Лев,— лев,
Не всегда бываешь, Лев, прав.

Вместе с рижским писателем Юрием Абызовым, своим давним приятелем, Самойлов придумал целую страну — Курзюпию, с историей и, конечно, своей литературой, которую они старательно переводили на русский язык. Был создан также специальный словарь курзюпского языка и ряд курзюпских имен, такие, например, как имена двух сестер — Ссална Ваас и Клална Ваас.

Иногда, в вечернее время, совершались посиделки «на Ганнибаловом валу», крепостной стене старинного города Пернова, возведенной, по преданию, под руководством и по чертежам знаменитого прадеда Пушкина царского арапа Абрама Петровича Ганнибала, что нашло потом отражение в известной поэме Давида Самойлова «Сон о Ганнибале». Дезик обладал неистощимой мальчишеской фантазией на различного рода выдумки и затеи. Например, надевал шляпу и очки, брал в руки трость и изображал «богатого старика», каким он хотел бы когда-нибудь стать. Или (только что), написав песенку на музыку композитора Бориса Чайковского для детской пластинки «Слоненок-турист», собирал вокруг себя детей и взрослых. Все прыгали на одной ноге и дружно распевали вслед за ним: «Цык-цык, цуцик, цык-цык, цуцик». Рядом с Самойловыми на улице Тооминга жил летом вместе с дочкой известный скрипач Виктор Пикайзен, на концерты которого мы ходили, и который неоднократно бывал в гостях у Дезика. Однажды во время утреннего купания Дезик сказал мне: «Ты знаешь, я вчера был просто потрясен Пикайзеном. Представляешь, он приходит после концерта домой, ужинает кефиром с булочкой и потом сам себе еще играет на ночь на скрипочке! Ему, оказывается, мало! Кроме того, я долго думал,— откуда у еврея может быть такая странная фамилия — Пикайзен, и сегодня я, наконец, сделал открытие: никакой он не Пикайзен — обыкновенный Айзенпик!»

Шутки Самойлова были неистощимы. Будучи свидетелем в ЗАГСе при моей женитьбе в 1972 году, он сказал: «Алик, я должен преподать тебе основы этики семейных отношений. Жене, конечно, можно и нужно изменять, но есть нравственные нормы, которые переступать нельзя. Например,— ты пришел домой в пять утра. Ну, бывает,— засиделся у приятеля, выпили, ничего. А теперь представь, что ты пришел домой не в пять, а в половине шестого. Это уже совсем другое дело — ты не ночевал дома. Ты понял разницу?»

Вообще, когда я думаю о Самойлове, его облик в моей памяти всегда связан с его домом. В Опалихе или Пярну, но обязательно с домом. В Москве на Астраханском у Самойловых была городская квартира, но Дезик ее недолюбливал, бывал в ней только недолго, наездом. Просторно он чувствовал себя только в доме. В доме, где плачут или смеются дети, пыхтит и варится что-то на кухне, шумят за столом и спорят наехавшие гости. А на другом столе в кабинете лежит начатая рукопись. А за стенами дома лежат подмосковные задымленные снега или шумит неприветливая осенняя Балтика. Не оттого ли образ Дезика легко ассоциируется в моем сознании с образами маститых мастеров Возрождения в их шумных итальянских домах, окруженных подмастерьями, учениками, детьми и домочадцами? Помните его «Свободный стих»? Сейчас таких мастеров больше нет. Ушел последний. Самойлов, вообще, чем дальше, тем больше не любил большой город с его суетой, беспрерывными телефонными звонками, отсутствием моря или леса и своей постоянной зависимостью от конъюнктуры событий, здесь происходящих, на которые он, как один из первых поэтов, обязательно должен был реагировать. Он ощущал органичную потребность быть подальше от суетной и бестолковой столичной жизни с ее важными на первый взгляд, но не имеющими отношения к поэзии событиями. К нему полностью могут быть отнесены строки Иосифа Бродского из «Писем римскому другу»:

Если выпало в Империи родиться,
То уж лучше жить в провинции у моря.

Давид Самойлов и жил «в провинции у моря», найдя наиболее удобную для себя форму внутренней эмиграции. «Я выбрал залив»,— пишет он сам о себе. Пожалуй, именно здесь и проходит его главный личностный и поэтический водораздел с Борисом Слуцким. Тот всю жизнь старался быть как можно ближе к центру событий, жадно впитывал в себя все последние новости, стремясь все время находиться в курсе происходящего. Его стихи почти всегда неразрывно были связаны с конкретными политическими событиями, переживаемыми нашей страной: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин», «Покуда над стихами плачут», «Евреи хлеба не сеют», «Я строю на песке». Эти и многие другие стихи его поражают прицельной точностью беспощадных жестких формулировок, острой актуальностью и незамедлительной быстротой реакции. На этом фоне стихи Давида Самойлова кажутся мягкими, порой совсем неактуальными. В них часто как бы отсутствует личная позиция автора (как, например, в одном из лучших его стихотворений «Пестель, поэт и Анна»). Самойлов избегает жестких форм и формулировок, поэтических силлогизмов, внешней экспрессии стиха. При внимательном чтении, однако, убеждаешься, что поэтическая ткань его стихов гармонична и неразрывна, и негромкие, казалось бы, откровения поражают своей глубиной:

Ах, как я поздно понял
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что порой напрасно
Давал страстям улечься,

И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься.

Или:

Путь лежит ледяно и сухо,
Ночь стоит высоко и звездно,—
Не склоняй доверчиво слуха
К прозревающим слишком поздно.

Одной из главных особенностей стихов Давида Самойлова является присутствие в них воздуха, ощущение удивительной музыкальной гармонии их звучания. Секрет этого остается непонятным. Эта прозрачная пушкинская гармония не «поверяется алгеброй». При всем очевидном несходстве эпох, лексики, судеб и характера поэтических талантов, как это некоторым ни покажется странным, звонкие самойловские стихи более всего сродни пушкинским. Их сближает, помимо прочего, их легкость и кажущаяся простота.

Не менее важным параметром, связывающим напрямую поэзию Самойлова с пушкинской, можно считать то постоянное ощущение улыбки, которое присутствует у Самойлова даже в самых серьезных стихах, явление вообще достаточно редкое и потому особенно ценное в русской поэзии: «Все это ясно видел Дибич, но не успел из дома выбечь», или: «По ночам бродил в своей мурмолочке, замерзал и бормотал: нет, сволочи! Пусть пылится лучше — не отдам». Не говоря уж о таких поэмах, как «Дон Жуан» или «Юлий Кломпус». Помню, как после первого прочтения озорной поэмы «Юлий Кломпус» в Москве, куда он привез ее из Пярну, Дезик сказал мне: «Сам не знаю, как она у меня выскочила. Время было самое неподходящее. Понимаешь, Петя болеет, Галя — черная, денег нет, а из меня, как наало, прет эта поэма. Ну что ты будешь делать!» Может быть, именно поэтому всю жизнь ему оставались ближе других светлые, несмотря ни на что, образы гениальных Шуберта и Моцарта: «Шуберт Франц не сочиняет,— как поется, так поет». Или: «Но зато дуэт для скрипки и альта!». Солнечная поэтическая натура Давида Самойлова была прямым продолжением его могучего жизнелюбия, побеждающего болезни. Помню, как-то в Пярну его вместе с нами пригласили в «генеральскую» финскую баню, стоявшую на берегу реки. Войдя в роскошный, устланный оленьими шкурами и увешанный рогами и светильниками предбанник, мы обнаружили посреди него огромный стол, уставленный до отказа разнообразными бутылками и закусками. Все, покосившись на стол, прошли дальше в раздевалку, а Дезик сел и сказал: «Я вообще-то баню не люблю. Я бы лучше сейчас отдохнул и чего-нибудь выпил».

Что же касается политизированной декларативной эстрадной поэзии, ставшей столь модной в начале шестидесятых и снова набирающей силу в наши дни, то Самойлов ее откровенно не любил, не считая ее явлением поэтического ряда. С горечью говорил он мне при последней встрече в Москве у него дома на Астраханском о мутной волне политизированной поэзии, которая поднимается сейчас, о конъюнктурных однодневках, звучащих с эстрад, о том, что действительная поэзия становится не нужна в наш публицистический период, жадный до сенсаций и разоблачений. При всем при том поэт Самойлов всегда был подлинно русским поэтом с государственным сознанием того ушедшего поколения, которое кровью своей на полях самой кровавой войны в истории человечества заплатило за право на это сознание.

Иногда, хотя, на мой взгляд, и несправедливо, его обвиняли даже в «имперском» восприятии событий. Так однажды наш общий знакомый прозаик Марк Харитонов послал ему прочесть рукопись своего большого романа об Иване Грозном. Прочтя роман, Самойлов написал автору длинное письмо, где, положительно отзываясь о романе в целом, упрекал в то же время автора в «неправильной исторической концепции при освещении событий. Так, татарский историк навряд ли мог бы правильно осветить Куликовскую битву». Сам Самойлов вполне унаследовал моральную традицию ведущих российских писателей от Достоевского до Толстого искать в себе, а не в окружающих, причины общественных неурядиц. В последнюю встречу мы с ним из-за этого даже поспорили, так как он вдруг начал говорить об исторической вине евреев перед русским народом: «Не надо было евреям лезть в первое советское правительство и чека».

Во всем остальном же, впрочем, он был совершенно русским, а не «русскоязычным», как его стараются представить идеологи литературной «черной сотни», писателем. Не случаен в связи с этим его живой интерес к российской истории. Исторические стихи и стихотворные драмы Давида Самойлова — тема отдельного исследования. Во всех своих исторических произведениях он концептуален. Это не красочные иллюстрации к событиям былого, а как бы опрокидывание их в проблемы сегодняшнего дня. Наиболее яркий пример этого — поражающая своим лаконичным изяществом поэма «Струфиан», в которой императора Александра Первого похищают из Таганрога инопланетяне. Фантастический современный фон, возникший в поэме на основе рассказов и лекций одноклассника Дезика, известного «тарелочника» Феликса Юрьевича Зигеля, совсем не случаен. Он подчеркивает актуальность проблем государственного переустройства бунтующей многона-

циональной империи. И в челобитной, подаваемой Государю Федором Кузьминым, легко угадывается современная программа сторонников «Патриотической России»:

Чтобы России не остаться
Без хомута и колеса,
Необходимо ваше царство
В глухие увести леса...
И, завершив исход Синайский,
Во все концы пресечь пути,
А супротив стены Китайской
Превыше оной возвести.
В Руси должна быть только Русь.
Татары ж и киргиз-кайсаки
Пусть платят легкие ясаки,
А там как знают, так и пусть!

В стихотворной драме «Меншиков» тупая махина государства ломает все нормальные человеческие чувства и, прежде всего, любовь Сапеги и Марии Меншиковой. Историческая поэма «Сон о Ганнибале», посвященная, казалось бы, семейной драме знаменитого предка Пушкина, на самом деле посвящена сложным, всегда актуальным проблемам любви и взаимного понимания близких людей. «Он заплатил за нелюбовь Натальи» — это уже о Пушкине и обо всех нас. Поэмы Самойлова, как правило, коротки. Для них характерно стремительное развитие сюжетов и характеров героев. Композиция — редкий дар. Давид Самойлов владел им в совершенстве, что еще раз обличает в нем мастера. Он, кстати, сознавал это и не без гордости говаривал: «Ну, уж сюжетом-то я владею».

Поразительна художественная ткань этих поэм, где реплики героев органично сплетаются в строке с описанием происходящего на сцене: «Дон Жуан, Чума! Холера! Треск, гитара-мандолина! Каталина! Каталина (Входит) Что вам, кабальеро?». Предельно точны изображения: «Доныне эту вязку я помню под рукой и грустную развязку с искательницей той». Что же касается истории, то и в поэмах, и в емких исторических стихах («Смерть Ивана», «Конец Пугачева») автора привлекали прежде всего нравственные проблемы, связанные с поступками героев, соотношение государственной необходимости и христианских заповедей. Все беды «Смутного Времени» на Москве происходят «потому, что маленьких убивать нельзя!». Показателен в этом отношении и диалог Ивана Грозного с обречённым на мучительную смерть холопом:

— Ты милосердья, холоп, не проси.
Нет милосердных царей на Руси.
Русь — что корабль. Перед ней — океан.
Кормчий — гляди, чтоб корабль не потоп!..
Правду ль реку? — вопрошает Иван.
— Бог разберет,— отвечает холоп.

Почти все поэмы Самойлова, от «Снегопада» до «Кломпуса», так же, впрочем, как и стихи, во многом биографичны. Даже когда автор пишет о легендарном мастере средневековья Вите Свтоше, в конце жизни отправившемся в Нюрнберг и «запропавшем по дороге», он пишет во многом о себе. Вместе с тем, если развивать дальше дискуссионную тему о сходстве Самойлова и Пушкина, то необходимо отметить еще одну общую черту — некую внешнюю непричастность художника к изображаемым им героям и событиям. Именно эта черта Пушкина вызвала критику со стороны Андрея Синявского в его знаменитой работе «Прогулки с Пушкиным», публикация фрагмента которой в журнале «Октябрь» наделала столько шума. Так же, как и Пушкин, Самойлов равно доброжелателен ко всем своим героям, но как бы отстранен: «Как прощался он с Устиньей, как коснулся алых губ, разорвал он ворот синий и заплакал, душегуб». В стихах и поэмах Давида Самойлова нет резонерства. Они рассчитаны на умного собеседника, который сам сумеет во всем разобраться.

Еще живя в Опалихе, Самойлов наряду со стихами начал писать автобиографическую прозу, книгу о себе, своей эпохе, своих современниках. Книгу эту он не успел закончить, но даже те куски из нее, которые мне посчастливилось услышать в его чтении, очень значительны как по содержанию и нравственной позиции автора, так и по все той же неповторимой летящей легкости самойловского стиля.

Говоря о литературном стиле Самойлова, с сожалением приходится заметить, что этот прозрачный пушкинский поэтический стиль, ставший в наше время модных модернистских новаций уникальным, с его уходом может оказаться вообще утраченным. В своей поэзии Давид Самойлов со всей глубиной показал огромные, еще не использованные богатства классической русской поэзии. Не случайно поэтому он занимался специальным изучением русской рифмы, разработкой теории стиха. Его знаменитая «Книга о русской рифме» — одна из редких книг такого рода, написанная не литературоведом, а поэтом, остается бесценным вкладом в поэзию и литературоведение. Всю свою жизнь Давид Самойлов, как магнит, притягивал к себе поэтическую молодежь. У него было много учеников, однако все они пишут иначе. Его моцартовски-легкий стиль никто из них перенять не сумел. Может быть, именно об этом думал он еще в молодости, когда написал в стихотворении «Старик Державин» пророческие строчки:

Был старик Державин льстец и скаред,
И в чинах, но разумом велик.
Знал, что лиры запросто не дарят.
Вот какой Державин был старик!

К своим публичным выступлениям, которых было немало, Давид Самойлов почти всегда готовился тщательно, продумывая их композицию до деталей. У него был на редкость обаятельный голос и такая же завораживающая манера читать стихи,— очень мягкая и ненавязчивая. В отличие от многих московских поэтов, превращающих чтение стихов в эстрадный номер или выступление на митинге, размахивающих руками и жестикулирующих каким-то особым образом, вскрикивающих вдруг в процессе чтения, чтение Дезика начисто было лишено какой бы то ни было внешней аффектации. Стихи его были настолько насыщены и естественны, что совершенно не требовали никаких звуковых или мимических дополнений при чтении. Голос его, казалось бы, негромкий с удивительной точностью передавал все оттенки и полутона звучащей строки. Послушайте его стереодиски, и вы сами немедленно убедитесь в этом.

В последние годы на своих авторских вечерах в Москве, Ленинграде и Таллинне, где у Самойлова сложилась своя многолетняя аудитория, он, как правило, выступал не один, а с кем-нибудь из своих друзей — актеров, которые читали его стихи. Обычно это были Михаил Козаков, Рафаэль Клейнер, Яков Смоленский, Зиновий Гердт, Лилия Толмачева. Все они актеры и чтецы самого высокого класса, глубоко любившие Дезика и его стихи и вкладывавшие в чтение их весь свой талант. Чтение их, однако, само по себе неплохое, звучавшее, как правило, в первом отделении каждого вечера, ни в какое сравнение, конечно, не шло с чтением самого автора во втором отделении, несмотря на то, что в последнее время Дезик забывал строчки (и тут же весь зал принимался хором их подсказывать), снимал и надевал очки и держался без всякого сценического напряжения. «Играть» на сцене его даже остросюжетные поэмы было совершенно не нужно. Рафаэль Клейнер, много лет работавший с Дезиком, который был режиссером многих его поэтических моноспектаклей — по стихам поэтов, погибших на полях Отечественной войны («Строки, пробитые пулей»), по Алексею Константиновичу Толстому, читая стихи Самойлова, всячески смирял свой громовой голос, стараясь передать мягкость Дезиковских интонаций.

Так же нелегко было переложить стихи Самойлова на музыку. Я помню, как нелепо и чужеродно стихам звучал в сопровождении фортепьяно уж не помню кем написанный романс на стихи «Я — маленький, горло в ангине...», да еще и с вокальной сопрановой колоратурой. Всякая внешняя патетика и напыщенность не уживались с органическим строем этих стихов. Мне кажется, что только Сергею Никитину и Виктору Берковскому, талантливым композиторам-самоучкам с прекрасным поэтическим слухом, удалось найти правильную интонацию музыкальной аранжировки стихов Самойлова. Это относится к песням Сергея Никитина «Триптих о царе Иване», Виктора Берковского «Сороковые, роковые» и многим другим. Однажды Сергей Никитин спел мне только что написанную им на стихи Самойлова новую песню «Давай поедем в город». Мелодия песни, показавшаяся оригинальной и точной, мне понравилась, о чем и Сергею тут же и сказал, поздравив его с тем, что ему удалось придумать такую хорошую мелодию. «Да я вовсе и не придумывал ее,— ответил он,— она уже была в стихах. Просто я ее оттуда извлек и подчеркнул».

Сам же Самойлов песен, как правило, не писал (не считая, конечно, работы с театрами, в результате которой, в частности, появилась ставшая народной и безымянной уже упомянутая песня «Ах, поле, поле, поле» или песен для «хора терских казаков» в годы, когда его не печатали). К авторской песне относился довольно равнодушно, хотя любил, конечно, Окуджаву, Высоцкого и Кима, которому незадолго до смерти написал предисловие для книжки. Помню, как в семьдесят седьмом году я присутствовал на творческом вечере Самойлова на телевидении в Останкино, где он читал стихи и отвечал на многочисленные вопросы. В ответ на вопрос о поэтической ценности авторской песни он сказал: «Настоящая поэзия не нуждается в гитарной подпорке». Я, конечно, остался при своем мнении, но именно стихи Давида Самойлова, одинаково хорошо воспринимающиеся на слух и при чтении с листа, могут служить примером такой поэтической самодостаточности.

Еще с фронтовых и даже довоенных ИФЛИйских лет Самойлов любил застолье и был изрядным сердцеедом. Невысокого роста, подвижный и порывистый в молодости, как Пушкин, с завораживающе красивыми и живыми глазами, на всех женщин действовал он безотказно, что создавало порой то драматические, то комические ситуации. Со скромной гордостью записал он в шуточном сборнике «В кругу себя»: «Меня любили дочери пяти генералов, двух маршалов и одного генералиссимуса». «И это был не Чан Кай-ши»,— заявил на одном из вечеров его друг Зиновий Гердт. Поэт Юрий Левитанский написал про его многочисленные увлечения: «А эту Зину звали Анной,— она была прекрасней всех». Сам Самойлов однажды жаловался мне, что Левитанский «начисто убил» его любимые стихи о Франце Шуберте, начальная строка которых звучала так: «Шуберт Франц не сочиняет — как поется, так поет». Остряк Левитанский заменил всего лишь

одну букву в слове «поется», после чего Дезик навсегда вычеркнул эти стихи из своего концертного репертуара. «Все время боюсь прочесть не так»,— объяснил он. Один из близких родственников Дезика, живший в незапамятные времена с ним вместе на даче в Мамонтовке, вспоминает, как однажды, в холодный зимний день Дезик неожиданно появился на этой даче с дочерью «Величайшего гения всех времен и народов» и заставил растерянного родственника немедленно убраться на холодный чердак. Однако совершенно неожиданно появилась вдруг жена поэта, и на холодном неотапливаемом чердаке пришлось довольно долго отсиживаться и самой дочери генералиссимуса, которую сердобольный родственник, когда Дезик вынужден был удалиться вместе с женой, долго отпаивал горячим чаем и провожал на электричку.

В ресторане ЦДЛ и в некоторых других ресторанах Дезик пользовался общей любовью (и, кажется, порой даже кре́дитом) всех официанток. Действительно, в шестидесятые годы он проводил там довольно много времени, и когда случались деньги, щедро поил всех окружающих. Он любил дружеские застолья, ставшие одной из главных составных частей его жизни. Главным здесь для него всегда была, конечно, не выпивка, а «роскошь человеческого общения». Эту сторону своей жизни он прекрасно описал в автобиографической поэме «Юлий Кломпус», посвященной своему покойному другу. В этих знаменитых московских застольях обсуждались мировые проблемы, выявлялись новые мессии, читались новые стихи и поэмы. С одним из героев поэмы «Юлий Кломпус» произошла в то время в Коктебеле история, в поэме, правда, не отраженная. Он несколько раз подряд возвращался домой уже под утро и каждый раз объяснял жене, что был у Самойлова, где тот всю ночь читал ему новые главы из исторической драмы в стихах «Меншиков». В очередной раз, когда он, также вернувшись поздно ночью, стал раздеваться, чтобы лечь, жена заметила, что брюки на нем надеты задом наперед. «Извини, дорогая,— сказал он, оправдываясь,— драма была очень сильная».

Пил Дезик порой довольно много, однако в последние годы ему пришлось строго ограничивать себя из-за развившейся гипертонии, частичной потери зрения и болезней сердца. Тем не менее он обладал редкой способностью продолжать писать после рюмки. В те времена, когда в Пярну еще существовали эйнелауды с коньяком в разлив, он обычно, делая передышку, совершал прогулку к паре эйнелаудов и потом, оживленный, продолжал работать. Одно время в его рабочем кабинете в Пярну даже был оборудован настоящий бар с зеркалами и разнообразными напитками. Бар этот просуществовал недолго. «Понимаешь,— объяснил мне Дезик,— я как-то пришел домой с прогулки, сел около бара и стал методично пить все, что там было. На следующий день Галина Ивановна бар закрыла, и там теперь оборудовали аптеку».

Еще живя в Опалихе, Дезик совершал частые прогулки на станцию. Относясь к ним с подозрением, Галина Ивановна строго запретила ему заходить в станционный ресторан. Там же в то время только что открыли новый фирменный ресторан русской кухни «Опалиха». Дезик попал туда в день его открытия и оказался одним из первых посетителей. А поскольку открытие ресторана снимало телевидение, то Дезик немедленно оказался разоблачен, так как в тот же вечер снова возник за столиком ресторана на экране семейного телевизора.

Нельзя не подчеркнуть при этом, что продолжать писать после рюмки Дезик мог только тогда, когда уже вертелось в голове и шло. Как метко заметила его жена, рюмка лишь «подбадривала Трубецкого». Пьяным он никогда не писал, а если и случалось, выбрасывал или переделывал.

Зная склонность Дезика к застолью, устроители литературных вечеров часто старались ему угодить, однако так случалось не всегда. Помнится, в 1973 году в мемориальном музее А. С. Пушкина на Волхонке состоялся литературный вечер «Поэты читают Пушкина», в котором принимал участие и Самойлов. Помню, что, готовясь к этому вечеру, я чрезвычайно волновался, стараясь выбрать для чтения (коне́чно, наизусть!) какие-нибудь не слишком тривиальные пушкинские стихи. Остальные участники отнеслись к этому более спокойно. Маргарита Алигер, например, попросив у хозяев томик Пушкина, стала, заглядывая в книжку, читать «На берегу пустынных волн». Левитанский почему-то стал говорить, что «Сцены из Фауста» написаны таким современным стихом, что напоминают Андрея Вознесенского и вместо пушкинских стихов прочел свои. Окуджава же вообще не приехал, и злые языки утверждали, что это, дескать, потому, что он по ошибке выучил «Бородино». Когда официальная часть вечера завершилась и гостей повели к столу за сцену, Дезик сказал мне: «Держись возле меня. Это место приличное,— обязательно коньяк поставят». Тем большим оказалось наше разочарование, когда на роскошном столе, в центре которого возвышался огромный, как в фильме «Покаяние», торт, сплошь уставленном разнообразными закусками, с фарфором фамильных сервизов и медным сиянием самовара, противостоящего торту, никаких признаков выпивки не оказалось. Дезик расстроился, но виду не подал и, взяв в руки переданную ему чашку чая, громко сказал: «Какая прелесть — чай, с десятого класса не пил».

За этими шутками, однако, была серьезная подоплека. Его каждодневная одинокая и изнурительная работа требовала нервной разрядки.

Характер его не был легким — порой он был вспыльчив и несдержан. Иногда, выпив, становился вдруг необоснованно агрессивен, мог неожиданно за столом оскорбить человека или без всякой видимой причины выставить его из дома. Или, наоборот, обнявшись на людях с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, к которому тогда и подойти-то боялись, на другой день обняться в ресторане с таким человеком, которому в трезвом виде не подал бы и руки. Еще в Опалихе мне довелось видеть однажды, как он, пьяный, угнётал свою собаку, никак не понимавшую, чего привязался к ней хозяин. Все это были, однако, случайные и недолгие всплески отрицательных эмоций на фоне неизменной доброжелательности.

Когда на похоронах Самойлова я слушал речи его многочисленных друзей, соратников и почитателей, я вдруг поймал себя на том, что испытываю то забытое детское ощущение, которое появлялось всякий раз, когда доводилось читать особо полюбившуюся книжку, иллюстрированную рисунками художника. На этих рисунках любимые герои были вроде бы и похожи на самих себя, то есть, конечно, на мое о них представление, и вроде бы не очень. И я подумал, что у каждого из близких друзей Давида Самойлова должно было бы быть подобное ощущение, ибо у каждого из них в сердце остался такой же единственный образ его, похожий и непохожий на другие. И у меня тоже свой, не претендующий на объективную фотографическую достоверность.

Давным-давно, лет двадцать назад, в Опалихе Дезик сказал мне как-то: «Алик, не думай, что поэт или писатель — это кто-то что-то написал. Писатель — это прежде всего образ жизни». Давид Самойлов был прирожденным поэтом и писателем. И тогда, когда лежал со своим пулеметом под деревней Лодьва «на земле холодной и болотной», и когда за долгие годы официального непризнания и каторжной литературной поденщины не написал ни одной строки «для почестей, для славы, для ливреи». И тогда, когда остался чужд соблазнительной возможности стать «властителем дум» с помощью политизированных стихов. Мне выпало редкое счастье разговаривать с ним и слушать его, и я могу сказать, что он был одним из крупнейших мыслителей нашего времени, подлинным российским интеллигентом, внешняя скромность и мягкость которого сочетались с непоколебимой нравственной позицией. И при всем этом он был оптимистом, что особенно редко в наши дни. С уходом этого большого художника его поэзия начала новую жизнь, без него. И жизнь эта будет долгой.

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Совсем недавно. Совсем давно

Виктор ТОГО

ВОЗРОЖДАЙСЯ, ИНКЕРМАА!

В Ленинградской области создано объединение «Инкерин литто», ставящее целью возрождение финского языка на исконных землях живших здесь финноязычных племен. В восьми школах Всеволожского и Гатчинского районов введено факультативное преподавание финского языка для детей. Уроки проводятся вне учебных занятий, в группах ребята разного возраста, учебных пособий, естественно, никаких. Разворачивает «Инкерин литто» и сеть кружков по изучению языка среди взрослых. Но вот беда: где взять преподавателей?.. Ленинградский университет раз в два года выпускает 6—7 высококвалифицированных специалистов, вовсе не мечтающих о карьере сельского учителя. А выпускники Петрозаводского университета не могут работать в Ленинградской области из-за отсутствия прописки.

Это, почти слово в слово, я взял из статьи преподавателя ЛГУ, заместителя председателя общества «Инкерин литто» В. Кокко — «Боль, живущая в моем сердце», опубликованной в «Ленинградской правде» 10 января 1990 года.

Я — коренной житель Ижорской земли, или «Ингерманландии», хотя мама моя — русская, о чем записано в ее паспорте. Паспорта отца я не видел, потому что умер он, когда мне было шесть лет. Вполне возможно, что там значилось «финн», потому что мать его была ижерянка. Но именно потому, что мы, то есть мама, я и моя сестра «русские», нас прописали в Борках после эвакуации. Товарищей же моих довоенных детских лет в Борки не пустили, и эта страшная драма еще ждет своего писателя...

Но это, как говорится, совсем другая история, мы же обратимся к истории земли Ижорской...

Сумь, емь, водь, ижора и другие племена, входившие в древнее Новгородское княжество, оседло проживали на землях своих отцов и дедов. Они не дергались «на великие стройки коммунизма», не мотались на электричках за колбасой в крупные города, не было у них «Запорожцев» и «Жигулей», носящихся по дорогам. Жили они «от земли». А всего таких племен в Новгородском княжестве было более дюжины... И только два — славянских: кривичи и словене. Остальные же — финноязычные. Простиралась земля Господина Великого Новгорода аж до Каменного пояса — на восток, до Нарвы-реки — на запад (да еще мы забыли город Юрьев, потом ставший Дерптом, затем — Тарту), до рубежа «свейских немец» — на север и до тверских Валдайских пределов — на юг... Даже после присоединения (а по сути — захвата) Иваном III Новгорода к Московскому княжеству и раздела Новгородской земли на пятины одна только Водская пятина на севере простиралась до нынешнего города Савонлинна в Финляндии...

Вот ведь какая была география!

Академик Императорской Академии наук Г. Шегрень, финн по национальности, в 1833 году написал исследование на немецком языке. Он назвал по крайней мере четыре народности, населявшие так называемую Ингерманландию. Это — савакот, эюремейзет (или эгремейсет), ватьялайзет (водь, воть, вожане) и инкерикот (ижора).

Все четыре племени — финноязычны. «Савакот — ближе всех к собственно финнам по телосложению, нравам и обычаям. Уже само название народа говорит, что они выходцы из sawalaiset — савалаксов. Подобно савалаксам и карелам, савакот никогда не выговаривают d. Например, meijän вместо meidan — наш; wiis вместо wiidea — пятый, или, в других случаях, заменяя этот звук звуком w: rauwan вместо raudan — железо; juwwa вместо juoda — пить. Напротив того, двоегласные выговариваются, особенно в Южной Ингерманландии (стиль автора.— *В. Т.*) точно так, как пишутся. Например, maa — земля, pää — голова, а не modd, peä или piää, как говорят в Северной Финляндии. В окончании слов савакот охотнее употребляют широкие гласные, удвояя предшествующую согласную: tulluo вместо tulee — он идет.

Савакот — лютеране, живут смешанно с эюремейзет и инкери в Петербургском, Шлиссельбургском, Ораниенбаумском, Ямбургском, Нарвском, а особенно — в Кирхимилях, Колтушах, Рябовском, Славянском, Копринском, Шпановском, Колпинском, Скворицком, Губаницком, Молосковицком, Новосельском, Коттильском, Копорском и Серебешском уездах.

Эюремейзет — живут в тех же уездах, но частью — ближе к Петербургу — в Киршилях, Тюрисском (Мартышкинском), Дудергофском, Ропшинском, Ингрисском, Люссельском (Lüsilä), а так же на севере от Невы — Валкиасарском, Токсовском и Валесском уездах. Смешаны с савакот, простираясь в Выборгскую губернию на запад к Выборгу и на север — к Кексгольму. Лютеране. Говорят на том же в сущности наречии, кроме того, что звук u в двоегласных au, eu превращают в k, g. Вместо naula — naakla, naagla — гвоздь, вместо kaula — kakla, kagla — шеи».

Эюремейзет грубее и суевернее саввкот, любят пеструю одежду, упорно держатся предрассудков старины. Кстати сказать, в книге «Berichte in der Liflandischen Geschichtstunde...», вышедшей в 1785 году в Риге, я встречал портрет литографический женщины-эюремейзет в национальном костюме. Я не специалист по костюмам, но мне кажется, что нечто подобное я видел и в Саранском этнографическом музее (Мордовия).

Название эюремейзет (а так же эгремейсет) указывает, что племя это происходит от Эюрепе (или Эгрепе) — Aeüräpää, Aegräpää в Выборгской губернии, отошедшее по мирному договору 1323 года к шведам. Эти два племени и дали две ветви здешнего финноязычного населения.

Ватьялайзет (водь, воты, вожане) — настоящие аборигены Ингерманландии. Живут по побережью Финского залива в Нарвском округе в приходах Каттильском (Котлы) и Сойкинском. Но в прежние времена всех финнов, проживающих от Красной Горки до Нарвы, называли «Narva alaiset». А еще раньше, как утверждает Шегрень, все финноязычное население южного побережья залива называли — лапплакот, что указывает на их родство с лаппи (лопарями). Даже папы римские во второй половине XII века стали говорить о «лаппи в соседстве с Ингрией и Вотландией».

Шегрень так же утверждает, что ижора, проживающая на севере Ораниенбаумского уезда, в древности называлась водью.

Wotzkipetin, или Petin — (шведск.) — юго-западная часть Петербургской губернии, прилегающая к заливу. Остальное — Ингерманландия.

Новгородцы же под Водской пятиной понимали всю территорию, населенную финноязычными племенами. Вполне возможно, что они не отличали ижору от води. Впрочем, встречается и такое толкование Ингрии (Ижорской земли), как у шведов, так и у новгородцев, что Ингрия — это северо-восточная часть Водской пятины.

Шегрень считал, что слово водь — watia трансформировано от wataja — низкое болотистое место. По крайней мере в Финляндии селение Wataja лежит при озере. Или Wadia, Waatia — кол, клин. Это, по мнению Шегреня, ближе к истине, так как в нынешнем (для Шегреня, разумеется.— *В. Т.*) Дерптском уезде были области, называемые Вагиею — клином.

Ватьялайзет встречаются довольно рано в старинных русских временниках. Аж при Несторе — 1131 год. В сражении полоцкого князя Всеслава 23 октября 1069 года под стенами Новгорода «велика бяше сеця вожанам и паде ихъ безчисленое число».

Вполне вероятно, что водь — переходное племя от астов к финнам.

Ижора (ижеряне). Самоназвание народа — инкери, инкерикот. По древности — второе племя после води. Живет в соседстве с водью в приходах Тюрисском (Мартышкино), Серебешском, Копорском. На севере и востоке их меньше.

Такова трактовка по Шегреню. От себя добавлю: у нас, в Борках, коренное название деревни — Kanga, население говорило на ижорском диалекте, употребляя именно ту транскрипцию, которая приведена в качестве примеров в диалектах савакот и эюремейзет как исключение или неправильность.

Были и другие исследователи, из которых я выделяю Неволина и П. Кеппеня.

Все названные племена были известны русским так же под презрительной кличкой — чухны, чухонцы. А еще раньше — маймисты, от маа миеа — земной или земляной человек (мужик).

А теперь о происхождении термина «Ингерманландия»...

Самоназвание народа ижоры, как уже говорилось, инкери. Земля — на всех финноязычных диалектах — маа. Следова-

тельно, самоназвание Ижорской земли — Инкермаа. После Ливонской войны земля эта досталась шведам. И они к Инкермаа прибавили свое слово — ланд, что так же означаėт — земля, страна. Получилась вот такая тавтология — Ижорская земля з е м л я — И н к е р - м а а - л а н д...

После Северной войны Инкермаа снова вернулась в лоно России. А Петр I, любивший всякие иностранные словечки (кстати сказать, этим грешны и многие наши современники), согласился с таким названием. Так в Российской Империи появилась Ингермаландская губерния, просуществовавшая до 1710 года. Граф Василий Никитич Татищев, петровский историк и вельможа, сделал попытку увязать эту тавтологию с именем князя Игоря (по Якимовской летописи — Ингвара) или с именем шведской принцессы Интегерды. Но, понятное дело, ни шведская принцесса, ни князь Игорь никакого отношения не имели к Инкермаа... И потому, когда о моих пращурах говорят как об «ингермаландских финнах», я смотрю на говорящего как на человека из XVII—XVIII веков...

Хотелось бы сказать и об экономическом и духовном статусе названных племен, а заодно и возразить тем авторам, кто утверждает, будто им известно (только непонятно — откуда? — *В. Т.*), что «даже при Петре I местных жителей продавали в рабство»...

Вот уж воистину махровая ложь!.. Подобное можно было бы прочитать разве что в «литературе» типа «Краткого курса», в документальной же сохранились совершенно противоположные данные... Так, отправляя в 1707 году ландрихтером Ингермаландской губернии Якова Римского-Корсакова, Петр I лично указывал оному, чтобы при сборах податей «смотрел, чтоб от чего народу излишней тягости не было». Петра трудно заподозрить в альтруизме и человеколюбии, но даже такой человек, такой государь не позволял грабить население так, как грабили его в более поздние времена... Сказать, что царское правительство не проявляло заботы о коренном населении, значит сказать неправду. Еще в 1732 году Анна Иоанновна своим Указом повелевала «...переписать всех крестьян, бобылей и показать, сколько в какой мызе и деревне людей прежних латышей (Анна Иоанновна, по-видимому, еще не знала слово «чухна», поэтому ей проще было называть их «латышами».— *В. Т.*) и новопоселенных русских мужеска и женска пола по именам и в лета, не обходя никого».

Так была проведена первая ревизия в Санкт-Петербургской губернии. А девятью годами раньше, Указом от 28 августа 1723 года «было велено межевать земли в уездах С.-Петербургском, Ямбургском, Копорском, Шлиссельбургском, составить им планы, а чухонцев и латышей и других, которые достались от шведского владычества, переписать и разделить всем, исчисляя каждому по пропорции жалованной ему дачи». Там же предписывалось «причислить чухон, латышей и прочих к землям, отписанным на Государя, а помещикам их не отдавать...». Никого тут в рабство не продавали, и не знали наши пращуры крепостного права...

Водь и ижора в подавляющем своем большинстве — в отличие от савакот и эюремейзет — были православными. Переход же от язычества к христианству затянулся здесь на века. Еще в 1534 году владыка Новгородский архиепископ Макарий уведомлял великого князя Ивана Васильевича и сына его Ивана Ивановича о том, что «в Воцкой пятине и Чуди, в Ижоре, и около Ивангорода и Ямы града и Карелы града, и в Копории граде, и Ладоги града, и Орешка града и по всему поморию Варяжского моря в Новгородской земле, и по всем рекам поморским от немецкого рубежа и Ливонского, и от Неровы реки до Невы реки, и от Невы реки до Сестры реки, до рубежа свейских немец, и по всей карельской земли, и до Каневых вод и за Невое озеро великое, и до Каянских немец рубежа, и около Пелейского озера и до Лексы реки и до лоппи до дикия и около великого озера Нево на пространстве в длину больше 1000 верст существуют многия идолопоклоннические суеверия и во многих русских местах имеются еще скверные молбища идолские. Суть же скверные молбища — их лес, и камения, и реки, и блата, и источники, и горы, и холми, солнце, и месяц, и звезды, и езера, и вообще эти жители поклоняются всякой твари яко Богу и приносят жертву кровную бесам: аолы и овцы, и всякий скот и птицы...»

Великие князья, узнавши это, повелели «прелесть ону» искоренить, почему архиепископ Макарий и послал для истребления Кумирской прелести инока Илью, который, разрушая молбища, рубил, и жег леса, бросая каменья в воду и крестил некрещеяых (Академик П. Г. Бутов «О состоянии местности С.-Пб. в XVI веке», журнал МВД, № 6, часть XX, 1836 г.).

Я специально привел столь длинную цитату, чтобы показать, как терпимо относился Новгород до присоединения к Москве к сопредельным племенам, не навязывая никакой идеологии. В этом смысле, в Новгородском княжестве был, как мы теперь гово-

рим, полный плюрализм. Насаждение же идеологии начинается с централизации государственной власти. Ижорская земля, входившая в Новгородское княжество, пользовалась всеми свободами, как и сам город, входивший в Ганзу. Но уже тогда отцы римской церкви стали поглядывать на Ингрию и Вотландию как на будущую сферу своего влияния. Так, папа римский Александр III (1159—1181 гг.) дал указание епископу Упсальскому Стефану распространить христианство в Вотландии. Папа Григорий IX в 1230 году буллою эпископу Упсальскому предписал запретить всем христианам «под страхом отлучения от церкви — ввозить к язычникам карельским, ингерским, лаппским и вотландским оружие, железо, деревянные изделия, чтобы вера Христова в этих местах не была использована ее врагами». Нет нужды объяснять, что сие означало. А означало это ни много ни мало, боязнь влияния православия. А чтобы «вера Христова» дошла до сознания грешников-язычников, в 1239 году и был учрежден Ливонский орден.

В 1255 году папа Александр IV, по донесению Рижского архиепископа о «желании идолопоклонников Вотландии, Ингрии и Корелии» принять христианство, приказал архиепископу Упсальскому и Линчепенскому поставить особого епископа для названных земель.

Как видим, метод посылки «крестоносцев» в Прагу и Кабул не так уж и нов...

После поражения в Ливонской войне, в Тюриссе (Мартышкино) был учрежден погост. Административное деление по погостам было введено на Руси княгиней Ольгой в 947 году. К современному же понятию погост, как кладбище, люди пришли через длительную трансформацию. Погост — административный центр. А где, как не в административном центре, быть торжищу? Даже поговорка была такая: было б пиво на погосте, на погосте будут гости... Естественно, что в месте скопления большого количества людей ставились церкви. Естественно, что и хоронили людей поближе к Божьему Храму. Отсюда и современное понятие погоста...

Говоря опять же современным языком, наместником Швеции в Тюриссе был генерал Антони Вегас, финн по национальности. Не его ли голова, изваянная в камне, сохранилась до наших дней в парке между Старым Петергофом и Мартышкином?..

И, завершая тему «лютеранство — православие» в здешних местах, я все же должен предостеречь отдельных авторов от легкого подхода к ней. О том, что тема эта непростая, говорит хотя бы пример Ольстера... И здесь все было не так просто. Советский историк С. Гадзятский писал: «Стрельцы, стоявшие на Зверинской заставе 5 мая 1631 года (то есть во времена шведского владычества.— *В. Т.*) показывали, что ночью приходили к заставе „Копорского уезду русские люди три крестьянина да жонка, а просились в... великого государя сторону... сказывали — бежат-де они из-за рубежа... от немецкого от великого насильства и от налогов“. Крестьяне эти говорили, что им „от тово насильства жить не мочно“ и что „хоть-де им на Руси кажненными быть, только с покаянием“».

Это было трудное время для жителей Ижорской земли, потому что, по условиям Столбовского договора, «черный люд» не имел права покидать родных мест. Но народ бежал. Одни — «от веры». Другие — «для языку». Перебежчиков, по мнению К. Якубовича, автора книги «Россия и Швеция в первой половине XVII века» (М., 1897 г.) было до 50 тысяч. Хотя лично у меня эта цифра вызывает сомнения, поскольку в двух уездах — Копорском и Ямбургском — в ту пору проживало 6300 жителей, из коих лишь 273 носили нерусские имена.

Некоторые авторы утверждают, что до Петровских побед на Ижорской земле проживали исключительно финноязычные племена. Это неверно. Из датских книг XVI столетия известно, что в 1484 году, то есть после присоединения Новгорода к Москве, «в Воцкую пятину водворены» из внутренней России крестьянские семьи.

«Государь повелел взять из боярских дворов людей и разместить их в области Новогородской, вследствии чего писец Дмитрий Китаев в 1481 году в 27 погостах Водской пятины, подсудных Ладоге, Копорью и Яме, выдворил 80 семей, наделив землей каждого от 300 до 400 четвертей».

Послепетровская же эпоха действительно сказалась очень сильно на русификации края.

Но «истинный порядок» и с религией, и с землепользованием был «наведен» после октября 1917 года... Кирхи и православные церкви были сметены с лица земли. А с началом коллективизации были разрушены добротные крестьянские хозяйства. В конце 70-х годов довелось мне беседовать с первым председателем Ораниенбаумского райисполкома Платоновым, дряхлым восьмидесятилетним стариком. Он жаловался мне: «Спать не могу... В двадцать девятом — тридцатом, при раскулачивании, мы слишком много кровушки пускали... Так вот... снятся они мне все...»

Хотелось бы отдельно сказать и о Водской пятине. Первое упоминание о ней мы находим в книге письма Дмитрия Васильевича Китаева сына Моклокова 1499—1500 годов, хотя «Вочкая сотня» встречалась еще в Уставе о мостах Ярослава Мудрого. В писцовой книге Дмитрия Китаева указаны подробные границы Водской пятины. «Восточными ее пределами служил Волхов. Западными — река Луга. От устья Луги граница шла на восток по южному берегу Финского залива до того места берега, которому противолежит остров Котлин. Отсюда она поворачивала на север, через остров Котлин, который пересекала на две половины (западную — шведскую и восточную — русскую), шла к устью реки Сестры, потом серединою этой реки на гору Румете, откуда на реку Саю, приток Воксы, и в северо-западном направлении — по разным водам и перешейкам до окрестностей нынешнего Нейшлодта, дальше в северо-восточном, северо-западном и северном направлениях почти до самого города Куокло, а затем на юг к Ладожскому озеру по той почти черте, которая отделяет в настоящее время Великое княжество Финляндское от Олонецкой губернии.

Водская пятина, как и все другие, подразделялась на половины: Карельскую — на западном берегу реки Волхов и Полужскую — по реке Луге. Они находились под управлением особых *губных* старост. Половины, в свою очередь, делились на погосты, которых, по писцовой книге 1581—1583 гг., насчитывалось 25 (17 в Карельской половине и 8— в Полужской). В каждом погосте было по нескольку селений, а в иных и города, которых по всей Водской пятине было пять: Ладога, Орешек, Карела, Копорье, Яма.

После присоединения новгородских владений к Великому княжеству Московскому (тогда-то и были разделены Новгородские земли на пятины.— *В. Т.*) Водская пятина стала получать из Москвы управителей и принимать московских колонистов.

В 1555 году ее сильно разорил Густав Ваза. По Столбовскому миру (1617 год) значительная ее часть (Ингерманландия) была отдана шведам, что было подтверждено и Кардисским договором (1661 год), и только по Ништадтскому миру (1721 год) эта местность отошла обратно к России, занятая Петром I еще ранее (в 1702 году). Она вошла в 1708 году в состав Ингерманландской губернии, переименованной в 1710 году в Санкт-Петербургскую» (П. Кеппень. «Водь и Водская пятина», С.-Пб., 1861 г.).

В марте 1773 года, по предложению Новгородского губернатора графа Я. Е. Сиверса, Водская пятина была переименована, будучи разбитой на уезды. «С этого момента как бы перестала существовать память о води»,— писал в 1851 году Петр Кеппень. «Правительство старалось заселить эти места русскими,— продолжал он.— Нельзя, кажется, сомневаться, что водь со времен укрепления оной за Россиею, постоянно разделяла участь прочих не русских жителей (чухои и других)...» (П. Кеппень. «Водь С.-Пб. губернии, 1851 г.).

В 1975 году в издательстве АН СССР вышла книга об основах финского, эстонского, водского и ижорского языков. Точного названия не помню. Так, в этой книге было сказано, что сегодня на языке води говорит... один человек (правда, непонятно — с кем говорит, должно быть, сам с собой...— *В. Т.*) — житель Кингисеппского района, а на языке ижоры — примерно 6000 человек — люди старшего поколения... Вот какого печального итога достигла сталинская «национальная политика»... Сегодня, я думаю, уже ни один человек не знает водского языка.

В силу всего сказанного, нужно горячо и всеми силами поддержать создание в Ленинградской области общества «Инкерин лиитто». Может быть, это общество остановит исчезновение древнего народа и его культуры.

Мини-мемуары

Н. КОЛПАКОВА

СТУДИЯ

Летом 1919 года при издательстве «Всемирная литература» по инициативе А. М. Горького в Ленинграде была организована Студия, где должны были проходить подготовку молодые литературоведы, готовившие себя к будущей работе в издательствах. План занятий был составлен на несколько месяцев. В программе работ намечались два раздела: проза и поэзия.

Перспективы занятий были очень заманчивы. Особенно много было желающих поступить на отделение поэзии. Предстояло изучать немало предметов: теорию стихосложения, ритмику, поэтику, мифологию, искусство перевода, историю античной и восточной литератур; кроме того, планировались занятия по самостоятельному литературному творчеству под руководством авторитетных литературоведов. В качестве преподавателей были приглашены ассириолог В. К. Шилейко, востоковед проф. В. М. Алексеев, известный литературовед и переводчик М. Л. Лозинский. Заведовать отделением прозы должен был К. И. Чуковский,отделением поэзии — Н. С. Гумилев.

Студия помещалась на Литейном проспекте в доме 24 («Дом Мурузи»). До революции тут жила богатая семья. С площадки второго этажа нарядной лестницы можно было попасть в роскошно отделанные комнаты прежних хозяев, занятые теперь Студией. Столики и стулья стояли здесь вперемешку с обитыми шелком диванами и креслами.

Слушатели, желавшие заниматься в Студии, принадлежали почти все к бывшей интеллигенции. Это были в основном дамы («самодеятельные поэтессы») и начинающие поэты. На отделении поэзии, куда меня приняли, только два мальчика — Володя Познер и Коля Чуковский — приблизительно подходили мне по возрасту, впрочем Коля Чуковский вскоре перешел на отделение прозы. А мы с Володей были преисполнены самого горячего желания серьезно заниматься у наших будущих учителей. Я решила вести день за днем подробный дневник и записывать все, что услышу на занятиях. Эти записи — в несколько систематизированном виде — теперь, через 70 лет, любопытно пересмотреть, как подлинные материалы о работе нашей Студии, про которую сегодня, вероятно, могут рассказать по памяти очень немногие из современных поэтов и литературоведов.

Июнь — сентябрь 1919 г.

Вот уже две недели, как идут занятия в Студии. Педагогов у нас немного, но все они — замечательные люди. Начну с Владимира Казимировича Шилейко.

Это большой сгорбленный человек в очках, в военной шинели, с длинными волосами. Он говорит мягким, негромким голосом, ходит крупными шагами из угла в угол по аудитории и непрерывно дымит папиросой. Он всегда кажется серьезным, но в нем масса юмора. Лекции его очень интересны. Он читает нам несколько предметов. Сфера его научных интересов — Ассирия, Вавилон и античная Греция. Об их истории, мифологии, культуре и поэзии он рассказывает так увлекательно, что его можно слушать часами... Он вплетает в свои рассказы общие сведения о классической поэтике, и в целом у него получаются лекции-поэмы. Кроме того, на его занятиях мы знакомимся с ритмикой и строфикой. Непривычные для русской поэзии строфы архилоховы, асклепиадовы, алкеевы, алкмановы, сафические, гиппонактовы, системы ямбические и пифиямбические, трахеи, спондеи и многое другое Вл. Каз. раскрывает нам досконально. Но вообще-то на его занятия народу ходит не так много. «Скучно»,— говорят мои старшие коллеги, дамы-поэтессы. Кроме классики и Древнего Востока Вл. Каз. ведает также переводами с немецкого языка.

Академик Василий Михайлович Алексеев раскрывает нам особенности общей культуры и литературы Китая. Лекции у него красочные, запоминающиеся, очень расширяющие горизонты слушателей. Но об этом, как и о занятиях М. Л. Лозинского, напишу позднее. А сейчас хочется поскорее рассказать о нашем основном руководителе — Н. С. Гумилеве. Главной темой его занятий с нами будет «Теория поэзии» — всесторонний анализ структуры, звукописи, ритмики и других основных особенностей поэтических произведений XIX—XX вв. Завтра его первая лекция.

*

Итак, занятия у Н. С. Гумилева начались.

Он вошел в аудиторию, где перед нашими рядами был поставлен столик и стул для преподавателя, изящно поклонился и сел — не на стул, а на столик, свесив ноги. Он довольно высокого роста и очень некрасив. У него в лице есть какая-то неприятная ассиметричность. Но все его манеры безукоризненно изящны, обращение с нами крайне любезное, и вообще он производит очень благоприятное впечатление изысканного денди. Говорит он громко, звучно. В манере читать лекцию есть что-то актерское, словно он все время с удовольствием слушает самого себя.

Он заговорил о разных типах поэтических произведений.

— Анализировать поэтическое произведение надо прежде всего со стороны его идейного наполнения. Первый род поэзии — лирика; второй — драма; третий — эпос; четвертый — гражданская поэзия. Мы будем сейчас говорить о лирике...

Он говорил о графической, звуковой и ритмической сторонах стихотворений; охарактеризовал в общих чертах различные композиционные приемы русских и европейских поэтов, говорил о характерах различных размеров — «активном» ямбе, «задумчивых» хорее и дактиле, «убеждающих интонациях» анапеста...

— Потом мы все это рассмотрим подробнее,— сказал он. Курс у него рассчитан на много лекций. Большинство слушательниц-дам остались от него в восторге.

— Сегодня мы будем говорить о звукописи,— сказал Николай Степанович, входя в аудиторию и садясь, по обыкновению, на стол, хотя для него, как всегда, был, конечно, поставлен стул. И речь пошла о рифмах и сочетаниях звуков в поэтическом произведении.

— Особенно гласные имеют свою окраску,— говорил Н. С.,— например: А — красное, Е — серое, И — желтое, О — синее, У — зеленое, Ю — лиловое; в согласных: М — мрачность, мучительность, Р — резкость, определенность, Н — решительность и т. д. От того, каким звуком начинается стихотворение, зависит вся его дальнейшая эмоциональная окраска. Если вы хотите поучиться аллитерации — читайте моего «Мика»:

Мне сшили красные штаны,
Я их по праздникам ношу.

«Сш», «кр», «шт», «пр», «шу» — чувствуете, как это сделано?..

А сегодня был разговор об эпитетах.

— Эпитеты играют в стихотворении очень большую роль,— говорил Н. С.,— они должны быть разнообразными и неизбитыми. Вот, например: ЛЕС может быть изумрудный, малахитовый, оливковый; ВЕТЕР — голубой, рыжий, черный, светлый, розовый; ТУМАН — молочный, голубой, опаловый; ГОРЫ — голубые, червонные, сизые, лиловые; МОРЕ — сапфирное, малахитовое, пурпурное, алое, янтарное, розовеющее, рыжее; ЗАКАТ — алый, зеленый. Эпитеты могут стоять и около отвлеченных понятий: синяя ПЕЧАЛЬ, сиреневая ГРУСТЬ, огненная МЫСЛЬ, огненное БЕЗУМИЕ, огненный УЖАС, медный СТРАХ, алый СТЫД...

Сегодня Николай Степанович решил разделить свою аудиторию на две группы — сильную, то есть одаренную, и слабую, то есть бездарную. Конечно, он так прямо их не назвал, но это явно подразумевалось.

Он брал поочередно тетрадки со стихами каждого из нас, просматривал и давал свою оценку... К наиболее одаренным он относил тех, кто бил на оригинальность и старался в теме, композиции, звукописи и цветописи дать особо примечательный выверт. Со своей точки зрения он, конечно, был прав.

Дошло дело и до меня. Николай Степанович взял мою тетрадь, раскрыл наугад, прочитал четыре строчки, снисходительно пожал плечами и определил меня к «слабым». В «сильную» группу попали почти все мои старшие коллеги, в том числе одна обильно накрашенная рыжая дама, у которой были стихи о зеленом ветре, гуляющем над огненным морем. Николай Степанович пришел в восторг.

— Как оригинально, как своеобразно, какой смелый образ! О, вы будете украшением первой группы!

Я покорно сажусь к самым тупым ученикам, но мне кажется, что Николай Степанович рано или поздно убедится, что я могу работать не хуже других. Ладно! Подождем!

Николай Степанович пришел в аудиторию, сел на стол и сказал:

— Сегодня пишите мне восточный сонет.

У него есть такая манера: прийти, дать нам какое-нибудь задание и затем молча наблюдать, кто как это задание выполняет. На прошлой неделе это был «Сонет средневековью», сегодня надо было писать «восточный», то есть с «восточными» мотивами и образами...

Как пишутся сонеты — известно. Можно написать и «восточный».

Зажглась звезда. Свежей стал вечер душный.
На ложе дремлет утомленный хан.
В холодный чистый мрамор бьет фонтан,
Звеня в тиши струею равнодушной.

Любимый раб несет рукой послушной
Благоуханьем веющий кальян
И ароматы — розы и тимьян —
Плывут над ложем дымкою воздушной.

Заира, где ты? Чуть трепещет сад,
Уходит в сумрак трепетный закат,
Густеет тень от веток винограда.

О близком счастье несказанных нег
Поет и шепчет сладкая прохлада.
Блажен, о, хан, да будет твой ночлег!

Я написала и положила карандаш. Николай Степанович видел это, но ничего не сказал. Я тоже постаралась не обращать на себя его внимание. Ведь я — в «слабой» группе, но решила ходить на все занятия группы «сильной» и вместе с ними делать то, что задает им наш учитель. Подобные упражнения, конечно, очень полезны «на предмет овладения формой», как говорит Н. С.

Сегодня Николай Степанович пришел на занятия, сел, как обычно, на стол и сказал:

— Сегодня мы будем работать со словарем.

Это делается так: берется словарь Даля, раскрывается наугад, и Н. С., не глядя, останавливает палец на первом попавшемся слове. Все берутся за карандаши и начинают придумывать стихи, в которые можно было бы вставить это слово.

Так было и сегодня. Рука Николая Степановича остановилась на слове «кульбаба».

— «Кульбаба» — степное растение с золотистым цветком,— объяснил нам Н. С.,— вот и напишите что-нибудь про кульбабу. Только не забудьте, что в стихотворении образы должны меняться по крайней мере в каждой паре строчек, чтобы внимание читателя было все время напряжено. Надо переходить от образа к образу. Вспомните, как у меня:

Соловьи над кипарисом, и над озером луна.
Камень белый, камень черный, много выпил я вина...

И в лирическом стихотворении — не забудьте — должно быть выражено личное чувство автора.

Про кульбабу? Пожалуйста! Ведь я — в слабой группе, моей работой не интересуются, никто ее не увидит. Я могу писать, что хочу. И я пишу:

Раскинулись пышно поля
К подножию каменной бабы.
В бегущих волнах ковыля
Желтеют и блещут кульбабы.
Сидит благосклонный поэт,
Вздыхают влюбленные бабы:
«Захочешь — напишем сонет,
Захочешь — стихи про кульбабы»...
Цветет и смеется земля,
В степи и в тетрадках — кульбабы,
Но «бабы» в волнах ковыля
Милей мне, чем здешние бабы...

Кажется, все тут было: и заданный образ, и менялись образы от строфы к строфе, и собственное чувство было вложено. Но Ник. Степ. опять ничего у меня не спросил. Я просидела молча.

Аудитория у Ник. Степ. самая многочисленная...

На лекциях В. М. Алексеева бывает всего четыре человека: студенты-востоковеды, ученики Василия Михайловича по университету — Шуцкий и Борис Васильев, Э. Г. Иогансон и я.

— Скучно! — повторяют дамы и уходят в другие аудитории.

Скучно?!

Василий Михайлович рассказывает нам о своих путешествиях по Японии и Китаю, об искусстве этих стран, о людях и обычаях Востока. Мы точно в сказку попадаем, когда слушаем его художественные рассказы. Перед нами раскрываются картины древней культуры Китая, встают как живые великолепные поэты эпохи Тан... В. М. читает нам китайские стихи и переводит каждое слово. Он говорит, что хочет заставить нас почувствовать «весь аромат», которым пропитана китайская поэзия — аромат мысли, образов, красок. Как, например, хорошо: «Лотос — символ человека, остающегося благородным среди общей грязи». Ведь лотос вырастает на болоте. Или: «Хризантема раскрывается осенью, когда вся толпа цветов уже погибла,— это друг, расцветающий для чистого любования, когда толпы нет». Да и мало ли еще таких сравнений, образов, своеобразных символов приводит Вас. Мих. на своих лекциях и толкованиях китайской поэзии. Многие из этих слов имеют многообразное значение или вмещают в себя несколько условных образов-символов одновременно; В. М. приводит их все, окружая основной текст дополнительными подробностями, заключенными в тексте, чтобы при переводе можно было свободно выбирать и использовать все, что поэт вложил в этот текст. Скучно? Нет, это все — не скучно, хотя, конечно, и непохоже на поэзию русскую и западно-европейскую нового времени.

Вас. Мих. задает нам «уроки» — дает подстрочники китайских стихов, которые мы должны превратить в удобочитаемые русские стихи. При этом он подробно объясняет нам систему строфики, ритмики и рифмовки оригинала, от которых переводчик не смеет отступать. Особенно строго запрещается вносить в переводимый текст какую-нибудь «украшающую» экзотическую отсебятину. Вот, например, подстрочник и перевод одного из четверостиший Ли-Бо:

Толпы (стаи) птиц высоко летят, исчезли
(ввысь улетели, кончились).
Сирота-облако одиноко уходит
в беззаботность.
Внезапно смотрясь без надоедания
(без устали, без скуки),
Только и есть Цзинь-Тинь-Шань
(т. е. Цзинь-Тинь-Шань-гора).

Условия перевода: четыре строки, в каждой пять ударений, рифмы а-в-с-в. Перевод:

Стаями птицы вверху, в небесах, исчезают,
Сирая тучка летит в беззаботную синь.
С кем друг на друга подолгу мы смотрим
без скуки?
Только и есть, что вершина горы Цзинь-Тинь.

Вас. Мих. дает нам множество таких текстов-подстрочников. Есть четверостишия, есть и крупные стихи типа поэм. Мне эта переводческая работа очень нравится, тем более, что Вас. Мих. ею доволен.

Вчера у нас выступал Блок. Я видела и слышала его в первый раз и совершенно обомлела. Какой гигант! За это время я прочла все его книги и внутренне стою перед ним на коленях. При всем огромном внешнем мастерстве его стихов чувствуется, что они и по существу не «сделаны», а точно сами светятся, как хрустальные, излучающие сияние. Что-то совершенно волшебное. Так, кажется, чувствую не только я, вчерашняя школьница, но и многие мои старшие коллеги.

Конечно, на вечере присутствовали все участники Студии. Николай Степанович всех нас представил нашему редкому гостю. Александр Александрович поздоровался с каждым из нас (за руку!), проговорил несколько общих любезных фраз, но вряд ли кого лично запомнил... Да и не в этом дело! Важно, что мы его видели, мы его слышали, могли ощутить рядом с собой действительно великого поэта. И если он нас не запомнит, то мы эту встречу с ним не забудем никогда.

Николай Степанович читает нам что-нибудь почти каждый день: то «Теорию поэзии», то «Историю поэзии». Но чаще всего бывают наши собственные упражнения на предмет «овладения формой» под его руководством.

— Напишите мне что-нибудь в форме паузника,— сказал он сегодня. Многие стиховые формы, которые каждый из нас до Студии знал на слух, он подкрепляет теоретическими доказательствами. И это, конечно, очень хорошо. Но все-таки все это в основном — просто литературные упражнения. Это именно «делание» стихов. Технике нас обучают прекрасно. Ну а самая душа стихотворения, его смысл и тайное обаяние — это уж наша личная забота. Этому ни в какой Студии не научат.

Самый талантливый на нашем отделении, бесспорно, Всеволод Рождественский. А на отделении прозы — тихий, молчаливый, но очень симпатичный М. Зощенко.

Аудитория у Николая Степановича самая обширная. Но много народу ходит и на занятия к М. Л. Лозинскому. Пошла и я.

Народу было множество. М. Л. Лозинский — человек чрезвычайно приятный, очень популярный и заслуженно любимый всеми студистами. Я слушала его с большим удовлетворением... Это действительно наука. Но практические занятия у него мне показались несколько странными.

Михаил Леонидович больше других поэтов любит французов и работает над ними со своими учениками. Меня удивило, что занятия эти проводятся коллективно: читаются несколько строчек стихов, и затем ученики начинают хором вслух нащупывать отдельные русские слова, примерно соответствующие тексту оригинала. Общими усилиями должен таким путем составиться русский перевод. Но разве перевод — не такое же интимное творчество, как всякая другая работа над любым собственным стихотворением? Как можно выкрикивать свой вариант того или иного слова, если ты не знаешь ни хода мыслей твоего соседа, ни его ощущения подлинника в целом, ни его лексического запаса?..

Сегодня рассказала Владимиру Казимировичу о том, какие сомнения мне внушили практические занятия у М. Л. Лозинского. Он вдруг ласково улыбнулся и посмотрел на меня:

— А вы когда-нибудь переводили стихи?

— Да.

— Кого же?

— В основном, немцев — Гейне, Теодора Шторма, Цезаря Флейшлена.

— Что же, это очень хорошо. Сейчас у нас в издательстве намечено издание Конрада Фердинанда Мейера. Хотите попробовать? Редактирование поручено мне. Дать вам на пробу что-нибудь? Хотите?

— Ну, конечно, хочу!

— Вот и прекрасно.

Он вытащил из портфеля книгу и отметил два стихотворения.

— Вот попробуйте. А когда сделаете — покажите мне.

Я взялась за это дело в полном восторге. Вот такая работа — очень интересна. А то как же можно переводить вслух да еще целым хором?..

С издательством Студия связана очень тесно, и многие из нас по разным делам нередко заходят туда. Сегодня я туда поехала и отдала Вл. Каз. сделанные переводы...

— Знаете, что,— задумчиво сказал мне этот удивительный человек,— у меня слишком много редакторской работы. Не хотите ли вы мне помочь? Вы стали бы исправлять те переводы, которые поступают в редакцию...

Ой! Страшно!

На днях вышел у меня с Николаем Степановичем забавный эпизод.

Надо сказать, что изобретаемые им для нас литературные упражнения порою действительно очень своеобразны. В тот день он пришел, сел на стол и выразил желание, чтобы мы написа и ему секстину, но не просто, а с выдумкой. Он прочел нам майковскую октаву «Гармонии стиха божественные тайны» и сказал:

— Вот эту октаву переделайте в секстину. Затем напишите вторую секстину — на эти же майковские рифмы, но с другим содержанием. Оно может быть любым: божественным, мифологическим, эротическим, героическим или эстетическим. Распределите между собой эти темы. Пусть каждый возьмет, что ему больше по душе.

Ученики сильной группы разобрали темы и погрузились в работу.

Я тоже.

После некоторого промежутка времени исписала свои страницы и положила карандаш.

На этот раз Николай Степанович приветливо обратился ко мне:

— Что это, вы, кажется, уже кончили?

— Да, Николай Степанович.

— А какую же строфу вы написали?

— Все шесть.

Головы коллег обернулись к нам. Н. С. несколько секунд тоже смотрел на меня ошеломленно.

— Может быть, вы прочтете нам вашу работу? — любезно спросил он.

— Пожалуйста,— сказала я. Встала, взяла тетрадку... Прочитала... Николай Степанович продолжал смотреть на меня молча и по-прежнему несколько недоуменно.

— Сколько вам лет? — вдруг спросил он.

— В апреле исполнилось семнадцать.

Все кругом почему-то рассмеялись.

— Правда? Не меньше? — спросил, уже улыбаясь, Н. С.— Вы знаете, ведь у вас прекрасно сделанная работа... Покажите, пожалуйста, другие ваши работы по ваданию первой группы.

Я показала ему «Сонет средневековью», «Восточный сонет» и еще кое-что. Наш мэтр, по-видимому, остался доволен.

— Почему же вы до сих пор работаете во второй?

— Потому что вы сами меня туда посадили.

— Да, но это было недоразумение. Пожалуйста, переходите в первую.

Хорошо. Но это все — литературные игры. А вот что-то мне скажет завтра Шилейко? Заданные переводы я ему уже сделала, завтра отнесу.

Владимир Казимирович подошел ко мне сегодня и сказал:

— Я прочел ваши переводы. Они даже удивили меня. Хотите работать для издательства? У меня много материала еще свободно, не переведено. Если хотите — я весь его отдам вам.

Хочу ли!

Дни идут напряженно и интересно. Соревнуемся друг с другом в творческой работе. Вчера Вл. Каз. вдруг принес мне гонорар за сделанные переводы. Я совершенно этого не ожидала: не думала, что ученический перевод, хотя бы и принятый к печати, может рассматриваться как работа настоящего переводчика. Дело не в деньгах. Но ведь это первый литературный гонорар!

Вчера в Студии был торжественный «выпускной» экзамен. Работа Студии кончается,— ведь она была запланирована только на три месяца...

Шилейко уверял нас, что это экзаменационное «позорище», как он выразился, было устроено по настойчивому требованию Николая Степановича, который вообще, по словам Вл. Каз., очень любит торжественность и театральность. И действительно: принесли большой стол, все наши профессора за него уселись, в комнату набилось множество народу и с нашего отделения, и с отделения прозы, все было очень величественно, и «позорище» началось.

Мне пришлось отвечать первой, так как я сидела самая крайняя сбоку, а спрашивали просто по порядку, кто где сидел. Было мне дано одно стихотворение Тютчева для разбора (содержание, значение, техника построения и прочее), потом были вопросы по теории, истории, ритмике и так далее. Все сошло без запинки. После допроса у Гумилева и Шилейки я неожиданно попала к М. Л. Лозинскому, у которого не занималась вовсе. Тут мне предложили сделать небольшой перевод — кусочек из «Фауста». Потом отвечал Володя Познер и другие.

После небольшого перерыва профессора вернулись в аудиторию и скоро все было решено. Из всех учеников нашего отделения отвечать решилось только восемь человек, остальные убоялись, и поэтому только мы восемь и считаемся окончившими курс обучения. Николай Степанович попросил нас написать на листе бумаги наши имена, чтобы можно было напечатать нам «дипломы». Писать надо было на том же листе, на котором экзаменаторы делали свои отметки о наших ответах.

— Однако дети отличились,— заметил кто-то из старших (кажется, Сергей Нельдихен), разглядывая лист, на котором лучшие отметки стояли против фамилий Володи и моей. Немудрено: наши старшие коллеги считали нас за ребят, а мы серьезнее всех отнеслись к этому экзамену и поэтому, может быть, отвечали лучше других.

Подле бассейна (у бывших хозяев этой квартиры было в одной из гостиных и такое!) мы с моей постоянной соседкой на занятиях Э. Г. Иогансон столкнулись с Николаем Степановичем и Ириной Одоевцевой. Николай Степанович сообщил, что мы с Володей получаем «диплом» первой степени, и заинтересовался моими стихами вообще. У меня была с собой тетрадка. Мы вчетвером вернулись в нашу аудиторию. Николай Степанович внимательно просмотрел мою рукопись, кое-что покритиковал, кое-что похвалил («да это лучшие работы первой группы!») и кое-что прочел вслух:

— Это хорошо... Это тоже. Крепкий стих, хороший размер, легко, звучно...

А по-моему, это были самые неудачные страницы во всей тетради. Трудно иногда понять этих старших! Конечно, с мнением Николая Степановича я не могу не считаться. Но сейчас меня больше всего интересует Конрад Фердинанд Мейер.

Среди стихотворений Мейера, предложенных мне Владимиром Казимировичем, были три, которые он считал «непереводимыми». Я все-таки взялась попробовать и сегодня поехала с ними к нему в издательство.

— А, готовы? Все три штуки? — с удовольствием спросил он, беря листки и принимаясь за чтение.

— Ох! — сказала я, и сердце у меня задрожало.

Но все три перевода оказались пригодными. Это подтвердил и профессор Ф. А. Браун, читающий немецкую литературу в университете и сегодня случайно оказавшийся в издательстве...

— Подождите, я еще Гумилеву похвастаюсь,— говорит Вл. Каз. и хватает за пиджак проходящего мимо нас Гумилева...

— ...Вы не торопитесь? — спрашивает меня Вл. Каз.,— пойдемте к нам чай пить. Жена ждет, а мне хочется, чтобы и она послушала.

Идем к нему, и я сижу у них до вечера. С ним и с Анной Андреевной. Читаю свои переводы Мейера и Гейне. По желанию Анны Андреевны два гейновских переписываю для нее:

Горит спокойная луна
Над тишиной морскою.
Моя душа тоски полна
И снятся мне былое.
Когда-то скрыла глубина
Погибшие селенья.
В тиши звучат с морского дна
Колокола и пенье.
Но без ответа вновь на дно
Молитва эта канет.
Что было раз погребено,
То никогда не встанет.

И второе:

Вокруг утеса плеск валов,
Над морем в мечтах сижу я.
Крик чаек, ветра свист и рев,
Да пенятся волны, кочуя...
Имел и друзей, бывал влюблен,
А где все это? Не знаю!
Кругом лишь ветра свист и стон,
Да пенятся волны, вставая.

Оба они одобряют и эти переводы, и другие. А я, естественно, счастлива донельзя. Спасибо им! Спасибо, что эти чудесные большие люди так внимательны к нам, молодежи. Гумилев, Ахматова, Шилейко, Алексеев... На всю жизнь запомнится общение с ними.

После «позорища» регулярные занятия в Студии прекратились, хотя мы, слушатели, еще приходили некоторое время в «Дом Мурузи» и эпизодически встречались с нашими учителями. Я продолжала свою переводческую работу и отвозила ее Владимиру Казимировичу в издательство.

Полученный мною «диплом» оказался небольшой бумажкой, в которой были перечислены все предметы, которые преподавались нам в Студии. Рядом с печатью издательства стояли подписи Гумилева, Шилейки и Лозинского.

Библиофил

«ОТ ИСКРЕННЕ ЛЮБЯЩЕГО С. ЕСЕНИНА...»

В 1917 году, после февральской революции, двадцатишестилетний поэт Илья Эренбург вернулся в Россию вместе со многими эмигрантами. Он не был на родине восемь долгих лет. Июльские дни встретил в Петрограде. В октябре оказался в Москве. Всю последующую зиму провел здесь, не приняв революционных перемен: писал антибольшевистские статьи и фельетоны. Об этой поре так сказано в романе «Хулио Хуренито» (1921): «Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных „Кафе поэтов“ со средним успехом».

Попав в московскую литературную среду Эренбург познакомился со многими поэтами — Б. Пастернаком, В. Маяковским, В. Каменским, Вл. Ходасевичем, С. Есениным... Неприятие Октября не помешало общению Эренбурга с некоторыми своими оппонентами, хотя в статьях он выражался довольно откровенно — и о Блоке, авторе «Двенадцати», и о Маяковском, который «флиртует в Питере с Луначарским», и о Есенине, вырвавшем «у Бога бороду». Как бы подтверждая идейные разногласия, Есенин сделал следующую дарственную надпись на книге:

«Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память. От искренне любящего С. Есенина. Май, Москва, 1918».

Милому нѣдругу въ
нашихъ воззрѣнiяхъ на
Русь и Бурю И. Эрен-
бургу на добрую память
Отъ искренно любя-
щаго С. Есенина.
Май Москва 1918.

В том, что отношение Эренбурга к Есенину было прочным и глубоким, убеждают не только две его рецензии, опубликованные в берлинском журнале в 1922 году, но и высокая оценка одного из «наиболее талантливых поэтов современности», которая дана в первой же статье Эренбурга, написанной сразу после его отъезда из России весной 1921 в так называемую «художественную командировку». Статья Эренбурга в «Русской книге» вызвала резкое неодобрение в эмигрантских кругах, ибо автор позволил себе говорить о «расцвете русской поэзии» и о том, что «живая литература — в России». Парижские «Последние новости» остались недовольны такими высказываниями Эренбурга, который в их глазах был «красным», литератором с советским паспортом. Не понравились и одобрительные строки о Есенине. Эренбург написал «Письмо в редакцию „Русской книги“», в котором дал эмигрантам отповедь и подтвердил свое отношение к Сергею Есенину: «Люди разных направлений в России любят и ценят его дар».

К сказанному остается добавить, что в 1922 году в Берлине вышла в издательстве «Аргонавты» книга Эренбурга «Портреты русских поэтов», переизданная годом позже в Москве. Среди четырнадцати крупнейших современных поэтов в книге рядом с портретами А. Блока, А. Ахматовой, Б. Пастернака, В. Маяковского, М. Цветаевой был и очерк-портрет С. Есенина, датированный 1919 годом.

Вот что писал в нем, в частности, Эренбург (эти строки практически неизвестны нашему современнику, они не входили в сборники и собрания сочинений писателя): «Русская деревня, сказав старины, пропев песни свои, замолчала на века. Я не очень верю эпигонству фольклора в лице большого Кольцова и маленьких Суриковых. Она вновь заговорила в свои роковые, быть может, предсмертные дни... Деревня революции откроется потомкам не по хронике летописца, а по лохматым книгам Есенина».

Предлагая читателям «Невы» еще не публиковавшуюся в России давнюю рецензию Эренбурга из берлинского журнала, считаем своим долгом напомнить, что 95-летие со дня рождения Есенина немногим предшествует столетию Эренбурга, которое отмечается в январе 1991 года.

Александр РУБАШКИН

«...СТАНОВИТСЯ БОГОМ»

Сергей Есенин. Трехрядница. Исповедь хулигана. Изд-во «Имажинисты», Москва, 1921

При рождении большого поэта вслед за традиционными феями, несущими поэтовы дары, приходит одна, последняя, редкая гостья. Она ничего не дает, а что-то уносит, не развязывает пелену, а завязывает глухо угол жизни — это дар трагедии. И странно и страшно думать, что кудрявый, беленький паренек, которому жить да жить, добро наживать,— испытал это ночное посещение.

У других трагичность — ясновзорость или неудачная биография, чересчур крепкая стенка или чересчур нежный лоб. Истоки трагизма Есенина вне его; в годах и мечтах, в раскольническом огне, который пожирает его любимую животной, когтистой, отчаянной щенячей любовью — «деревянную Русь».

Там, где камень, там другое, там чужая Россия, фабрики, митинги, диспуты, может, и красноглазая электрификация. Горят дрова — движется локомотив, но ведь дерево нежное, мягкое, хрусткое — гибнет, гибнет навек. «Вечер имажинистов». Грохочет, Шершеневич. Полный сбор. Читал Есенин. Но выйдя на Лубянскую, где заколоченные ларцы, снег и моченые яблоки на лотках пахнут деревней, завопил:

Хорошо вам смеяться и петь,
Красный рот в жестяных
поцелуях.
Только мне как псаломщику
петь
Над родимой страной
«алиллуйя».

Всюду он слышит этот запах, и в столице Руси чужд и затерян, как чужда и затерянна столица среди дикой Руси.

Как в поэте-имажинисте не узнать «деревенского озорника»? И эти трагические обряды — глубокий поклон корове на вывеске мясной, и обтрепанный хвост клячи, проносимый

«как венчального платья шлейф»!

Только в годы революции мог родиться поэт — Есенин. В ее пламенах немеют обыватели, и фениксом дивных словес восстают испепеленные поэты. Русская деревня, похерившая Бога и хранящая, как зеницу ока, храм, схватившая свободу и спрятавшая ее вместе с керенками в сундучок, ревет и стонет в этих книгах. Город, потеряв,— обрел; «деревня», обретя, потеряла. Дышит на нее «железный гость», и она трепещет.

От того-то вросла тужиль
В переборы тальянки
звонкой,
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой
самогонкой.

Когда же вы поймете, церемонные весталки российской словесности, что самогонкой разгула, раздора, любви и горя захлебнулся Есенин? Что «хулиган» не «апаш» из костюмерной ваших былых bal masqué, а огненное лицо, глядящее из калужских или рязанских рощиц? Страшное лицо, страшные книги.

Об этом оскале говорил в трепете Горький, и о нем писал в предсмертном письме Блок: «гугнивая, чумазая и страшная Россия слопала меня, как чушка своего поросенка».

Но «любовь все покрывает», и такие слова находит Есенин для этой «гугнивой», что страшась, тянешься к ней, ненавидя — любишь. И здесь мы подходим к притину (так.— *А. Р.*), к преображению поэта... Кончается быт, даты, деревня, даже Россия — остается только жертвенная любовь и Глагол. Ведь Есенин не только деревенский или русский поэт, он еще поэт:

Засосал меня песенный плен,
Обречен я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

И в этом «песенном плену» он понял — «зачем»? — зачем и самогонка, и железный гость, и грустный Есенин на вечере в Политехническом музее. Еще прежде (в «Сельском Часослове»):

Все люблю и все приемлю,
Рад и счастлив душу вынуть.
Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Теперь:

В сад зари лишь одна стези —
Сгложет листья осенний ветр.
Все понять, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Этим все оправдано и видно, далеко средь голодных и угрюмых, средь ругающихся матерью и поглазающих перед богачевским окладом на брюхе — идет любовь, голая, пустая, которой ничего не надо, любовь, ожидаемая тщетно разумными хозяевами и приходящая только к самосжигателям и блаженным погорельцам.

«Звериннх стихов моих грусть»,— говорит Есенин. Да, но есть мгновение, когда зверь возревновавший становится Богом.

Илья ЭРЕНБУРГ

Публикуется по изд.: «Новая русская книга» (Берлин), 1922, № 1.

Вернисаж «Седьмой тетради» со стихами и прозой

КРАСОТА ДЮДЮЕВСКИХ НОЧЕЙ

Анатолий Тимофеевич Зверев (1931—1986) родился в Москве, в Сокольниках, в семье, которая буквально голодала (отец — дворник, инвалид первой группы, мать — рабочая на фабрике; к тому же оба родителя были неравнодушны к «злодейке с наклейкой»). Образование художника: школа-семилетка и двухгодичное художественное ремесленное училище (ХРУ), где он получил профессию живописца-альфрейщика. Был даже принят в художественное училище Памяти 1905 года, но вскоре, с первого еще курса его исключили «за внешний вид». Работал в основном маляром в парке «Сокольники», где на его самодеятельное творчество обратил внимание известный коллекционер Г. Д. Костаки.

Выставки Зверева на Западе вызвали очень большой к нему интерес. Наиболее престижные галереи Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Вены, Женевы, Копенгагена, Берлина, Турина, Гренобля с большим успехом демонстрировали зверевские работы. Пабло Пикассо назвал Зверева лучшим русским рисовальщиком; Роберт Фальк о творчестве Зверева сказал: каждый взмах его кисти — сокровище; бесполезно его учить тому, что нам известно; ему открыто то, о чем другие и не подозревают.

На своей родине художник при жизни никакого признания не получил, поскольку творчество его относили к авангарду, а это приравнивалось к злостному хулиганству. Не желавший работать в официальной манере соцреализма художник был лишен буквально всего. У него не было заказов, его картины нигде не выставлялись, не покупались. У него не было крыши над головой, не говоря уже о деньгах, мастерской... Даже успех на Западе ничего, кроме неприятностей, ему не принес.

Природа щедро наградила Зверева уникальным зрением, особым видением мира, даром философского его восприятия. Способность проникать во внутреннюю, духовную сущность предметов и явлений, постигать неповторимое, характерное достигала у него уровня ясновидения. Это позволяло художнику формировать в портретном творчестве психологически достоверные, глубокие по мысли образы; отражать тончайшие движения, отсветы души, зачастую неизвестные даже самому ее владельцу.

Художнику чуждо копирование натуры. В своем творчестве он преображал действительность в форму художественного образа, сохраняя при этом основные черты, составляющие эстетическую сущность объекта. В результате создавался образ даже более правдивый, нежели буквальная правда.

Природу художник воспринимал как гармоничное сочетание цвета и света. Цвета его полотен чисты, сочны, интенсивны. Его картины — настоящие самоцветы, и они в высшей степени... музыкальны. Несмотря на тяжелые жизненные условия, гонения, притеснения, живопись его полна добра, тонкого юмора, мягкой иронии.

Стремление к творческой свободе, личной независимости было у него просто маниакальным. Вдохновенная анархия, взрывная сила творческого бунтарства, стремление делать все по-своему, «от иначе до наоборот», в одиночку и в полную силу — таковы основные черты творчества этого пришельца не из мира сего, инопланетянина в живописи и делах. Экстремизм художника проявлялся буквально во всем, в том числе даже в инструментах, материалах. Традиционно используемые в живописи кисти, краски и тому подобное его уже не устраивали; вместо них он с успехом использовал... метлу, веник, щетку, нож, лезвие бритвы, собственный палец, ступню...

Вся его натура возвышалась над бытом и оттуда, сверху, он глядел на нас своим грустным сочувствующим взглядом, не зная, чем можно еще помочь людям, как оградить их от черствости, угодливости, ханжества... Он совершенно не терпел долгих бытовых разговоров. Если он говорил, то обязательно в рифму — сочную, забористую. Он любил поэзию. Особенно близок ему был поэт Велимир Хлебников, которого он считал своим родственником.

Основную часть жизни художник прожил в условиях колоритного московского «дна», куда в свое время ушли непризнанные, гонимые стихотворцы, живописцы, рисовальщики. Там он писал многочисленные портреты. Однако летом он любил ездить в деревню Дюдюевка Боровского района. По ночам он плохо спал, и я упросил его, ради развлечения, писать ответы на сформулированные мною вопросы, касающиеся живописи и жизни вообще. В итоге получился очень богатый литературный материал, где наряду с ответами на вопросы оказалось большое количество стихов, микропоэм, четверостиший и тому подобного. С минимальной редакторской правкой стихи эти приводятся ниже.

В деревне же Дюдюевке намечено организовать небольшой мемориал художника.

Анатолий ЗВЕРЕВ

Стихи

Шелест листьев всю ночь до шести.
Ты простишь себе детскую шалость;
Звуки лета тебе принесли
Человеческой радости малость.

Ты не сетуешь уж ни на что,
Объявив всему миру прощенье.
Смолк в душе бушевавший костер,
Наступило благое прозренье.

♦♦♦

Мотылек и тень —
Значит, кончился день.
Где канава, где пень,—
Скрыла все ночи сень.

Сверчок заныл: почему нет луны?
Росой серебристою листья полны.
Лишь созвездие Рак
Тусклый свет льет во мрак.
Зашумит в поле рожь —
Сразу съежится ёж.
Среднерусская ночь.
И еще сутки прочь.

Вступление к микропоэме «Террористы-трактористы». Дюдюевский тракторист Вася включал свой агрегат, оглашающий всю округу, очень рано. По-видимому, этот факт лег в основу микропоэмы.

Триста террористов-трактористов,
Триста аферистов-гармонистов
В твисте листьев играют Листа.

Ой! Ой! Ой! Жара какая!
Ой! Ой! Ой! И духота!
Бух, бух, бух — река играет
Всего в нескольких шагах.

Речка быстрая, живая,
Вся такая ладная.
Бьют ключи из-под коряги —
Свежие, прохладные.
Славная речушка, моется в ней чушка.
Жизнь в деревне легче, проще,
Ежли есть что выпить, впрочем.
Утята плавают так тихо,
Ворона каркает лишь лихо,
Мычит корова, поет петух,
Здесь дождик льет,
Растет лопух.
Проливает дождик слезки
На кудрявые березки.

Мост — две доски, положенные криво,
Река шумит, качаются перила,
Развернута волнистой ряби пасть.
Бог! помоги мне в речку не упасть!
Безумный взор в перила вперил,
(Боюсь авторитет мой начисто
утерян).
Перила я сжимаю в пальцах рук,
Боюсь, чтоб страх мой не заметил
Друг.
И так уж ходят слухи: я — барсук!

Дурдом (или, как иногда говорят, «психушка») был для Зверева домом почти что родным. Он даже в известной мере считал его достаточно привилегированным местом обитания. Он писал:

Говорят, привезли его в дурдом.
Губа не дура: знает, куда приезжать.

И тем не менее жестокость, царившая в этих домах, не прошла для него бесследно. Дружба с обитателями этих заведений чуть было не закончилась трагедией как для Зверева, так и для его друга Димы Плавинского. Об этой истории художник пишет:

Олифою воняет аль керосин пролит,
И все ужасно удручает
Больного здесь и злит.
О! Эти сестры — медь,
Их вовсе бы больному не иметь.
Снуют в халатах белых, супостаты,
И в свите взлета голубей
Кричат, собаки: «Его бей!»
И санитар им всем на радость
Дубасит босого беднягу.
Так запугают нашего здесь брата,
Что превратят в безумца иль
Кондрата.
И глуп Кондрат был и несчастен,
Во всех делах, к которым был
причастен,
Ему как будто бы назло
Во всем ужасно не везло.
Лишь в день ненастный и к нему
зашел,
С бутылью браги там его нашел.
Кондрат купил цыплят по пять копеек
штука.
И к батарее их придвинул, чтоб
согреть,
Но от жары погибли все без звука
Застигла их у батареи смерть.
На этом свете их уже не стало —
Цыплячье сердце биться перестало.
И чтобы ничего совсем не пропадало,
Он бросил их в бутыль, несчастный
вандал.
Плавинский пропотел от этаковой
браги,
И я едва не околел от этой вот
бодяги.
Бедняги, мы тогда не знали,
Какие «пироги» на дне ее лежали.
И напоив такой настойкой
на цыплятах,
Нас чуть земле не предал, вместе
взятых.

Подготовка текста, публикация и вступительная статья
М. М. Фотиева

М. ФОТИЕВ

НАНОЧЬГЛЯДЯ

У Зверева была какая-то обостренная любовь к природе. Это не та набившая оскомину менторски покровительственная любовь к «братьям нашим младшим».

Нет. Это была открытая, взаимная любовь ко всем движущимся и неподвижным братьям и сестрам во плоти без намека на чей-либо приоритет. От буддийских монахов его отличало, пожалуй, лишь то, что, гуляя на лоне природы, он не махал перед собой веничком. Но и без веничка он не мог нанести никому вреда, как не может лошадь даже на всем скаку задеть копытом человека. На природе он чувствовал себя равным среди равных. Условия жизни у чужих людей, зачастую авторитетных и себя уважающих, по-видимому, обострили в нем стремление ко всеобщему равенству без приоритетов. Так что любую козявку он наделял правами, равными своим. На участке обитали ежики, жабы, семейство ужей, не говоря уже о бесчисленной летающей, сигающей братии. Некоторые из этой братии, как,


А. Зверев за работой


А. Зверев. Тайницкая башня Пафнутьевского монастыря



А. Зверев. Мужской портрет



А. Зверев. Дон Кихот

например, жук-олень, достигали внушительных размеров, так что женщины, обитающие на участке, как мне казалось, охотно уступали при встрече дорогу. Так, на всякий случай. Всей этой ватагой Толя как бы руководил, а с жуками, особенно крупными, разговаривал и был, на мой взгляд, лично с ними знаком. С наиболее распоясавшимися их представителями он, как мне казалось, переругивался, пытаясь призвать к соблюдению установленных норм общежития. Осы гнездились на чердаке, в сарае и везде. Они тучами летели на сладкое, а мясо сжирали целыми кусками. За обедом или чаем лезли в тарелки, в варенье — куда только не лезли. Толя их решительно не замечал, никак не осуждал, считая их поведение вполне приличным. Ведь их природа такими сделала. Сами они тут ни при чем. Осы, по-видимому, это поняли, оценили и теперь уже слетались к нам на участок со всей деревни.

...По участку ползет ужонок. Набежала малышня. Суетятся. Один говорит: «Пусть ползет к лесу!», другой: «Нет, пусть к речке». Спорят. Подходит Толя. Посмотрел и говорит: пусть ползет куда хочет. Все расходятся. Вопрос решен.

Ежикам он регулярно скармливал продукты, которые были предметом мечтаний всех двуногих обитателей участка, включая и вашего покорного слугу. Нам оставалось лишь провожать эти продукты жадным плотоядным взором. Толя считал, что двуногий так или иначе найдет себе что съесть. А у ежей, живущих на ограниченной площади участка, в этом деле могут быть серьезные проблемы. Так что о них надо думать в первую очередь. О том, чтобы кого-нибудь из участковой фауны поймать или как-то притеснить, не могло быть и речи.

Хорошая погода. Вечереет. Настроение у всех отличное. Толя берет лист бумаги, карандаши. Сверху пишет «наночьглядя». Рисует ползущую живность, куда-то спешащего жука. Видно, что и у нарисованной живности настроение тоже хорошее. Жук удивительно пластичен, одушевлен — чувствуется его задиристый характер. Куда-то спешат и другие перепончатокрылые. Кто-то уже взлетел. Я говорю: Толя, это пишется раздельно — «на ночь глядя». Он даже глазом не повел. Исправлять, конечно, не стал. Он, конечно, знал, как это пишется. Но я тогда не понял, что для Толи «наночьглядя» — это специфическое слово, выражающее не просто движение насекомых к своим норкам в преддверии ночи. Нет. Оно выражало просветленное, умиротворенное состояние природы — жуков, травы, деревьев, воздуха в слабеющем свете солнечного дня, но непременно при хорошей погоде, при хорошем настроении.

В другой обстановке, при плохой погоде, это слово уже не работает. Оно работает только тогда, когда в природе все спокойно, уравновешенно, охвачено общей гармонией и любовью. Все звуки природы как бы сливаются в общий хор: наночьглядя, наночьглядя. Сам Толя с листом и карандашом будто бы дирижировал этим хором вне времени и пространства, с одной-единственной координатой — Земля. Чтобы услышать эту песню Земли, надо быть воистину глубоким художником и поэтом: надо быть Зверевым. Он в этот момент являл собой образ вечного удивления перед красотами Земли.

«Наночьглядя, наночьглядя, наночьглядя»,— слышится в шагах уходящего художника. Сердце и дыхание его работает в такт вибрациям Вселенной... Наночьглядя, наночьглядя...

Набросок этот долго висел на даче, вызывая у гостей удивление и добрую улыбку. Наночьглядя...

По праву памяти

С. ХЕНТОВА

БЕССТРАШИЕ

Оглядываясь в недавнее прошлое, кажется, что многие годы сталинской тирании можно было жить только мимикрией: приспосабливаясь и если не предавая, то умалчивая. Не жить, а выживать.

Но теперь мы уже знаем, что были и люди — творцы, сохранявшие наперекор стихии, свою нравственную веру, смелость, бесстрашие.

В этом немногочисленном ряду — выдающаяся пианистка Мария Вениаминовна Юдина.

Называя артистов, мы привыкли прибавлять звания, отличия, награды: народный, заслуженный, лауреат.

У Юдиной было только одно звание — профессор, которое она успела получить в молодости. Больше ничего.

У нее вообще значительную часть жизни не было ничего. Ни работы, ни залов для концертных выступлений, ни одежды, ни еды. Если заводились деньги, она тотчас же раздавала их бедным и униженным. Ее выселяли, вселяли. Она ходила, как и Ахматова, в старых балахонах и, вместо дамской сумочки, долго носила полевую сумку — возлюбленного — альпиниста, погибшего в горах.

Красавица, похожая на библейскую Юдифь, она осталась без семьи — мужа, детей. И даже без учеников ее оставляли, уволив сперва из Ленинградской, потом из Московской консерваторий.

В те годы никто не устоял перед игрой с ложью, даже гений — Шостакович. Юдина устояла с непостижимой духовной независимостью, осознанием достоинства как условия жизни.

Природа дала ей богатейшие задатки: интеллектуальные, эмоциональные, физические.

Родившись в патриархальной еврейской семье на Псковщине, в городе

Невеле, она рано обратилась к музыке, блестяще закончила Петроградскую консерваторию. Ее могучая индивидуальность захватывала. Ей сопутствовали успех, сильные личные чувства. В Ленинградском университете она изучала историю, философию, этику. Обладала ярким пером. Ее концерты проходили при переполненных залах. Она влияла на молодого Шостаковича.

Все как будто складывалось, чтобы стать баловнем судьбы и славы. Но девушка искала нравственный фундамент жизни и искусства. И пришла к христианству.

Подумать только: в 1919 году, сразу после Октябрьской революции, когда, казалось, с религией покончено как с опиумом народа, двадцатилетняя Юдина приняла православие. Не как обрядность, а как нравственный кодекс. Так она определила свой путь.

В двадцатые годы, когда Сталин не оперился, она могла еще активно действовать. Это был ее расцвет. Она являлась лидером пианизма, властителем дум. Играла Баха, Моцарта, Бетховена, первой в СССР — новую фортепианную музыку Кршенека, Хиндемита, Бартока. Она обнажала природу фортепиано как инструмента проповеднического, с живой и властной речью, более глубокой и сильной, чем слово. Она привнесла в фортепиано необычную графику, своеобразие тембров, с поразительным чутьем обертонов.

Рубежом явился 1930 год. Тот год, когда даже колосс — Маяковский — пустил себе пулю в лоб.

Юдина вынуждена была покинуть Ленинград — город, который она так любила, что даже собиралась о нем написать специальный труд. «Профессор в рясе» — называлась статья о Юдиной, опубликованная в одной из ленинградских газет. И даже весьма скромное амплуа в Московском музыкально-педагогическом институте ей пришлось оставить из-за упрямого стремления играть современную музыку. С ней ничего нельзя было поделать. Оставшись нищей, она писала другу: «Меня ...изгнали за именно новую музыку, Пастернака и прочее мышление... Изгнание сие есть благо, пусть иногда бывает совсем нет денег, зато есть время, нет „заседаний“ и необходимости трижды в неделю видеть тех, про коих сказано: „Попробуй дать совет невежде, и он сочтет тебя своим врагом“... Мне совсем некогда спать, ибо когда есть прекрасная музыка, мы репетируем и ночью, в разных местах, в несусветное время».

Радуясь свободе от стеснений, она подчас оставалась голодной и даже на могла угостить друзей любимыми блинами. Горестно читать такое вот ее письмо-



М. Юдина. Портрет работы Л. Лазарева

уведомление известному балетмейстеру Касьяну Голейзовскому: «Я же имела в виду пригласить вас на блины... Но простите, мне нигде не уплатили за мои труды и „набело“ я блины сервировать не могу, а „начерно“ ничего предпринимать не привычна». И это писала пианистка, равной которой не было в стране, да и в мире!

Казалось, она даже не подозревала о возможности склониться, приспособиться, говорила правду, читала с эстрады крамольные тогда стихи Цветаевой и Пастернака. В годы, когда даже шепотом страшились говорить правду, она называла энкаведешников «слугами Вельзевула». Ее вызвали на Лубянку, и генерал сказал ей: «Мы не дадим вам стать великомученицей».

И вот что поразительно. Ее не арестовали, не уничтожили, не сгноили в ГУЛАГе. Может быть, потому, что она этого совершенно не боялась. В эпоху, когда страх господствовал, она его не знала.

Не станем приукрашивать Юдину, как это делают с ушедшими. Она была сложным человеком. Непредсказуемым. Без внешней дипломатичности и благожелательности. Мой отец приходился ей двоюродным братом, но, когда я сказала ему, что мечтаю познакомиться с ней поближе, предостерег: «Лучше наблюдай ее издалека».

Вспоминаю похороны великого педагога-музыканта Генриха Густавовича Нейгауза в октябре 1964 года. Большой зал Московской консерватории, полный

до люстр. И Юдина, грузная, в спортивных кедах, расталкивает начальство, требует стул и усаживается спиной к залу, у ног покойника, с презрением оглядывая выступающих.

Ленинградская консерватория делегацию на эти похороны не послала. Мне все же предложили выступить, и, парализованная взглядом Юдиной, я с отчаянием выпалила, что Нейгауз принадлежит трем культурам — немецкой, польской и русской. В зале наступила мертвая тишина: ведь лишь Россию называли родиной всего, даже слонов. В коридоре, где я ждала начальственного разноса, прошла Юдина и, повернув голову, зло бросила: «Правда...».

Ее друзьями были немногие: музыкант-ученый Борис Леопольдович Яворский, художник Владимир Андреевич Фаворский, священник и философ Павел Александрович Флоренский, композитор Валериан Михайлович Богданов-Березовский, Самуил Яковлевич Маршак... Всю жизнь в ней оставалось нечто от невельской девочки, восхищавшейся чудом таланта. То, что она сама этим чудом обладала, она не осознавала. Ее притягивали люди необыкновенные, и они отвечали ей расположением, делились сокровенным. Борис Пастернак, от которого она не отошла в трудные для него годы, писал ей о работе над романом «Доктор Живаго»: «Мне хочется, чтобы все было хорошо. В такой полноте это желание, наверное, достижимо, но оно достигается в таком большом приближении, что уже и это сверхсчастие... Я очень много работаю... Это вторая книга Живаго во второй ее редакции, перед переписской окончательно начисто, к которой я надеюсь приступить через месяц и предлагаю довести до конца... к весне. Но внутренне, в действительности это труд такой же новый, как если бы я начинал что-нибудь новое и по названию, так много я изменяю при отделке, и столько нового вставляю. Эта книга будет очень большая по объему, страниц (рукописных) до пятисот, тяжелая, сумбурная и вряд ли кому-нибудь понравится».

Когда Юдину хоронили, а это было в ноябре 1970 года, пришлось хлопотать о панихиде хотя бы в фойе зала. Чиновник, к которому обратились, заглянул в книгу, где были расписаны именитые будущие покойники, и коротко бросил: «Не тянет!». Разрешения на панихиду добился Д. Д. Шостакович.

Многое делалось и еще сегодня делается, чтобы растлить искусство.

И все-таки мы вспоминаем Юдину с надеждой. Не она, а те, кто приспосабливался, искал почести, славу, благополучие, забыты. Не их, а Юдину мы вспоминаем как символ музыкальной веры. Жизнь ее дает великий урок. Мужество не умирает. Ничто не проходит бесследно.

Пианизм Юдиной приобретает ныне и особую профессиональную актуальность: в проповеднической направленности игры, в искусстве полной самоотдачи, независимости, нравственной чистоте — эстрада как кафедра истины. Актуальность и в самом стиле форменного исполнения: суровости точных графических линий, логике, фортепианной речи, напряженности динамики. Упирая на пение, на романтическую широту фразировки, мы потеряли в искусстве тончайших оттенков произнесения, которым в совершенстве владела Мария Вениаминовна.

Остается актуальной чуткость к новой музыке, миссия ее первооткрывателя — спутника композитора, каким была Юдина по отношению к музыке первой половины XX века. Еще должно быть в полной мере оценено ее мужество в защите прелюдий и фуг Шостаковича, когда их после первого прослушивания объявляли формалистическими, ее исполнение сразу после автора шостаковичской Второй сонаты, великолепная трактовка и запись на пластинку его обеих сонат, когда их почти не играли, а также сочинений С. С. Прокофьева, И. Ф. Стравинского, О. А. Евлахова, В. В. Щербачева, В. Лютославского, А. Пярта.

Сейчас — ренессанс Юдиной. Он проходит не без трудностей. Пока еще не удалось собрать ее ленинградский архив. Когда стали готовить к ее девяностолетию вечер в Малом зале Ленинградской консерватории, выяснилось, что во всей консерватории, где Юдина обучалась и преподавала, нет ни одного ее портрета; разыскали лишь несколько старых фотографий, по которым ленинградский художник Л. К. Лазарев нарисовал выразительный силуэт, поставленный на эстраде зала.

Вечер получился праздничным. Профессора и преподаватели кафедры специального фортепиано Л. Уманская, В. Монастырский, П. Егоров, В. Шакин, Э. Базанов, С. Хентова, Л. Синцев, А. Федоров, Н. Эйсмонт, двоюродный брат Юдиной — московский композитор и дирижер Г. Юдин исполнили сочинения из репертуара выдающейся пианистки, рассказали о ее многотрудной жизни. В фойе зала была устроена выставка «М. Юдина и ее время». Концерт с успехом был повторен в Москве.

Залы были переполнены: не только старшим поколением любителей музыки, но и молодежью, воспринимающей облик и деятельность М. В. Юдиной как нравственный пример, необходимый нынешнему времени.

Факел такого искусства не может угаснуть.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КОНАШЕВИЧ



Столетие В. М. Конашевича следовало бы отпраздновать во всех наших детских садах, в школах, в художественных училищах и библиотеках. Высокое искусство этого мастера не знает аналогов, оно наделено вечно свежей молодостью, как всякая классика. Настала пора сделать так, чтобы все, созданное Конашевичем, стало доступно сегодняшнему читателю и зрителю.

Давно уж пора открыть достойную его выставку.

Не охватишь глазом все прекрасное, сотворенное этим чудодейственным талантом. Он иллюстрировал Лукиана, Гоголя, Пушкина, Фета, Пастернака, книги друзей своих: Маршака, Хармса, Чуковского.

Конашевич был признан лучшим в мире иллюстратором Г. Х. Андерсена. Об этом я слышал в годы блокады от человека, авторитетнейшего в этом деле — А. Н. Ганлев. В осажденном Ленинграде Конашевич не опустил рук. Он создал многоцветные и трагичные листы акварелей для солидного издания Военно-медицинской академии.

Я счастлив, что знал много лет великого мастера, работал с ним в «Чиже», переписывался, бывал у него на Моховой, 12.

Все, созданное Конашевичем, мы должны не только хранить в музеях и запасниках. Надо постоянно издавать его книги — они учат воспринимать красоту жизни, прививают чувство добра и любви к родной природе.

Борис СЕМЕНОВ